

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ
МИР

2004

2

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2004 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть); **Смерть Кирова** (комментарий к выстрелу);

АННА АРУТЮНЯН. Газета русская и американская (сравнительные характеристики);

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Все люди умеют плавать (рассказы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ. Святочный рассказ № 13;

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое **Василии** и подвижнице **Серафиме**;

ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Фармацевт (повесть);

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ. Письма Виталию Семину;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ИРИНА ЕРМАКОВА. Царское время (стихи);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;

АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;

АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);

ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Новая повесть**;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);
ЮРИЙ САККОВ. **Высочайшая цензура** (два эпизода из истории кинематографа);
РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батарейках** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Этюды из «Литературной кол-лекции»**;
МАРИНА СТЕПНОВА. **Хирург** (роман);
ИРИНА СУРАТ. **Мандельштам и Пушкин** (статья третья);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Бабушкин спирт** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
АНТОН УТКИН. **Крепость сомнения** (роман);
ВЛАДИМИР ЦИВУНИН. **Сухое биение** (о стихах Ларисы Миллер);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. **Парад облаков** (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Новая повесть**;

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ; статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАУЗА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходиться за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17.30 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — Кленовая паутина, стихи	7
ОЛЕГ ЕРМАКОВ — Возвращение в Кандагар, повесть	12
ОЛЬГА КУЧКИНА — Оглашенная тишина, стихи	55
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Искренне ваш Шурик, роман. Окончание	59
АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ — Растерянная радость, стихи	104
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ — Спальный район, рассказы	109
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ — Игра, которой нет, стихи	121

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ МАРКЕДОНОВ — «Вестфальская» Россия. Черты российского регионализма рубежа XX — XXI веков	124
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — «Потом опять теперь»	137
--------------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Георгий Владимов — «Генерал и его армия». Из «Литературной коллекции»	144
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Необходимость поэзии. Очерк поэтического пространства-времени	152
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Руднев. Новый театральный роман	164
Ольга Канунникова. «Молчит неузнанный цветок...»	167
Павел Крючков. Пригодиться своим ближним	170
Валерий Сендеров. Россия-Империя или Россия-Царство?	175

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ	182
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	191
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ДМИТРИЯ БЫКОВА	200
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	205

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО	212
-----------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	214
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	218
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

В 2005 ГОДУ «НОВОМУ МИРУ» ИСПОЛНИТСЯ
ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ.

ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ПРОДЛИТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ
ПОДПИСКУ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2004 ГОДА,
ПОСКОЛЬКУ У МНОГИХ НАШИХ
ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕЖИМИ НОМЕРАМИ ЖУРНАЛА,
КРОМЕ КАК В БИБЛИОТЕКЕ.

ПОДПИСЫВАЯСЬ СЕГОДНЯ НА «НОВЫЙ МИР»,
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ,
КОТОРЫЙ ЗА МИНУВШИЕ ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
САМ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

*

КЛЕНОВАЯ ПАУТИНА

* *
*

Сад раздался и вырос. За садом сопит Сиваш.
Как похож на папирус твой пресный местный лаваш.
Вытри след от томата, печальный наш тамада.
Радость не виновата, что тезка ее — беда.
Их обеих любовью мы кличем в краю маслин,
где звездой голубую щебенку метет павлин.
Как попал он в Тавриду, чьим промыслом сыт он — но
не почуять обиду во вскриках его грешно.

Радость звали любовью. И так же зовут беду...
В тот подвал бы — гурьбою! Да я его не найду.
А подвальчик — что надо: не пластик и не металл —
вольный дух винограда столешницу пропитал,
и янтарное дерево и гладко, и тяжело,
все — для духа и чрева, во благо и не во зло.

Радость не виновата. И розовый тамариск
не исчез, как когда-то с кастильской земли мориск.
Он, как дух Авиценны, целебен, печален, сух...
С крыш татарских антенны воруют чужих марух:
мексиканских, бразильских — держа в пылевом плену
желтых ветров восточных западную волну.
Радость не виновата, что тезка ее — беда..
Возвратись хоть когда-то, когда-нибудь, никогда...

* *
*

Небо пятницы этой — арбузная алая мякоть.
Чуть подсохшая слякоть
запомнила след.

Час бесед.
Время каркать воронам
и уткам на озере крякать.

Ствол коринфской сосны чуть шуршит золотой шелухой.
Запах хвои сухой
с четверга настоялся.

Стало ясно:
юность где-то отстала,
а старость советчик плохой.

Потому что резоны — как пути тягучей резины
иль как хляби трясины
для вольной судьбы.

Эх, кабы
сосны помнили то же,
что помнят родные осины.

Звезды пятницы этой — как нищенские медяки.
Разве мы бедняки,
чтобы их дожидаться?

Может статься,
этот час до заката —
успех наш всему вопреки.

Над озерною рябью вечерние призраки лодок.
Жеребец-первогодок
рванул наутек.

Наш итог —
это горькое счастье,
что нету потерь без находок.

* *
*

Почему бы не выпить стопаря
и немедля не добавить по сто?
Я не помню такого сентября.
И никто его не помнит. Никто.
Это эллинскую суть обнажил
край, где ссорятся хохол и кацап
так, что в тутовом саду старожил
оскудел умом и верой ослаб.

Что же это за эпоха у нас:
даже ведро, полагают, к войне.
Ибо разве хуже Крым, чем Кавказ?
А Кавказ-то нынче нам — лишь во сне...

Я не сливы, не айву, не хурму
потерял с тобой, имперский распад.
Я, кого хотел обнять, обниму
после скрежета могильных лопат,
после наших обоюдных кончин,
если есть и впрямь тот свет, Высший Суд,
и у Господа не будет причин
разлучать нас так, как сделали тут...

Хамовники накануне миллениума

Поглядишь — никого из наших.
Эта бешеная метла
в переулках графских да княжьих
ох и здорово подмела!
Хорошо, что не всех — в могилу:
ведь метла же, а не коса.
Вольный рэкет увлек Данилу.
К ваххабитам ушел Муса.
Ванька вспомнил, что он обрезап.
Додик вспомнил, что — дворянин.
Разобрались по интересам,
и выходит, что я один.

Ох и тошно от фанаберий,
разодравших дворовый мир.
Но остался от двух империй
этот желтый, как мед, ампир,
этот образ здравого смысла,
сохранивший кривой карниз,
под которым вода повисла,
обуздавшая тягу вниз
и сияющим сталактитом
собирающая в ночи
отблеск звезд над вселенским бытом,
пьяных медленных фар лучи,
вспышки сварки над новым домом,
если домом назвать могу
эту свару стекла с бетоном
на заснеженном берегу.

В этих желтой и белой красках
нахожу я такой покой!..
В переулках, княжьих да графских,
вся судьба моя — под рукой.
Здесь, за окнами, эти лица...
Там, за ночью... Как Ив Кусто —
в эту глубь ее!.. Возвратиться?
Ни за что уже! Ни за что...

* *
*

Московский ампир и московская осень
помешаны на желтизне.
А молодость кончится часиков в восемь,
и этого хватит вполне,
чтоб вновь ощутить беспричинное счастье
от медленного сквозняка,
от прожитой жизни, разъятой на части
лучом одного перстенька,
от частых подсказок балконов и окон,
что мы — не чужие небось,
от глупой рекламы, где огненный локон
как с древа познания сполз.

Листва со сноровкой крутого десанта
слетает на особнячок.
К восьми этот город стареет. А сам-то?
Да что уж об этом. Молчок.
Лицо сохранить потрудней, чем личину.
Но — осень. И быть посему.
Лишь радость корыстна: подай ей причину.
А счастью она ни к чему.
И ветер с бензиновой крепкой основой
летает туда и сюда.
И тихо жужжит в паутине кленовой
запутавшаяся звезда.

Наше озеро

Наше озеро бездонно, безлунно.
Что в нем ловит полуночный рыбак?..

Как в поэзии, где слово безумно
и смирительных не терпит рубах,
в темноте слышны и шелест, и всплески
темных птиц ли или черной воды.
Чей-то посвист в молодом перелеске.
Чьи-то игры у прибрежной скирды.

Ну и темень на Ивана Купалу.
Как языческие боги скромны:
то ли плохо переносят опалу,
то ли сгнули из нищей страны.
Все затихнет к часу ночи. Похоже,
ни единого не будет костра...
А по зимней по бездарной пороше
так озерного ждалось серебра!
Так хотелось раннелетнего леса,
где святая — хоть умри! — нагота
тешит легкого беззлобного беса
без ущерба для святого креста...

На ручных моих часах монотонно
убывает новый век. Темнота.
Наше озеро безлунно, бездонно,
и повсюду омота, омота...

* *
*

Везде ли так иль только лишь у нас?
Европы порча, иль азийский сглаз,
или шальная блажь их корреляций —
одни безумцы в гениях, увы:
предвидя смерть от «белой головы» —
пить лимонад и ехать и стреляться!

Знать, где погибель, и идти туда,
боясь костлявой меньше, чем стыда,

и жизнелюбцем будучи при этом,
и видя, как архангел невских льдов
такие строки диктовать готов,
влюбленно пролетев над парашютом!..

У Черной речки — низменный резон.
Но этот невский бешеный озон
главенствует и в центре, и в округе,
и, логике нормальной вопреки,
подгонят сани верные дружки,
и — Бог им помощь — гроб закажут други.

* *
*

Послушай, текущая мимо Кукуя петровских времен река,
какого цвета были мундиры Измайловского полка?

Стояли, как сосны, преображенцы. Семеновцы шли, как льды, —
голубые с красной опушкой заката над стужей апрельской воды.

А форма измайловцев мной позабыта. Но дело сегодня не в том.
Я долго смотрю из окна машины на розовый грязный дом.

Меж мною и домом узкое тело яузской злой гюрзы.
Судьба моя здесь вот осиротела, и здесь же я брал призы.

Тусклы запыленные серые окна. Подъезд не забит, но глух.
И пара солдатиков стройбатальона фалует двух молодух.

Кирзой не раздвинув дешевых кроссовок, понуро уходят в часть...
Подходит по гнучному мостику дождик, в мой шаткий покой стучась.

Какая роскошная нищая радость следить за палитрой дня,
где мокнет розовая штукатурка, не помнящая меня,

где мелкие чайки прильнут на мгновенье к коричневой влаге реки
и — в небо, там, светлые на темно-сером, бездумно живут дымки.

Оставлю Кукую волну городскую, лефортовских форточек стук
и строгой любви неслучайные шутки, и слезы случайных подруг.

А сам поползу на второй передаче до Устьинского моста,
разглядывая и прося об удаче лефортовские места.

И стану на кромке речного изгиба жалеть, что жизнь коротка.
Но что уж тут плакаться, либо — либо: забвенье или тоска.



ОЛЕГ ЕРМАКОВ

*

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАНДАГАР

Повесть

Посвящается Андрею.

1

Иван Костелянец уже бывал в России — восемь лет назад? — не по своей воле, ему просто приказали. Он распивал чай у Никитина в батарее, когда прибежал дневальный и позвал его к телефону: «Срочно в полк, ты летишь с Фиксой». И он поспешил по белой пыльной дороге к полковому городку — скопищу палаток, щитовых модулей, глиняных и каменных грубо сложенных каптерок, бань, скопищу, над которым ало всплескивался флаг, вознесенный металлической мачтой в мутное небо. Почему выбор пал на него? Он не был другом Фиксы, плутовато улыбавшегося долговязого парня откуда-то из-под Брянска, всего лишь месяц назад прибывшего в полк; может, это было наказанием за что-то — мало ли за что, всегда есть за что наказать человека, тем более солдата, — или, наоборот, поощрением, наградой, — опять-таки: за что? — он не был лучше или хуже других, обычный солдат, предпочитающий держаться подальше от начальства, не лезущий на рожон... правда, несколько начитаннее — это уж точно; умеющий на равных — если дело касается не службы — толковать с офицерами, некоторых он, как говорится, цеплял, и те, забывая о разнице в звании, годах, горячились, вступали в спор и при случае говорили ротному: «Да он у тебя философ!» — «Хм. Недоучившийся филолог».

По правде говоря, у него были большие амбиции. Ну у кого их нет в девятнадцать лет? Он бросил институт, чтобы тут же стать настоящим поэтом, — ведь путь настоящего поэта необычен? Как, например, у Бродского. Он спускался в Аид, работал помощником патологоанатома в морге и поднимался в небеса, собираясь оглушить летчика и перелететь — кстати — за Окс-Амударью, в Афганистан, оттуда, конечно, дальше. Поэту нужен ветер, а не веяние затхлых фолиантов. Он должен лицезреть настоящих героев, а не геев типа профессора Шипырева и его эфебов... И что такое «неуд» по истории партии, если у поэта всемирный запой и мало ему конституций? И скоро я расстанусь с вами, и вы увидите меня — вон там, над дымными горами, летящим в облаке огня.

Так и вышло. Он попал за дымные горы блоковского романтизма и оказался на той стороне. Таня была восхищена (волновалась, разумеется), она писала ему толстые письма. Парчевский, уехавший в Питер и поступивший там в институт то ли железнодорожного, то ли речного транспорта, — тоже еще один пиит из «белых» азиатов, как они себя называли, — сулил ему большое будущее и завидовал: «Ты делаешь себя сам, ты можешь видеть пыль тысячелетий, вздымаемую колесницами новых македон-

цев; как герой Киплинга, ты несешь варварам...» А сам подался в Питер, свинья. Предал братство белых азиатов, окопавшихся волею судьбы в Душанбе. Парчевский, Слиозберг, Таня, Шафоростов — «поэты и музыканты и один дервиш», — они слушали Цеппелинов, Пурпурных, Квин, чуть-чуть косели и сами что-то кропали в «колониальном стиле» — что это такое, толком никто не знал, да это было и не важно, звучало красиво и придавало им (пишущим) особый статус, хотя в метрополии родилась одна Таня, но и она любила и считала родным этот город в чаше гор, насквозь просвеченный мощным солнцем, город просторных площадей, фонтанов и рош, блещущих днем и мерцающих ночью бетонных арыков вдоль улиц, похожих на зеленые трепещущие туннели — ветви кленов, тополей и чинар сплетаются над асфальтом, — город, неизменно омываемый в летнюю жару каждый вечер горными прохладными бризами.

Костелянцу он вдвойне показался родным и чудесным по ту сторону Амударьи, в Афганистане, в полку близ Газни (где, между прочим, писал «Шах-наме» Фирдоуси, и в одной из газнийских бань он отдал всю полученную от султана мизерную плату за свой труд). Саманный Газни в пыли и древних руинах по сравнению с великолепным Душанбе был жалок.

Ну а палаточно-деревянный городок полка в степи, терзаемый всеми ветрами, терзаемый и болезнями — желтухой, тифом, — о нем вообще не хочется говорить, думать.

Но по ночам ты возвращаешься в него. Тебя доставляют туда в смиренной рубашке сна демоны ночи.

— Костелянец, будешь сопровождать Фиксу.

Фикса вымытый, в парадной форме.

Два пантюрка, здоровые, длиннорукие тамерланцы, братья Каюмовы, сказали: «Давай, Фикса». Высокий худоватый Фикса с облупленным носом посмотрел на братьев. Месяц назад он еще готовился в учебном лагере в Союзе к этой непонятной войне, готовился, как все: что-то копал, маршировал на плавящемся плацу, работал на местном заводе, выгружал ящики, ездил в горы чистить чьи-то пруды, один раз стрелял по мишени, один раз бросил гранату и время от времени получал очередную порцию сывороток под обе лопатки, в ягодицы, в плечи из медицинского пневмопистолета, — накачанный лекарствами и жеутренними политинформациями, он наконец-то попал сюда, и вот она, реальность, так все и есть, и сильные, черные от солнца, ловкие ветераны посылают тебя, новичка, в темный зев дома, еще дымящийся от разрывов гранат: остался там кто живой?

— Чё смотришь?

Остальные молчат.

Фикса неуверенно встает, поправляет ремень с подсумками. Все ждут. Где-то хлопают взрывы, стрекочет вертолет. А здесь, возле глиняного дома с плоской крышей, тихо. Фикса перехватывает автомат и на полусогнутых ногах, сгорбившись, бежит.

Вперед, время пошло.

Солнце в зените, тень маленькая. Небо плавится. Глиняный сумрак не отзывается на его появление. Фикса к нему приближается, медлит мгновение — и исчезает. Тут же раздаются выстрелы. Фикса цепляется за измочаленный дверной косяк, сзади в него вколачивают гвозди, и хэбэ на груди лопаются, он падает, лавина очередей устремляется в проем, трассирующие пули горят в дереве, сверкают щепки, Фикса хватает пыль ртом, блестя золотым зубом.

Наконец утыкается лбом в землю.

Костелянец теперь должен сопровождать его.

Конечно, это наказание.

Неизвестно, за что.

Но и все-таки он побывает в Союзе, постарается попасть домой.

Из полка они полетели в Кабул, оттуда в Баграм. В Баграме морг сороковой армии, здесь паяют гробы. Зашел посмотреть. Справа цинки без

окошек. На цинковых столах трупы в чистом белье. Солдат-очкарик, лысеющий уже, посмотрел на Костелянца с отрешенной улыбкой, как Будда. Как Будто.

Вечером, когда перестали заходить на посадку и взлетать самолеты, бомбящие недалекое Панджшерское ущелье с хитрым его львом Ахмадшахом Масудом, устроившим в нем что-то вроде небольшого государства с тюрьмами, больницами, своими законами, — этот очкарик позвал Костелянца в тень, предложил чарс — он предпочитал чарс, остальные спирт.

— Чарс чарует, — сказал он, хотя и не был поэтом.

— Спирт оглушает, — продолжал он, утирая испарину, — это не то, я не рыба.

Костелянец привыкал к запаху. Этим запахом был пропитан воздух в Баграме. Даже в отдалении он ощущался. В столовой. Каждый день прибывали новые сопровождающие и новые убитые, некоторые прямо из Панджшера, в грязной разорванной форме, в кедах, кирзачах, босые, безногие. Начальник морга, толстый, бледный носатый белорус в форме без знаков различия, плавал в спиртовом облаке, отдавал распоряжения, пошучивал. Его сподручные натыкались на углы, виновато улыбались сопровождающим: те — воевали, а они всего лишь *харонили*. А сопровождающие в свою очередь смотрели на этих работников с тайным ужасом, представляя себя на их месте.

Баграмская муха залетела Костелянцу в рот, он отплеывался, потом пожевал веточку верблюжьей колючки.

Станок смерти продолжал где-то работать.

Привезли обгоревший экипаж вертолета.

Патологоанатом отсекал что-то, рассматривал, непринужденно беседуя с очкариком. Тот отвечал с блуждающей улыбкой.

Было жарко.

Мысли вязли.

Костелянцу уже начинало казаться, что они никогда отсюда не выберутся. Фикса исчез в цинковой ладье, он его больше не видел, временами забывал, зачем он вообще здесь. И остальные сопровождающие. Кто-то из них был даже в парадной форме, как будто на дембель собрался. Все маялись, как это обычно бывает на затянувшихся похоронах. Знакомиться ни с кем не хотелось. Все относились друг к другу со странным отчуждением. Или это было просто отупение. Все как бы слегка заснуло. Что-то вяло говорили, смотрели, хлопая медленно веками... Баграмская истома одолевала всех.

— Не спите, замерзнете! — гаркал добродушно начальник, проплывая в спиртовом облаке.

Во всем этом было что-то нелепое. Но вот очарованный очкарик тихо сказал Костелянцу, что, когда привыкаешь, это становится понятнее, чем все остальное. Он подождал, что Костелянец ответит, и, не дождавшись, с ухмылкой опрокинулся в себя и больше ничего не говорил, только покачивал головой, хмыкал.

Некоторые цинки все же были с окошечками. Костелянец заглянул в одно. Желтое, странно старое лицо, чуть-чуть приоткрытый глаз. Надо чем-то смазывать веки. Он чувствовал отвращение к очкарику. Даже ненависть. Копошится, как муха, философствует.

К нему приближался начальник, бледный, с налитыми кровью глазами, обливающийся потом.

— Ничего, скоро, — сказал он, дохнув перегаром и похлопав по плечу.

Костелянцу захотелось вывалиться в песок. Он сплевывал воздух, старался спать с закрытым ртом и вовсе не спал, ночь тянулась долго. И наступал день.

Но однажды они вылетели. Пришлось попотеть, загружая транспортник, цинки находились в деревянных ящиках. Среди сопровождающих

было двое офицеров, капитан и подполковник, похожий на римлянина, подполковник принял лишку, на жаре его развезло, в самолете он вздыхал, как раненый бык, борясь с приступами тошноты. Капитан был недоволен, хмурился. Солдаты смотрели в редкие иллюминаторы. Железное нутро транспортника гулко гудело. Костелянец подумал... Что? о чем он думал? Пока самолет трудно набирал высоту, погружался в небо, стремясь стать недосыгаемым для стингеров и китайских «Стрел», а потом плыл в вышине, озаряемый солнцем, — ни о чем, ни о ком.

Первую остановку сделали в Ташкенте.

Вынесли все саркофаги, перевезли их на какой-то склад. Получили деньги — командировочные. Вдвоем с десантником Серегой — в последний день познакомились — отправились по адресу его сослуживца. В автобусе, казалось, ехали одни женщины. Воздух был напоен дыханием женских волос. Топорный Серега боялся повернуть голову. Как уставился, войдя, в одну точку, так и стоял истуканом. Но и сам Костелянец, наверное, со стороны выглядел не лучше. Это было похоже на мусульманский рай: автобус, наполненный женскими голосами, смехом школьниц, шуршанием юбок — или шумом твоей крови в ушах. Кадык на кирпичного цвета шее невысокого, широкоплечего, корявого Сереги судорожно дергался. Затвор, без лязганья. Только что они пребывали в сумрачном чреве, черномазые, потные, с потухшими взглядами, сами чем-то напоминающие мумии, — ведь их самолет был большим саркофагом, — и вот все переменилось, автобус, мягко покачиваясь, везет их в зеленых рощах, мимо беспечных толп, фонтанов, и уже самолет представлялся нереальным — и все, все. Но на ладонях чувствуется тяжесть сырых досок, нет, не тяжесть — занозы от неоструганных досок.

— Пошли, — вдруг сквозь зубы выдавил Серега.

И они вышли. Не на той остановке, как выяснилось. Но Серега не мог больше ехать в автобусе. Он старательно прикрывался пакетом. Как мы здесь раньше жили. Город был женским. Все здесь было подчинено женщине. Раньше это как-то не замечалось. Женщины всех мастей царственно-непринужденно выцокивали по тротуарам, доступные и в то же время запредельные. Серега с Костелянцем сидели на лавочке, курили.

— Черт! — Серега искоса взглянул на Костелянца.

Тот понимающе-цинично усмехнулся.

Вообще-то он был девственником, как и подавляющее большинство солдат 40-й армии. И кому-то смерть выпадало познать раньше. А кто-то ухитрялся лишиться невинности в каком-нибудь забытом богом кишлаке, с молчаливой, перепуганной добычей, с бессловесным, дрожащим трофеем в пыльном углу, на куче тряпок или хвороста. Костелянец однажды с трудом преодолел этот искуc. Вдвоем с библиотекарем Саньком — тот порой напрашивался на операции с целью чем-нибудь разжиться, ротный не возражал — они вошли в хороший сад, обнесенный саманной стеной; дом был пуст, а вот в садовом арыке пряталась девочка, нет, скорее уже девушка, на Востоке они созревают быстро, Набоков «Лолитой» вряд ли кого-то удивил бы там, афганок отдают замуж в девять-десять лет. Она сидела в ручье, как птица, спасающаяся от жары. Ее платье вымокло, в черных косах блестели капли. Наверное, она была таджичкой, у них встречается этот большеглазый удивительный тип лица. Тень Костелянца упала на нее, она быстро подняла голову. Он разглядел серебристое ожерелье на ее смуглой шее, темно-красные намокшие шаровары, босые смуглые ноги под водой.

Сзади раздался свист. Он медленно оглянулся. Санек из дальнего угла, из-за осыпанного розами куста, кивком спрашивал: что там?

Костелянец, помедлив, перехватил автомат за ствол, повернулся и махнул свободной рукой: ничего.

Они вышли оттуда.

И потом он жалел, что не позвал Санька, веселого библиотекаря в банкенбардах, мечтающего после армии стать товароведом — да, товароведом, простым советским товароведом в Минске или любом другом столичном городе, да даже и не в столичном, у товароведа весь мир столица, товароведение — это такая любопытная штука, нечто вроде лампы Аладдина; хорошо бы еще получить какой-нибудь орден, товароведение — опасное занятие, чреватое неприятностями, а говорят, орденосцы первые попадают под амнистию... «Нет, кроме шуток, я люблю товар, вещи. В них есть что-то классное. Я люблю их гладить. Они похожи на аккумуляторы». До того как попасть в библиотеку, Санек трудился помощником в полковом магазине. Как-то проштрафился — и вылетел. Его перевели в пехоту. Но он как-то вывернулся и стал библиотекарем. Чем-то он был симпатичен Костелянцу. Нет, книг он не читал, презирал писак, даже именитых: «Туфта». Но он был наблюдателен, умен, крайне дерзок с офицерами. В нем было что-то упрямое, несгибаемое. За свои выходки он не раз кормил вшей на «губе». Будучи еще «молодым», он не отдавал тягостную дань традициям, с первых дней службы занял неколебимую позицию как бы постороннего. Как ему это удавалось? Костелянец тоже попытался — сразу был показательно избит. Утром — еще раз. И вечером. Это могло бы продолжаться каждый день, если бы он не смирился. В разведроту таких штук не терпели. Но дело все-таки не в этом. Загадочен характер любого человека. Отчего-то Санек попал не в разведроту, а на почту. Это надо уметь — сразу стать почтарем. Потом помощником в магазине. И он не был трусом. Когда колонну обстреляли на перевале за Газни, будущий товаровед действовал четко, не суетился напрасно: залег на обочине, передернул затвор и открыл ответный огонь — это было у него в первый раз. И потом он не выглядел чрезмерно возбужденным, улыбался, поглаживая небольшие «унтерские» усики. Просто Санек не хотел и не мог быть ослом. И почему-то это ему удавалось.

Уходя все дальше от садика с арыком, Костелянец чувствовал себя ослом. Все равно идущая следом пехота найдет ее. Журчащая тихо вода вокруг ее бедер будоражила воображение.

Иногда все, происходящее здесь, представлялось Костелянцу одним долгим, грандиозным сном. А во сне чего только не бывает? Там происходят самые невероятные вещи. Во сне он, конечно, вернулся бы. Должен ли человек отвечать за свои сны?

Наверное, у десантника до армии была женщина, слишком он разволновался. Костелянец имел лишь опыт как бы случайных касаний ну и двух-трех поцелуев. Об этом много было разговоров в школе, в университете, и женщина казалась понятной глупышкой. Но вот ты оставался с ней наедине — и терялся от ее взглядов. В этих взглядах было что-то невероятное, всеобщее, можно сказать, вселенское: сама вселенная испытующе взирала на тебя — и как же тут остаться безобязненным.

Они отправились дальше и нашли дом, квартиру, позвонили. Никто не открывал. Они вышли во двор, сходили в магазин, купили воды, сигарет, чего-то перекусить, вернулись, поднялись на четвертый этаж и снова позвонили. Потом сидели во дворе, пили газировку, ели. Еще раз взойшли на четвертый этаж. И вдруг открылась соседняя дверь. Молодая черноволосая женщина в цветном халатике приветливо поздоровалась с ними и сказала, что давно заметила их...

— Служите вместе с Валерой? — осторожно спросила она.

— Да, — ответил Серега.

— Что-то... случилось? — еще тише спросила она.

У Костелянца мурашки побежали по спине.

— Нет, — ответил Серега. — Надо передать кое-что.

— Дядя Коля в поездке, тетя Фруза придет позже, — сказала женщина и шире открыла дверь. — Так что посидите у нас, заходите.

Но Серега шарахнулся, забормотал, что им надо еще кое-куда. Костелянец с трудом оторвал взгляд от ее оголенных плеч, лоснящихся теплым светом. «Какого дьявола?! — воскликнул он в сердцах на улице. — Куда нам еще надо?» — «Никуда, — буркнул мрачный Серега. — Ты что, не видел, там в кресле, в синем трико, с газетой ее мужик?» — «Ну и что», — откликнулся Костелянец. Но и сам уже почел приглашение молодой женщины не столь заманчивым.

Вечером они шли к дому и на противоположной стороне улицы заметили какую-то женщину, обычную женщину, одетую по ташкентской моде в пестрое легкое платье, косынку. Она куда-то спешила с авоськой и вдруг обернулась соляным столпом, увидев их. Она стояла и смотрела.

Они прошли дальше, пересекли дорогу, вошли во двор; подходя к подъезду, увидели выглядывающую издали все ту же женщину. Вошли в дом. Поднялись. Позвонили. Никто не открыл. Снизу раздались шаги, Костелянец с Серегой посмотрели вниз, — по лестнице поднималась женщина с авоськой и тоже смотрела — вверх.

Это была мать.

Она металась по квартире, чистила ванну, готовила ужин — и из кухни уже пахло подгоревшим мясом. Она засыпала их вопросами. Они бодро отвечали. Все было в порядке у ее Валеры. Все слухи — ложь. Несчастные случаи происходят даже в детском саду. Она резко смеялась. Глаза ее блестели, щеки покраснелись. А болезни эти ужасные?.. Ну, если соблюдать правила личной гигиены, самые элементарные, — ничего не подцепишь.

Она хотела помыть их, «потереть спинки», Серега заперся в ванной, то же и Костелянец.

На ужин было горелое мясо, слипшийся переваренный рис, пересоленный салат. Они ели и сразу запивали водой, убеждая ее, что так уж привыкли там, все-таки, что ни говори, жарковатое местечко, пески. Курносая полнокая женщина сама ничего не ела, рассказывала о Валере, какой он был... то есть рос, да, каким он рос вежливым и добрым. Вежливый и добрый он, верно же? Угмм, мм, закивал Серега, пожалуй, слишком поспешно и энергично. Она вспоминала какие-то случаи, как однажды он играл с другом в рыцарей и друг разбил мечом люстру, но Валера взял все на себя... господи, какие мелочи, а мы ругали вас...

— Ну, бить люстры... все-таки, — заметил Костелянец.

— Накладно, — подтвердил Серега.

— Ах! ребятки! — спохватилась женщина. — А я ведь ничего вам такого... Сейчас! У соседки, Евсеевны... Надо же чуть-чуть выпить?

Серега сразу повеселел. Оживился и Костелянец. Она вскоре вернулась с бутылкой:

— Это на абрикосах.

Она достала рюмку, одна выскользнула и упала — не разбилась. Она схватила ее и бросила в раковину — вверх ударили осколки, сверкая в электрическом свете.

— Вот теперь так, на счастье! — воскликнула она голосом, полным слез.

— Я никаким приметам не верю, — авторитетно заявил Серега. — По приметам я бы уже давно... кхымм... — он перехватил взгляд Костелянца, — ...был разжалован. А так скоро старшину дадут.

Женщина налила абрикосовой розово-желтой настойки, взяла рюмку, пальцы ее подрагивали. Костелянец с Серегой приготовились выпить.

— Что же вы не чокаетесь?

— А... привыкли так, — растерянно пробормотал Серега.

— По-походному, — подхватил Костелянец.

— Нет, давайте... за ваше счастливое, за все счастливое...

Уже поздно они наконец-то легли в комнате Валеры, спавшего сейчас где-то в палатке, глотавшего душную кандагарскую ночь широко разинутым ртом, а может, стоявшего в охране. Костелянец сразу не смог

уснуть. Ворочался. День был непомерно растянут. Из одной системы они попали в другую. В пространство-время мира. Из средних мусульманских веков в эпоху развитого социализма. Из открытого моря грубых определений — на рифы умолчаний.

И это было только начало.

Костелянец прислушивался к звукам с улицы. Ничего настораживающего. И это настораживало.

Утром он открыл глаза и услышал храп десантника — и отдаленное пение? Выждав, пока опадет подсолнечник, он встал, натянул школьное трико Валеры и вышел из комнаты.

Мать Валеры выглаживала выстиранную — когда она успела? — форму и напевала. Увидев Костелянца, она лучисто заулыбалась, так что у него слегка потемнело в глазах.

Ночью вернулся из поездки отец Валеры, сухой, немногословный дядя Коля с крепкими, жилистыми коричневыми руками. За завтраком пришлось быть еще собраннее, отвечать точнее, осторожнее. Дядя Коля хмуро кивал, потирал руки.

— Коля, у них фрукты на завтрак, а?

— Не всегда, — исправил вчерашнее утверждение Серега.

— И сигареты выдают.

— А Валерка курит?

— Нет, правильно, и ему заменяют сахаром, — говорила она, разливая чай. — Со сливками?

Костелянец сказал, что англичане делают наоборот: сначала сливки наливают в прогретую чашку, а уже сверху чай.

— Правда? и вкус меняется?.. Коль, сделать тебе?

— Я не англичанин, без разницы.

— А я попробую, пока не налила... О, мм... действительно, эти англичане... хм... фф.

— Они там были до нас, — сказал Серега. — По Кандагару едешь — стоят еще виллы. Все в зелени. Красиво.

— Да? А что они там делали?

— Англичане? — Серега кашлянул в кулак.

— Закреплялись, — сказал Костелянец, — на Востоке.

— Ну а вы-то что сюда приехали? — вдруг спросил отец.

— Ах да. Действительно, — проговорила мать.

— За новой техникой, — баском ответил Серега.

— А, шоферы.

— Да.

А Костелянец в это же время отрицательно покачал головой. Отец взглянул на него.

— Он шофер, — сказал Костелянец, — а я сопровождаю.

После завтрака они засобирались, начали благодарить, отказываясь от новых порций чая, отступали в прихожую. Женщина вынесла сумку, стараясь не подавать виду, что ей тяжело. Все посмотрели на этот баул. Она сказала, что вот, собрала немного... Валере... и вам.

— Ну нет, — сказал Серега. — Мы же еще... нам надо туда-сюда. Еще дела. Где оставить?

— Действительно, мать, ты что? Что там у тебя такое? — спросил отец. — Ты же слышала: фрукты, сахар вместо табака... Куда они это попрут?

Он расстегнул молнию сумки. Жена пыталась его оттеснить. Костелянец с Серегой переминались. На пол летели кульки, свитер, носки, были выставлены две банки варенья, появилась даже книжка.

— А это чего?! Да он здесь, кроме сказки про белого бычка, ничего не прочитал!

После долгих препирательств сумища была заменена пакетом с шерстяными носками, футболкой и банкой варенья.

Все вышли на лестничную клетку. Голоса забились в колодце подъезда. «Пусть новая техника будет прочнее старой!» — «Ага». — «Привет Валерке!» — «Будьте осторожны». — «Ну да».

Открылась соседняя дверь, вышла бабка, маленькая, толстая, черноглазая, усатая.

— Вот, возьмите, — сказала она. — Не показывайте командирам.

— А это ты зря, Евсеевна, — сказал отец.

— Ничего не зря, — ответила та. — Раньше можно было, в прежние времена.

— В какие времена? — сурово спросил отец.

— В такие, — отмахнулась бабка и вручила Сереге плоский пакетик.

Наконец они пошли вниз, сопровождаемые взглядами и внезапной тишиной. Костелянец мельком посмотрел вверх. Мать была вновь такой же неподвижной, с глубоко темнеющими глазами, как и в тот раз, когда они ее впервые увидели на противоположной стороне дороги.

По утренним улицам Ташкента куда-то шли люди, тени, солнце вспыхивало в ветровых треугольниках автомобилей, лица шоферов были спокойны. Все эти люди делали какое-то нормальное дело, не требующее особой спешки, особого страха и особых ухищрений.

Перед перекрестком Серега развернул бабкин пакетик, Костелянец, взглянув через плечо, увидел картонку в металлической рамке, на знойно-золотистом фоне — темную фигуру с воздетыми руками, ладони повернуты к зрителю, посередине, на груди, круг с младенцем, внизу, под ногами, что-то вроде овального ковра или облака цвета раздавленных гранатовых зерен. Хмыкнув, Серега обернул картонку бумагой и сунул ее в большой пакет.

— Я думал, еще наливки даст. Или денег.

В двенадцать часов они погрузились в новый самолет, и начался их полет по Союзу.

Они сидели вдоль бортов, глядели в иллюминаторы, ни на мгновение не забывая, кто в грузовом отсеке. Точнее — что.

Все-таки к этой роли, к этим обстоятельствам трудно было привыкнуть. Что там говорил баграмский гробовщик в очках? Что он имел в виду? Что смерть понятнее жизни?.. Кажется, так.

О, пошел он... со своей философией.

Вторая посадка была в Баку. На военном аэродроме оставили груз и тут же полетели дальше, в Махачкалу, здесь заночевали. Искали долго места в гостинице. Поужинали в кафе на берегу моря. Дагестанцы, как обычно, проявляли неумеренный гонор. Женщины оказались на удивление белокожи. Официантки смотрели княжнами. Впрочем, к ним, команде харонов, все относились с подчеркнутой любезностью, сразу, с первого взгляда, распознавая их. Все-таки выглядели они диковато, что ни говори. Костелянец посмотрел на них со стороны, выйдя покурить. Разношерстная вроде бы команда: кто в парадной форме, кто в полевой, двое грузин, калмык, хохлы, белорус, одни моложе, другие явно старше, но все чем-то неуловимо похожи, все одним миром мазаны, точнее — одной войной. Костелянец подумал, что теперь в любой толпе распознает себе подобного. Или он ошибался? И этот дикий блеск глаз со временем погаснет?

Запах моря. Не верилось. В порту что-то грохотало, гудел маленький катер. Тянуло искупаться. Но в порту вода была грязной. Да и надо было еще искать ночлег.

Отыскивали гостиницу возле аэропорта же. Купили вина. Но пили как-то неохотно, только много курили.

Назавтра вернулись в гробовоз, заняли места в отсеке для пассажиров. Гробы, уложенные друг на друга вдоль бортов, находились в грузовом отделении; чтобы не рассыпались, их прихватили тросами. Запах проникал в пассажирский отсек. Но все, кажется, уже не обращали внимания. Запах гниющей плоти — что, собственно, в этом такого. Земля набита гниющими

ми останками. Гниют деревья, цветы, звери, птицы. Цветут, разлагаются, рассыпаются. Круговорот молекул. Хотелось бы, конечно, чтобы с человеком было как-то по-другому. Как?

Чтобы он враз бесследно исчезал.

Тяжелый самолет тянул над Кавказскими горами, в иллюминатор они видны были. Летели в Тбилиси.

Оба грузина волновались. Один невысокий, гибкий, с большими влажными черными глазами; второй — тяжелый плечистый, рыжий, по виду годившийся первому в дяди, голубоглазый; Алик и Мурман... Косятя друг на друга. Скоро им придется смотреть в глаза грузинским женщинам. Собщили им уже?

Вдруг среди гор в зелени возникли дома, купола, трубы. Алик взглянул в иллюминатор и мгновенно побледнел, судорожно сглотнул.

На склоне какой-то горы здесь у них похоронен Грибоедов. Россия давно ведет напряженный диалог с Востоком. Гибнут поэты. Костелянец усмехнулся.

Самолет пошел на снижение. Захлопало в ушах, потроха отяжелели. Идя на посадку, летчики всегда открывали хвостовые двери, проветривали грузовой отсек, чтобы можно было потом туда входить без противогазов. И сейчас они летели над чудесным старым городом поэтов, художников, пьяниц и древних христиан, над городом Давида Строителя, с его уютными кофейнями и забегаловками, площадями, театрами и академиями, фонтанами и рощами, над городом, захваченным движением дня, летели, осыпая невидимым смердящим прахом головы тысяч куда-то стремящихся или отдыхающих на террасах горожан.

Алик не выдержал и встал. Мурман смерил его мрачным взором, по его сине-черным бритым щекам плыл пот.

— Биджо, — сказал он.

Алик даже не взглянул на него.

Костелянец знал одного из тех, кого они сопровождали, это был шофер из батареи Никитина, Важа, погиб в колонне с продовольствием, вез муку, пуля попала прямо в затылок. Хрупкий и печальный был Важа. Но хрупкий — не значит изнеженный. Костелянцу не попадались изнеженные грузины.

Теперь все позади. Вот благословенный Тбилиси, Важа. Вонючей мушкетером, с червями в усах ты возвращаешься.

Плохо паяли ребята баграмские. Не только из-за спешки. Знали, что родители не поверят, будут вскрывать, надо же убедиться, говорят, иногда бывают ошибки, в цинке не тот оказывается или вообще вместо тела земля афганистанская, а то и ковры невиданных расцветок, женские шубы, японские магнитофоны — контрабанда, пришедшая не по адресу. Синей краской на досках выведены фамилии, чтобы не перепутали: Иванов, Головкин, Васильев, Абдуашвили, — а там вместо трупов — несметные восточные соковища.

Самолет, стремительно наливаясь тяжестью, коснулся посадочной полосы. Алик сел, его придавила эта тяжесть замедления. Самолет бежал по бетону, вздрагивая... остановился. Ну вот и все. Мурман надел фуражку.

В Тбилиси они пробыли не больше получаса. Но за это время умудрились попробовать чачи, непонятно кто прислал две бутылки. Техник в замасленном комбинезоне подошел, достал из широченных штанов, сказал, что просили передать. Неужели Мурман с Аликом? Так быстро достали? Да они же вроде бы сразу укатили на грузовике?

Неизвестно.

А чача всем понравилась. В ней играла веселая сила.

Из Тбилиси взяли курс на Моздок.

Оттуда в Астрахань. Вот куда течет река Волга. Сверху увидели зелено-желтые заросли, наверное тростника, рукава и озера дельты, веер, павли-

ний хвост вспыхивающих на солнце проток... Железнодорожный мост, на левом берегу зеленые скверы, дома, причалы, посреди города на холме астраханский кремль. Это уже Россия. В голове что-то из Хлебникова крутилось — так и не вспомнил... Было жарко. И от чачи, выпитой черт знает где, за Большим Кавказом, за тысячу верст отсюда, ну или сколько там? — еще пошумливало в голове.

Астрахань, как Венеция, стояла в воде, всюду мелькали каналы, мосты. Здесь Костелянец распрощался с десантником Серегой.

Пора было обедать, их повезли в военную часть, там солдаты смотрели на них, как дети, щупали хэбэ, как будто солдатское хэбэ, пусть и несколько иного покроя, не одно и то же всюду, от Балтики до Владивостока, от Мурманска до Кушки и Термеза. Их отвели в столовую, поставили на столы железные миски с борщом, кашей и не отходили от них, спрашивали, как там и что. После обеда тянуло поспать, но их повезли на аэродром, где ждал их самолет, все тот же самолет, мощный, вместительный катафалк.

Ну а Астрахань что? Ловила рыбу, загружала баржи, слушала новости — там, наверное, и о них что-нибудь проскакивало: войны-интерр... А они были уже здесь, не там «строили дороги-сады», а здесь вот летели над страной, как воры, тени никому не известных событий на каменистых, пыльных дорогах в отрогах Гиндукуша, в ущелье Панджшер — и далее везде. Их самолет был тенью. О таких полетах не сообщалось. Да и как бы это могло звучать? «Черный тюльпан» пересек границу, бортовые системы корабля действуют нормально, опытный экипаж, команда сопровождающих лиц, столько-то героев, с честью выполнивших... Фикса, например. Погас навеки его золотой зуб. Но это был какой-то металл под золото.

Куда теперь? К другому морю, к другой реке — в Ростов-на-Дону. Хотелось курить...

Близнецы Каюмовы держали всю роту, даже одногодки предпочитали с ними не спорить. Пантюрки. Оба высокие, плечистые, в случае чего без лишних слов пускавшие в ход ноги — били жестоко, сразу по морде, с первого удара высекая кровавую искру из носа, это обычно действовало гипнотически. Нижеслужащие опускали глаза перед ними. Один из них — Закирджан — идеолог. Как-то откровенничал с Костелянцем — кто же еще лучше поймет? Рассуждал о грядущем втором Возрождении Средней Азии. Первое, как известно, связано со священным для них именем Тамерлан, точнее, Тимури-ланг — хромой Тимур. Его империя была не менее огромна, чем держава Александра Македонского, под хромой стопой лежали Афган, Грузия, Армения, Ирак, Иран... В Индию он периодически заглядывал, как в собственный сундук с сокровищами. Былых господ подлунного мира — монголов Золотой Орды — он заставлял целовать плетку, пропахшую кобыльим потом и кровью багдадских, турецких, грузинских и прочих вельмож. В свое время Искандер заплакал, поняв, как мал мир и ему, в общем, уже нечего завоевывать. Тимури-ланг никогда не плакал. Но и он посетовал: «Все пространство населенной части мира не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя». Самарканд был столицей его империи. Здесь трудились лучшие из лучших: каменотесов, архитекторов, каллиграфов, художников, астрономов, поэтов, историков. Каюмов лениво перечислял: Омар Тафтазани, Ахмад Арабшах, Шами, Абру, Хафиз, Камал. Тимур строил мавзолеи, мечети и парки, базары, дороги, дворцы — чего стоит Аксарай в Шахрисабзе. Ремесленники чувствовали, что в них нуждаются. Тимур устраивал для них праздники. Вещи из самаркандских, гератских мастерских продавались по всему миру, Тимур писал королям письма, предлагая торговое сотрудничество... Ну, все это Костелянец и сам помнил из курса истории. Но и кое-что еще. Пирамиды из десятков тысяч

голов — причем не только воинов, но и женщин, детей, замуровывание в стены живых людей или знаменитая Молотьба: когда в поле из захваченного города выгнали всех детей, уложили их и пустили по ним упряжки. Или трусливое бегство из Самарканда еще в самом начале тимуровской карьеры, когда город был оставлен наступающей армии моголов; горожанам пришлось срочно вооружаться, выбирать нового предводителя и отбиваться, что им и удалось. И тут вернулся Тимур... Закирджан заулыбался, выслушав смелую тираду Костелянца. «Чем ты и интересен, — сказал он. — Ну... что тебе ответить? Ты умный парень, Костелянец, сам ответ не знаешь?..» Костелянец молчал. Сослуживцы издали с недоумением и почтением наблюдали за ними, сидящими друг напротив друга в курилке и о чем-то беседующими. «Ну-ну», — произнес Каюмов, шуря и без того узкие глаза. Костелянец закурил и взглянул на него, наголо бритого, с отрубленной верхушкой уха — по чему его и отличали от Убайдуллы, — сидевшего расслабленно, свесив сильные смуглые кисти с колен. Он покачал головой. «Ты, — сказал Каюмов, — еще мало был на операциях». Костелянцу нечего было на это сказать. «Хорошо, — со вздохом произнес Каюмов. — Я напому тебе, Костелянец. Я думаю, ты был плохой студент. У тебя девичья память? Ты ничего разве не слышал, например, о Кауфмане?.. Как он брал Ташкент? Или давил восстание в Самарканде, в Коканде? Как отбирал землю для ваших переселенцев? И заставлял в мечетях вывешивать портреты царя? А на ташкентском трамвае местным в своей одежде нельзя было садиться в один вагон с урусамми? А если шел офицер-кафир или чиновник-кафир, правоверные должны были вставать и кланяться? Разве он был не дик, твой Кауфман? Ну скажи, скажи».

Первый генерал-губернатор Туркестана Константин Петрович фон Кауфман действительно не отличался мягкостью. Это общеизвестно. Азия его помнит. Но все-таки Костелянец ответил, что фон Петрович построил Публичную библиотеку в Ташкенте, Метеорологическую станцию, Астрономическую обсерваторию... Каюмов рассмеялся, показывая белые крепкие зубы: «Костелянец! Зачем нам ваш астроном Кауфман, когда у нас был Улугбек?»

Костелянцу нечего было возразить. Вывешивать портреты царя в мечети — действительно свинство. Он, конечно, этого не сказал. Как и все, он побаивался Каюмовых, но не настолько, чтобы заискивать. Белому азиату трудно это делать, невозможно. Белый азиат, если уж честно, всегда немного презирал коренного, всегда чувствовал за спиной дыхание государства Романовых-Ленина. Которое, кстати, развратило аборигенов, наслав в Среднюю Азию слишком много спецов. Чем занимаются местные? Торгуют, выполняют какие-то незатейливые операции: хлопок собирают, пасут скот. А все остальное делают белые: строят заводы, гидроэлектростанции, охраняют границы. Чем был Душанбе до прихода русских? Грязным кишлаком... Но Костелянец постарался не думать о своем городе. Надо набраться терпения. Сначала он совершит круг по России, а потом, возможно, на обратном пути завернет домой.

Так думал он в воздушном саркофаге где-то между Астраханью и Ростовом-на-Дону.

...А духов выкурить можно было по-другому. Зачем спешить? Можно было дожидаться арнаводчиков, и гаубицы накрыли бы этот дом. Или танкистов — в этот дом можно было въехать на танке.

Ну, теперь-то что... Фиксе уже все равно. И Каюмовым. И всем.

Тамерлан и Кауфман!.. Пустые споры. Достаточно одного Фиксы, чтобы возненавидеть конкретных узбеков Каюмовых.

...Внизу уже донские степи? Облака, тени облаков на земле, какие-то реки... Вдруг засинела мощная жила. Так это Дон и есть. Распаханные необъятные поля. На берегах села в зеленых садах...

Перед Ростовом-на-Дону летчики снова проветривали грузовой отсек.

Привет из Баграма. Дыхание смерти на ваши крыши, в ваши окна. Мир вашему дому.

Через час уже снова летели, кажется, в Донецк. Или сначала в Элисту. Но, возможно, в Элисту прилетели еще до Ростова-на-Дону. Потом садились в других городах, посадок было много. Кто-то даже вел маршрутный лист, но где-то этот штурман высадился, остался вместе со своим грузом, а продолжить, подхватить «перо» никто не удосужился: зачем? кому это надо?..

Летели и ночью. Земля злоеще светила цепочками огней, словно гигантскими фосфоресцирующими скелетами. Над большими городами сияли мутные лужи света. Черная земля казалась бездонной, безмерной. Кому принадлежит ночь? Самолет тяжело гудел, раздвигая тьму крыльями с пульсирующими, бьющими алым светом, неиссякаемыми ранами, кропили пашню, лес, холм, сад, как будто иссеченные свинцом и осколками тела еще кипели молодой кровью. И тут-то Костелянец вспомнил из Хлебникова, из его «Воззвания Председателей земного шара», призыв к юношам: скачите и прячьтесь в пещеры и в глубь моря, если увидите где-нибудь государство... Но это было совсем не то, что он силился вызволить из забвения над Астраханью, — там его охватило некое другое чувство. Ну, как, наверное, у блудного сына или Одиссея — при виде Итаки. А ночью уже в глубине России, в небе, забывшем разрывы, из лабиринта вдруг выплыл этот призыв.

Сам Велимир, кстати, в Первую мировую удачно закосил, его, уже мобилизованного и отправленного на фронт в серой шинели, положили в психушку, подержали там и списали. Это он имел в виду, приглашая скакать и прятаться в пещерах и пучинах? А Гумилев, наоборот, любил скакать в другую сторону — навстречу пулям. И когда его привели на расстрел, курил с улыбкой последнюю папиросу у края ямы.

Костелянцу не был близок ни пацифист, ни воин. Он предпочел бы не прятаться в пещере, но и лезть вместо Фиксы не хотелось.

Этот полет казался нескончаемым.

И потому Костелянец растерялся, когда вдруг остался на аэродроме один возле деревянного ящика с синими буквами, а самолет, вовсе не похожий на катафалк, обычный грузовой самолет, транспортник, уже отрывался от взлетной полосы со свистом и оглушительным басовитым гудением. Он уходил дальше, в Белоруссию. И Костелянец внезапно почувствовал неодолимую тяжесть. До сих пор он лишь наблюдал, как со своей миссией уходили другие. Теперь это предстояло делать ему. Он покосился на ящик, и ему почудилось, что там никакого Фиксы нет. Возможно, это кто-то по обкурке видит сон. Братья Каюмовы. Ведь настигнет же их когда-то воспоминание о Фиксе? И захочется, чтобы ящик был пуст и набит песком, а Фикса был жив и улыбался бы, сверкал «золотым» зубом.

Но зачем тогда его, Костелянца, сюда прислали? И главное, как он согласился. Мог бы наотрез отказаться. Нет, но кому-то надо было. Или все-таки захотелось побывать дома?

Костелянец озирался, стоя на краю взлетной полосы. Рядом глухо серел досками саркофаг. Может, о нем забыли? Приняли самолет — проводили, — а зачем он приземлялся, запамятовали. Костелянец закурил. Он выкурил сигарету, вторую.

Аэродром был пуст. То есть здесь находились самолеты, два или три, вертолет, у кирпичного строения стояла машина — не грузовик, «уазик». Но людей нигде не было видно. Низко нависало серое небо в облаках, вдалеке зеленели какие-то деревья. Холодный ветер срывал флажок с металлической мачты. Иван Костелянец оглядывался, и ему по-настоящему было страшно. Здесь он никого не знал, кроме Фиксы...

Но теперь, восемь лет спустя, он возвращался сюда налегке. Поездом он ехал к Никитину.

2

Никитин проводил отпуск в деревне с женой и сыном. С Петрова дня он вставал рано, в кухне доставал из холодильника банку молока, отрезал черного хлеба, завтракал и, вынув из ржавого ведра косу с набухшим за ночь в воде клином, уходил по тропинке вдоль лип: мимо Французской могилы, мимо крошечного, заросшего ряской пруда с засохшим тополем над водой, мимо ободранной церкви в короне молодых берез и осинок — на школьную усадьбу. Здесь он косил. Этому делу он года два-три назад выучился и теперь немного гордился своим умением. Ему нравилось превращать хаотично стоящие травы в ровные валы и дорожки между ними со следами от ног на росе. Приятна была тихая боль в мышцах. Приятно было ощущать упругую податливость травы. И вдыхать ароматы лета.

По дороге прогоняли стадо, и деревня окончательно просыпалась, веселее брехали собаки, наперебой кричали петухи, заводились тракторы, переругивались бабы.

Солнце вставало выше. Роса долго держалась в густой траве — клеверах, перевитых мышиным горошком. Но косить уже было жарко. Еще немного поведя приборную волну — так ему это представлялось: как будто бежит с шипением зеленая волна, срываясь с побелевшего от времени острого мыска косы, — Никитин останавливался, неспешно наклонялся, брал пучок мокрой травы и вытирал изогнутое полотно, уже не боясь порезаться. Он ни разу не поранился об это свирепое лезвие и с шиком умел поправлять острие, шаркая обточенным бруском.

Разбив валы накошенной травы концом косовища — чтобы лучше просыхало, — Никитин возвращался, неся косу на плече.

Время в деревне замедляется. Уже на второй день не можешь поверить, что приехал только вчера..

За столом уже восседает Карп Львович, как обычно, читает внимательнейше сорванный листок календаря, насадив на раздутый полипами нос очки. Если это сделает кто-нибудь другой — дочери, внуки, жена Елена Васильевна, — скандал неизбежен. Календарь висит на гвозде в стене, рядом с местом Карпа Львовича, возле этажерки с книжками, газетами, пузырьками лекарств, одеколонов, под репродукцией чьей-то картины (ребенок в ночной рубашке тянется к вазе с яблоками, с беспокойством озираясь на спящего лохматого пса подле кресла). Иногда Карп Львович по какой-либо причине не обрывает очередной листок и даже второй, — и старые дни продолжают висеть на гвозде в стене, как если бы время совсем остановилось. Спыхватившись, Карп Львович ликвидирует затор дней — и, бывает, срывает лишний листок. Тогда он с возмущением обращается к Елене Васильевне: неужели сегодня такое-то число, а не вот такое? Ничего не поделаешь, Карп Львович, именно такое, а не какое-то еще. Да точно ли? Еще как точно. Не может быть того! Принесите мне газету. Несут газету. Это вчерашняя? Вчерашняя. Гм. Карп Львович сличает оторванный листок завтрашнего дня с газетой, долго и внимательно глядит, вертит его и так и эдак, косится на календарь с рубцом оторванных дней вверху. Тут бойкая синеглазая и льноволосая бледная московская внучка подает ему совет прикрепить листок резинкой для волос, которую она тут же снимает с хвоста. И так и поступает Карп Львович. До следующего утра календарь перехвачен резинкой.

Отчего такое внимание к стопке склеенных бумажек? Да как же, надо знать, когда вот косьбу начинать. Когда переменится погода — а обычно это связано с лунными фазами. Да и просто не проморгать день выплаты пенсии.

На столе стоят уже тарелки. Карп Львович отрывается от листка и возводит глаза на загорелого русоволосого Никитина в пропотевшей светлой рубашке и рабочих серых штанах.

— Закончил?.. Ну, сегодня перейдем за речку.

Сумрачная высокая Елена Васильевна в косынке и линялом халате говорит, что спешить не стоит, наверное, надо сперва управиться с накопленным на школьной усадьбе, а уж после браться за речные покосы. Карп Львович выслушивает ее и повторяет, что сегодня перейдем за речку. Елена Васильевна — у нее бледное, нежное лицо, как и у внучек, словно и она живет в тени московских небоскребов, — снова говорит... Карп Львович ее обрывает:

— Ставь картошку, корми работника.

Из печи она вынимает ухватом черный чугунок, обворачивает его тряпкой, несет, оставляя дымный шлейф, к столу. Что-то в ее движениях есть неловкое, порывистое. Нет, она не москвичка, но учительница, впрочем, уже на пенсии. Бледность — от запрета врачей находиться на солнце.

Чугунок на столе, сверху «царская» картошка — с корочкой. Далее на столе появляются: омлет сочно-рыжего, почти оранжевого, цвета, творожник, огурцы из банки с мутным рассолом, сало, лук, маринованные грибы, хлеб. Это только завтрак.

— У одного спросили: хлеба покушаешь? Давай. А что еще умеешь делать? Да выпью, коли нальешь!

Карп Львович послал долгий взгляд Елене Васильевне. Она откликаться не спешила, протирала банки.

— Гм.

И вот она уходит в комнату и возвращается с бутылкой.

— Да, некоторые мастера выкушать.

— Сегодня я с ним за речку пойду! — обещает Карп Львович.

Нос у него быстро багровеет и напоминает рачий хвост. Покатый обширный лоб смугл от солнца. Маленькие синие треугольнички глаз пронзительно-хитры. Карп Львович похож на странного синеглазого индейца, инку. Он царит над сковородками, жрец календарных дней, вечерний гадатель о погоде по закатам и полету ласточек, в правой руке держит воду радости — да и смерти, много от нее полегло в этой же деревне, неподалеку трасса, машины мчатся на столицу и на запад, и под колеса попадают, как зайцы, окосевшие мужики. И по правую руку от него, за окном, блещет зеленый солнечный день, еще не готовый к закланию, глубоко длительный, теряющийся где-то неизвестно где. Только на следующее утро он превратится в серый листок бумаги, будет оторван, перевернут и прочитан — и окажется скучной краткой рекомендацией по засолке огурцов или сжатым жизнеописанием какого-нибудь эфиопского или кубинского деятеля, — и не избежать этому деятелю язвительных реплик-стрел Карпа Львовича, жителя неизвестной деревни, потонувшей в пучине трав, орешников, ольшаников, крапивы, колосющихся кормовых хлебов, — в пучине, розовеющей-белеющей клеверами и березами.

Позавтракав, Карп Львович снова берет уже сорванный листок прошедшего дня, надевает очки и читает, беззвучно шевеля тонкими губами, почесывая срезанный подбородок. Две его дочки, одна белокурая, другая темная, готовят стол к нашествию внуков, громко переговариваясь, звеня посудой. Никитин немного отодвинулся от стола, откинулся на спинку стула, расслабленно опустил плечи, руки. О ноги дочек трутся разномастные кошки, хороша черная гибкая тварь, она умеет ловить птиц в саду. Старые хозяева не очень-то с ними церемонятся, держат в теле, чтобы те хотя бы немного противостояли натиску крыс и мышей. А молодые хозяйки их балуют, вот они и мурлычут нежно-вкрадчиво, наструнив хвосты, шурясь, глядят в лица. Дети чему-то смеются в комнате, уже проснулись.

— Баб! Лена! — зовет Карп Львович.

— Тебе что-нибудь подать? — спрашивает белокурая дочь.

Он нетерпеливо отмахивается и снова зовет жену. Она приходит, оторвавшись от какого-то дела, отирая руки от шелухи и мучной пыли. Он взглядывает на нее:

— Ты здесь, баб? Слушай. — И Карп Львович зачитывает обратную сторону календарного листка: — «Кофе без кофе. Еще во второй половине восемнадцатого века немецкий садовник Тимме предложил напиток из поджаренных корней цикория. Цикорий — сорняк, но в его толстых стержневых корнях содержатся: инулин, — Карп Львович начинает загибать толстые короткие пальцы, — сахар... сахарá, белки, п...пекти-ны, жир... жиры, смолы, го...горький гликозид...»

Елена Васильевна устало опирается о косяк. Карп Львович заканчивает. Все ждут. Но вывод очевиден, и Карп Львович только вопрошающе смотрит на жену.

— Все? — спрашивает она.

Он кивает. Она уходит.

— Не поняла, — говорит темная дочка. — К чему это?.. Где резюме?

Карп Львович снимает очки и недружелюбно взглядывает на нее.

— Да это ерунда все, — говорит белокурая, накладывая в тарелки манную кашу и в нежную млечность пуская по куску солнечно-желтого коровьего масла.

Карп Львович с интересом смотрит на нее:

— Почему?

— Потому, что нет главного. Ко-фе-и-на. А и-мен-но он расширяет сосуды.

— Мм?.. Жаль, — отвечает Карп Львович, качая головой. — Ведь это деньги под ногами, под школьным забором.

— Ах вот оно что! — восклицает темная дочка. Ее зеленовато-серые глаза прозрачневеют.

У Елены Васильевны низкое давление, и врачи рекомендовали ей пить каждый день кофе. А это продукт дорогостоящий.

— Жаль, жаль, — повторяет Карп Львович и вспоминает, как в белорусских лесах пил чай из иван-чая и было не хуже фабричного.

— Так почему же ты себе сейчас его не собираешь? — спрашивает темная дочка. — А из корневищ кувшинок можно варить кашу. И из желудей.

— Какое лакомство в детстве было — раковина-перловица, — вспоминает белокурая, — на речке прямо ели... Может, подать к обеду?

Карп Львович беспомощно оглядывается на Никитина — тот в блаженной лени молчит, — срывает очки, впопыхах засовывает их в банку с солью и уходит.

Дочки зовут детей. Места за столом вскоре занимают две белоголовые девочки и рывчатый мальчик. Никто не хочет есть манку, все требуют сразу подать творожник с поджаристой корочкой. Когда была жива старая мать Елены Васильевны, грузная седая орлица Екатерина Андреевна Кутузова, стол в этой столовой взаправду ломился от разнообразных выпечек. И старшая девочка еще помнит те времена — и каждое утро о них вздыхает. Елена Васильевна тоже кое-что выпекает, но ее ватрушки, творожники не столь золотисты, пышны и рассыпчаты. Да и некогда ей, надо успеть по хозяйству: доить корову, кормить поросенка и кур, пропалывать грядки, собирать колорадского жука и прочая, прочая. У дочек получается и того хуже. Ржаники и ватрушки им не под силу. В лучшем случае испекут блинов. Бабушка Екатерина Андреевна у печи священнодействовала, аккуратно выметала шесток куриным крылом, в мгновенье запаливала дрова, и ничего у нее не подгорало, не пережаривалось: огонь слушался ее, как дирижера маленький хор.

Вяло проворачивая в манке ложки, дети ждут творожник...

Вдруг на крыльцо стремительно поднимается Карп Львович. Он чем-то крайне озабочен.

— Все окна — закрыть! — командует он с порога. Едва заметные выгравированные брови сведены к багровой складке на переносице.

Взгляды детей и молодых женщин и ленищегося Никитина устремляются на него, невысокого главнокомандующего с заметным животиком и обширным, загорелым наполовину лбом.

— Что случилось? — сглотнув страх, спрашивает белокурая.

Карп Львович решительно проходит в комнату и сам начинает закрывать окна.

— Гроза?

Но в воздухе не чувствуется предгрозовой тяжести, и небо в окнах блистает синевой. Дочки и внуки робко тянутся вслед за Карпом Львовичем.

— Да что там такое? — спрашивает темная.

Карп Львович что-то высматривает сквозь стекло. В комнату входит Елена Васильевна. С недоверием и затаенной усталостью она глядит на мужа. Он оборачивается.

— Что произошло, дед?

Карп Львович на полголовы ниже супруги, но всегда кажется, что — на голову выше. И сейчас он взирает на нее свысока.

— На лице у колодца рой, — отрывисто сообщает он.

Все приникают к окнам, как к амбразурам осажденной крепости. Изгородь, цветы — у Елены Васильевны всегда много цветов: летних, осенних, георгинов, флоксов, незабудок, пионов, ромашек, куст сирени, за изгородью — ряд лип вдоль канавы, серый дощатый колодец почти напротив калитки. Молчание. Только слышно, как со свежего творога, подвешенного в марле, срываются капли в железную миску.

— Где? где? — шепчутся дети.

Никитин тоже смотрит и замечает над липой просверкивание стеклышек.

— Это вторая царица рой увела, — говорит Карп Львович.

— Двоецарствие... У нас где-то была такая толстенная книга. О китайских царях.

— По-моему, «Троецарствие». В темно-красном переплете?

— Тшш!.. Кто это?

Все косятся вправо: по тропинке вдоль изгородей шествует некто, похожий на рыцаря, с шестом. Человек в наглухо застегнутой телогрейке и белой шляпе с черной сеткой. На руках брезентовые рукавицы. Шест венчает некое приспособление для поимки пчел.

— Красавчик, — предполагает темная дочь.

— По-моему, Грека, — возражает белокурая.

— У Греки в помине нет пчел, это Красавчик.

— Значит, Завиркин, — говорит Елена Васильевна.

— У Завиркина борода.

— Ты видишь?

— Это Шед, — решает Карп Львович.

Пчелиный рыцарь остановился перед липой у колодца и начал осторожно подводить к сверкающим ветвям шест с коробкой-ловушкой... Все снова замолчали.

И призрачное стеклянное облачко снялось и поплыло грозно дальше. Дети заметили его и закричали. Пчелиный рыцарь в ватных доспехах снял шляпу и вытер испарину.

— Ну а я что говорил? — спросил Карп Львович. — Эх, трус! Я ходил на пчел в рубашке с коротким рукавом, и они по рукам ползали, как собачки.

Дети засмеялись.

— Правда, бабушка? — спросила младшая.

— Усиками виляли, — продолжал Карп Львович. — Понимали, с кем дело имеют. Ни разу не укусили.

— Правда, бабушка?

— Скажи им правду, баб.

— Забыл, как с температурой бредил? — спросила Елена Васильевна.

— Солгала! — выдохнул Карп Львович и удалился.

Дети загалдели:

— Врун! врун!

— А куда пчелы-то подевались у нас? — спросила старшая девочка.

— Их сожрал клещ сомнения! — крикнул из столовой Карп Львович.

Дочки сказали друг дружке, что хорошо без пчел, раньше проходу не было, вспомнили, кого и куда и сколько раз пчелы кусали, а отца под хмельком так накусали, что тому потом три дня мост с маленькими чертями мерещился: бегают взад-вперед, хватаются за хвосты, падают в речку, взбираются по сваям. А Лизуха так и вовсе скончалась.

— Сконча-а-лась? — переспросила старшая девочка.

— Умерла. Пчелы заели.

— Де-е-вочку?

— Неизвестно, сколько ей лет было. Она ходила по деревням.

— Зачем?

— Побиралась. Отец ее всегда ночевать пускал.

— Чистюля была. Глаза вот такие...

— Она зимой при церкви жила, да, мам?.. Отцу машину обещала. Я тебе, Львовна, — так его звала — масину подарю.

— А сама ночью конфеты ела, бумажки под кровать бросала и наутро вместе со всеми удивлялась, откуда это столько фантиков.

— У нее еще мешочек был со всякой всячиной, с какими-то бусинками, колечками, лоскутами, перышками.

— А однажды она огонь заговорила. По какой-то деревне пожар пошел, но у дома, куда ее ночевать пустили, остановился. А так вся деревня могла выгореть.

— Ну, это...

— Легенда?

— Случайность. Мало ли, по какой причине пожар...

— В ней святость была! — снова подал голос Карп Львович из столовой.

— Почему же ее пчелы заели?

— Может, это были осы, — сказал Карп Львович.

— Какая разница.

— Осы от беса.

— Как будто пчелы...

— Ну, короче, нашли ее в лесу закусанную, с опухшим лицом, — сказала темная дочь.

Белокурая выразительно посмотрела на нее, повела глазами в сторону детей.

— Так! Марш завтракать! — прикрикнула темная на притихших детей.

Никитин тоже вышел.

— Ты куда? — спросил Карп Львович.

Никитин сказал, что отдохнуть.

— В кладовку иди, — распорядился Карп Львович.

Но Никитин не захотел туда идти: в кладовой прохладно, но туда всегда за чем-нибудь заглядывают, там хранятся припасы в банках, ведрах, пакетах, мешках. Он мог послушаться Карпа Львовича, не опасаясь, что пожнет бурю. К нему Карп Львович благоволил. Тогда как второму — московскому — зятю не спустил бы, посмей тот выйти из осажденного дома.

Никитин прошел мимо грядок с крошечными огурцами, луком, укропом, мимо грядок с восходящими капустными лунами по дорожке в арках травин, свернул на лужайку перед казавшейся черной в ослепительном дне старой баней с железной крышей, маленьким оконцем и одноглазым скворечником, приколоченным к фронтому, как череп у Бабы Яги. Под сливами стояла раскладушка. Никитин лег. У соседей сипел петушок... Послышался голос хозяйки: «Ах ты засранец, пой, не шипи!» Петушок старался. В листве жужжали мухи. Из травы возле бани, в мощной тени старой яблони выгля-

дывали крытые толем крыши и остовы пчелиных домиков, разоренных ордами клещей. Если заглянуть внутрь, можно увидеть сухие навошенные дощечки, рамки с ржавой проволокой и почерневшими пустыми сотами. Развалины медовых домиков мрачно молчат посреди разнотравья и цветов, словно останки какой-то цивилизации.

От слив пахнет тонко смолой.

Бойко матерясь, мимо забора проходят дети, Никитин видит одного, наголо стриженного, потемневшего от солнца, пускающего сигаретный дым, над головой в болячках, измазанных зеленкой, покачивается хлыст самодельной удочки.

Деревенские дети кажутся взрослее своих городских сверстников, — впрочем, пока не попадут на городские улицы.

Взбивая пену, глубоко в небе плывет самолет. От насыщенной светом синевы глаза подергиваются слезами, Никитин отворачивается — и видит пробирающуюся в травяных джунглях маленькую великолепную черную пантеру; над ней пролетает бабочка, но кошка лишь шурится; она крадется к невысокой яблоне, где обычно в зной отдыхают птицы. Движения ее чарующе плавны. Вот она замерла, что-то услышала, напряженно смотрит в траву... скользит дальше. И, не доходя до самого густого деревца, ложится, задирает мордочку, желтые глаза сверкают, но она тут же прищуривает их. Если ее здесь замечают девочки — сразу с руганью прогоняют, не дают охотиться, и она уходит, брезгливо подергивая хвостом. Но сейчас детей не видно, и пантера, черная бестия с белой грудкой, предается своей страсти.

Никитин следит за ней и, одурманенный ароматом прозрачных наплывов смолы на черно-серых сливовых корявых стволах, засыпает.

Ему снятся две белые бабочки.

Одна летает, взмахивая мягкими крыльями с каким-то отчаянием. Другая на земле — и на нее нападают звенящие осы... «Что такое?!» — восклицает Никитин. И летающая бабочка что-то шепчет или просто шуршит чистыми крыльями. Так иногда шуршит падающий снег, но их крылья чище горных снегов. И внезапно уязвляемая осами бабочка поворачивает к Никитину лицо. Это женское лицо необыкновенной красоты.

Никитин бросился топтать ос. Но откуда-то брались новые и новые и больно жалили его в затылок, в пальцы. Никитин вскоре уже барахтался в черном рое, как в облаке жал, крыльев, — и, не выдержав, побежал прочь, крутя головой, размахивая руками, крича, — и очнулся, как бы тяжело рухнув на раскладушку, осевшую под ним, скрипящую пружинами.

Солнце уже светило ему прямо в лицо. Надо было переставлять раскладушку дальше в тень. Никитин отер ладонью жаркое липкое лицо, сел на раскладушке, огляделся. В саду появилось выстиранное белье. Никитин встал и, пошатываясь, добрал до бани. В сумрачно-прохладной темноте пахло горьковато сажей, мылом, вениками; на бревнах плесень расцвела бледными причудливыми кляксами; под плахами пола тихо жвакала земляная жаба. В железных бочках, ведрах темнела вода. Он взял и опрокинул на себя целое ведро — как будто на груду раскаленных камней. И эйфорический озноб, охватив все тело, ударил в корни волос.

«Неужели так все и есть?» — думал Никитин.

Он снова был во власти странного океанического чувства. Обычно это ощущение близкого океана приходило вечером, когда незримые прозрачные волны заливали картофельное поле за изгородью, еще пустой сеновал, малинник, баню, лужайку, грядки со стручками и перьями и маленькими завязавшимися лунами, цветущие липы, колодец, и эти толщи наводняли дом с зеркалами, засиженными мухами, шкафами, полными допотопных толстых пальто и плащей с огромными воротниками, галифе и мундиром, проеденным молью, заставлял ярче мерцать краски дешевых репродукций в «позолоченных» резных рамах, бликуя на стеклах буфета. Наверное, это был просто вечерний свет, умиротворение свершившегося дня, легкое безотчетное беспокойство перед наступающей ночью и ожидание уже нового дня.

Если бы Никитин был поэтом, он, конечно, воспел бы это чувство. Но неизвестно, на каком языке. Современный язык, наверное, мало подходит для этого.

Никитин вдруг подумал о Костелянце.

Костелянец давно уже не отвечал на письма. Впрочем, и Никитин бросил ему писать...

Вечером они пошли косить за речку — неширокую, мелкую, с трудом пробивающуюся сквозь заросли стрелолиста, тростника, цветущих желтых кувшинок и фантастические нагромождения коряг — вдвоем с Карпом Львовичем. Трава за речкой пожиже, поляны с проплешинами и мертвыми островками несъедобной осоки, много кочек и муравейников — коса сносит макушки. Карп Львович косил легко и красиво, коса, словно заговоренная, сама летала, а он ее лишь придерживал.

На полянах еще было светло, а в хвойных лабиринтах леса сумеречно. Елки курились вечерним ароматом. Никитин с Карпом Львовичем отдыхали под елками, разгоняя комаров ольховыми веточками. Карп Львович рассказывал об одном мужике, потерявшем руку на первой германской: он привязывал косу к шее и косил, оставляя далеко позади здоровых парней, и прокосы у него были ровные и широкие. Хорошо косить умела и Екатерина Андреевна. На эти полянки у нее один вечер — одно утро уходили, а мы с тобой будем вожжаться неделю. Никитин хмыкнул.

— Что, не веришь?

А другой мужик, зоотехник, продолжал Карп Львович, сам себе руку отхватил. Его баба спуталась, и зоотехник в сердцах вышел однажды во двор, за топор, руку — на колоду и хрястнул. Раз. Другой. С третьего раза перерубил. Пьяный потом хвалился. Говорят, он перед этим обезболивающее какое-то ввел. Как ты думаешь? Зоотехник же. Баба хвост прижала, бросила хахала. Через месяц московского дачника нашла. Все гадают — отрубит зоотехник себе еще руку? Да несподручно.

У них три ребенка, мал мала меньше. Она снова брюхата. Мать-героиня. И отец инвалид, ветеран любовного фронта.

Они сидели у кромки леса, отмахиваясь от комаров, поглядывали на поляны, уже слегка туманящиеся, на речные ивы и купол церкви за рекой, и сквозь призрачную и едва ощутимую толщу прозрачности и волнистых линий на них светило океанское солнце сна, — Никитин его вспомнил и захотел тут же рассказать сон Карпу Львовичу. Но послышался рокот и свист. Карп Львович встал. Из-за деревни вылетел вертолет. Карп Львович снял серую фетровую шляпу с обвисшими полями, потемневшую изнутри от пота, и взмахнул ею. Загорелое большеносое, высокоскулое лицо его вдруг поехало, поплыло, как мягкая глина, в радостной улыбке. Вертолет прошел над полянами, лесом и скрылся, урча, словно большой жук.

— Ха-ха, ребята, — проговорил Карп Львович, глядя вслед улетевшему умному насекомому. — Они здесь всегда пролетают. — Надевая шляпу, он спросил, видел ли Никитин, как ребята ему ответили. Тоже махнули.

— Чем?

— Ну так, чуть-чуть наклонили машину.

Никитин промолчал.

— Не веришь?

Никитин пожал плечами.

3

Оставив позади четыре тысячи верст, поезд Душанбе — Москва приехал в столицу.

В Москве пришлось торчать почти сутки. Костелянец погулял вокруг вокзала. Здесь было много знакомых азийских лиц, в том числе и таджик-

ских. Ему захотелось остановить одного и тихо спросить: ты-то какого черта?! Но это было бы смешно. Так же себя ведут «чапаны»: среди русских — нормальные ребята, среди своих с русским-одиночкой — крикливы и заносчивы. И Костелянец прошел мимо, молодой таджик внимательно-бегло взглянул на него. Они ободряли друг друга взглядами. Точнее, Костелянец — таджика. Таджик смотрел смиренно. Москва не Душанбе февраля.

Конечно, он не раз вспоминал Василька, невысокого, юркого, с оттопыренными ушами и навсегда удивленными глазами, с наколкой «Кабул» на запястье. Василек уже сидел бы в московской КПЗ. Неумный парень. Вспыхивал по пустякам. С ним просто лучше было не ездить и не ходить по улицам города, населенного таджиками, узбеками, туркменами. То, что он попускал русским, никогда не прощал аборигенам. Если его нечаянно задевали молодые парни, он тут же энергично высказывался, а по выходе из автобуса вместе с ними сразу бросался в драку, сколько противников ни было бы. Ему пробивали голову, ломали нос, руку, — сломанную руку он переломал вторично, едва вышел из травмопункта: заспорил с таксистом, который заломил слишком большую плату, спор быстро перерос в драку, на подмогу первому кинулся еще один таксист, и вдвоем они повалили чумового клиента. Оправившись, он почувствовал непереносимую боль под гипсом и вернулся в травмопункт. Все посмотрели на него с удивлением. Василек и сам с удивлением глядел на них, как бы спрашивая: неужели я снова к вам на экзекуцию? неужели вы опять будете меня нашпиговывать лекарствами? Врачиха нервно засмеялась, когда медсестра ввела его в операционную. Бледный Василек тоже улыбнулся. Но, возможно, она еще не совсем верила себе. И окончательно убедилась, что перед нею тот же клиент, лишь когда вскрыли испачканный весенней грязью гипс и на запястье засветилась тусклая синяя наколка.

Служил Василек не в Кабуле, а в Шинданте. В Кабуле в него бросили с крыши гранату. Граната была газовой. Василек получил контузию и осколочные ранения. И навсегда отравился ненавистью к азийцам, это уж так.

Ему надо было сразу после дембеля уехать из Душанбе. Но, как и многие другие белые азиаты, он считал его родным городом.

Да, Душанбе... Это особый мир, думал Костелянец, наблюдая за московскими голубями, стаяй летящими над крышами в сизой летней дымке, следя за лавинами автомобилей, за стремительно идущими в разных направлениях людьми.

Душанбе — молодой город, построенный русскими на месте кишлака в тридцатые годы. Но кажется, что он намного древнее Москвы. Самый воздух там древен. И панорама Гиссарских гор. Из Азии изошли народы, в том числе и предки этих озабоченных москвичей — этого красноного носильщика с железной тележкой, этого сонного синеглазого постового.

Ну да, это сразу чувствуется на Красной площади, — по улице Горького Костелянец дошел до нее и с изумлением обнаружил поразительную схожесть... с чем? Да нет, он видел фотографии Мавзолея и храма, но сейчас эти краски живо ему напомнили пестроту Чар-сук — площади в Кандагаре, где сходятся четыре базара, а Мавзолей — несомненно мазар. Но Кремль, красные стены, башни с гранями и звездами выражали уже нечто иное — местный дух. Здесь проходил какой-то шов.

Брусчатка бугрилась под ногами, и создавалось впечатление, что стоишь на какой-то возвышенности, на каком-то темени.

Конечно, все дышало мощью. От кремлевских ворот мимо собора промчались черные лимузины. Часовые у мазара были подтянуты, высоки, вычищены. Где-нибудь таких много — за стеной, кремлевская рать...

И события февраля в Душанбе плохо совмещались с этой картинкой. Да ни черта не совмещались!

Так становятся шизоидами, сказал себе он и вернулся на вокзал, подъехав на метро. И пока ехал, воображал, как бы все происходило здесь, если бы русским вдруг ударило в голову, что во всем виноваты прочие шведы. От этих мыслей стало душно, захотелось поскорее наверх... Хм, а ведь он представил себя не в толпе гонителей, а в числе гонимых в этом воображаемом восстании. Костелянец посмотрел на свое отражение в окне, за которым неслась чернота. Да, он отличается от окружающих. Это сразу заметно. Хотя и сероглаз, но безнадежно смугл, таджикское солнце прокалило его до костей. И он смотрит, движется, поворачивает голову не так, как они. На нем печать азиатчины. И рубашка слишком, оказывается, пестрая, а свободные брюки похожи уже на шаровары.

Да, здесь, в метро, негде было бы скрыться.

Но Костелянцу подумалось в конце концов, что вообще-то в Москве это именно по техническим причинам и невозможно. В метро негде развернуться. Потоки людей сомнут противоборствующих. Здесь слишком тесно.

Поднимаясь из недр Москвы по эскалатору, Костелянец вдруг подумал, что Гомер... что Гомер? нет, просто в этом было что-то странно-архаическое — в фигурах и лицах спускающихся вниз людей, ассоциация не могла не возникнуть. Он испытал облегчение, оказавшись наверху. И усмехнулся. А, снова что-то щелкнуло, да? Вспыхнул пиитический огонек?

В Москве было много симпатичных женских лиц, соблазнительных фигур. Костелянец невольно засматривался. И этот город уже не казался ему столь непрístupным и официальным. Но он был скользким мимо путником.

Из Москвы он приехал в областной центр, старинный город на холмах по-над рекой, сплошь зеленый, с главками церквей и золотокупольной кручей собора. По этому городу не раз прокатывались толпы завоевателей, но хрупкие главки не канули в хаос. Хотя крепость лежала в руинах, как если бы совсем недавно по ней била тяжелая артиллерия.

Это все Костелянец увидел, пока поезд, притормаживая, медленно катился вдоль реки, мимо невзрачных придорожных строений с трубами, железными лестницами, запыленными окнами... Город Никитина. Костелянец всматривался с любопытством.

Внутри было не столь романтично. Густая листва скрывала невзрачные панельные и кирпичные однотипные дома, почерневшие бараки, железные поржавевшие ограды вокруг школ, улицы с разбитыми тротуарами, ящиками для мусора. Но трамвай, попетляв по скверам и площадям, оставил позади старую часть города, и начались новые микрорайоны, здесь было чище, светлей.

Костелянец привык к обильному азийскому свету.

Доехав до конечной, спросил дорогу у полноватой женщины с яркосиними тенями на крупных веках. Она объяснила. Костелянец смотрел на ее перламутровые губы. Она помолчала, улыбнулась — и начала объяснять второй раз, может быть, его лицо выражало неуверенность. На самом деле его лицо выражало удовольствие. Растолковав все еще раз, она замолчала, мельком взглянула на часики и, улыбнувшись на прощание, пошла к остановке. Костелянец проводил ее отяжелевшим взглядом. Ему нравились такие женщины.

Он миновал огромные колодцы-дворы, залитые асфальтом, с робкой зеленью и уродливыми металлическими конструкциями для детских игр, напоминающими средневековые приспособления для пыток. Дальше начались новостройки. Костелянец отыскал дом Никитина. У подъезда остановился, закурил. Сигарета слегка подрагивала. Дверь подъезда открылась, вышла пожилая женщина с ребенком. Повела, наверное, внука в сад. Из окна на первом этаже доносились звуки радио, звон посуды, шум воды. Наверное, и Никитин, ни о чем не подозревая, собирается сейчас на работу, пьет чай. Покурив, он поднялся в лифте сначала на шестой этаж, потом на

восьмой, помедлил и сокрушительно надавил на кнопку звонка. Тихо. Нет, слышны голоса. Да это за другой дверью. Костелянец смахнул с переносицы капельку пота.

Вернувшаяся пенсионерка оказалась соседкой Никитина, сначала она ничего не хотела говорить, но, присмотревшись к Костелянцу, неожиданно спросила:

— Так вы брат?

Костелянец глухо залаял-засмеялся и ответил, что они вместе служили и давно не виделись. Пенсионерка сказала, что они похожи.

— Да, нам всегда это говорили.

— Удивительно прямо. Так-то вроде и не похож, а глянешь... Ладно, вот где Никитины.

Автовокзал размещался в трехэтажном старом здании и занимал площадку перед ним. На улице под навесом стояли лавки, выкрашенные в зеленый цвет. Костелянец уселся неподалеку от пассажира в опрятном — даже можно сказать, с иголочки — костюме и в легкой клетчатой шляпе с узкими полями. Вокруг громко говорили, кашляли. Как и на всяком автовокзале, здесь толпились в основном деревенские жители. Загорелые женщины, с сильными руками, в платках, тащили сетки с покупками. Мужчины преимущественно были налегке, ходили покуривали, пожилые — в кепках. Костелянец подумал, что разделение обязанностей здесь — как и у них на Востоке. С базара тоже идут: она, как верблюдница или ослица, в баулах, он — руки в брюки. Впрочем, здесь все-таки чаще можно было увидеть и нагруженных мужиков.

И еще одна особенность, сразу бросающаяся в глаза: в магазинах за прилавками сплошь женщины, даже пивом торгуют женщины. В Азии это привилегия мужчин. О, азийцы — непревзойденные торговцы, это их настоящая страсть и призвание, рассказывал Иван Костелянец товарищу в клетчатой шляпе, с дипломатом оливкового цвета — товарищу Кржижику, с именем еще более труднопроизносимым, представителю какой-то фирмы, приехавшему налаживать контакты. Он ждал рейса в один из районных центров, где находился нужный ему филиал автомобильного завода. Если Костелянец все правильно понял.

— И вас не могли подкинуть? — удивился он.

Товарищ Кржижик поднял брови:

— Как это?..

— Ну, подбросить, на машине довести, коллеги из этого центра.

— А, это... — Товарищ Кржижик сделал неопределенный жест. — Они собирались под-кинуть. Но очень, очень длинно... гм, долго? И я решил самому. Сама.

— Сам.

— Ага. Так. Сама-сама.

Потом Костелянец подумал, что с этим Кржижиком они сошлись по простой причине — оба были здесь варягами, оба выделялись из толпы. Как-то естественно между ними завязался разговор. Товарищ Кржижик спросил, откуда-ва Иван приехал? И затем с интересом принялся расспрашивать. Костелянец живописал экзотику Средней Азии, умалчивая о недавних событиях. Тут ему вспомнилось из Высоцкого: «Будут с водкою дебаты — отвечай: „Нет, ребята-демократы...”» Кржижик в конце концов полез в дипломат и извлек бутылку чего-то, напоминающего коньяк. Он шелкнул застежками, будто цыган пальцами или фокусник: о-па! Что было делать?

В этой поездке Костелянец твердо решил двигаться «посухо». С него Света взяла слово. И четыре тысячи верст он выдерживал суровый обет, чувствуя себя проводником политики партии, направленной острием — или чем там? бульдозерными рылами — на виноградники и заводы, превращающие хлебные колосья в жидкий огонь, запирающие джиннов русских полей в бутылки, — а партия и взялась извести джиннов... или как

это по-русски? — спрашивал Костелянец у Кржижика. Тот сидел, сдвинув шляпу на затылок, ослабив узел галстука и, пытливо вперившись в чью-то спину перед собой, старался припомнить, как называются джинны русских полей... Костелянец чувствовал себя попом-расстригой. Четыре тысячи верст трезвости. С выпивкой всюду было туго, давали только по талонам. Но бойко шла торговля из-под полы. В вагоне всегда были пьяные счастливики. Блаженного, электрически цепящего разряда в голову дождался на этом пути и он. И вместе с удовольствием ощутил и уныние. Однако разгорающаяся веселость вытесняла все иные чувства, как восходящее солнце — тени. И вдруг увидел приближающегося мента.

Тот шел неторопливо, вяло жуя жвачку, как какой-нибудь нью-йоркский коп, но был отчаянно веснушчат и сив. Костелянец подобрался. Кржижик еще не замечал надвигающейся опасности. Костелянец подумал, что иностранность его собутельника спасительна. Он представит его менту: гость нашего города. Но жующий коп прошел мимо, обдав их кислым запахом пота, кобуры и ремня. «Здрасьте, тетя Жень», — сказал он, усаживаясь рядом с пожилой женщиной, огороженной авоськами. «Толик?»

Кржижик перехватил взгляд Костелянца:

— Опасно?

— Ну, в общем... — Костелянец кивнул.

— Где не опасно?..

В ресторанчике они пили божественную холодную водку, поглядывая на официанток. Костелянец рассказывал Кржижику о водке — о том, что придумали ее арабы, алхимики, вместо волшебной воды — чтоб дерьмо превращать в золото — получили самогон. Кржижик интересовался, а пьют ли там, в Ду-бше? Дубхе... Нет, там предпочитают чарс, план, коноплю, одним словом. Гашиш. Есть любители опия... это же Восток...

Костелянец опоздал на автобус, это был последний рейс. Ему посоветовали ехать на попутке. Кржижика уже захватила эта неопределенность, и он хотел сдать свой билет и тоже добираться на попутках. Костелянец был рад такому попутчику. Ему симпатичен был этот человек в сдвинутой на затылок узкополой шляпе, рыжеватый, голубоглазый, с мясистым раскрасневшимся лицом. Но вдруг это лицо стало озабоченным, Кржижик поджал губы. Покачал головой. Он что-то припомнил. Да! у него же деловой контакт.

— Какие контакты? — спросил Костелянец. — Когда все разваливается и все бегут с тонущего корабля.

— Моя фирма смотрит на будущее.

— Да ты, наверное, просто чей-то агент, а? Кржижик?

— А ты исламский фунда-мен-далист?

Они расстались друзьями, Костелянец на такси доехал до трассы и вдруг сообразил, что не помнит, в какую сторону ему ехать. Мимо проезжали тяжелые фургоны. Костелянец глядел налево, направо... черт! смешно. Где деревня Никитина? Что ему говорили на вокзале? Или об этом вообще никто не вспомнил?

«Где это все происходит?» — спросил себя Костелянец и на мгновение отлетел куда-то в сторону. И вновь оказался на шоссе 1990 года. Время установлено. Теперь — определиться в пространстве. Но это-то не так просто.

Он решил рискнуть, поднял руку.

Красный «КамАЗ» с прицепом, тяжко сопя, затормозил. Обходя машину, Костелянец качнулся, его повело в сторону, но он ухватился за грязный бампер. Сверху на него глянул спокойно-усталый шофер.

— Дружище, — сказал Костелянец, — мне надо доехать до одной деревни, это около двухсот километров, а?

Шофер кивнул, куда именно ему надо, он не спросил. И Костелянец поехал в неизвестность.

Первое время маленький шофер с усиками и грязными по локоть руками помалкивал, потом он, сругнувшись, остановил свою машину, вылез,

повозился с ключами, занял место за рулем и дальше уже ехал, понося начальство, не дающее достаточно времени на ремонт, гаишников, нагло обирающих на каждом перекрестке, Горбачева, и уповал на какого-то Ельцина. Костелянец не знал московских политиков и ничего не отвечал шоферу. Нет, Горбачеву... о Горбачеве и ему было что сказать. Точнее — спросить, поинтересоваться у него, какого черта он млел, когда «чапаны» подняли февральское «восстание»?

Назревало давно, нависало глыбой. Это ощущалось в воздухе. Вдруг очень модны стали чапаны — халаты в полоску. Вдруг все стали правоверными мусульманами в тюбетейках и с четками.

В конце рабочего дня, когда среди деталей и разобранных пишущих машинок мастера учиняли небольшую пирушку по какому-либо поводу или вовсе без оно́го, двое таджиков уходили домой, хотя раньше всегда принимали участие. И Толстяк, вечный кравчий Турсунов, не веселил их анекдотами из жизни Насреддина.

Но кто мог предположить, что все опрокинется? А в Кремле будут медлить.

Костелянец уже не слушал шофера.

И это продолжается. Уже в поезде из газет он узнал о резне в Оше. О том, что и там отряды молодежи врываются в дома... и, кажется, сейчас еще врываются.

Он отлично знает, что это такое.

Сознание не шире лезвия клинка. И такое же напряженное и сверкающее.

В полосе этого сильного света мелькают мотыльками хозяева, — но разве они хозяева?

Эти старые и молодые люди, существа с растерянными и переменчивыми лицами?

Эти безвольные фигуры в бешеной игре?

Весь мир здесь — и его хозяин ты. На пять — десять минут?

Ну, даже меньше, лучше все решать быстро, с хирургической четкостью.

Пусть так. Но и этого достаточно.

Еще можно удержаться.

Может быть. Если ты один. И если они застынут.

Нет! Мысль, мелькнувшая в глазах юнца. Или даже запах. Аромат розового масла, как улыбка тебе, гостю, свистящей и вспыхивающей улицы, в ключьях гари. Тошнотворный аромат.

Клинок рассекает ее.

Не понял — кого?

Улыбку.

В кабине трясло. Кабина скрипела, раскаленная за день солнцем и движением. Дорога неслась в лицо: повороты, встречные машины, столбы. Пахло соляжкой, это запах операции, колонны, движения сквозь страх и тоску, пыль и коричневые пустыни и сны.

Костелянец закемарил, дернулся, очнулся, дико посмотрел на шофера.

— Э-э, совсем развезло, — пробормотал тот.

Костелянец пошарил по карманам, нашел пачку, вынул сигарету — уронил на пол.

— Чего ты там ищешь?

Костелянец поднял сигарету — она была перепачкана, выбросил в окно, достал другую.

— Слышь, — сказал шофер, покачиваясь вверх-вниз, крутя баранку и поглядывая на него, на дорогу, — здесь не курят.

Костелянец посмотрел на него.

— Ноу смокинг! — воскликнул шофер и оскалился.

— Я в окно покурю, — ответил Костелянец.

— Эй, я же тебе сказал!

Костелянец озадаченно смотрел на шофера.

— Рак легких от этого бывает, не слышал? И в первую очередь у пассивных курильщиков. Я давно уже бросил. Для дальнбойщика это верная смерть. Выхлопы плюс никотин.

— Останови, — попросил Костелянец.

— Не понял?

— Тормози.

Он подал машину к обочине, затормозил, с настороженным любопытством взглянул на пассажира. Костелянец открыл дверцу, тяжело спрыгнул, закурил. «КамАЗ» громче заурчал, заскрипел, дверцу резко потянули на себя. Машина тронулась и покатила дальше.

Костелянец не разозлился. Все правильно.

От сигареты он опьянел еще больше. Он посмотрел вслед уезжающей машине, оглянулся. Далеко в полях садилось солнце. Они были красноваты, поля, засеянные чем-то, и сквозящие рощицы. От дороги струилось тепло. Со всех сторон неслось стрекотанье кузнечиков. Куда я забрался?

Водитель выстрелил окурком, постоял, покачиваясь... Услышал звук приближающейся машины, поднял руку. Мимо. Водитель в темных очках даже не повернулся. Проехала еще одна машина. Следующую пришлось ждать дольше. Но и она не затормозила. Слишком поздно? И странное место: ни жилья, ни указателей, ни остановки. Костелянец раскурил вторую сигарету, но ему стало плохо, и он выплюнул ее, пошел по обочине.

Не останавливаются.

Под Ташкентом тоже не останавливались, рассказывал механик, ездивший в Союз за новыми БМП, пока Краснобородько не встал на трассе с автоматом наперевес.

Костелянец вскинул руку, — машина промчалась дальше, он нацелился указательным пальцем в заднее стекло: бах!

Он проехал столько. Оставалось, наверное, немного... если, конечно, не придется пилить в обратную сторону.

...на проспекте Ленина, когда автобус вдруг резко затормозил. Впереди был какой-то затор. Все вытягивали шеи, стараясь увидеть, что там такое. А что там такое, ничего особенного, этого и следовало ожидать: толпа «чапанов» перегородила дорогу, из автобуса вытаскивают людей и сразу начинают бить. Прямо на глазах пассажиров этого, второго, автобуса, в котором ехал и Костелянец. И все цепенеют. А «чапаны» тем временем с дружным ревом переворачивают «Жигули» белого цвета и как будто помогают выбраться из кабины женщине в светлом плаще и тут же сбивают ее с ног, волокут за бетонный арык, придорожные деревья, из машины вылезает водитель, пытается бежать за ней, но сразу падает и снова вскакивает, длинная палка опускается прямо на лысину, другая ударяет сбоку, он опять падает, его поднимают, лицо уже в красной маске.

Водитель их автобуса сбежал, забыв открыть двери. Мужики налегли и со скрежетом раскрыли двери, все посыпались на улицу, поспешили прочь, в противоположную от «чапанов» сторону, кто-то побежал. Толпа сзади гудела, раздавались крики. Вот когда он почувствовал себя по-настоящему безоружным. Сокрушительное чувство немоги, пустоты в руках. Судорогой свело пальцы. Впереди семенила бабка в бежевом пальтеце и мокрых чулках, не выпуская тяжелую авоську. А они двигались сзади. Ребята и молодые мужчины в распахнутых чапанах, тубетейках, с пылающими взорами. Уже почувствовали кайф хаоса, это посильнее анаши и опия, мощнее любых законов... И кто бы осмелился остановиться, повернуться к ним лицом?

Надо было уходить куда-то в сторону, скрыться где-то в подворотне. Многие так и поступали. А ополоумевшая бабка трюхала по проспекту, нелепо трясая головой. Костелянец крикнул ей и махнул рукой в сторону: туда! Она заморгала, глядяваясь в его смуглое лицо. Он крепко ухватился

за авоську и потянул на себя, бабка сдавленно что-то забормотала, пергаментные пальцы впились в авоську. Костелянец потащил ее за собой. Так они оказались во дворе. Из окон смотрели смуглые кареглазые жильцы — женщины, дети, старики. Как нарочно, ни одного русского лица! И сразу видно, что они с бабкой враги, все просто, как дважды два. Можно палить из ружей, лить им на головы кипяток. Но кареглазые окна только смотрели. Костелянец выпустил сумку. Бабка сразу кинулась прочь — назад, на проспект. Костелянец резко повернул и пошел в другую сторону. В арке он столкнулся с милиционером. Тот узко смотрел на Костелянца, хмурил брови, грыз жидкий ус.

— Что такое? — спросил он.

— Там толпа, — сказал Костелянец, хотел добавить «ваших», но придержал язык.

Милиционер прошел во двор и скрылся в одном из подъездов.

Так началась февральская революция «чапанов».

В домах установили дежурство. По условному сигналу — стуку по батареям — все мужчины должны были выскакивать на улицу со своим вооружением: с кухонными ножами, топориками, охотничьими ружьями, железными прутами. Разумеется, «все» — это значит все русские, украинцы.

В городе настала власть «чапанов». Несколько дней они гоняли по паркам и кварталам белых азиатов.

Из Москвы долго всматривались в эту азийскую коптящую, кровавую даль, раздумывали, ковыряясь в ухе, сплевывая на ветер... Хер его знает, чем обернется!

Вот так, Константин фон Петрович, белые азиаты почернели.

...Иван услышал ритмичное поскрипыванье, бросил взгляд через плечо: на велосипеде ехала женщина в спортивном костюме, сапогах, в белой косынке, к раме было что-то привязано — коса. Он различил травинки, налипшие на хищно выгнутое полотно, когда она приблизилась. Он поздоровался. Она, не останавливаясь, ответила. Костелянец задал ей вопрос уже в спину: где деревня?.. И она вдруг ответила:

— Да вон там.

Костелянец недоверчиво смотрел вперед, где за поворотом темнел горб леса... Если это шутка, то неудачная. Женщина уезжала, поскрипывая. Он шагал следом. Она скрылась за поворотом.

Через некоторое время он увидел белеющий впереди указатель.

Долго не мог различить надпись. Наконец прочел... Это была деревня Никитина. И до нее оставалось два километра.

Он сошел с нагретой трассы на проселок. Горб леса белел березовыми стволами. Под ним явно была вода. А может, нет. Костелянец решил проверить. Ведь ему везло, а? Но все получалось немного не так. Он не хотел хмельным, потным скотом представлять перед незнакомыми людьми, родственниками Никитина. Вниз уходили две колеи. И они привели к мелкому речному плесу. На противоположном берегу они продолжались, уходили в лес.

Но в самом ли деле это та деревня?.. Если это так, то ему повезло дважды: ехал в нужную сторону и сошел покурить почти у места назначения.

Костелянец разделся, ступил в воду. Июльская вечерняя речка была теплой. Он постоял, видя свое отражение в тихо плывущей воде, и лег. Течение медленно повлекло его. Сначала он тут же хотел встать и выйти на берег, но передумал и безвольно согласился с течением — внезапно ему расхотелось двигаться, вставать, одеваться. После горячего дорожного дня речка, пахнущая свежо и зелено, с желтыми какими-то цветами, растущими прямо из воды, казалась давно жданной и заслуженной наградой. Как будто в этом и была цель. Костелянец проплывал мимо заросших крапивой и всякой зеленью низких берегов, он только лениво шевелил руками-ногами, чтобы оставаться на поверхности. Но в бок что-то больно ткнуло,

он ухватился за корягу, место было глубоким, вода по шею, дно вязкое, ноги утопали в иле, вокруг икр путались водоросли. Левый берег сплошь зеленел огнем крапивы, Костелянец вылез на правый. Его тут же окружило звенящее облачко комаров. Идти по-над водой было невозможно, и он начал обходить прибрежные заросли, прибывая комаров; вышел на луг.

Там среди небольших стожков были какие-то люди, двое. Один заметил его и сказал другому. Тот оглянулся.

4

Гость сидел в углу, его невозможно было хорошенько рассмотреть. И спина папы-Никитина мешала. И что он говорил, трудно было разобрать. Его смех похож был на лай. Гость что-то привез. И взрослые смаковали гостинцы.

Ленка сказала: «Попросимся на двор». Катька ответила, что не пустят. Но Ленка открыла дверь. «Куда? Спать!» — «Мне надо», — сказала Ленка. «Горшок под кроватью», — напомнила мама. Ленка вернулась красная. «Придурки», — сказала она. «Я что тебе говорила?» — спросила Катька. «У них на столе лимоны». — «Он привез лимоны?»

Наконец в комнату вошли обе мамы, всех разогнали по местам и сами легли, было уже поздно; потом, тяжело ступая по половицам, прошла баба Лена; а в столовой еще говорили, дед Карп чудно кашлял — высоко, с всхлипами. Еще позже дед Карп уже храпел у себя за перегородкой, а в щель из-под двери пробивался свет, резал золотым ножом сумрак.

Утром они рассмотрели гостя.

У него были темные волосы, крупное смуглое лицо, большие пристальные глаза. Одежду ему уже дали деревенскую — рубашку деда Карпа, трико, а вчера он был в другой, Ленка утверждала, что в чем-то пестром, павлиньем.

— Как спалось?

Костелянец с улыбкой спросил, кто это всю ночь вздыхал за стенкой.

— Корова!.. — выпалила Катька и потупилась.

— Ваш дом похож на ковчег.

У него был спокойный, приятный голос.

Синие треугольнички глаз Карпа Львовича потеплели. Он пообещал показать гостю свое хозяйство.

Обе мамы, темная и светлая, выглядели сегодня иначе: одна надела сафран в красный горошек, другая подкрасила губы и скинула рваные шлепанцы — была босой. Карп Львович переводил с одной на другую синие треугольнички глаз, меланхолично барабанил толстыми пальцами по столу.

И вот от печи проплыл картофельный парок. Правда, плыл он на ухвате. И за ухват держалась баба Лена. Одна мама хлопнула в ладоши.

— Руки вверх! — приказал дед Карп.

Дети — две белоголовые девочки и рыжий мальчик — вытянули к нему ладони.

— Вижу, вижу, мыли, — сказал дед. — А вы? — обратился он к дочкам.

Светлая иронично хмыкнула и ничего не ответила.

— Уже десять раз, — сказала темноволосая.

Дед покачал головой:

— Смотри, какие чистюли... Видно, спозаранку на ногах. — Он подмигнул Никитину: — Корову выдоили, свинью, кур накормили, кроличьи клетки вычистили, двор вымели, воды наносили, завтрак приготовили. Зо-лушки.

Наконец из холодильника достали лимоны. Были они особенные, как в один голос все заявили: нежнокожие, красноватого оттенка и необыкновенно душистые. Дети попробовали — такая же кислятина. Но взрослые нахваливали. А вот вяленые полоски дыни действительно оказались вкус-

ными, сладкими. Ленка с Катькой чуть не задрались за столом из-за дыни. У сестер редкие застолья, игры проходили без стычек. И сейчас они вмиг забыли о таинственном госте, приехавшем откуда-то почти из страны Чиполлино, — верно? — и сверкнули друг на друга синими глазами, сдвинули брови, скрючили пальцы, и одна другую уже двинула под столом ногой, и щеки их вспыхнули.

— Ну-ка! белянки! — воскликнул дед Карп.

Костелянец смущенно потер переносицу и сказал, что, наверное, надо было больше взять вяленой дыни... но там это обычная вещь, как здесь...

— Моченые яблоки, — подсказала с тихой улыбкой Елена Васильевна.

— У вас все по-другому.

— Ну! мы вообще особенный народ, — откликнулся Карп Львович. — Вот с утра в голове звон — отчего? как ты думаешь?

Костелянец усмехнулся.

— И не угадал! Тут одна купчиха виновата, Огорокова. Как ее звали, баб, не помнишь?

Елена Васильевна ответила, что вообще не знает никакой Огороковой.

— Как не знаешь? Это же та купчиха, что колокол заказала. И тот колокол здесь везли, по основной дороге, трассы еще не было, ее немцы строили. Ну а колокол везли на подводе в город. Купчиха церкви пожертвовала. А в этом месте то ли ось сломалась, то ли шина лопнула — если на мягком ходу воз был, — то ли просто яма глубокая попалась, — колокол свалился. Раньше люди были внимательнее. Города ставили там, где — ну вот лошадь заупрямилась с Владимирской, ее летом на санях князь вез к себе. И что, город поставили. Какой, Игорь?

— Боголюбов-град.

— Ну и тут был только трактир, а после падения колокола деревяня взялась, Огорокова церковь с колокольной выправила, бухнула денег, — видел, заросшая стоит? Колокола давно нет. А звон по утрам в головах остался...

Все посмеялись. Костелянец вздохнул.

— Ну-ну, мужчины завздыхали, — сказала темная дочка Карпа Львовича.

— Мужчины не вздыхают, а выдыхают. Как рыбы, выброшенные на песок.

— Ох и мудрослов же, — сказала Елена Васильевна, уходя в комнату. Вернулась она с бутылкой.

— А! — воскликнул Карп Львович, как бы узнав старую знакомую. — Ну, мы землемерами по винной части служить не будем. Так только... зашибем дрозда!

Костелянец коротко просмеялся.

После завтрака они пошли осматривать достопримечательности, за ними потянулись было дети, но матери похватили их за руки и насильно вернули за стол, заставили есть манку.

Они прошли по неровной пыльной дороге до церкви, из которой при их приближении выметнулись галки. Церковь с колокольной представляла собой жалкое и мрачное зрелище. Внутрь они не пошли. Среди лопухов, крапивы и груд битого кирпича возвышались бугорки, — Карп Львович сказал, что это старинные могилы и что однажды сюда пожаловала особа в шляпке и белых панталонах, говорила с акцентом, искала могилу отца, — зашла в церковь и чуть не стравила. Утончился у нее нюх там, в Мюнхене. И понятия другие стали. А мы здесь привыкли.

— А что рядом дымится?

— Баня колхозная. Раньше как? грехи отмаливали. Теперь — отмывают.

Они обошли вокруг школы, полюбовались на стожки среди яблонь. Карпу Львовичу из-за изгородей то и дело кричали: «Здравствуйте, Карп Львович!» Он в ответ помахивал старой фетровой шляпой, пошучивал, с кем-то заговаривал.

На обратном пути они приостановились у лип, перед заметным бугром, ярко зеленеющим рядом с темными стволами, над канавой с черно-прелой листвой. Карп Львович сообщил, что это Французская могила. Никитин тут же заметил, что это не значит, будто здесь похоронены французы.

— Но Наполеон здесь шел, — сказал Карп Львович.

— Кто же здесь похоронен? — тускло спросил Костелянец.

Никитин ответил, что древние люди, так в народе всегда называют их захоронения.

— Археологи копали?

— А в этой деревне каждый археолог, — сказал Карп Львович. — Тут уйма археологов. А я как часовой у Наполеона.

Никитин покачал головой, улыбнулся:

— Ведь это мне приходится их гонять, гробокопателей. Так и платили бы. Как археологическому сторожу. Птеродактилю... это меня так окрестила одна девочка... Они и в церкви все изрыли, археологи, ночью огород и чуть ли не всю усадьбу бывшего попа перекопали. Таисия Федоровна вышла — рухнула на крыльцо... Горшок с золотом им блазнится! Лежат на печке, думу думают, самогон кончается — хватъ лопату. Ладно что не топор или дубину.

Они прошли в сад, Карп Львович рассказывал о некоем Монченке, промышлявшем на дороге, как говорится, портняжьим ремеслом — шитьем дубовой иглой; всех в страхе держал прохожих, но как-то раздел одного до исподнего и только хотел уходить, как тот его окликнул и сказал: а вот это ты забыл, не возьмешь, собака? — и показывает нательный золотой крестик. Монченок: возьму, а-тчего ж не взять, возвращается, тот крестик бросает, Монченок только нагнулся — и ему шарах в темя, как будто тьма вошла.

Эту историю теща Карпа Львовича рассказывала, Екатерина Андреевна Кутузова. А ей рассказывал одноподдеревиенец, который в дороге попросился на постой к одной женщине, та пустила, а позже пришел ее мужик, глянул — бежать некуда, коли за плечом смерть, шапку снял — напрочь безволосый, блестит лысиной, как мокрым булыжником. Огонь зажег и успокоил прохожего постояльца рассказом о своем прошлом: все, мол, в былом, как пышные кудри, не думай. Это и был сам Монченок. Завязал, как говорится. После того случая. Ведь ловкий прохожий сам его раздел и оставил под дождичком.

— Вот Екатерина Андреевна все рассказала и умолкла. А я не забыл, с чего начиналось, и спросил: ну а лысым-то через что он стал? А, вспомнила теща, видно, нерву потревожил. Тот, который шарахнул тьмой в затылок. Позже тоже выискивались «портные», да и сейчас бывает. И я, если пешком из города иду, то всегда в кармане несу камень, — сказал Карп Львович. — Как ты думаешь? — спросил он у Костелянца.

— Я жалею, Карп Львович, что студентом у вас не поселился.

Карп Львович поднял белесые брови.

— По древнерусской литературе имел бы пять, — сказал Костелянец, — тут все ею сочитя.

Карп Львович высоко закашлялся, синие треугольнички глаз блеснули, и он велел Никитину идти к бабе. Никитин нехотя подчинился, а Карп Львович с Костелянцем прошли еще дальше, в глубь сада.

Возвращаясь, Никитин сорвал с грядок пучок укропа, несколько луковых перьев. Бутылку он водрузил на березовый, черный от дождей пень с вбитой «бабкой» — маленькой наковальней для косы.

— Ну, мастер пишуших машинок, — пригласил Карп Львович Костелянца.

Никитин откупорил бутылку, налил в липкий, захватанный дежурный стаканчик, припрятанный в одном из ульев, водки одному, другому, потом себе. Закусывали укропом, сочным сладким луком. Над их головами реяли ласточки. Среди зелени возвышалась охряная железная крыша с еловой

мачтой на углу, увенчанной металлическими усами антенны. В самом деле, подумал Никитин, этот дом напоминает ковчег.

— Может, баньку тебе истопить? — спросил у Костелянца Карп Львович. Тот отказался, сказав, что выкупался в речке.

— Я тебя сразу узнал, — говорил Никитин, когда осоловевший Карп Львович ушел домой отдыхать и они сели на скамейку у бани. — Но не поверил.

Костелянец достал сигарету, предложил Никитину. Тот покачал головой. Костелянец хмыкнул, прикуривая. Сбоку он посмотрел на Никитина. Тот обернулся, слегка улыбнулся.

— Надоело, — сказал он, — бросил.

— Это философский поступок, — заметил Костелянец.

После каждой затяжки с сигареты сам осыпался пепел. Костелянец был старый и страстный курильщик. Впрочем, как и Никитин. Когда полковую колонну из Кабула обстреляли и сожгли машину именно с коробками сигарет и примерно месяц не завозили новую партию табака, Никитин обменял свои новые летние ботинки на две пачки пакистанских «Рэд энд Вайт» у афганских крестьян, приходивших в полк работать на грейдере — так осуществлялась программа взаимопроникновения двух культур: они выглаживали дороги, мы перепаживали поля «Градами» (ну, вообще-то тоже строили дороги, мосты, дома — и вскоре поневоле разрушали). С кем Никитин прокурил свои ботинки — ясно.

— Может, добавим? — спросил Костелянец.

Никитин ответил, что уже неудобно просить.

— Ну так сходим в магазин.

Никитин сказал, что талонов уже нет.

— На что это похоже, на военный коммунизм, а, Геродот? Или на распад Рима?

— Ляг отдохни, — сказал Никитин, кивая на раскладушку.

— Ох-хо-хэ, значит, наши чаши останутся пустыми.

— Не все сразу.

— Ты, как обычно, прав. В тебе всегда это было — чувство края.

Костелянец сначала сел на хрупко-скрипучую раскладушку. Потом лег в тени, заложил руки за голову.

— Черт возьми, — пробормотал он.

Со всех сторон его окружали травинки, листья, отдаленные и близкие звуки деревенской жизни, он был в центре этого оазиса, отделенный от всего мира пеленой синевы, солнца, хмеля, и только черно-белые ласточки и черные стрижи пронзали яркоцветную толщу, тревожно циркая.

5

Утром Никитин один ушел за речку. Косить было тягостно, Бахус бродил в крови... да какой Бахус! бес ржано-пшеничных полей с козьей мордой и васильковыми глазами. Никитин бросил косу и направился к речке. Над желтыми кубышками и черными корягами поднимался туман. Никитин разделся, нашел место поглубже. На берег он выходил, ознобно передергиваясь, чувствуя, как сквозь поры сочится водочный дух, — в спиртовом облаке он поднялся вверх, энергично взмахнул руками.

На какое-то время купание принесло облегчение. И он с бодростью взялся пластать зеленый строй трав, словно очерчивая себе круг, но за скошенной травой поднималась другая, и он уходил все дальше, и никакого круга не получалось, позади тянулась остриженная полоса, и рядом лежал зеленый вал.

Надо было поскорее заканчивать и отправляться с Иваном на поиски. Кто и где может принять его с семьей? Никитин этого не знал. Но что-то надо было делать.

Неужели Иван будет жить здесь?

Несколько лет он молчал, ответил на первые два письма Никитина — и смолк. И Никитин оставил попытки дозваться. Что за наивное желание длить дружбы детства, инициации. Меняются обстоятельства, изменяются люди.

Правда, у этой дружбы был терпкий вкус солдатчины и опасности, — она холодила плохо выбритую щеку, опасность, порошила в глаза пылью, тихо посвистывала или пела муэдзином с глиняной стены. Это была дружба замурованных на два года — почему же на два? в любой момент все могло закончиться раньше. Никитину повезло попасть в артиллерийскую батарею, они били по горам и крепостям издалека. Костелянец с разведротой входил в дома и пещеры, плутал по нескончаемому лабиринту, где любая тень могла обернуться ангелом смерти, бородастым ангелом в грязной чалме и остроносых калошах на босу ногу.

Познакомил их Витя Киссель. Он сразу прилепился к Никитину, как только оказался с ним на пересылке в Кабуле. Невысокий, темноглазый, бледный Киссель выглядел инопланетянином, несмотря на полтора месяца, проведенные в учебном лагере в Туркмении.

Да они все там были не в своей тарелке, что говорить. Но все же кто-то держался увереннее, кому-то был понятнее, ближе язык, кондовое наречие, забористое «эсперанто». Детям подворотен, рабочих окраин было все-таки намного проще, они возросли на драках и опасных предприятиях. Никитин тоже через все это прошел, но жестокий опыт детства не перешиб в нем врожденной мягкости, склонности к лирическому взгляду на мир. Это Киссель сразу почувствовал — и начал курить душераздирающие бесплатные махорочные сигареты «Охотничьи», чтобы посидеть рядом с Никитиным в курилке: он у Никитина и просил закурить. Никитин с сомнением взглянул на бледно-зеленоватое лицо в синих прожилках и все-таки дал сигарету. Киссель сразу ее облизнул, неумело зажав губами, чиркнул спичкой, глотнул клуб удушливого дыма и вылупил глаза.

И так у них и повелось: Никитин идет в курилку — и тут же появляется Киссель, отважно закуривает термоядерную «Смерть на болоте» (все те же «Охотничьи»: на пачке изображен мужик в кепке, отстреливающий дичь), и они говорят о прошлом, осторожно гадают о будущем. Киссель оказался вдумчивым и все запоминающим собеседником. Это Никитина удивило, он помнил какие-то незначительные подробности из предыдущих разговоров. Сам Никитин был слишком озабочен своими чувствами, мыслями, переживаниями от вновь увиденного — ведь это были первые дни в Афганистане, — чтобы хорошенько слушать кого-то.

За три или четыре дня на Кабульской пересылке они подружились. Хотя Никитин еще все-таки всерьез не считал Кисселя другом, даже товарищем, — так, знакомый, попутчик. А Киссель глядел с дружеским чувством.

Никитину пришлось пару раз мягко остановить таких же, как он и Киссель, новичков, пытавшихся уже «кантовать» Кисселя: один приказал принести воды, другой не хотел возвращать авторучку. «Где он тебе сейчас возьмет воды?» — спросил Никитин у первого. Тот нагло ответил, что на кухне. «Ну да, и получит черпаком по черепашке». Воду в неурочное время не давали. Только вечером — отвар верблюжьей колючки вместо чая. Ну, ленивец ужинать пошел сам, там и напился. А шариковую ручку Никитин попросил у второго как бы для себя, чтобы записать что-то, — и действительно записал адрес Кисселя: 198903, Ленинград, Петродворец, ул. Юты Бондаровской, д. ... кв. ... — но ручку вернул хозяину: «Кстати, Витя, твоя».

Удивительно, как быстро рабы забывают страдания своих рабских душ.

Воистину азиаты стали подобны египтянам...

Воистину вскрыты архивы... Расхищены податные декларации. Рабы стали владельцами рабов. Они входят в великие дворцы... Мясники сыты, благородные голодны. Это свершилось, смотрите: огонь поднялся высоко.

Тот, кто был посыльным, посылает другого. Кто проводил ночь в грязи, готовится себе кожаное ложе...

Что изменилось за две с чем-то тысячи лет?

Праздный вопрос.

За ответом надо отправляться в казарму, еще хуже — на войну.

С Кисселем их забрали в один полк, но там раскидали по разным подразделениям, Киссель попал в танковый батальон, Никитин — в арtdивизион. Иногда они случайно сталкивались где-нибудь в центре полкового глиняно-деревянно-брезентового городка, возле магазина в очереди, возле почты. Киссель был черен и худ, в заляпанной мазутом форме, в чьих-то старых кривых сапогах, он слабо улыбался прокуренными зубами, потирал руки в синяках и ссадинах и рассказывал, что ему пишут из Питера, из этого города прохладных вод, строгих белых ночей, сквозь которые куда-то дрейфуют культурные памятники: а мы жуем песок и никуда не движемся, — на дне.

Да, первые дни, недели были абсолютно пространственны, время, как жилку, чья-то твердая рука выдернула из ткани мира, осталось одно пространство. Раньше пространство отождествлялось с Богом, и только в какой-то его части билось время — в месте невечного бытия людей. И вот сбылись мечтания визионеров и каббалистов: настало одно пространство. И мы лежали на его дне. Совершали какие-то бессмысленные движения.

Теперь, сверх зеленых деревенских дней, это представляется застывшей гигантской воронкой солнца и пыли, сквозь которые едет физкультурник полка в красном трико, рядом с ним на броне люди со связанными руками и замотанными материей от чалмы лицами, а может быть, уже и не люди, странные существа, куклы с черными бородами, в которых запеклась кровь и запутались соринки. Их везут в гору. На коленях физкультурника автомат.

Киссель познакомился с Костелянцем в санчасти, куда ходил каждый день с загноившимся ухом. А Костелянец торчал там после скорпионьего укуса: прилег отдохнуть на земле. Костелянца лихорадило, и два дня он как бы плавал в грязном горячем бассейне, задыхаясь от зловонных испарений, — а потом вдруг все куда-то исчезло, и он лежал на мраморном дне, глядя, как мимо проползают черепахи и ящерицы и откуда-то струится чистый песок. И потом как будто ударили в огромный серебристый гонг — и он выздоровел.

Костелянец считал это происшествие символическим. Он писал стихи. В общем, еще достаточно глухие и смутные, он сам это понимал и надеялся, что здесь произойдет переворот, взрыв дремлющих соков. И он декламировал после санчасти: «И жало мудрья змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой...» — «Кажется, там были замерзшие?» — «Ну и что, у меня уста замерзали... Настоящая проблема в другом: я не знаю, куда пристроить жало скорпиона».

...Никитин остановился. В траве сидел серый птенец, разевал желтый цветок рта. Выглядел он бесстрашным. Никитин оперся на косовище... как на древко копья, в котором замешены хлеб и вино. Когда-то Костелянец упоминал этого грека, поэта-солдата, дезертира. Как его звали, Никитин не помнил.

— Э, да ты совсем ничего не накопил!

Никитин поднял глаза. От реки шел в полосатой пижаме Карп Львович, на плече нес косу. Был заспан, хмур.

— Что смотришь?

Никитин сказал, что Карп Львович странно одет...

— Не разбудили вовремя, некогда мне было переодеться. Давай брусочек.

Никитин протянул брусочек, тот взял его, зажал косовище под мышкой и несколько раз шоркнул по лезвию. На школьной усадьбе он вообще не косил — и не обижался. А тут вдруг его заело. Карп Львович был слож-

ный, переменчивый человек. Ухо с ним надо было держать остро. Ладить с ним умела Елена Васильевна.

Никитин шел следом за Карпом Львовичем и думал о греке, о том, что в его поступке не было никакой высокой идеи, дезертиры новой эры уже были лучше вооружены... Хотя позже сами христиане относились к пацифистам с презрением и прославляли образ рыцаря-христианина, как, например, К. С. Льюис; его работа «Христианское поведение» попала в какой-то журнал, он ее внимательно прочитал. Надо сражаться и не стыдиться этого, призывал автор. А известную заповедь он перетолковывал так: это неточный перевод, в греческом языке есть два слова, которые переводятся глаголом «убивать», но одно из них означает просто «убить», а другое — «совершать убийство». Это не одно и то же. Убивать не всегда означает совершать убийство, равно как и половой акт не всегда прелюбодеяние. Так вот, надо бы переводить известную заповедь следующим выражением: «Не совершай убийства». Можно ли убивать и при этом не «совершать убийства»?

...Но почему грек не мог знать индийских идей? Да и Сократ уже сформулировал золотое правило: не причиняй зла ближнему. В Китае то же самое говорили Конфуций, Лао-Цзы.

Но, пожалуй, никто не дошел до индийского предела.

Вот, например, последователи одного из Нашедших брод, джайны, не занимающиеся крестьянским трудом, питающиеся, как мыши, зерном и фруктами, надевающие марлевые повязки, чтобы ненароком кого-нибудь не съесть, и подметающие землю перед собой, чтобы случайно кого-нибудь не раздавить.

За косою бежал бесконечный зеленый прибор. Нырнувший в заросли трав птенец больше не попадался.

Что бы делали джайны на севере? в Гренландии, на Аляске? Даже здесь?

Никитину вдруг представилось шествие трех миллионов — а их столько — джайнов среди камней и торосов, по березовым болышкам — в Индию. Они всегда нашли бы свою Индию.

На полянах появился рыжий сын Никитина с каким-то свертком.

— Что это? — крикнул издали дед Карп.

— Бабушка прислала, — ответил Борис и положил пакет на вал скошенной травы. Дед был хмур, и внук почел за лучшее не приближаться.

— Ладно, беги, — разрешил ему Никитин-отец.

Мальчик вернулся к реке, склонился над водой, высмотрел камешек и вынул его. Переливавшийся в воде багряно-фиолетово-зеленым камешек сразу потускнел. Он выбросил его, нацелился на другой. Этот был чисто бел, словно не растаявшая с зимы снежинка. Он аккуратно достал и его. Мгновенная перемена! Камешек оказался грязным, серым... Кто-то прыгнул в воду, он вздрогнул, посмотрел. В чистой воде плыла крупная лягушка, в глазах прокатывались солнечные волны.

— Посмотри, что там, — распорядился Карп Львович.

В пакете были рабочие штаны и рубашка.

— Вот еще! — сказал Карп Львович. — Буду я возиться.

— Но все равно придется переодеться, — напомнил Никитин. — Не здесь, так дома.

С надменным лицом Карп Львович снял пижаму. У него были неширокие, но округлые плечи, загорелые по локоть руки, широкие в запястьях, а бицепсы и мышцы груди уже дряблые, отвисший живот; на голени уродливый след как бы от раскаленного клейма.

— Я вижу, ты устал, — сказал Карп Львович. — Это моя теща за один вечер и одно утро все скашивала. А мы повозимся. — Карп Львович хмуро взглянул на Никитина: — Ладно, пошли завтракать, похмеляться. Друг ждет. Мастер пишущих машинок...

Карп Львович первым вступает в проход между высокой крапивой, спускается в зеленую, испещренную солнечными бликами тень реки, сни-

мает обувь. Вода пузырится вокруг белых икр. Карп Львович сдвигает шляпу на затылок, окунает косу в воду, чтобы смыть налипшую траву. Металл сверкает золотом под водой в солнечном блике.

В столовой шумно и весело. Выбранный Костелянец что-то рассказывает сестрам. Темная Ксения смеется, ее глаза прозрачны и блестящи, на скулах пятна румянца. Костелянец улыбается — губами. Вокруг стола крутятся дети, норовят что-нибудь схватить. Темная Ксения и белокурая Ирина на них шикают, завтрак еще не готов. О ножки стола и загорелые ноги сестер трутся кошки. Елена Васильевна у печи. Вдруг одна из кошек противно взвизгивает — ей кто-то отдал лапу.

— О господи, кошки!.. — восклицает белокурая Ирина.

— А ну пошли! — гонит кошек Елена Васильевна, схватив мухобойку.

Кошки разбегаются кто под стол, кто в закуток между холодильником и стеной.

— Бабушка! не бей их! — кричат дети.

— Пусть мышей ловят! — отвечает Елена Васильевна. — А не путаются под ногами.

— Лена, слушай детей, — говорит ей Карп Львович, усаживаясь на свое место у буфета, возле этажерки, под картиной. Он оборачивается и срывает вчерашний листок календаря. Открывает дверцу буфета, звенит пузырьками, шуршит бумагой; заглядывает на полки с тарелками, в банку с солью, роется в старых газетах и журналах... Вскоре все рыщут по дому: внуки, дочки, Елена Васильевна. Карп Львович сердится. Очков нет как нет. Никитин предлагает свои услуги. Карп Львович колеблется — и все-таки прячет листок в выдвинутой ящик этажерки, сам почитает, когда найдутся очки. Карп Львович объясняет Костелянцу, что это с ним постоянно происходит, *кто-то* с ним играет: то брючный ремень исчезнет, а через некоторое время объявится на самом видном месте, то городская шляпа, та, в которой он ездит за пенсией, — и вдруг идешь, глядишь, а она висит на калитке; не говоря уже об инструментах... Все посмеиваются. Карп Львович сурово глядит на домашних.

— Подожди, я тебе еще не то расскажу, — обещает Карп Львович, пытливо вглядываясь сквозь катаракту в смуглое сероглазое лицо Костелянца. — Какие случаи происходят.

И лицо его плывет в мягкой улыбке, глаза тепло синеют.

— В тебе, Ваня, есть что-то... незряшное.

Темная дочка Карпа Львовича быстро и пронзительно взглядывает на Костелянца и опускает глаза, ее тонкие губы подрагивают в улыбке, она продолжает молча резать хлеб. Длинные пальцы смахивают крошки в ладонь. Белокурая Ирина расставляет тарелки. Карп Львович достает из-за стекла стопки, звучно звякает ими, ставя на стол, и подмигивает Никитину, Костелянцу. Костелянец, не выдержав, глухо лает-смеется. Никитин уже заметил, что он становится нетерпелив и неспокоен, когда дело пахнет выпивкой.

Во рту вдруг появляется вкус верблюжьей колючки.

Елена Васильевна водружает на середину стола чугунок с картошкой.

— Почему без тушенки? — спрашивает Карп Львович.

— Вся кончилась.

— Ну а водочка-то есть еще, — тут же подхватывает он, — в погребах?.. Раз уж пошел черт по бочкам!

6

Теперь уже Никитин растянулся на раскладушке — отдохнуть после косьбы — а Костелянец сидел, привалившись к черной стене бани.

Ксения снимала белье над лужайкой. Костелянец, покусывая травинку, смотрел на нее. В бестрепетном небе снова хаотично летали ласточки, где-то громко ругались колхозницы, кричали петухи.

— Извини, — сказал Костелянец. — Чьи это дети, что-то я не запомнил. Никитин обернулся. На угол дома вышли белянки в разноцветных платицах, с любопытством глядели на них, о чем-то перешептывались.

— Ксенины.

— Но она же темная, а девочки...

— В отца.

— Где он?

Никитин хмыкнул:

— Он в любой момент может приехать, Москва рядом.

— Не надо хамить, — сказал Костелянец. — Я просто интересуюсь окружающими. И ты же знаешь мой вкус... Пойдем в магазин?

— Тебе мало?

Костелянец полез за сигаретами, протянул было пачку Никитину, но спохватился.

— Забыл. Да-да, — пробормотал он, прикуривая, с наслаждением прикрывая глаза. — Хотя... я-то думал, честно говоря, что мы по старинке раскумаримся.

Никитин покосился на него:

— В каком смысле?

— В прямом, дружище.

— Не понял.

Костелянец усмехнулся:

— Ты думаешь, я забыл, с кем ты прокурил свои ботинки? Долг платежом красен. Свернутый план действий в моем каблуке.

— Ты же мог попасться.

— Четыре тысячи верст фатального везения, — откликнулся Костелянец. — И, оказывается, зря.

— Ты можешь закопать это.

— Чтобы в этом саду вырос прекрасный белый цветок?

— Белый?

— Ну да. Или розовый. А может, даже фиолетовый.

— Ты же знаешь...

Костелянец кивнул.

— Я тебе всегда удивлялся, — сказал он, прикуривая новую сигарету от старой.

Никитин молчал.

— Принести вам квасу? — крикнула Ксения, остановившись на дорожке с охапкой белоснежного белья и глядя на них из-под руки.

— Нет, — сказал Никитин.

— Пожалуйста! — крикнул Костелянец. — Знаешь, что меня удивляет? — тут же спросил он.

— Мм? — промычал Никитин.

— Что в этот сад вход свободен.

— А?

— Нет сторожа с вращающимся мечом.

В кустах задралась воробья, Никитин приподнял голову:

— Думал, кошка.

— С твоего позволения продолжу ассоциативную цепочку. Помнишь историю, которую рассказывал Киссель? Про Ури Геллера?

— Фокусника?

Кто-то шел по траве. Никитин посмотрел. Это был его сын Борис, синеглазый и белокожий, как мама, толстощекий, лобасто-серьезный. Он нес банку с мутным хлебно-яблочным квасом.

— А где же тетя Ксюша? — спросил Костелянец, принимая банку.

— Ее дед заставил мыть пол, — сказал Борис. — А бабушка с мамой ушли за речку ворошить сено. И мы сейчас пойдем.

Борис не уходил, глядел исподлобья.

— Смотри, тебя забудут, — сказал Никитин.

— Сам знаю где.

— Может, ему и неохота, — возразил Костелянец. — А, Борь?

— Как сено высохнет, дед лошадь возьмет, Голубку, — быстро ответил Борис и облизнул губы.

— А, ну тогда, конечно, надо спешить.

— А вы?

— Да, видишь, твой папаша — Обломов-на-раскладушке, его не свернешь.

Борис потоптался, вздохнул:

— Я пошел.

Костелянец приложился к банке, предложил Никитину, тот отказался.

— Не любишь?.. Квас.

Никитин взглянул на Костелянца.

— «Все снится: дочь есть у меня...» — пробормотал Костелянец. — Что это ему взбрело: дочь? Обычно ждут сына. У него так и не было детей?

— У кого.

— У Бунина.

— Тебе лучше знать.

— Бунину снилось, а у меня есть: глаза немного раскосые, волосы черные... Не понимаю Бунина. Мне понятнее знаешь кто?.. Хармс.

— У него полно было сыновей?

— Нет. Он обожал только молодых и пышных женщин! Остальное человечество вызывало подозрение: старики, старухи и особенно дети... Но твой Карп Львович душевный старик. Почти всегда вовремя наливает.

Оба надолго замолчали.

«Дядя Игорь!.. дядя Игорь!..» — послышались голоса.

Напрямик через грядки бежали белянки, Борис шел позади.

— Что такое? — спросил Никитин, отрывая отяжелевшую голову от брезента.

— Опять Чернушка!..

И одна из девочек раскрыла ладони, показывая зеленоватую птицу с подогнутыми лапками. Она медленно мигала.

— Вот тут под крылом ранка.

— ...Где?

— Принести перекись?

— Ну, несите.

— Я уже несу, — солидно сказал Борис, показывая пузырек.

Костелянец, курия у стены, наблюдал за происходящим.

Никитин сел на раскладушке, ему дали вату, пузырек. Глаза детей сузились, губы поджались, на лбах проступили морщинки. Они внимательно глядели, как Никитин подымает серое крылышко, смачивает перекисью водорода ватку и прикладывает ее к ранке, отпуская крыло. Птица очень медленно моргает. Иногда ее черные глаза на несколько секунд остаются прикрытыми серой пленкой, но она снова их открывает, и солнечные точки снова горят в черных сферах.

— Куда ее отнести?

— Куда-нибудь на липу.

— Там ее Чернушка и сцапала!

— Тогда вон в те кусты.

— А Чернушка?

— Ну закройте ее.

— Кого?

— Кошку. Или даже лучше птицу, куда-нибудь в шкаф. Положите в корзину. Сверху марлей накройте, чтоб не задыхнулась.

Процессия детей удалилась, Никитин громко высморкался, вытер руку о траву.

— Черт, кажется, простыл.

Костелянец молчал у стенки. Никитин взглянул на него. Костелянец подумал, что эти взгляды исподлобья у них с Борисом совершенно одинаковые.

— Послушай, — сказал Костелянец, — ты так и выступаешь, да? Прямо вотходишь в класс, а? Здравствуйте, запишем новую тему? И они ничего? Склоняют головы к партам? Языки набок от усердия?

Никитин пожал плечами.

— А ты их бьешь? Ну, указкой? Или мелом в лоб? Если кто-то зарвется.

— Иногда приходится. Гаркнуть так, что стекла звенят.

— Иногда?! — Костелянец восхищенно пускал клубы дыма. — Игорь! Я всегда думал, что ты из какого-то другого теста!

Никитин поморщился.

— Клянусь. Ты же знаешь, — сказал Костелянец.

— Мы все немного другие. Вспомни Кисселя.

— Киссель!.. Витя был ребенком. Фокусы, а?.. Сгибал вилку, как Ури Геллер, и поранился. Этот-то Геллер получил озарение. В саду. В Иерусалиме. Узрел огненный шар — начал загибать ложки и ломать часы взглядом.

— Не ломать, а чинить. Он запускал старые часы.

— А наш Киссель умел только ломать. Разбил банку. Почти половина еще оставалась, а? Чистейшего первача, алхимик Святенко выгнал, и я, сподручным будучи, позаймствовал толику. Он мог бы меня убить, Святенко, морда, кус сала, ус до плеча. Но мы же решили им всем противостоять? И это была первая акция неповиновения — причаститься огненной влагой: сахар и дрожжи равняется огонь. Там было градусов семьдесят.

— И, наверное, столько же в воздухе.

— И мы стали как три ангела, чуждые всему. Особенно на ангела смахивал Киссель. Это его тонкое лицо, длинный нос, жилки и глаза с древней тьмой. Я и сейчас помню это вдруг возникшее впечатление: что вот мы опустились на краю полка, у мраморной стены возводимого сортира, откуда-то нас выбросило, мы успели наглотаться огня, пока один не стал жонглировать камнями, и отправились осматривать этот пылью и мондавошками занесенный город — город Печали, город Глупости? Помнишь, гадали, что это за город по классификации Чистых братьев из Басры? Город Похоти. Город Страха. И тут-то Витя возвел на нас влажные ослиные очи, в которых мерцали солнца Востока, и сказал, что это Иерусалим Коммунизма. Накопец-то построили! Ты помнишь этот душераздирающий эффект?

Конечно, Никитин помнил. И сейчас, лежа на раскладушке в тени сада, он увидел это как бы сверху и издалека: троих в одежде цвета выжженной солнцем земли, бредущих краем города из брезента, цемента, дерева и прекрасного белоснежного мрамора с аквамариновыми прожилками. И на солнце сияли металлические полукруглые ангары столовых. Город был обнесен невидимыми стенами, напряженной тишиной, о которую иногда ушибались тушканчики или вараны, а как-то ночью в эту цитадель уперся обкурившийся свой: проломил голову, ступни разлетелись в разные стороны, да еще отовсюду брызнули сверкающие очереди. Нельзя ходить, где нельзя. Или летать. Ведь по обкурке ему могло и такое поблазниться. По крайней мере самому Никитину однажды почудилось, что он шагает слишком широко, гигантски. Но ему хотелось нормально ходить, без вывертов, и ценить простые вещи, — если вдуматься, они не менее интересны, чем бредовые образования, мыльные пузыри, которые иногда запекались кровавой, черт, пеной.

Никитин метнул взгляд на Костелянца. Ему уже не хотелось спать.

— А! я вижу, ты ожил, мой друг, — сказал Костелянец. — Может быть, ты сходишь все-таки в «погреб»? И мы выпьем за Кисселя. Наверное, он стоит, как ангел, с автоматом у входа в иерусалимский сад.

— Нет, пожалуй, надо пойти за речку, — возразил Никитин. — На сено. Тещу прогнать домой, ей нельзя долго на солнце. А ты отдыхай.

— Я вижу, тебе неприятно вспоминать подвиги Грязных братьев из Газни?.. Да! а ведь это ты предложил, когда мы стали придумывать. И это было то, что надо. Именно грязные, а какими же еще мы могли быть там, в Иерусалиме Коммунизма? В этом была диалектика, дружище. Предполагаемое движение, возвышение. И вам с Кисселем это удалось.

— Если и удалось, то одному ему.

— Нет-нет, не спорь, я же знаю, что говорю... Но какой был порыв? Разве забудешь вторую акцию: три газеты против бешеных собак, сраных дедов «Душу к бою!». Как гениально мы обыграли этот обычный приказ. Душу к бою! Как плоско шакалы мыслили: для них это грудная клетка, и в нее надо ударить на уровне третьей пуговицы.

— Между второй и третьей.

— И они взбеленились. Как это, вызывая душу к бою, ты вызываешь душу вообще, душу человеческую, в том числе и душу твоей матери, твоих уже мертвых предков?

— У нас затеяли спор.

— Ну, артиллеристы, богема войны. А у Кисселя в клочья разодрали газету и только после долгого дознания выяснили, что автором был Киссель. Как?! У них в уме не укладывалось — как это? этот тщедушный жид способен на сопротивление? Они от изумления даже бить его сразу не стали. Мне Каюмовы решили набить большой заслуженный орден. Награждение должно было быть показательным, но тут в дело вмешался Зимовий — ты помнишь его масленую рожу, гладко зачесанные волосики, вкрадчивый голос? Ему бы Порфирия Петровича играть. Он как-то моментально пронюхал. Тут как тут. Кто-то у нас стучал. И его это чрезвычайно заинтересовало. Не дедовщина, это мелочи. А общее звучание «боевого листка». Он услышал в этом что-то такое уже менее безобидное, чем просто выступление против шакалов. Мы с ним мило беседовали. Вас я не сдал, хотя он и допытывался, что это означает, эта подпись «Грязный брат», — мол, не пахнет ли тут организацией, где один брат, там недалеко и до целого братства. Шутил, не лучше ли было написать «Нечистый». Ну а потом перешел вплотную к метафизике: что есть душа? Он бы еще спросил: что есть истина? Пф! — Костелянец пролаял-просмеялся сквозь дым. — А впрочем, возможно, это один и тот же вопрос. Ну а что я мог ему тогда ответить?.. Или сейчас? Спрашивать надо у Витьки Кисселя... А там в учебниках по этому поводу ничего новенького?.. Послушай, а что ты им рассказываешь об этих событиях?

— То, что в учебнике.

— А в красках? детально?..

Никитин покачал головой.

— И что? Они не лезут с расспросами?

— В школе не знают.

— А? Хм. Но как ты получил квартиру?

— Кооперативная, ее нам купили родители жены.

— А я получил льготную. Две комнаты. Почти в центре. Вид из окна. Горы, рощи... Но они пришли. — Костелянец замолчал. — И мне сдается, — продолжал он, — что они и сюда придут... Кстати, ты не знаешь, чем закончилось в Оше? Закончилось?..

— Мне некогда смотреть телевизор, — сказал Никитин. — Да и вообще... Ответь на простой вопрос: когда ты приехал?

— Не понял?

— Да нет, просто вспомни.

— Это намек?

— Ну ты же знаешь, что нет. Мы отсюда поедем вместе, что-нибудь подыщем в городе. Я задаю тебе вопрос, чтобы кое-что продемонстрировать. Ну вот сколько ты здесь?

Костелянец удивленно поднял брови.

— Не помнишь точно? Потому что здесь особые условия, время изменяется, замедляется. В деревне царствует не Клио, а Урания... Скоро наступит время для наблюдений за звездами — божественный август. Исчезнут комары, спать можно будет под открытым небом.

— Короче, здесь ты отключаешься от уроков истории.

— Да.

— А тут как раз я. Как Гермес, только сандалии бескрылые. Впрочем... А? Одно крыло есть. — Костелянец глухо засмеялся. — Я так и остался Грязным братом! То есть уже, наверное, и не братом... а так, грязным одиночкой. Братство начало рассыпаться еще там... Но все-таки это был благородный порыв? Зимовий меня тогда прокачивал насчет пацифизма... Но я думаю, знаешь, в пацифизме на самом деле есть какое-то блядство. Мы хотели сопротивляться, но мы не были пацифистами. Зимовий меня раскалывал, а всего через пару месяцев прибыло пополнение, и среди них Д., артист балета. Лошадиное благородное лицо, бакенбарды, высокий, волосатая грудь, ему уже было двадцать шесть, когда его наконец-то выловили и загнали не просто в армию, а к нам. Артиста балета! Ты бы видел, как он держал автомат. Как змею двухметроворостую. И он ничуть не смущался. На его лошадином лице всегда было выражение безразличия, какой-то, знаешь, английской безразличности. Он был старше ротного, остальных офицеров. Он смотрел на них с какой-то отеческой укоризной. Поразительно! Они тут в песках как тарантулы, в каждом взгляде — смерть. А этот парень, танцор из пензенского или какого там балета, ведет себя так, словно он Папа Римский, приехал инспектировать африканских людоедов. И — самое интересное — ни ротный, ни остальные офицеры его не сбрили, как прыщ. В нем было что-то непосредственное, даже обаятельное. Высокомерие, граничащее с хамством. Он называл себя толстовцем и гандистом с пеленок. И ни у кого не шевельнулась даже мыслишка взять его хотя бы на одну операцию. Такой экземпляр.

— Был агентом Зимовия?

— Не знаю, — ответил Костелянец. — Но одну вещь мне Вася Шалыгин рассказал. Д. удовлетворил его, когда мы ушли за Сарде. Шалыгин еще спал, не понял, в чем дело. Молодые ушли получать завтрак, в палатке никого, жарко было, спали под одними простынями, по утрам — «флаги на башнях», как это называл лейтенант Сипцов. Д. проснулся, увидел и не удержался. И делал он все это с тем же благородным выражением лошадиного лица. Так что теперь, когда я слышу пацифистские речи, то сразу вспоминаю Д., эдакого английского лорда, танцующего канкан в палатке поутру, когда на всех башнях белые флаги.

— Опереточный тип, — заметил Никитин.

— Да, — согласился Костелянец. — Но ты же знаешь, что бывает, когда замешкается какой-нибудь мудила. В феврале у нас тоже мешкали. Сейчас в Оше... Э-э, ну ладно, затыкаюсь. Но мы, Грязные братья, никогда не были пацифистами, просто не хотели быть страстными солдатами. Как будто это возможно.

— Ты думаешь...

— Конечно!.. если ты сидишь за пультом под Москвой. Если ты... Но и повара варили эту кашу. И артиллерийские топогеодезисты. А мы ее разглядывали на створах, в арыках, на дувалах, гилянды на ветвях.

— В греческом языке... — начал Никитин.

Костелянец уставился на него:

— Что-о?

— В греческом языке...

Костелянец заулыбался.

— Нет, послушай. В греческом...

Костелянец взорвался, согнулся у стены. Никитин озадаченно глядел на него:

— Ваня, ты что, вскрыл каблук?

Костелянец вытер слезы, отсмеявшись, покачал головой:

— Нет!.. Ты думаешь, я привез дешевку? чтобы поржать? Это млеко сонных крошечных полей... Но здесь, мне кажется, не место и не время. — Он вздохнул. — И пора уезжать. Тем более, что, как ты говоришь, в любой момент может нагрнать москвич. Ты же заметил, что наши взгляды переплетаются, как мокрые нежные стебли... хотя она и не совсем в моем вкусе. Но здесь столько укромных мест: сад, баня, сеновал. Я выходил ночью. Как пахнет. На колодце напился воды. Прихлебнул из недр русских. А? Из меня иногда еще выскакивает... как пружина из старого дивана. Я хотел сказать, что завидую тебе. То есть удивляюсь. Ты меня всегда удивлял. Я не представляю, что со мною было бы. Ну, ты понимаешь. Киссель был ребенок. Хотя и в тебе что-то детское. Ты похож на своего сына. Я тебя побаивался. После Кандагара перестал заворачивать к вам. Ты не все еще знаешь. Меня бы вытошнило, извини. Стоит вспомнить разговоры на ночной дороге к полку. Мучительные рассуждения о... о... к-красоте! — выпалил Костелянец и залаял-засмеялся. — Она в нас или вне нас?.. Я потом думал, честно говоря, что это по обкурке пригрезилось. Вот уже в Душанбе вспоминал. И вдруг меня дернуло: были какие-то разговоры... Я, конечно, не поверил. Потом — откуда-то вывалились листки, я же там записи вел! Читаю. Да. На ночной дороге к полку от батареи. О чем же еще рассуждать? О чем могли рассуждать Грязные братья?.. И ты зацепил какого-то знакомого в Союзе, он отвечал глубокомысленно Сократом и даже нарисовал памятник-уродину жертвам Хиросимы и спросил: ведь это сооружение прекрасно? Оно безобразно, но прекрасно.

Никитин потянулся к банке. Костелянец подал ее. Никитин прихлебнул кислой водицы, выплюнул черную бусинку гвоздики.

— А где сейчас этот корифей?

— Эмигрировал, — ответил Никитин.

— Что-о?

— В Германию, он хороший детский врач.

— Немцы молодцы... А я тоже эмигрант. Сразу это почувствовал в Москве. Уехал бы дальше. Но где и кому я нужен?.. Послушай, принесешь ты гостю выпить? или мне самому пройти по деревне?

— Ну хорошо, — ответил Никитин. Он встал. Раскладушка тщедушно хрипнула.

Костелянец поощрительно улыбался. Никитин пошел в дом. Он застал Ксению выходящей за калитку, она была в косынке, в светлом платье, ослепительно загорелая. Она сказала, что все на сене. Никитин кивнул и признался, что идет за бутылкой.

— Ну, ты знаешь, откуда достают, — сказала она и улыбнулась в сторону сада.

В комнате были сырые прохладные полы. Из спальни доносился храп Карпа Львовича. «Все» к нему не относилось. Точнее, он не относился ко всем, он был самодостаточной фигурой. Дед Карп, пенсионер, фронтовик. На фронте ему прижгло щиколотку. После войны его потаскали в местную Лубянку. Посевная не посевная — им какое дело? у них своя нескончаемая страда. И Карп Львович собирался — ну как тогда собирались по вызову в это заведение? Это даже нельзя сравнить с уходом на фронт. Добирался до города и садился под лампы и перекрестный допрос, чтобы еще раз рассказать, как и почему он попал в плен и где, сбежав, обретался, сколько провел времени в партизанах и как влился в ряды действующей армии. И ему тоже хотелось устроить допрос: как и почему их, курсантов военного училища, под Москвой бросили безоружными? куда подевалось

начальство? Их взяли почти без стрельбы, сбили в колонну и погнали куда-то, конвоиров четверо — не больше. И только двое из пленных решились в вечерних сумерках скрыться под мостом — Карп и друг его, но, впрочем, уже на второй день друг одумался: кругом немцы! куда идти? что жрать? — и вернулся. Карп шел один, ночуя в лесных ямах, питаюсь молодой пшеницей... Но разрешалось только отвечать на вопросы, прилипая штанами к казенной табуретке под лампами и орлиными взорами. Пока так. Другие уже отвечали жизнью в бараках. А кто-то на обратном пути сворачивал в лесок, накидывал на сук ремень. Карп Львович неизменно возвращался. Соседи из окон глядели. Он закуривал папиросу и, прищурясь, шагал мимо плетней. Дома хватался за работу. Крушил колоды, таскал дрова, из лесу на себе носил стволы. Поздно вечером садился за стол — и не мог ужинать, засыпал сидя... Елена Васильевна боялась будить.

Никитин приподнял белую длинную занавеску, пущенную понизу высококой кровати, на которой почивала еще Екатерина Андреевна, достал из-за пыльных потертых чемоданов зеленую бутылку с серебристой пробкой, сунул в карман. Закрывая дверь, увидел внезапно свое отражение в зеркале на стене, висевшем в черной громоздкой раме, как картина... Ему неожиданно припомнился какой-то армейский сон. Воспоминание было слишком смутным, неотчетливым.

Он постоял еще, слушая тиканье часов и приглушенный храп Карпа Львовича, капитана этого судна с железной крышей и еловой мачтой.

Мгновенье назад меня не было здесь.

Странное ощущение. Увидев свое отражение, он как будто пропал. Или подумал, да, мелькнула мысль, что он находится в будущем. А настоящее плавится, дрожит пыльным воздухом, оседает на губах горечью колючек, металлически сияющих гранями на буграх степи.

И где-то в отдалении его ждал неизменный сотоварищ по тоске, он где-то сидел, прислонившись к саманной стене, может быть, набрасывал что-то, приладив листок на колене... Как бы там ни было, а они с Кисселем им восхищались. И все новые вещи встречали с энтузиазмом, уже, конечно, ничего не вспомнишь, но одно было в античном духе: о кромешных полях, где ночные тюльпаны срывает розоперстая Эос... Что-то в этом роде. Друзей продрало по спинам морозцем. Называлось «Рассвет в Александрии-Арахозии». Так в древности назывался Кандагар, основанный македонцами по пути в Индию. Костелянец там еще не бывал, просто ему понадобилось это эллинское звучание.

О Кандагаре, конечно, все знали. Кандагар был жарким местечком во всех смыслах: юг, гигантские сочные гранаты, город на границе великих пустынь: Пустыни Отчаяния, Пустыни Смерти, Регистана — Страны Песков. Этот город снова хотели сделать столицей, как в древности, духи этих пустынь. Кандагар не контролировался кабульскими властями полностью, в городе было двоевластие.

И однажды решено было провести там полномасштабную операцию. К ней долго готовились. Из Кабула прилетали высокие чины осматривать технику и живую силу. Люди и машины почти неделю торчали на полигоне, еще до начала операции измаялись. Наконец дали отмашку. Вперед, время пошло. И они поползли. Никитин не попал на эту операцию, первая батарея осталась охранять полк.

А Костелянец там побывал. И Киссель. Месяц спустя оба вернулись. Витя сразу слег, буквально на второй или третий день глаза у него стали пронзительно желтые, как у рыси, и его отвезли в Кабул, оттуда в Союз. А Костелянец долго не появлялся у Никитина. Никитин пошел к нему в полк. Но толком поговорить им не удалось. С тех пор они почему-то редко встречались. Необъяснимое отчуждение.

Киссель так и не вернулся в полк. Отболев в Союзе, он добрался до Кабула, где на пересылке его однажды утром нашли мертвым. Там же то-

мились дембеля, десантура. Что произошло, неизвестно. С героической формулировкой Витю Киссея наконец-то доставили на берега Невы. Но и Костелянцу и Никитину казалось, что он жив. Что он наколол всех, выкинул фокус а-ля Ури Геллер. Ведь они ему и желали не возвращаться, сидеть в Питере, поступать в цирковое училище и учиться останавливать обалда и самолеты. Не все возвращались, находили способы. Костелянец после похорон Фиксы заезжал домой и тоже пытался как-то зацепиться... но его тащило дальше, в Термез, от Тани, Шафоростова с рок-н-роллом (он только что купил колонки и усилитель), Слиозберга, сына геолога, дервиша в рваных джинсах, расспрашивавшего его о сакральных достопримечательностях за Оксом, — его волокло за шиворот, он потом рассказывал о всяких стечениях обстоятельств, о последней ночи, о пробуждении в своей комнате с мыслью: все, пора, конец, — и теперь-то было труднее, чем в первый раз, когда он ничего не знал и хотел судьбы поэта, Орфея, и он надевал выглаженную матерью форму и чертовски жалел о некоей Фатиме, жене знакомого по университету, оказавшегося, по ее намекам, эфебом Шипырева, у Фатимы, рассказывал он и энергично тыкал указательными пальцами в стороны от груди: торчком, и талия, как у индийской танцовщицы, а в глазах сострадание и жгучая нежность, но снова обстоятельства, проклятье, а к Тане он не смел прикоснуться, — и, в общем, так и покатил, невыспавшийся, хмурый, в Термез и там еще с неделю парился, ожидая колонну, с голодухи вдвоем с таким же бедолагой пошли ночью на склад, — тот трусил, а Костелянцу было наплевать, он знал, что любые охранники когда-то бывают беспечны, этому его научили; и действительно, сторож устал похаживать под фонарем, скрылся в сторожке, тут они и перебежали под стену склада, Костелянец приказал корешу согнуться, встал ему на спину, выдавил стекло, забрался внутрь, шарил-шарил — ничего, кроме ящиков с яблоками, надо было лезть в другой склад, но что ж, передал он ящик корешу, вылез, ящик они запрятали в степи, ходили потом жрать яблоки, яблоки были отборные, одно к одному, сочные, сладкие, но и от них в конце концов затошнило.

А потом возникла колонна. Его взял к себе водитель-чеченец, солдат. Его «КамАЗ» был нагружен углем. Колонна тронулась к реке, остановилась. К машинам шли ленивые и сытые благодушные пограничники. К ним заглянул в кабину сержант. Круглое лицо расплылось в улыбке. «Ну, возем-то чё?» Чеченец дернул головой. «Угыль-х». — «Мгм». Сержант смотрел на них. Потом сказал: «Ну, поглядим, какой уголь». Взял металлический прут. Щуп. Начал «щупать». Пять бутылок водки нашел. Заулыбался еще шире, добрее. «Ну чё, помирать трезвыми невесело, а?» — «Это ты здесь скоро сдохнешь от обжорства», — сказал Костелянец. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся пограничник и, еще пощупав, обнаружил последние пять бутылок. Чеченец потом всю дорогу переживал, цокал, бил по баранке: «А! зрия! Надо было молчать! Думаешь, мне не хотелось сразу перекусить ему здесь? — Он ткнул пальцем в шею. — Но я сказал себе: держись, там иешшо пять бутылок. А ты». Всю дорогу Костелянца сопровождала эта ухмылка пограничника, как улыбка Чеширского кота. С Ахметом они сдружились, тот на стоянках сразу добывал еду — земляки всюду были. А так бы Костелянец сдох с голоду. Русские — какие земляки? Как это у Тарковского, в «Рублеве»: я те покажу «земляк», владимирская морда!.. И косяки Ахмет добрые доставал. Правда, сам не курил почему-то.

Они шли через Мазари-Шариф, Пули-Хумри, Саланг, потом вниз, в Чарикарскую долину — сплошной сад с дувалами, башнями, — мимо Баграма, где круг замкнулся. Дальше уже на Кабул. И, конечно, ему все странным казалось. Он невероятную петлю описал в самолетах, поездах, машинах — и возвращался. Он мог бы куда-то подеваться по дороге. В Брянске его прижали блатные, думали, с побывки, мамка денег в плечо зашила, под погон, но, узнав, в каком он отпуску, отстали... Фиксу хоронил

военкомат, сам военком был, отставник был, работавший в военкомате, несколько солдат, какая-то бабка, случайный подросток. Дело в том, что Фикса оказался безродным, детдомовцем, и никто не знал об этом. Так что похороны прошли спокойно. Никто не вздрогнул, когда Фикса ткнулся в родную глину. Вот так должны хоронить солдат. Быстро, четко, без лишнего шума. Детдомовцы — наилучший контингент для всех опасных государственных мероприятий. Костелянец ехал в «КамАЗе» с Ахметом и, вспоминая весь круг, представлял вдруг себя неким военным чиновником, сочиняющим реляцию высшему командованию. Он, конечно, подустал, и от чарса все двоилось. И порой ему было смешно, что он спокойно едет, жив-здоров.

В этих местах разворачивалась драма «Шах-наме».

— Ты читал «Шах-наме», Ахмет?

Цокает.

А сейчас тут едем мы. Летаем.

— А что? — спрашивает он, поглядывая на меня, на дорогу. Сиденье скрипит.

— Кабульский шах пригласил Рустама в гости, а сам на этом пути понарыл ловушек с кольями на дне. Но Рахш, конь, умница, в опасных местах разбежался, перепрыгивал...

— Ну?

— Потом устал и в последнюю яму влетел на колья и копья. Тут где-то погиб Рустам! Но не мы.

Внизу в дымке уже лежал глиняный и каменный, зеленый, синекупольный, гигантский после всех придорожных городишек Кабул. Ахмет заулыбался.

Там мы распрощались. И я поехал с другой уже колонной дальше, в полк, я возвращался, размышляя о путях мировой литературы, и не знал, радоваться мне или плакать, что и меня, песчинку, занесло на один из них.

Тогда я еще на что-то надеялся.

Теперь мне все ясно. И я ничему и никому не верю, в первую очередь себе.

Но вот идет человек, Никитин, ему-то я верю?

Ему?

Это смотря по тому, несет ли он выпить. И согласится ли он вернуться со мной в Кандагар, на одном крыле. Мы должны еще раз это увидеть, мама.



ОЛЬГА КУЧКИНА

*

ОГЛАШЕННАЯ ТИШИНА

* *
*

Я никто, и звать меня никак,
для себя умна и знаменита,
а для вас темна, полуоткрыта,
словно дверь в подвал, где мрак.

Итак,

мрак, морока, скука и обман,
от страстей не выметенный мусор,
сумма крупных минусов и плюсов
и прекрасный капельный туман,
в каждой капле океанский глаз,
пристальная камера-обскура,
смотрит уходящая натура,
не мелеет чудных сил запас
повернуть фонарное стекло,
удлинить фитиль волшебной лампы
и пройти сквозь крыши, стены, дамбы,
в свет преобразившись и тепло.

Я останусь, узнана иль нет,
озареньем, трепетом и пылом
присоединясь к другим, мне милым,
отчего на свете этот свет.

10 августа 2002.

* *
*

Спаси моих детей, о Господи, трагична
картинка, что идет и вхожа в каждый дом.
Спаси ее детей, сегодня смерть привычна,
как воздух и вода, мы дышим ей и пьем.
Спаси его детей, пусть землю населяет
не гибель, а живых людей живая жизнь.
Я знаю, Кто на нас несчастье насылает,
и ведаю, за что, без слез и укоризн.

Здесь стыд давно забыт, и ум спекулятивен,
играет на низах бесплодно и темно,
и каждый негодяй убийственно активен,
а добрый человек молчит, глядит в окно.
Спаси!..

25 ноября 2002.

* *
*

Жили-были Алеша и Никита,
любили своих баб и пап примерно равно,
но один делал все шито-крыто,
открыто — другой и своенравно.
А папа был один в сынка — хитрый и во всем участный,
и второй в сынка — вопросами озадаченный,
один прислонялся к власти всеми местами страстно,
а второй — местами, и не всегда удачно.
Один был гимнюк, а другой — не то, что помыслили,
один скоро сгорел, а другой — долгожитель,
сирота художник горячими заряжен искрами,
сыннок-умелец удачно вписался в события.
Один любил искусство в себе, а другой — себя в искусстве,
а еще власть в себе и себя во власти,
оба поскользнулись на чистом чувстве,
вот напасти.
Ловкач использовал клаку-клоаку,
чтобы художника посильнее умыли,
а художник, как пацан, почти что плакал,
такие подлые времена были.

11 сентября 2002.

* *
*

Отчего так грохочет ночное, в себе, подсознание,
эта жизнь, что не та, эта жизнь, что не там и не с тем,
и пробиты на раз ложно краугольные камни,
а помстилось, что выстроен — выстрадан — был ряд отличных систем.
Днем казалось, что, как у людей, все почти что в порядке,
и похож на людей, и, как люди, одет и обут,
ночью видно, что это игра, это детские прятки,
впрочем, и остальные играют в нее наобум.
За обманом обман, не других, а себя, горемычных,
за атакой в атаку на немочь, и горечь, и желчь.
Мы вернемся в Итаку, к истоку, к началам привычным,
ложь, как кожу, сдерем и умрем, если нас не сумели сберечь.

18 октября 2002.

Доктор Ложкин

Доктор Ложкин по коленке никогда не стучал,
 глаз не выдавливал и не кричал,
 а, почесывая пальцем одно из двух крыльев носа,
 спокойно ждал моего вопроса
 (как избавиться от страха смерти).
 Доктор Ложкин на вопрос не отвечал,
 а, взглядывая косенько, все отмечал
 и продолжал высокопарно вещать чудное,
 поправляя очки и увлекаясь мною
 (хотите — верьте, хотите — не верьте).
 Да, да, если не верите — то не верьте,
 но однажды я проснулась, свободная от страха смерти,
 и мир протянул мне ножки целиком по одежке,
 и я подумала: ай да доктор Ложкин.
 Он был толстенький и лысоватый,
 и речь его была радостной и витиеватой,
 он говорил: ваш дар не ниже Толстого,
 пишите романы, право слово.
 Он видел, что я страдаю недооценкой,
 прижата к пространству сжатым воздухом легких,
 словно тяжелой стенкой,
 и, любя меня и меня жалея,
 он внушал мне, как манию, ахинею.
 Прошло двадцать лет. Я написала роман,
 один и другой, и за словом в карман
 я больше не лезу, а сосредоточенна и весела,
 потому что знаю, как талантлива я была.
 Доктор Ложкин женился на школьнице-секретарше,
 будучи на сорок лет ее старше,
 почесывая крылья и шмыгая носом,
 он, точно, владел гипнозом.
 Он уходил к себе в подсознание, как в поднебесье,
 доставая оттуда тайны с чудесами вместе,
 а потом вкладывал нам в подсознание
 как дар случайный.
 Доктор Ложкин, где вы, какой вы странный,
 я б вам почитала свои романы!..
 Но он, вероятно, встал на крыло
 и взмыл в поднебесье, и ветром его снесло.

14 сентября 2002.

* *
*

Мужчины и женщины тонкая связь,
 до губительной дрожи и чудного срама,
 века пронеслись, как она началась,
 а длится все так же, сильна и упряма.
 Поездка на рынок, вчерашний обед,
 случайная ссора, все жестко и плоско,
 но пола и пола начальный завет
 все преобразит с озарением подростка.
 Любовным стихом обделила судьба,
 был скован молчаньем в том возрасте пылком,

когда господина вминало в раба
и било о стену то лбом, то затылком.
Прекрасно-тяжелый был опыт испит,
от сходов трясло и трясло от разрывов,
а немотный разум болеет и спит,
и любящих Бог усмехается криво.
Теперь развязался язык. Я скажу,
что близость с обоими производит:
ты служишь мне всем, тебе верно служу,
пусть жизнь как дыханье, как крик на исходе.

20 октября 2002.

* *
*

Замирает какой-то во мне человек,
мотылек, или бабочка, или кузнечик,
летом бархатным и летним ливнем впоенный,
до последних сезонов не утоленный.
Замирает мой маленький, замирает,
замерзает и пылью морозной мерцает,
властелином колец годовых я смотрюсь, как шальная,
я с потерей внутри, а размера потери не знаю.

22 декабря 2002.

* *
*

В отеле на столе
стояли синие розы.

Распахнута дверь на балкон,
шум улицы в комнату втянут,
и синие розы не вянут
в отеле, завернутом в сон.
Неоновой буквы луна
так выбелила подушку,
что светятся пальцы под ушком,
уложены пястью для сна.
А сна ни в едином глазу,
и жалко на сон прерываться,
ведь самое тайное, братцы,
нас пробует ночью на зуб.
И вдруг как обвал — ничего.
Такой тишины оглашенной
от века не знать отрешенно,
в какую впадать для того,
чтоб вычерпать чувство до дна
любви и конечности жизни
и так приготовиться к тризне
своей за пределами сна.

18 октября 2002.



ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

*

ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК

Роман

17

ШШШ урик был убежден, что бабушка умерла из-за того дикого забвения, которое нашло на него, когда он провожал Лилию в Израиль. Его взрослая жизнь началась от темных приступов сердечного страха, будивших среди ночи. Его внутренний враг, раненая совесть, посылала ему время от времени реалистические невыносимые сны, главным сюжетом которых была его неспособность — или невозможность — помочь матери, которая в нем нуждалась.

Иногда сны эти бывали довольно затейливы и требовали разъяснения. Так, ему приснилась голая Аля Тогусова, лежащая на железной кровати своей общежитийной комнаты, почему-то в остроносых белых ботиночках, которые в прошлом году носила Лилия Ласкина, но только ботиночки эти были сильно изношены, в черных поперечных трещинах. Он же стоит у изножья, тоже голый, и он знает, что сейчас ему нужно войти в нее и что, как только он это сделает, она начнет превращаться в Лилию, и Аля этого очень хочет, и от него зависит, чтобы превращение произошло в полной точности. Многочисленные свидетели — девочки, которые живут в этой комнате, Стомба среди них, и профессор математики Израйлевич, и Женя Розенцвейг — стоят вокруг кровати, ожидая превращения Али в Лилию. И более того, совершенно определенно известно, что если это произойдет, то Израйлевич поставит ему зачет по математике. Все это совершенно никого не удивляет. Единственное, что странно, — присутствие Матильдиных черных кошек на тумбочке рядом с Алиной кроватью... И Аля выжидательно смотрит на него подведенными японскими глазами, и он готов, вполне готов потрудиться, чтобы выпустить из плохонькой Алиной оболочки чудесную Лилию. Но тут начинает звонить телефон — не в комнате, а где-то рядом, может быть, в коридоре, и он знает, что его вызывают к маме в больницу и ему нельзя медлить ни секунды, потому что иначе произойдет то, что произошло с бабушкой...

Аля шевелит остроносими ботиночками, зрители, видя его нерешительность, проявляют недовольство, а он понимает, что ему надо немедленно бежать, немедленно бежать, пока телефон не перестал звонить...

Действительность отозвалась на сон, как умела, — в почтовом ящике Шурик нашел письмо от Лили. Из Израйля. Для Шурика — первое полученное. Для Лили — последнее из нескольких отправленных. Она писала, что он очень помогает ей разобраться с самой собой. Она давно уже догадалась, что письма ее не доходят, и вообще здесь, в Израйле, никто не знает, по каким законам они циркулируют: почему к одним людям письма приходят регулярно, а другие не получают ни одного, — но она, Лилия, пишет Шурику письмо за письмом, и это дневник ее эмиграции.

«После нашей семейной катастрофы я стала гораздо больше любить их обоих. Отец все время мне пишет и даже звонит. Мама обижается, что я поддерживаю с ним отношения, но я не чувствую, чтобы он был передо мной виноватым... И не понимаю, почему я должна проявлять какую-то женскую солидарность... И вообще мне ее ужасно жалко, а за него я рада. У него такой счастливый голос. Фигня какая-то. Язык потрясающий. Английский — ужасная скукота по сравнению с ивритом. Я буду потом учить арабский. Обязательно. Я — лучшая ученица в ульпане. Это ужасное уродство жизни, что тебя здесь нет. Это так глупо, что ты не еврей. Арье на меня обижается, говорит, что сплю я с ним, а люблю тебя. И это правда».

Шурик прочитал письмо прямо возле почтового ящика. Оно было как с того света. Уж во всяком случае, оно было адресовано не ему, а другому человеку, который жил в другом веке. И в том же прошлом веке осталась прелесть прогулок по ночному городу и лекции по литературе — они были слишком хороши, чтобы стать повседневной работой. Для этого существовала раздражающая нос химия... В прошлом осталась и все укрупняющаяся от ухода из времени бабушка, в тени которой не было ни жары, ни холода, а сплошное благостарение воздуха. И здесь, между первым и вторым этажом, около зеленой шеренги почтовых ящиков, его охватило молниеносное и огненное чувство отвращения ко всему: в первую очередь к себе, потом к институту, к лабораторным столам и коридорам, к провалявшимся мочой и хлоркой уборным, ко всем учебным дисциплинам и их преподавателям, к Але с ее густыми жирными волосами с кислым запахом, который он вдруг ощутил возле своего носа... Его передернуло, даже испарина выступила по телу, — но тут же все и прошло. Он сунул письмо в карман и понесся в институт — у него назревала сессия, и весна назревала, и опять он запустил неорганическую химию и лабораторные и не снял дачу, которую бабушка снимала из года в год, — отчасти потому, что не нашел в бабушкиной книжке рабочего телефона дачной хозяйки, отчасти из-за нехватки времени: известно было, что дачи нанимают в феврале, а в марте ничего путного уж не снять.

Он бежал в институт, и письмо Лилино было в нем, как съеденный утром завтрак, — необратимо и в глубине. Два факта, сообщенные Лилей, — о том, что родители ее разошлись, и о том, что у нее появился парень по имени Арье, — совершенно не тронули его. Тронуло само письмо — почти физически: вот бумага, на которой ее рукой нечто написано, из чего следует, что она есть на свете, а не исчезла бесследно, как бабушка. Ведь до сих пор было такое чувство, что они удалились в одном направлении. И это письмо в кармане — как все мы любим себя обманывать — как будто намекало, что и бабушка может прислать письмо из того места, где она теперь находится.

Шурик не подумал этого до конца, приятное чувство не оделось такими словами, чтобы можно было другому человеку его объяснить. Но разве мама поймет это смутное, приятное чувство? Она подумает, что он просто Лилиному письму радуется...

И он, отодвинув все зыбкое и неконкретное, жил себе дальше, бежал в институт, сдавал какие-то коллоквиумы, ухитрялся немного зарабатывать — два французских урока, оставшиеся еще от бабушки. Деньги, о которых при бабушке и речи не заводилось, исчезали с невероятной скоростью и заставляли о себе думать. Шурику было совершенно ясно, что заботиться об этом должен он сам, а не слабенькая, совсем прозрачная мать с прекрасными, но слегка выпирающими глазами. Он сказал родителям своих учеников, что в будущем году возьмет еще двух учеников, если таковые объявятся. Ему нравилось учить детей французскому языку гораздо больше, чем самому учиться науке химии. И хотя он ходил вынужденно на занятия, делал лабораторные, но все больше полагался на Алю Тогузову, а она старалась, лезла из кожи вон и даже переписывала ему конспекты лекций, которые он часто пропускал.

Аля, залучившая себе Шурика в памятное новогоднее утро, по неопытности принявшая вынужденный жест мужской вежливости за крупную женскую победу, довольно быстро сообразила, что достигнутый ею успех не так уж велик, но эту новогоднюю удачу нельзя пускать на самотек, а, напротив, чтобы росток рос и развивался, следует много и упорно трудиться. Эта мысль не была для нее новой — она пришла к ней еще в детстве, когда девочкой она впервые столкнулась с тем, что есть на свете некоторые женщины, которые ходят в туфлях, тогда как большинство, к которому принадлежит и ее мать, зимой носят валенки, а летом резиновые сапоги... Словом, жизнь — борьба, и не только за высшее образование. Шурик ей, конечно же, очень нравился, может быть, она была в него даже влюблена, но все эти романтические эмоции и в сравнение не шли с тем высоким напряжением, которое рождалось из суммы решаемых задач: высшее образование в сочетании с Шуриком и принадлежавшей ему по праву столицей. Аля чувствовала себя одновременно и зверем, выслеживающим свою добычу, и охотником, встретившим редкую дичь, которая попадает раз в жизни, если повезет...

Напряжение Алиного существования подогревалось еще одним обстоятельством: Лена Стомба в ту новогоднюю ночь тоже нашла свое счастье — познакомилась с кубинцем Энрике, чернокожим красавцем, студентом университета имени Патриса Лумумбы. Он пригласил ее танцевать, и под звуки «Бесаме мучо» целая стая пухлых младенцев — амуров, купидонов и других крылатых — разрядила свои луки в рослую парочку, и вялая от природы Стомба проснулась своим белым телом, встрепенулась навстречу танцующему всеми своими органами кубинцу и весь подготовительный путь, для прохождения которого требуется иногда довольно значительное время, прошла экстренно, начав за час до новогодней полуночи и в два часа утра первого дня Нового года успешно закончив его в крепких черных объятиях.

Хотя двадцатидвухлетний молодой человек был кубинцем и, следовательно, вовсе не новичком в любовной науке, но и он был ошеломлен свалившимся на него белокожим чудом. Дружба народов полностью восторжествовала — к марту она чувствовала себя определенно беременной, а влюбленный кубинец наводил справки, как оформить брак с русской гражданкой.

Теперь два общежития — на Пресне и в Беляеве — были озабочены тем, как обеспечить влюбленным площадку для регулярной реализации дружбы народов, но задача была не из простых: менделеевские церберы, пожилые вахтерши и злобные комендантши, были вообще несговорчивы, а тут еще цвет лица Энрике столь заметно отличался от розово-мороженных посетителей других комнат общежития, и в одиннадцать часов вечера раздавался громкий стук в дверь и высоконравственная комендантша предлагала посторонним покинуть помещение женского общежития... Лена накидывала каракулеву шубу, бестактный подарок обкомовской мамы, столь странно выглядевший в студенческом общежитии, и провожала возлюбленного до станции метро «Краснопресненская», где они расставались, скорбя душами и телами... Охрана лумумбовских общежитий была более лояльна, но требовала предъявления паспорта, что могло повлечь за собой какие угодно, включая милицейские, неприятности.

Аля, подогреваемая ежедневным жаром этого романа, не могла не испытывать беспокойства по поводу умеренного рвения Шурика к полной реализации их теплых отношений. Тем более, что и жилищными условиями он располагал. Однако в дом к себе никогда не приглашал. Ничего похожего на черно-белые страсти Лены и Энрике в Алиной жизни не наблюдалось. Обидно. На долю Али по-прежнему доставались только совместные лабораторные работы, обеды в студенческой столовке за одним столом, подготовка к сдаче коллоквиумов и место в аудитории по правую

руку от Шурика — обычно она сама его и занимала. Еще Аля немного удивлялась вялости, с которой Шурик учился, — сама она и в студенческой науке преуспевала, и подрабатывала: сначала было полставки уборщицы, потом к ней прибавилось полставки лаборантских. Работала по вечерам, так что даже в кино сходить времени не было. Да Шурик и не приглашал — он свои вечера проводил обыкновенно с матерью. Аля время от времени напоминала о себе вечерним звонком, однако, чтобы зайти к нему в дом, надо было придумать что-нибудь особое: например, методичку взять или учебник. Один раз позвонила вечером с кафедры, сказала, что кошелек потеряла: она хотела сама зайти, но он прибежал, принес ей денег.

Любовные их отношения все-таки кое-как теплились: однажды попросила помочь отвезти из института в общежитие трехлитровую банку ворованной краски. Это было днем, и как раз никого из соседок не было, и Аля обхватила его за шею смуглыми руками, закрыла глаза и приоткрыла рот. Шурик поцеловал ее и сделал все, что полагалось. С удовольствием.

В другой раз Аля пришла к Шурику домой, когда Вера Александровна была на каких-то медицинских процедурах, и еще раз получила веское доказательство того, что отношения у них с Шуриком любовные, а не чисто товарищеские, комсомольские...

Конечно, она не могла не видеть разницы между своим умеренным романом и страстями, полыхающими между флегматичной в прошлом Леной и ее каштановым Энрике. Но и Шурик был все-таки не негр с Кубы, а белый человек с Ново-Лесной улицы. Аля же подозревала, что хоть Куба и заграница, но не смахивает ли она на Казахстан? Правда, кубинец хлопотал о женитьбе, а Шурик об этом и не заговаривал. С другой стороны, Стовба то уже беременна, что особенно заметно было по утрам... Но ведь и Аля тоже могла бы... И тут она терялась: что важнее — учеба или замужество?

В начале апреля Стовба сообщила, что они подали во Дворец бракосочетаний заявление на регистрацию.

Девчонки были в восторге: прежде они опасались, не бросит ли Энрике Стовбу, уговаривали ее сделать аборт, но она только тарачила глаза и мотала белыми волосами. Она ему доверилась. Так доверилась, что даже собралась своим домашним письмом писать о предстоящем замужестве. Беспокойство девочек-подружек только одно — что ребенок будет черный. Но Стовба их утешала: мать у Энрике почти совсем белая, старший брат, от другого мужа, американского поляка, вообще блондин, только отец черный. Зато черный отец — близкий друг Фиделя Кастро, воевал с ним в одном отряде... Так что ребенок вполне может родиться и белым, поскольку он будет почти кварталерон. Родился же белым брат Энрике... Девчонки головами качали, но в душе жалели: лучше б русский... Хотя самого Энрике все полюбили: он был веселым и добрым малым несмотря на то, что, как и Стовба, тоже принадлежал к семье из партийной верхушки. Но он не важничал, как его возлюбленная, — ходил приплясывая, плясал подпевая, и вечно сонная Стовба, которую на курсе чуть ли не с сентября все невзлюбили, тоже постепенно перестала важничать, жадничать и, благодаря своему сомнительному — с точки зрения расовой — роману, стала всем приятней.

А еще через месяц, незадолго до намеченного бракосочетания, произошло событие, которое очень взволновало Стовбу: Энрике вызвали в посольство и приказали срочно возвращаться домой. Он был студентом последнего года обучения, до получения диплома оставались считанные месяцы, и он попытался оттянуть свой отъезд — тем более что и невеста его была как-никак беременна... Он пытался встретиться с послом, прекрасно знавшим о высоком положении его отца: Энрике, студента, приглашали на посольские приемы, и посол иногда подходил к Энрике и коротким боксерским ударом шуточно бил поддых... Но на этот раз посол его не принял.

В конце апреля Энрике вылетел в Гавану. Вернуться он собирался через неделю. Но ни через месяц, ни через два он не вернулся. Все сразу же поняли, что он просто обманул глупую девку, сочувствовали ей, а она заходила от внутренней ярости к этим жалельщикам: она-то была убеждена, что он не мог ее бросить, и только особые обстоятельства могли принудить его остаться. Унизительна была общественная жалость, странным было его молчание. С другой стороны, известно было, что письма с Кубы приходили по произвольному графику: иногда через пять дней после отправки, а другой раз — месяца через полтора.

Родители Стовбы только-только свыклись с мыслью, что им придется нанять черных внуков, и особенно тяжело приняла это сообщение мать, отца все же несколько утешило высокое партийное положение будущего зятя, и теперь бедной невесте предстояло сообщить строгим родителям, что жених исчез, оставив ей в виде залога еще не родившегося, но реально существующего в белокожем животе черного ребеночка.

Весь первый курс гудел негодованием. Стовба жила надеждой. В начале лета ее разыскал в институте лысоватый малосимпатичный молодой человек, кубинец, приятель Энрике, которого она всего один раз видела у Энрике. Он был аспирантом в университете, не то зоолог, не то гидробиолог. Лысый увел Стомбу на улицу и там, на садовой скамье в продуваемом Миусском скверике, сообщил ей, что старший брат Энрике бежал с Кубы в Майами, отец Энрике арестован, а где находится сам Энрике, никто не знает, но дома его нет. Возможно, его взяли на улице...

Стовбе, гордячке, гораздо больше нравилось быть косвенной жертвой политического процесса, чем брошенной невестой. Возможно, что ее родители предпочли бы другой вариант... Но в любом случае потомок одного из политических вождей кубинского народа, с чем еще кое-как можно было примириться, превращался теперь в черного выблядка...

Мнения студентов-химиков разошлись: либералы готовы были собирать деньги на приданое малышу и объявлять его сыном своего полка, консерваторы считали, что Стомбу надо исключить из института, из комсомола и вообще изо всего, а радикалы полагали, что наилучшим выходом была бы криминальная операция по изъятию нежелательного потомства...

Аля, полукровка-полусирота, дочь ссыльной, была полна сочувствия к совсем еще недавно счастливой и удачливой Стовбе. Она сблизилась с высокомерной соседкой, сделалась поверенной ее тайн и надежд — Шурик благодаря Але оказался информированным о всех перипетиях этой драматической истории. Он тоже очень сочувствовал бедняге Стовбе...

18

Весна в тот год долго не начиналась, зато потом без подготовки, с самого начала мая, без плавного перехода, сразу ударило лето. Только-только люди сняли толстые пальто... С листвой же произошла задержка: почки едва успели задуматься, запускать ли им свою лабораторию по производству несметных миллиардов мелких зеленых листочков, а горячий свет уже вовсю лупил по непросохшей грязи, по мокрому асфальту, по пыльным, с прошлого года не мытым окнам.

Щитовидная железа Веры Александровны, презрев гомеопатию, пустилась в бурный рост — начались удушья. Опять заговорили об операции. Вера Александровна из последних сил сопротивлялась. Однажды, когда начался очередной приступ, пришлось вызвать «скорую». Сделали укол: удушье сразу прошло. Она взбодрилась:

— Видишь, Шурик, уколы-то помогают. Зачем это — сразу под нож?

Она безумно боялась операции, даже не самой операции, а общего наркоза. Ей казалось, что она не проснется.

Следующий приступ удушья пришелся, к несчастью, на те часы, когда Шурик, бесшумно улизнув из дому, унесся «за мостик», к Матильде.

Во втором часу ночи Вера Александровна тихонько постучала в дверь Шуриковой комнаты: говорить она почти не могла. Шурик не отозвался. Она открыла дверь — кушетка его даже не была расстелена. Вера Александровна испугалась: перед сном она с ним разговаривала, обсуждали переезд на дачу...

Куда он мог деться, недоумевала Вера Александровна и даже вышла на балкон, посмотреть, не курит ли он там. Она знала, что все мальчишки покуривают... Прошло еще минут десять, таблетка и домашние средства вроде дыхания над горячей водой не помогли, удушье не проходило. Состояние было ужасным, и она сама едва слышимым голосом вызвала «скорую», прошлестев адрес...

«Скорая» приехала очень быстро, минут через двадцать, и по случайности оказалась та же бригада, что в прошлый раз. Пожилая усатая врачиха, которая и в прошлый раз настаивала на срочной госпитализации, стала сразу же зычно орать на Веру Александровну — велела немедленно собираться в больницу. Отсутствие Шурика совершенно выбило Веру Александровну из колеи, она безмолвно плакала и качала головой.

— Тогда пишите, что отказываетесь от госпитализации. Я снимаю с себя всякую ответственность!

Шурик, увидев у подъезда «скорую», едва не окочился. Одним махом он взлетел на пятый этаж. Крышка гроба, которую он был готов увидеть возле своих дверей, отсутствовала. Но дверь была чуть-чуть приоткрыта...

Все. Мамы нет в живых, ужаснулся он. Что я наделал?

В большой комнате раздавались громкие голоса. Живая Вера Александровна полулежала в бабушкином кресле. Дышала она уже вполне удовлетворительно. Увидев Шурика, она заплакала новыми слезами. Ей было немного стыдно перед врачихой, но со слезами она ничего поделать не могла — они были от щитовидки...

Шурик совершил звериный прыжок через всю комнату и, не стесняясь ни врачихи, ни мужика в полуформенной одежде, схватил мать в объятия и начал целовать: в волосы, в щеку, в ухо...

— Мамочка, прости меня! Я больше не буду! Идиот! Прости меня, мамочка...

Чего «больше не буду», он, разумеется, и сам не знал. Но это была его всегдашняя детская реакция: не буду плохого, буду хорошее, буду хорошим мальчиком, чтобы не расстраивать маму и бабушку...

Усатая врачиха, собравшаяся как следует проораться, размягчилась и растрогалась. Такое не часто наблюдаешь. Ишь, целует, не стесняется... по головке гладит... Что же такое он натворил, что так убивается...

— Маму вашу госпитализировать надо. Вы бы ее уговорили.

— Мамочка! — взмолился Шурик. — Мамочка, но если действительно надо...

Вера Александровна была на все согласна. Ну, не совсем, конечно...

— Хорошо, хорошо! Но тогда уж к Брумштейн...

— Но не затягивайте. Укол действует всего несколько часов, и приступ может начаться снова, — помягчевшим голосом обращалась врачиха к Шурику.

Медицина уехала. Объяснение было неминуемо. Еще до того, как Вера Александровна задала вопрос, Шурик понял: нет, нет и нет. Ни за что на свете он не сможет сказать маме, что был у женщины.

— Гулял, — твердо объявил он матери.

— Как так? Среди ночи? Один? — недоумевала Вера.

— Захотелось пройтись. Пошел пройтись.

— Куда?

— Туда, — махнул Шурик рукой в том самом направлении. — В сторону Тимирязевки, через мостик.

— Ну ладно, ладно, — сдалась Вера Александровна. На душе у нее полегчало, хотя со странной ночной отлучкой было что-то не так. Но она привыкла, что Шурик ее не обманывает. — Давай выпьем чайку и попробуем еще поспать.

Шурик пошел ставить чайник. Уже рассвело, чирикали воробьи...

— В следующий раз предупреждай, когда уходишь из дома...

Но следующий раз случился не скоро — лысая Брумштейн была в отпуске, и уложила ее в отделение Правая Рука Брумштейн, ее заместительница.

Операцию, по ее экстренности, тоже должна была делать не самое светило, доктор Брумштейн, а ее Правая Рука. Она оказалась милостивой — несмотря на легкий шрам аккуратно зашитой заячьей губы — блондинкой среднего возраста, с легким дефектом речи.

— А где вы вообще-то наблюдаетесь? — прощупывая дряблую и вздутую шею Веры, обижено спросила Правая Рука.

— В поликлинике ВТО, — с достоинством ответила Вера.

— Понятно. Там у вас хорошие фониатры и травматологи.

— Вы считаете, без операции никак нельзя обойтись? — робко спросила Вера.

Врачиха покраснела так, что шрам на губе налился темной кровью:

— Вера Александровна, операция срочная. Экстренная...

Вера почувствовала дурноту и спросила упавшим голосом:

— У меня рак?

Врачиха мыла руки, не отрывая глаз от раковины, потом долго вытирала руки вафельным полотенцем и все держала паузу.

— Почему обязательно рак? Кровь у вас приличная. Железа диффузная, сильно увеличена. Помимо диффузного токсического зоба в левой доле имеется опухоль. Похожа на доброкачественную. Впечатление, что она в оболочке, скорее всего липома. Но биопсию делать мы не будем. Некогда. Вы преступно запустили свою болезнь. Брумштейн сразу же предложила операцию — вот, написано: рекомендовано...

— Но я у гомеопата лечилась...

Малозаметный шов на губе Правой Руки ожил и набряк.

— Моя бы воля, я бы вашего гомеопата отдала под суд...

Горло Веры Александровны от таких слов как будто вспухло, стало тесным.

Если бы мама была жива, все было бы по-другому... И вообще ничего этого не было б, подумала она.

Потом Правая Рука пригласила Шурика в кабинет, а Вера села в коридоре на липкий стул, на Шуриково прогретое место.

Врач сказала Шурику все то, что и Вере Александровне, но сверх того добавила, что операция достаточно тяжелая, но беспокоит ее больше послеоперационный период. Уход в больнице плохой — пусть подышут сиделку. Особенно на первые дни.

Если бы бабушка была жива, все было бы по-другому... Сын и мать часто думали одно и то же...

Операцию сделали через три дня. В своих дурных предчувствиях Вера Александровна оказалась отчасти права. Хотя операция прошла, как выяснилось позднее, вполне удачно, наркоз она действительно перенесла очень тяжело. Через сорок минут после начала операции остановилось сердце: у молодого анестезиолога тоже сердце едва не остановилось от страха. Впрыснули адреналин. Со всех семь потов сошло. Больше трех часов оперировали, а потом двое суток Вера Александровна не приходила в себя.

Лежала она в реанимации. Положение ее считали опасным, однако не безнадежным. Но Шурик, сидевший на лестнице возле входа в реанимационное отделение, куда вообще никого не пускали, не слышал ничего из

того, что ему говорили. Двое суток он просидел на ступени в состоянии глубочайшего горя и великой вины перед матерью.

Он был поглощен непрерывным воображаемым общением с ней. Более всего он был сосредоточен на том, чтобы удерживать ее постоянно перед собой, со всеми деталями, со всеми подробностями: волосы, которые он помнит густыми, — как она расчесывала их после мытья и сушила, присев на низкую скамеечку возле батареи... а потом волосы поредели, и пучок на затылке стал немного поменьше, темно-ореховый цвет слинял, сначала у висков, а потом по всей голове потянулись грязно-серые пряди, с чужой как будто головы... брови чудесные, длинные, начинаются густым треугольником, а потом сходят в ниточку... родинка на щеке круглая, коричневая, как шляпка гвоздика...

Отчаянным, почти физическим усилием он держал ее всю: ручки любимые, кончики пальцев вверх загибаются, ножки тонкие, сбоку от большого пальца косточка вылезла, некрасивая косточка... Не отпустить, не отвлечься...

Подходила медсестра, спрашивала, не принести ли ему чаю.

Нет, нет, мотал он головой. Ему казалось, что, как только он перестанет вот так крепко, так усиленно думать о ней, она умрет...

В конце вторых суток — времени он не помнил, не ел, не пил, кажется, и в уборную не ходил, сидел одеревенелый на лестничной клетке, на милосердно вынесенном ему из отделения стуле, — вышла к нему Правая Рука и дала белый халат.

Он не сразу сообразил, что с ним делать. Всунулся во влажную слипшуюся ткань со склеенными рукавами.

— Тамара Ивановна, бахилы, — скомандовала Правая Рука, и сестричка вложила ему в руки два буро-белых небольших мешка, в которые он неловко всунул свои ботинки вместе с онемевшими ногами.

— Только на одну минуту, — сказала врачиха, — а потом поезжайте домой. Не надо здесь сидеть. Пospите, купите боржому и лимон... А завтра приезжайте.

Он не слышал. В раскрытой двери палаты он видел маму. Из носу у нее шли трубочки, опутывали грудь, еще какие-то трубочки шли от руки к штативу. Бледно-голубая рука лежала поверх простыни. От шеи, заклеенной чем-то белым, тоже шла красная тонкая резинка. Глаза были открыты, и она увидела Шурика и улыбнулась.

У Шурика перехватило дыхание — в том самом месте, где маму разрезали: виноват, виноват, во всем виноват. Когда бабушка в больнице умирала, он, идиот, с Лилей бегал по магазинам, покупал копченую колбасу, оставшуюся потом у таможенников, и матрешек, брошенных в гостинице в маленьком городе под Римом, Остии...

Когда бабушка в больнице умирала, раздувал он пламя своей непрощенной вины, ты тискался и ласкался с Лилей в подворотнях и темных уголках... Мамочка — бедная, маленькая, худая, еле живая, а он — здоровый до отвращения кабан, козел, скотина... Она задышалась в приступе, а он трахал Матильду... И острое отвращение к себе отбрасывало какую-то неприятную тень на в общем-то не причастных к преступлению Лилю и Матильду...

О, никогда больше, клялся он сам себе. Никогда больше не буду...

Он встал на колени перед кроватью, поцеловал бумажные, сухие пальчики:

— Ну как ты, мамочка?

— Хорошо, — ответила она неслышимо: говорить-то она совсем еще не могла.

Ей было действительно хорошо: она была под промедолом, операция — позади, а прямо перед ней улыбался заплаканный Шурик, дорогой мальчик. Она даже не подозревала, какую великую победу только что одержала

ла. Идеалистка и артист в душе, она с юности много размышляла о разновидностях любви и держалась того мнения, что высшая из всех — платоническая, ошибочно относя к таковой всякую, которая происходила не под простынями. Доверчивый Шурик, которому эта концепция была предьявлена в самом юном возрасте, во всем следовал за опытными взрослыми — бабушкой и мамой. Как-то само собой разумелось, что в их редкостной семье, где все любят друг друга возвышенно и самоотверженно, как раз и процветает «платоническая».

И вот теперь Шурику было очевидно до ужаса, как предал он «высшую» любовь ради «низшей». В отличие от большинства людей, особенно молодых мужчин, попадавших в сходное положение, он даже не пытался выстроить хоть какую-то психологическую самооборону, шепнуть себе на ухо, что, может, в чем-то он виноват, а в чем-то и не виноват. Напротив, он подтасовывал свои карты против себя, чтобы вина его была убедительной и несомненной.

По дороге домой Шурик приходил в себя, оттаивая от какого-то анабиотического, рыбьего состояния, в котором находился последние двое суток. Оказалось, что нестерпимая жара за это время прошла, теперь падал небольшой серенький дождь, была середина буднего дня, и в воздухе висело наслаждение самодостаточной бедной природы: запах свежих листьев и прели шел от прошлогодних куч, лежавших шершавым одеялом на обочине маленького заброшенного скверика. Шурик вдыхал сложный запах грязного города: немного молодой острой зелени, немного палой листвы, немного мокрой шерсти...

А вдруг Бог где-нибудь есть? — пришло ему в голову, и тут же, как изпод земли, выскочила приземистая церковка. А может, она сначала выскочила и потому он подумал это самое? Он остановился: не зайти ли... Открылась какая-то боковая незначительная дверка, и через дворик к пристройке побежала деловитая деревенская старуха с миской в руке.

Нет-нет, только не здесь, решил Шурик. Если б здесь, бабушка знала бы.

И Шурик ускорил шаг, почти побежал. В душе его поднялось не испытанное прежде счастье, наполовину состоящее из благодарности неизвестно кому: живая мамочка, дорогая мамочка, поздравляю с днем рождения, поздравляю с Международным женским днем Восьмое марта, с праздником солидарности трудящихся, с днем Седьмое ноября, поздравляю, поздравляю... красное на голубом, желтое на зеленом, рубиновые звезды на темно-синем, вся сотня открыток, которые он написал маме и бабушке начиная с четырех лет. Жизнь прекрасна! Поздравляю!

Дома Шурик встал под холодный душ — горячей воды почему-то не было, а та, что поднималась из не прогретой еще глубины земли, обжигала холодом. Он вымылся, замерз, вылез из ванной — звонил телефон.

— Шурик! — ахнула трубка. — Наконец-то! Никто ничего не знает. Третьи сутки звоню. Что случилось? Когда? В какой больнице?

Это была Фаина Ивановна. Он объяснил, как мог, сам себя перебивая.

— А навестить можно? И что нужно?

— Боржом, сказали.

— Хорошо. Боржом я сейчас завезу. Я в театре, сейчас машина придет, и я заеду.

И трубкой — бабах! И сразу же раздался следующий звонок. Это была Аля. Она задала все те же вопросы, с той лишь разницей, что боржома у нее не было, а были занятия с вечерниками — лаборантские полставки — и освобождалась в половине одиннадцатого.

— Я после занятий сразу к тебе, — радостно пообещала она, а он даже не успел сказать: может, завтра?

Фаина прикатила через час, он только успел выпить чаю с черствым хлебом и отрытой в глубине буфета банкой тушенки. Фаина поставила красивый заграничный пакет с четырьмя бутылками боржома возле двери.

— Мы с тобой все обсудим. — Она говорила медленно, приближая к нему красивый развратный рот.

Нет, нет и нет, твердо сказал Шурик самому себе.

Рот приблизился, захватил его губы, сладковатый, немного мыльный язык влез ему под небо и упруго шевельнулся.

Шурик ничего не мог поделать — все в нем взметнулось навстречу этой роскошной похабной бабе.

Около одиннадцати пискнул звонок, потом еще. Немного погодя зазвонил телефон, потом снова робко торкнулись в дверь. Но оттуда, где находился Шурик, его вряд ли могла извлечь даже иерихонская труба.

На следующий день он сказал Але, и это было правдоподобно:

— Не спал двое суток. Добрался до постели и как провалился.

Редко встречаются люди, которые бы так ненавидели вранье, как Шурик.

19

Эти летние недели — шесть больничных и последующие — Шурик ускоренно и в сокращенном виде проходил науку, похожую на науку выращивания новорожденного: от молочка, кашки, самодельного творожка до кипячения подсолнечного масла, смягчающего швы, примочек и промываний. И самое главное в этой науке — приобретение сосредоточенного внимания, которое переживает мать, родившая своего первенца. Пожалуй, только пеленки миновали его на этот раз.

Сон Шурика стал необыкновенно чутким — Вера только опускала ногу с кровати на пол, а он уже мчался к ней в комнату: что случилось? Он слышал слабый скрип пружин, когда ее легчайшее тело переворачивалось с боку на бок, улавливал, как она звякала стаканом, откашливалась. То было особое состояние связи — между матерью и младенцем, — которого, строго говоря, сама Вера никогда не знала, поскольку Елизавета Ивановна, оберегая ослабленную родами и перенесенным несчастьем дочь, взяла на себя именно эту часть взаимоотношений с ребенком, оставив Верочке только кормление грудью: соски у нее были маленькие, с узкими протоками, молоко шло плохо, приходилось часами сцеживаться, грудь болела... Но все-таки именно Елизавета Ивановна спала в одной комнате с младенцем, вставала на каждый его писк, пеленала, купала и в положенное время подносила закрученное в чистые пеленки поленце к Верочкиной груди.

Ничего этого Шурик знать не мог, но в голосе его появилась особая интонация, с которой женщины обращаются к младенцам. Всплыло даже имя, которым он называл мать на втором году жизни: не умея выговорить «Веруся», как говорила бабушка, он называл мать «Уся», «Усенька»...

С деньгами настала полная неопределенность. Собственно, они кончились. Стипендию в институте Шурику уже не давали, весеннюю сессию он кое-как сдал, но с хвостом по математике — пересдача была на осень. Правда, по больничному листу Вера Александровна получала практически всю свою зарплату — стаж у нее был большой... Главный Шуриков заработок прекратился: учеников в летнее время не было, все разъехались по дачам. У бабушки, он знал, в это время всегда собиралась группа-другая абитуриентов...

Однажды в Шуриково отсутствие приезжала Фаина, привезла какие-то деньги от месткома. В день, когда месткомовские деньги кончились, Вера Александровна нашла под бумажкой, проложенной на дне ящика бабушкиного секретера, две сберегательные книжки. В сумме этих двух вкладов хватило бы на автомобиль — огромные по тем временам деньги. Оказалось, в одной книжке была доверенность на имя внука, во второй — дочери.

Неустановившимся после операции, тихим голосом, пошмыгивая носом от набежавшей слезы, Вера Александровна говорила Шурику те самые слова, которые он некогда слышал от бабушки:

— Бабушка с того света помогает нам выжить...

Неожиданное это наследство совершенно отменяло печальную перспективу семейного обнищания. Шурик тотчас вспомнил давнишний рассказ бабушки и металлический скелетик дедушкиного японского ордена с черными дырочками отсутствующих бриллиантов. Это было в бабушкином характере — она считала разговоры о деньгах неприличными, с брезгливостью отодвигала экономические выкладки приятельниц о том, кто сколько зарабатывает, — излюбленный кухонный разговор, — сама всегда широко тратила деньги, каким-то особым, только ей свойственным способом разделяла нужное от лишнего, необходимое от роскошества и ухитрилась оставить своим детям такую огромную сумму денег... Всего три года прошло с тех пор, как они въехали в этот дом. Нет, почти четыре... А ведь когда покупали квартиру, вложили, вероятно, все до последнего, иначе она бы не продавала этих камешков... Трудно все это понять.

На другой день утром, взявши паспорт, Шурик пошел в сберкассу и снял первые сто рублей. Он решил, что купит всего-всего. И действительно, накупил на Тишинском рынке уйму продуктов, потратил все до копейки... Вера Александровна посмеялась над его барскими замашками и съела половину груши.

Вообще же настроение у нее было прекрасное — тень, которая лежала на ее жизни последние годы, оказывается, происходила от ядовитых молекул, выделявшихся из обезумевшей железы. Теперь же, впервые после смерти матери, Вера Александровна воспрянула духом и часто вспоминала свои молодые, счастливейшие годы, когда она училась в таировской студии. Как будто вместе с вырезанным куском разросшейся щитовидки из нее удалили двадцатилетнюю усталость жизни. Она вдруг начала делать пальцевые упражнения, которым давным-давно научил ее Александр Сигизмундович, — дергала последнюю фалангу, как будто срывала крышечку, выкручивала каждый палец туда-сюда, потом крутила кистями и ступнями, а под конец встряхивала.

Спустя пару недель после выписки из больницы она попросила Шурика снять с антресолей древний чемодан с бумажной наклейкой на боку, на которой рукой Елизаветы Ивановны написан был перечень предметов, содержащихся внутри. Вера Александровна достала из чемодана линяло-синий балахон и головную повязку и начала по утрам под музыку Дебюсси и Скрябина производить ломаные движения по гибридной системе Жиль Далькроза и Айседоры Дункан, как преподавали эту революционную дисциплину в десятых годах... Она принимала странные позы, замирала в них и радовалась, что тело слушается и ее, и модернистической музыки начала века. Шурик, если уже встал и еще не ушел из дому, заглядывал в распхнутые двойные створки и любовался: ее тонкие руки и ноги белыми ветвями выкидывались из балахона, и волосы, не убранные в пучок — во время болезни она их сильно укоротила, только чтоб увязывались сзади, — летели вслед за каждым ее движением, то плавным, то резким.

Никогда в жизни Вера не бывала толстой, но в последние годы, поедаемая злыми гормонами, весила сорок четыре детских килограмма, так что кожа стала ей великовата и кое-где повисала складками. Теперь же она, несмотря на гимнастику, стала прибавлять в весе, по килограмму в неделю. Достигнув пятидесяти, она забеспокоилась.

Шурик вникал во все ее заботы. Он готовил завтрак и обед, сопровождал ее на прогулках, ходил для нее в библиотеку за книгами, иногда в Библиотеку иностранной литературы, где за ними еще сохранялся бабушкин абонемент. Они много времени проводили вдвоем. Вера Александровна снова стала играть. Она музицировала в большой бабушкиной комнате, а он лежал на диване с французской книжкой в руках, по старой привычке что-нибудь, особенно бабушкой любимое: Мюссе, Стендаль... Иногда вставал, приносил из кухни что-нибудь вкусное: раннюю клубнику с Ти-

шинского рынка, какао, которое Вера Александровна снова, как в детстве, стала любить...

Вера Александровна, напротив, не вникала в заботы сына и не обратила внимания, что рядом с Мюссе на диване лежит учебник французской грамматики... что однокурсники его ходят на производственную практику, а он сидит дома, разделяя с ней блаженство выздоровления.

Шурик же получил освобождение от производственной практики для ухода за матерью, его направили в одну из институтских лабораторий, где он совершенно не был нужен, но забегал туда раз в два-три дня, спрашивал, не найдется ли для него работа, и уходил восвояси. Аля тоже проходила производственную практику не на химзаводе, а в деканате. Там, в деканате, в подходящую минуту она вытянула из шкафа Шуриковы документы, и он, ни слова матери не говоря, подал заявление о приеме на вечернее отделение бабушкиного плохонького института. На иностранные языки. Химию он больше не мог ни видеть, ни обонять, хвост по математике сдавать и не думал...

20

Тем временем самые дурные предположения лысоватого кубинца подтвердились: Энрике действительно был арестован и надеяться на его скорое возвращение не приходилось.

В середине лета приехала с Урала мать Стовбы. Она привезла Лене кучу денег и объяснила, что доброе имя отца превыше всего и ехать ей домой в таком виде никак нельзя. У отца слишком много недоброжелателей, а по городу и так ходят гадкие слухи... Словом, рожать ей придется здесь, в Москве, и с внебрачным ребенком домой ей путь закрыт. Пусть снимает здесь квартиру или комнату, деньгами ей помогать будут. Но лучше всего было бы, чтобы она сдала незаконного в Дом ребенка...

Стовба к этому времени давно уж не парила в облаках, но такого удара она не ожидала. Однако выдержала: деньги взяла, поблагодарила, ни в какие объяснения входить с матерью не стала.

Возник у нее смелый вариант, которым она поделилась с Алей: в школьные годы произошла с ней ужасная история, о которой много говорили в городе. Она училась тогда в седьмом классе, и многие мальчики заглядывались на нее, а один десятиклассник, Генка Рыжов, влюбился в нее до смерти. Почти до смерти. Ходил, ходил за ней следом, а у нее тогда был другой кавалер, более симпатичный, и она Генке этому отказала. В чем отказала? В провожаниях из школы домой... И бедный влюбленный повесился, но неудачно. Он был вообще из неудачливых... Вынули его из петли, откачали. Его перевели в другую школу, но любовь его не выветрилась, он писал ей письма, а окончив школу, уехал в Ленинград, где поступил в Военно-морскую академию. Пишет он ей уже четвертый год, шлет фотографии, на которых морячок то в бескозырке, то с зачесанными назад плоскими волосами, с выражением лица гордым и глупым... В письмах своих он выражал уверенность, что она еще выйдет за него когда-нибудь замуж, а уж он постарается сделать ее счастливой. Намекал, что карьера у него уже на мази, и если она чуток подождет, то не пожалеет... Я из-за тебя хотел умереть, а теперь только для тебя и живу...

И Стовба все примерила, прикинула и решила — пусть так и будет. Написала письмо, в котором рассказала о своем несостоявшемся замужестве, о ребенке, который в начале октября должен был родиться.

Тот приехал в ближайший выходной. Рано утром. Аля еще не ушла в приемную комиссию, так что успела рассмотреть его, пока пили чай.

Он был в красивой курсантской форме, собой совсем неплох, высок ростом, но узкоплеч и костляв. Глаза зеленые, скажем так, морской волны... Теребил руками носовой платок и молчал, только покашливал время

от времени... Аля, наскоро попив чаю, оставила их вдвоем, хотя в приемной начинали в десять и еще два часа было до начала работы.

Когда Аля ушла, он еще долго молчал, и Стомба молчала. В письме было все написано, а чего не было написано, можно было теперь разглядеть: она сильно расплелась, отекала, молочно-белое лицо попорчено было ржавыми пятнами на лбу, вокруг глаз и на верхней губе. Только пепельные волосы, тяжело висающие вдоль щек, были прежние.

— Вот такие дела, Геночка, — с улыбкой сказала она, и тут он узнал ее наконец, и смятение его прошло, сменилось уверенностью, что он победил и победа эта хоть и подпачканная, но желанная, нежданная, как с неба свалившаяся.

— Да ладно, Лен, всякое в жизни бывает. Ты не пожалеешь, что мне доверилась. Я и тебя, и ребенка твоего любить всегда буду. Ты только дай мне слово, что того мужика, который тебя бросил, никогда больше знать не будешь. В моем положении глупо говорить, но я ревнивый до ужаса. Я про себя знаю, — признался он.

Тут задумалась Лена. Она не писала в своем письме о подробностях и теперь понимала, что лучше было бы соврать что-нибудь обыкновенное: обещал жениться, обманул... Но не смогла.

— Ген, история-то не так проста. Жених мой кубинец, у меня с ним любовь была большая, не просто так. Его отозвали и на родине в тюрьму посадили, из-за брата. Там брат его что-то такое натворил. Все говорят, его теперь никогда сюда не впустят.

— А если впустят?

— Не знаю, — честно призналась Лена.

И тогда морячок притянул ее к себе — живот мешал, и мешало пятнистое лицо, но она все равно была той Леной Стомбой, солнцем, звездой, единственной, и он стал ее целовать, клевать сухими губами куда придется, и халатик ее, летний, светлый, так легко распался надвое, и там под ним были настоящая грудь и женский наполненный живот, и он ринулся вперед, расстегивая боковые застежки нелепых черных клешей без ширинки, и достиг своей мечты. А мечта, развернув его в приемлемое для беременной положение, покорно лежала на боку и говорила себе: ничего, ничего, другого выхода у нас нет...

Потом они пошли на Красную площадь, потом поехали на автобусе на Ленинские горы — смотреть на университет: он был в Москве первый раз в жизни и хотел еще на ВДНХ, но Лена устала, и они вернулись в общежитие.

Уезжал он в Ленинград в полночь, «Красной стрелой». Лена пошла его провожать на вокзал. Приехали заранее. Он все гнал ее домой, беспокоил — время позднее. Но она не уходила.

— Береги себя и ребеночка, — сказал он ей на прощанье.

И тут она вспомнила, что забыла ему сказать об одной детали:

— Ген, а он будет смугленький. А может, и совсем черненький.

— В каком смысле? — не понял новоиспеченный жених.

— Ну, негр, — пояснила Стомба. Она-то знала, каким красивым будет ее ребеночек...

И тут раздался последний звонок, и поезд тронулся и повез прочь потрясенное лицо Гены Рыжова, выглядывающее из-за спины проводника в форменной фуражке с красным околышем.

Гена оказался по-своему порядочным человеком — долго мучился, все не мог написать письма, но в конце концов написал: я человек слабый, к тому же военный, а в армии народ строгий — мне насмешек и унижения из-за черного ребенка не снести... Прости...

Но Стомба поняла это еще на вокзале. Рассказала все по порядку Але. И про то, что самое было противное: не отказала, дала... И обе они ревели от унижения. Но самое нестерпимое было в том, что никто ни в чем и виноват-то не был... Так случилось.

21

Это был запасной вариант Елизаветы Ивановны. Собственно, поначалу он был основным, но она была уверена, что в случае неудачи с университетом она найдет возможность устроить Шурика в свой институт. Двойки он получить не мог ни по одному из предметов, а недобранный балл на филфаке — почетная грамота в ее зачудалом институте... Теперь, после года в Менделеевке, Шурик и сам понимал, что полез не в свое дело.

Он подал документы на вечернее отделение. Простоял в очереди среди девочек, уже провалившихся на филфак, мальчиков в толстых очках — у одного вместо очков была палочка: заметно хромал. Прошлогодних университетских абитуриентов и сравнить нельзя было с этими, третьесортными.

Зачумленная жарой и очередью девица, принимавшая документы, внимания не обратила на Шурикову известную здесь фамилию, и он вздохнул с облегчением: он любил независимость, заранее корчился, представляя себе, как сбегутся бывшие бабушкины сослуживицы — Анна Мефодиевна, Мария Николаевна и Галина Константиновна — и станут его целовать и поглаживать по голове...

Экзамен по французскому языку принимала пожилая дама с большим косым пучком из крашенных в желтое волос. К ней все боялись идти: она была председателем предметной комиссии и лютовала больше всех. Шурик понятия не имел, что дама эта была той самой Ириной Петровной Кругликовой, которая лет десять домогалась профессорского места, занимаемого Елизаветой Ивановной. Она беглым взглядом посмотрела в его экзаменационный лист, спросила по-французски:

— Кем вам приходится Елизавета Ивановна Корн?

— Бабушка. Она в прошлом году умерла.

Дама была прекрасно об этом осведомлена...

— Да-да... Нам ее очень не хватает... Превосходная была женщина...

Потом она спросила его, почему он поступает на вечерний. Он объяснил: мама после тяжелой операции, он хочет работать, чтобы она могла выйти на пенсию. Из вежливости Шурик отвечал по-французски.

— Понятно, — буркнула дама и задала довольно сложный вопрос по грамматике.

— Бабушка считала, что эта форма вышла из употребления со времен Мопассана, — с радостной, не подходящей к случаю улыбкой сообщил Шурик, после чего толково ответил на вопрос.

Разнообразные мысли копошились в голове Ирины Петровны. Она просунула в волосяное гнездо карандаш, почесала голову. Елизавета Ивановна была враг. Но враг давний и теперь уже мертвый. Когда после выхода Елизаветы Ивановны на пенсию она заняла ее позицию, то обнаружила, что любили Елизавету Ивановну многие сотрудники кафедры не потому, что она была начальством, а по другой причине, и это было ей неприятно... Мальчик знал французский превосходно, но засыпать можно было любого. Она все никак не могла прийти к правильному решению.

— Что ж, языку вас бабушка научила... Когда все сдадите, зайдите ко мне на кафедру, я буду до пятнадцатого. Подумаем насчет вашей работы.

Она взяла экзаменационный лист, вписала «отлично» ручкой с золотым пером. И поняла, что поступила не только правильно, но гениально. Она подула, как школьница, на бумагу и сказала, глядя Шурику прямо в лицо:

— Ваша бабушка была исключительно порядочным человеком. И прекрасным специалистом...

Через две недели Ирина Петровна Кругликова устроила Шурика на работу — в Библиотеку Ленина. Попастъ туда было посложнее, чем на филфак поступить. Кроме того, Ирина Петровна вызвала его перед началом занятий и сказала, что перевела его в английскую группу.

— Что касается французского, базовый вам не нужен. Можете посещать наш спецкурс, если захотите.

Его зачислили в английскую группу, хотя там было битком набито.

Уже после того, как все устроилось, он сообщил матери, что поменял институт и устроился на работу. Вера Александровна ахнула, но и обрадовалась:

— Ну, Шурка, не ожидала от тебя такого. Какой ты скрытный, оказывается...

Она запустила пальцы в его кудрявую голову, взъерошила волосы, а потом вдруг озаботилась:

— Слушай, да у тебя волосы поредели! Вот здесь, на макушечке. Надо за ними последить...

И она тут же полезла на специальную бабушкину полочку, где хранилась всякая народная медицинская мудрость и вырезки из журнала «Работница»... Там было про мытье головы черным хлебом, сырым желтком и корневищем лопуха.

В тот же день Шурик сделал совершенно неожиданный мужской и сильный жест:

— Я решил, что тебе пора уходить на пенсию. Хватит тебе тянуть эту лямку. У нас есть бабушкин запас, а я, честное слово, смогу тебя содержать.

Вера Александровна проглотила комок, которого в горле давно уже не было.

— Ты думаешь? — только и смогла она ответить.

— Совершенно уверен, — сказал Шурик таким голосом, что Верочка шмыгнула носом.

Это и было ее позднее счастье: рядом с ней был мужчина, который за нее отвечал.

Шурик тоже чувствовал себя счастливым: мама, которую он почти уже потерял за двое суток сидения на больничной лестнице, оправлялась после болезни, а сброшенной с плеч химии предстояло процветать далее уже без него...

Вечером того памятного дня позвонила Аля, пригласила его в общежитие:

— У Лены день рождения. У нее все так паршиво, все разъехались. Приезжай, я пирог испекла. Ленку жалко...

Был восьмой час. Шурик сказал маме, что едет в общежитие на день рождения к Стовке. Ему не очень хотелось туда тащиться, но Ленку и впрямь было жалко.

22

Лене Стовке исполнялось девятнадцать, и это был ужасный — после столько счастливых — день рождения. Она была желанной, любимой, красивой и удачливой сестрой двух старших братьев. Отец, как все большие начальники, не знал языка равенства: одними он командовал, понукая и унижая, перед другими сам готов был унизиться — добровольно и почти восторженно. Лена, хоть и собственный ребенок, относилась к существам высшим. Он поместил ее на такую высокую ступень, что даже мысль о возможном замужестве дочери была ему неприятна. Не то что готовил он свою дочь к монашеству, нет! Но в неисследованной глубине его партийной души жило народное представление, а может, отголосок учения апостола Павла, что высшие люди детей не рожают, а занимаются делами более возвышенными, в данном конкретном случае — наукой химией...

Когда жена его робко, с большими предуготовлениями сообщила ему о том, что дочь собирается замуж, он огорчился. Когда же к этому добавилось, что избранник дочери — человек другой, черной, расы, его ударило вдвойне: в душе белого мужчины, даже никоим образом с черной расой не соприкасавшегося, есть тайный страх, что в черном мужчине живет особо

свирепая мужская сила, намного превосходящая силу белого... Ревность была особого рода — неосознанная, невыговариваемая, немая. То, что Леночку его, боготворимую, белую, чистую, будет... вот именно, что слова не мог подобрать обкомовский секретарь, отлично знающий по своей начальствующей повадке все слова от А до Я, которыми можно было прибить козявку... да что там, невозможно было и слово найти, соединяющее его дочь и черного мужчину в интимном пространстве брака, когда от одного того, что будет он ее просто руками трогать... в виски начинало бить тяжелым звоном.

Осторожно сообщившая о намечающемся браке жена вынуждена была сообщить через некоторое время и об отмене этого брака, что, кроме облегчения, ничего не принесло бы отцу. Но одновременно с этим приходилось сообщить о ребенке, который вскорости должен был родиться. И было сообщено. Эффект превзошел все ожидаемое. Сначала он ревел медведем, могучим кулаком разбил обеденный стол. И руке не поздоровилось — две трещины в кости потом одели в гипсовую перчатку. Но еще прежде гипса велел домашним, чтоб имени Ленкина больше не поминали, видеть он ее не хочет и слышать ничего не желает... Жена обкомовская знала, что со временем растопчется, простит он Ленку, но того не знала, простит ли Ленка ему такое отречение от нее в трудную минуту...

Словом, день рождения у Лены Стовбы был самый что ни на есть грустный. На шатком стуле сидела растолстевшая, с отеками ногами именинница, яблочный пирог, испеченный Алей, выглядел по-бедняцки, нарезанные сыр-колбаса и яйца, фаршированные самими собой, но с майонезом. Гостей было двое — Шурик и Женя Розенцвейг, приехавший с дачи, чтобы поздравить одинокую Стовбу. Он приехал с корзинкой, которую собрала ему информированная о Стовбином положении сердобольная еврейская мама. Содержимое корзинки почти в точности соответствовало перечню продуктов, доставляемых Красной Шапочкой своей большой бабушке: двухлитровая бутылка деревенского молока, домашний пирог с ягодами и самодельное масло, покупаемое на привокзальном рынке у местных рукодельниц... Дно корзины было уложено бело-зелеными яблоками сорта белый налив с единственного плодоносящего дерева садового участка Розенцвейгов. Еще Женя написал шутивно-возвышенное стихотворение, в котором «девятнадцать» авангардно рифмовалось с «наций», а само предстоящее событие, связанное с прискорбным легкомыслием, а также с пылкостью и поспешностью героя и слабой информированностью героини, интерпретировалось поэтом почти как революционное преобразование мира.

И все-таки Лена развеселилась — она была благодарна и Але, вспомнившей о ее дне рождения в тот самый момент, когда она проклинала само событие своего рождения, и Шурику, прибежавшему ее поздравить с бутылкой шампанского и второй — красного саперави и с шоколадным набором, выдержанным в мамином шкафике и приобретенным легким запахом вечных бабушкиных духов...

И они принялись есть и пить: оба пирога, и сыр-колбасу, и яйца. Оказалось, что все почему-то голодны как собаки и все быстро съели, и тогда сообразительная Аля пошла на коммунальную кухню и сварила еще и макарон, которые доедали уже после пирогов... И всем было хорошо, даже Лена впервые за несколько месяцев подумала, что, если б не ее беда, никогда бы и не образовались у нее эти настоящие друзья, которые поддерживали в трудную минуту жизни... Справедливости ради надо сказать, что кубинские друзья Энрике, лысый биолог и второй, Хосе Мария, тоже ее не оставляли, но про день ее рождения они просто не знали, а так тоже, наверное, пришли бы...

Так или иначе, последнее вино было выпито за друзей, и когда доедены были все макароны, разговор с возвышенного перешел на житейские рельсы, и стрелку эту перевел самый из всех непрактичный — Женя:

— Ну хорошо, а квартиру-то ты сняла?

Это был больной вопрос: место в общежитии Стовба должна была освободить к первому сентября, академический отпуск она уже взяла, но квартиру снять не смогла. Поначалу Аля, как группа поддержки, поехала с ней в Банный переулок, на черный рынок жилья, но оказалось, что ее азиатское присутствие делу только помеха — одна из сдатчиц так и сказала: нерусских не берем.

Почти каждый день Лена ходила в Банный, но беременной одиночке сдавать никто не хотел. Согласилась только одна квартировладелица — старая пропойца из Лианозова. Более приличные хозяйки отказывали: не хотели брать с ребенком. Одна было согласилась, но попросила паспорт, долго его изучала — искала штамп о браке и, не найдя, отказала...

Вопрос Жени о квартире вернул Лену к ее горестным обстоятельствам, и она расплакалась — впервые за последние два месяца:

— Да если б штамп проклятый стоял, я бы, может, и домой поехала. Родила бы здесь и приехала — привык бы отец... А так — для него позор... по его положению...

Шурик сочувствовал. Шурик таращил свои и без того круглые глаза. Шурик искал выход. И нашел:

— Лен, так пошли да распишемся. Всех дел!

Стовба еще не успела осознать полученного великодушного предложения, а Алю как каленым железом прожгло: она Шурика для себя готовила, пасла для своего личного употребления, как молодого барашка, это на ней он должен был жениться, с ней расписаться...

Но Лена вместила в себя предложение — все могло сложиться правильно. Так, так, так... — щелкало в белокурой голове.

— Шурик, а мама твоя как отнесется?

— Нет, Лен, ей и знать не надо. Зачем? Мы распишемся, снимем тебе комнату, родишь, а там, может, домой тебя отправим. А когда все образуется, разведемся... Подумаешь...

Вот какие дела, думала Стовба; Гена Рыжов, до смерти влюбленный, сбежал от страха, а этот московский мальчик, вшивый интеллигент, маменькин сынок, готов помочь ни с того ни с сего...

Лена с интересом взглянула на Альку — та окислилась, глазки еще больше, чем обычно, закосели. Лена усмехнулась про себя: из всех здесь присутствующих она одна поняла, что у Альки в душе творится, и легчайшее злорадство всплеснулось: не собиралась Лена соревноваться с этой трудолюбивой и приличной казашкой, а просто так вышло само собой. Раз — и победила...

Слезы у Лены разом высохли, пропавшая ее жизнь пошла на поправку.

— И в Банный со мной сходишь, Шурик?

— А почему нет? Конечно, пойду.

Женя Розенцвейг восторженно заорал:

— Ура! Шурик, ты настоящий друг!

А Шурик действительно чувствовал себя настоящим другом и хорошим мальчиком. Ему всегда нравилось быть хорошим мальчиком. Назавтра уговорились подать заявление в загс — в качестве свидетелей должны были выступить Женя с Алей. Аля проклинала себя за пирог, за день рождения, праздновать который ей самой и пришло в голову, но придумать для спасения своего будущего ничего пока не могла...

И действительно, назавтра пошли в загс, теперь, уж конечно, не во Дворец бракосочетаний, а в простой, районный. Подали заявление. Регистрацию, принимая во внимание выразительный живот, назначили через неделю. Шурик было забыл, но ровно через неделю утром позвонила Стовба и сказала, что через час ждет его возле загса. И Шурик побежал и успел вовремя: расписался с Еленой Геннадиевной Стовбой, временно спас репутацию, и теперь она могла ехать домой в достойном положении замужней женщины...

Матильда с кошками еще в самом начале мая уехала в деревню. Собиралась пожить там недели две, продать унаследованный дом и вернуться никак не позже начала июня. Однако получилось неожиданным для нее образом: дом оказался живым и теплым, и ей было в нем так хорошо, что она решила его не продавать, а устроить в нем нечто вроде дачи. Не хватало в нем только мастерской, и Матильда принялась за ее устройство. Строительства как такового и не нужно было — огромный двор, крытое помещение для скотины, в котором давно уже скотины не держали, надо было укрепить и окна прорезать, и вышло бы идеальное помещение для скульптурной работы. Одна была беда: мужики местные пили не просыхая и работников найти на простую плотницкую работу оказалось нелегко. На ум Матильде приходил Шурик, он бы ей здесь ой как пригодился. Не по плотницкой части, а скорее по житейской. Несколько раз она даже ходила на почту за восемь километров звонить в Москву, но дома у него никто не отвечал. В середине лета случилась оказия: сосед деревенский ехал в Москву на два дня на машине и предложил взять Матильду с ее котами. Она собралась и приехала.

В городе скопилась масса дел, но за два месяца отсутствия московские дела как бы поблекли и выцвели, а теперешние, деревенские, — купить гвозди, соседкам лекарства, семена цветочные, сахару хоть килограммов десять и так далее, и так далее — занимали более важное место в голове. Однако уже в дороге — езды было пять-шесть часов, как повезет, — начало происходить какое-то замещение: вспомнила, что за мастерскую не заплачено, что у подруги Нины дочка, наверное, уже родила, а она даже и не позвонила... И про Шурика вспомнила — как всегда, с улыбкой, но отчасти и с волнением. Приехавши, подняла телефонную трубку и набрала Шуриков номер — подошла его мать, алекнула слабым голосом, но Матильда с ней разговоривать не стала... Второй раз Матильда позвонила уже в одиннадцатом часу, снял трубку Шурик, она сказала, что приехала, он долго молчал, потом сказал:

— А-а... это хорошо...

Матильда сразу же на себя разозлилась, что позвонила, и ловко закруглила разговор. Повесив трубку, села в кресло. Константин, кот-родоначальник, лег у нее в ногах, а Дуся с Морковкой толкались у нее на коленях, устраиваясь поудобнее. Матильда не любила столь привычного у женщин самокопания: легкую досаду, возникшую от неловкого звонка к мальчишке, с которым образовалась случайная связь и который вот теперь дал ей понять, что не очень она ему и нужна, она отгоняла с помощью целой череды забот, которые ложились на завтра: гвозди, лекарства, сахар, семена... Хотя какие уж теперь семена, лето, того гляди, кончится...

В телевизоре мелькали цветные картинки, звук она не включала, и потому он совсем не мешал ей обдумывать главную свою мысль: надоела ей Москва, и эта деревня под Вышним Волочком, родина ее покойной матери, знакомые ей с детства леса, поля, пригорки прилились ей, как обувка по размеру, — точно, ладно, удобно. Она наблюдала не совсем еще истребленную деревенскую жизнь и ощутила впервые, может быть, за многие годы, что и сама она деревенский человек, и старухи соседки, бывшие доярки и огородницы, гораздо милей и понятнее, чем московские соседки, озабоченные покупкой ковра или отбиванием в свою пользу освободившейся в коммуналке комнаты. И покойная тетка предстала ей теперь в другом свете: оказалось, сосед давно приставал к ней, чтоб продала ему или завещала свой дом, одну из лучших в деревне изб, поставленную в конце прошлого века бригадой архангельских мужиков, промышлявших строительством... Но тетка, нелюбимая Матильдина тетка, наотрез отказывалась: пусть Матрене дом пойдет, если я чужим дом отпишу, наш род

здесь вовсе переведется. А Матрена городская, богатая, не дура, она дом сохранит... Там, в деревне, называли ее настоящим именем, которого она с детства стеснялась, и, перебравшись в город, назвалась Матильдой...

И Мотя-Матильда улыбалась, вспоминая тетку, которая тоже оказалась не дура, рассчитала все правильно. Более чем правильно, если Матильда сразу так к этому дому присохла, что уже готова и жизнь свою ради него поменять...

В половине двенадцатого, когда Матильда уже вымела из себя неприятный осадок от разговора с Шуриком и лежала в постели, окруженная своими кошками, раздался звонок в дверь.

Матильда совсем не ждала своего малолетнего любовника, но он прибежал к ней, как и прежде, бегом, и дыхание его было сбито, потому что и на шестой этаж поднимался он бегом, и он кинулся к Матильде, успев сказать только:

— Ты позвонила, а я и говорить не мог, мама сидела рядом с телефоном...

И тут Матильда поняла, как она стосковалась, — тела не обманешь, и, кажется, во всю ее жизнь так чуть ли не в первый раз обернулось, что ничего одному от другого не нужно, кроме чистого плотского прикосновения. Это самые чистые отношения: никакой корысти ни у меня к нему, ни у него ко мне, одна только радость тела, подумала Матильда, и радость обрушилась полно и сильно.

А Шурик вовсе ни о чем не думал: он дышал, бежал, добежал, и снова бежал, и летел, и парил, и опускался, и снова поднимался... И все это счастье совершенно невозможно без этого природой созданного чуда — женщины с ее глазами, губами, грудями и тесной пропастью, в которую проваливаешься, чтобы лететь...

24

К осени жизнь совершенно поменялась: Шурик ходил на первую настоящую работу и в правильный вечерний институт, Вера Александровна, напротив, оставила службу и тоже зажила по-новому. Чувствовала она себя после операции гораздо лучше, и, хотя всегдашняя слабость ее не покидала, внутренне она оживилась и переживала нечто вроде обновления: она как будто возвращалась к себе, молодой. Теперь у нее было много досуга, она с наслаждением перечитывала старые, давно читанные книги, пристрастилась к мемуарам. Иногда выходила погулять, добредала до ближайшего сквера, а то и просто сидела во дворе на лавочке, стараясь держаться подальше от молодых мамаш с их шумным приплодом и поближе к молодым тополям и серебристым маслинам, которые в виде удачного эксперимента были высажены вокруг дома. Еще она занималась гимнастикой и разговаривала по телефону с одной из двух пожизненных подруг, Нилой, бездетной вдовой известного художника, всегда готовой к длительным телефонным обсуждениям писем Антона Павловича или дневников Софьи Андреевны... Удивительное дело — про ту жизнь все было понятнее и интереснее, чем про теперешнюю. Со второй подругой, Кирой, длинных разговоров не получалось, потому что у той вечно что-то убегало на плите...

Шурик к выходу матери на пенсию притащил в дом большой телевизор. Вера слегка удивилась, но вскоре оценила новое приобретение: часто показывали спектакли, больше старые, но она быстро, сделав скидку на неуклюжесть этого искусства, привыкла смотреть «ящик».

У Шурика свободного времени почти не было, общались они с матерью гораздо меньше, чем ей хотелось бы: она вставала поздно, обычно он уже уходил на работу, оставляя на кухне завернутую в махровое полотенце овсянку, которую ввел в семейный рацион дедушка Корн, страдавший в молодые годы англоманией.

Зато в воскресные утра они завтракали вместе, потом Шурик давал в середине дня два остаточных, как называла их Вера Александровна, французских уроков, и вечер они проводили вдвоем. Вера Александровна опасалась пока самостоятельных выходов из дому, и именно в эти воскресные вечера они вместе посещали концерты, спектакли, наносили визиты подругам Веры, Кире и Ниле. Получал ли Шурик удовольствие от этой светской жизни? Может быть, молодой человек выбрал бы себе какое-нибудь иное воскресное развлечение? Эти вопросы не возникали у Веры Александровны. Не возникали они и у Шурика. В его отношении к матери кроме любви, беспокойства о ней и привязанности была еще и библейская покорность родителям, легкая и ненатужная.

Вера Александровна не требовала никакой жертвы — она подразумевалась сама собой, и Шурик с готовностью помогал матери надеть ботинки и пальто, снять ботинки и пальто, поддержать при входе в вагон, усадить на самое удобное место... Все так естественно, просто, мило...

Вера Александровна делилась с ним своими мыслями и наблюдениями, пересказывала прочитанные книги, информировала о состоянии душ и телес своих подруг. Даже политические темы возникали иногда в их разговорах, хотя вообще-то Вера Александровна была боязлива гораздо более, чем ее покойная мать, и обычно не позволяла себе влезать в острые разговоры, предпочитая громогласно заявлять, что политикой она не интересуется и интересы ее лежат исключительно в сфере культуры. Она одобряла Шурикову работу в библиотеке как культурную, хотя и догадывалась, что работа эта не вполне мужская.

Но Шурику нравилось. И нравилось ему все: станция метро «Библиотека Ленина», и старый корпус Румянцевской библиотеки, и разнообразные запахи книг — старинных, старых и теперешних, которые для чуткого носа различались тысячью оттенков кожи, колленкора, клея, ткани, вложенной в корешки, типографской краски, — и милые женщины, особой библиотечной породы, тихие, учтивые, все одного неопределенно-приятного среднего возраста, даже и молодые. Когда в обеденный перерыв они садились за казенный стол попить чаю, все угощали его бутербродами с сыром и колбасой, тоже одинаковыми...

Выделялась из всех только начальница — Валерия Адамовна Корецкая. Впрочем, среди начальников — заведующих отделами — она тоже выделялась. Все другие отделы возглавляли более почтенные люди и даже редко в библиотеке мужского пола. Она была самой молодой, самой энергичной, лучше всех одевалась, носила бриллиантовые серьги, которые сверкали острыми голубыми огнями из ушей, когда они изредка показывались из-под густейших, рассчитанных не менее чем на трех женщин волос, прихваченных то бархатным обручем, то плоским черным бантом сзади на шее. О ее присутствии заранее сообщал густой запах духов и постукивание костыля. Красавица припадала на ногу, и припадание это было сильным, глубоким — на каждом шаге она как будто слегка ныряла, а потом выныривала, вздымая одновременно синие ресницы... Ее должны бы не любить за нарушение общей однородности, которое она собой являла. Но ее любили: за красоту, за бодро преодолеваемое несчастье, даже за инвалидную машину «Запорожец», которую сама водила, изумляя других водителей и пешеходов полной непредсказуемостью своего шоферского поведения, за веселый характер, — и прощали — о, было чего ей прощать! — любовь посплетничать о чужих делах, неумное кокетство и постоянные шашни с посетителями библиотеки.

Шурик оценил ее долголетие, когда в разгар эпидемии гриппа — половина сотрудников болела, а вторая работала с удвоенной нагрузкой — он пришел к ней просить три дня за свой счет.

— Да вы с ума сошли! Я вас на сессию должна отпускать в самое горячее время, и вам еще за свой счет! И речи быть не может! И так работать некому!

— Валерия Адамовна! — взмолился Шурик. — Такие обстоятельства... ну хоть заявление об уходе подавать!

— Без году неделя работаете — и уходите! Да уходите! Здесь очередь стоит! В Ленинской библиотеке работать! Люди от нас не уходят! От нас — только на пенсию! — искренне шумела начальница.

— Мне на три дня надо уехать на Урал. Иначе я ужасно подведу одну женщину...

У Валерии под синими ресницами зажегся интерес:

— Вот так?

— Понимаете, ей рожать пора, а я вроде как ее муж...

— Ничего себе! У вас ребенок должен родиться, а вы вроде как муж? — преувеличенно изумилась Валерия.

И Шурик, на краешке стула сидя, рассказал кратко, но ясно всю историю бедной Стовбы — историю, не имевшую пока финала, потому что после того, как они расписались, она уехала к родителям на Урал, и теперь вот ей пора рожать, и она звонила и просила его срочно приехать: если родится ребенок так-сяк, просто смугленький, то еще ничего, а вот если негр настоящий, то непременно будет семейный скандал. Отец — каменная скала с партийной должностью, и из дому ее непременно вышвырнут... Так что надо ему ехать, чтобы играть роль счастливого отца кубинского ребенка...

— Пишите заявление, — сказала Валерия Адамовна и поставила свою красивую лохматую подпись прямо под Шуриковыми робкими строчками.

25

И Шурик засобирился. Стовба просила купить, если удастся, два шерстяных детских костюмчика. Он честно поехал в тот самый «Детский мир», в котором к его рождению такие же костюмчики покупала его бабушка Елизавета Ивановна. Так же честно отстоял в длинной очереди и купил два, желтый и розовый. Пожилая практичная женщина, стоявшая перед ним в очереди, объяснила, что один надо брать на год, а второй — на два года. За чем два костюма на один размер? Аргумент был доходчивый.

Каких-то особых заграничных бутылочек с сосками он не достал — их в тот день в «Детском мире» не выбрасывали. Но этот редкий предмет чехословацкого производства раздобыла Аля Тогусова. Она, не вполне оправившаяся от матримониальной травмы, которую нанес ей, сам того не ведая, Шурик, все еще продолжала делать вид, что находится с Шуриком в любовной связи. Но после банки масляной краски, послужившей предлогом к близости, и нескольких ее как будто случайных набегов на Ново-Лесную Шурик ее особенно не домогался. Если честно, совсем не домогался. И даже не звонил ни разу.

Это было обидно, но представлялось Але всего лишь новым препятствием в жизни, все прочие она постепенно преодолевала. Она интуитивно знала, что с обстоятельствами надо работать, обращая их в свою пользу.

В институте у нее был полный порядок: она получала повышенную стипендию по результатам последней сессии. Собственно, последней она была для Шурика, для Али — просто весенняя сессия за первый курс. У нее было две полставки — одна на кафедре, лаборантская, вторая в деканате вечернего отделения, секретарская. На машинке она печатать научилась еще в те времена, когда работала на Акмолинском химзаводе. Но та часть жизни была отрезана, она про нее и не вспоминала, даже матери написала только два письма: первое — когда поступила, сгоряча, где и про Красную площадь, и про общежитие, и второе — весной, где сообщила, что приехать на каникулы не сможет, потому что сначала практика, а потом надо будет работать, деньги зарабатывать, а то на билет нет. Мать письма не поняла, решила, что дочка собирается приехать, как только на билет заработает.

Аля и вправду зарабатывала — и деньги, и биографию. К ней все хорошо относились — и соученики, и сослуживцы. Знали, что она надежная, во всем старается, не боится переработать. Только вот друзей не заводилось. В гости не звали. Впрочем, ходить-то было и некогда. Но обидно — не звали.

Как-то не получалось завязывание отношений с правильными и нужными людьми. Химии-то она училась, но хотела бы научиться и всему прочему. Вот так получилось, что единственный московский дом, где ее принимали, был Шуриков. А единственная женщина, которую она называла про себя с почтением «дама», была Вера Александровна. Аля к ней приглядывалась, и все нравилось в ней: осанка, простая, но чем-то особенная речь и манера набрасывать кофту на плечи, откинув рукава, и ногти в розовом лаке, и то, как она ела и пила, — невнимательно, казалось бы, но так медленно и красиво... Она была хорошим образцом — но как быть с рукавами? Не могла Аля жить вот так, спустя рукава, они мешали бы ей и в лаборатории, и в приемной деканата...

Но кое-что подбирала для себя — например, чай с молоком. По-английски. Из серебряного молочника, а не из треугольного пакета пускала Вера Александровна тонкую струю в чайную чашку, и там расходились дымчатые разводы, а она размешивала их ложечкой по часовой стрелке...

Приметив внимательный Алин взгляд, Вера Александровна сказала:

— Когда Шурик был маленький, он считал, что чай делается сладким от мешания, а не от сахара. Думал, чем больше мешаешь, тем слаще. Забавно, не правда ли?

И вот это «не правда ли?» было особенно привлекательным.

В тот предотъездный вечер Аля не предупредила Шурика, что зайдет после работы, и ждала его, распивая с Верой Александровной чай по-английски. Привет от бабушки Корна. Ждать пришлось довольно долго.

— Я принесла бутылочку с соской для Лены, — с улыбкой заговорщица сказала Аля. — Сможешь взять, не правда ли?

— Отчего не взять, — буркнул Шурик, не оценив неуместного изыщества речи.

Вера Александровна поставила греть на решетку голубцы из кулинарии.

— Аля, вы не откажетесь?

Аля отказалась. Есть она хотела, но боялась, что не сможет отрезать правильными кусочками, двигать их ножом на вилку не накалывая, а как-то плашмя. В институтской столовой она прекрасно ела такие же голубцы просто ложкой, вилку в обеденное время не всегда хватало...

А Шурик ел, как мать, неторопливо и точно. Вот ведь какие дела, а в лаборатории два раствора слить не мог в пробирку и навеску толком сделать не мог, удивлялась Аля.

Вера Александровна ушла к себе посмотреть телевизор — «Таня» Арбузова в новой постановке, пропустить этого она не могла.

— Ну что, завтра к жене едешь? — как бы пошутила Аля.

— Тише, ты что? Мама не знает, — испугался Шурик.

— Не знает, что ты едешь? — удивилась Аля.

— Я сказал — в командировку. Ну, вроде случайно в тот город, где Стомба живет. Не знает она, что я расписался с ней. Я паспорт знаешь куда запрятал, чтоб ей случайно на глаза не попался.

— А костюмчики купил?

Шурик кивнул:

— На год и на два.

— Покажи, — попросила Аля стратегически.

Доверчивый Шурик повел ее в свою комнату, где лежал почти собранный бабушкин «чемодан № 1», то есть самый маленький из ее коллекции, с металлическими уголками. Были еще № 2 и № 4. Но Аля этого не знала.

Шурик присел над чемоданом, стоявшим на полу возле письменного стола. Аля обхватила его сзади за шею. Он посмотрел на часы — половина одиннадцатого. А ее еще нужно было провожать, как иначе. Встать же завтра предстояло в шесть — рейс был ранний.

— Только быстро, — предупредил Шурик.

Это были не совсем те слова, которых бы хотелось Але. Но дело было, в конце концов, не в словах, а в генеральной линии. Аля же была с детства приучена к мысли, что мужикам от баб известно чего нужно. Такая была ее протенская теория, и она ей следовала, не считая нужным спрашивать, желательна ли это в данный момент Шурику. Ему же и в голову не пришло девушке отказывать в такой малости. И с аппетитом, неизменно приходящим во время еды, Шурик совершил необходимое действие, доставив Але полное удовольствие: они были любовники, уже в пятый раз с того Нового года они были любовники, значит, все шло в правильном направлении, и если Стомба не захочет его охомутать, то достанется он ей, Але, через терпение и верность. Стомба же, по причине глубокой беременности, опасений у нее пока не вызывала. К тому же всем было известно, как влюблена она была в своего черного Энрике, а какому мужику это понравится...

Общая схема была, может, и правильная, но для отдаленных районов и для другого контингента. Этого Аля пока недоучитывала, но у нее впереди еще было много времени для обучения.

Летел Шурик со своими костюмчиками и сосками пять часов, до этого еще четыре просидел в аэропорту, ожидая откладывавшегося с часу на час вылета. Кроме бабушкиного чемодана при нем были еще два старых романа из бабушкиной библиотеки. Один, тяготящийся французский, он дисциплинированно дочитал еще до посадки, второй, потрепанный бумажный томик, начал в самолете. Было интересно. На половине книги он вдруг запнулся и заметил, что читает не по-французски, а по-английски. Тогда посмотрел на обложку — это была Агата Кристи. Первая книга, невзначай прочитанная по-английски...

В аэропорту его встречала фиктивная теща, которую он видел первый раз в жизни, — снежная баба с фетровым ведром на голове, с поджатыми губами. В тот год до уральского города докатилась позапрошлогонья мода столиц: на смену белого синтетического меха пришел осточертевший черный каракуль. Шурик был выше ее ростом, но рядом с ней почувствовал себя маленьким мальчиком возле взрослой сердитой воспитательницы. И ему даже пришла в голову неожиданная мысль: а зачем он вообще-то поехал, мог бы и отказаться. Ведь не из-за костюмчиков...

— Фаина Ивановна, — ткнула теща толстую руку, и Шурик мгновенно уловил сходство с другой Фаиной Ивановной — бывшей маминной начальницей, и ему стало совсем уж не по себе.

— Шурик, — ответил он на рукопожатие.

— А по отчеству? — строго спросила теща.

— Александрович...

— Александр Александрович, стало быть. — Фамилия ей запомнилась, когда изучала Ленкин паспорт. Фамилия была подозрительная, но имя-отчество — ничего...

Она прошла вперед, он за ней. У выхода стояла черная служебная «Волга». Отцовская, догадался Шурик. При виде хозяйки из машины вышел шофер, хотел открыть багажник, но, увидев скромный Шуриков чемодан, открыл лишь дверцу.

— Зять наш, Александр Александрович, — представила теща Шурика шоферу. Тот протянул руку.

— Добро пожаловать, Сан Саныч, — широко улыбнулся, сверкнув металлом. — А меня Володей зовут.

Шурик с тещей уселись на заднее сиденье. Поехали.

— Как мама себя чувствует? — вдруг ласково спросила Фаина Ивановна.

— Спасибо, после операции ей гораздо лучше стало. — И спохватился, откуда она вообще про маму знает.

— Да, Лена говорила, что операция была тяжелая. Ну, слава богу, слава богу. А долго ли в больнице лежала?

— Три недели, — ответил Шурик.

— Геннадий Николаевич тоже три недели в том году отлежал у вас там, в Кремлевке. Ему на желчный пузырь операцию делали. Хорошие врачи, — одобрительно отозвалась Фаина Ивановна. — Если другой раз придется ложиться, лучше уж в Кремлевку. Геннадий Николаевич устроит — как членов семьи...

Тут наконец Шурик смекнул, что разговор этот ведется для шофера, и стала проясняться ему его собственная роль...

— А Ленка ждет тебя не дождется. Нам уж на днях родить...

— Ну да, — неопределенно хмыкнул Шурик, и теща решила, видно, помолчать — во избежание промашек.

— Ты уж, Володя, в гараж машину не ставь, держи при себе, вдруг чего, — приказала Фаина Ивановна шоферу, когда доехали до дому.

— Само собой. Я уж который день не ставлю, — кивнул шофер. Выскочил, открыл дверцу.

Дом был сталинский, обыкновенный. В лифте написано нерусское слово, прижившееся на Руси со времен татарского нашествия. Зато дверь на этаже была одна-единственная, в середине лестничной клетки. И открыта нараспашку. В дверях стоял могучий человек с густейшими седыми волосами, широко улыбался:

— Ну, зятек, заходи! Милости просим!

Позади него — толстенная Стовба с подобранными по-новому волосами, в оренбургском платке поверх темно-красного большого платья. Стовба улыбалась милым благодарным лицом, и Шурик удивился, как же она изменилась.

Тесть пожал Шурику руку, потом трижды поцеловал: пахнуло водкой и одеколоном. Лена подставила светлую, на прямой пробор причесанную голову. Шурик никогда не видел в такой близости беременных женщин, и его вдруг тронуло и ее пузо, и странная невинность ее лица. Не было у нее раньше такого выражения. И он, дрогнувши непонятно каким местом, поцеловал ее сначала в волосы, а потом в губы. Она покраснела пятнистым лицом. Красавицей она перестала быть, но была просто прелесть...

— Ну, Ленка, какое же у тебя пузо! Просто непонятно, с какого бока заходить! — заулыбался Шурик.

Тесть посмотрел на него одобрительно, захохотал:

— Не смущайся! Научим! Вон Фаина Ивановна три раза носила, и все без вреда!

Коридор сделал два поворота. Шурик догадался, что квартира соединена из нескольких. Привели в большую комнату, где был накрыт уже немало разоренный стол.

Геннадий Николаевич что-то рыкнул, и из трех дверей немедленно стали входить люди — как будто они заранее под дверью стояли. За столом, с Шуриком вместе, оказалось девять человек: рослый тощий старик и согбенная старушка, родители Геннадия Николаевича, родная сестра Фаины Ивановны, со странным лицом, — слабоумная, как выяснилось впоследствии, Стовбин брат Анатолий с женой, Стовбины родители и сама Стовба.

Еда на столе — как театральные муляжи, подумал Шурик: рыбина огромная, окорок какого-то большого зверя, пирожки размером с курицу каждый, а соленые огурцы косили под кабачки... Вареная картошка стояла на столе в ведерной кастрюле, а икра — в салатнице...

Стовба, самая высокая девушка на курсе, здесь, в кругу своей великанской семьи, выглядела, несмотря на живот, вполне умеренно.

— Рассаживайтесь, рассаживайтесь поскорее! — провозгласил Геннадий Николаевич, и все торопливо задвигали стульями. Дальше все было точно как на собрании. Геннадий председательствовал, жена секретарствовала, слабоумная сестра сходилла на кухню и принесла графин...

— Наливайте! Петро, деду с бабкой налей! Маша, ты что как неродная? Рюмку-то подыми! — командовал тесть, наливая тем, кто сидел с ним рядом. То есть Фаине Ивановне, Лене и Шурику... Наконец все вооружились, и Геннадий Николаевич вознес свой особый стаканчик: — Вот, семья моя дорогая! Принимаем нового члена, Александра Александровича Корна. Не совсем у нас хорошо получилось, свадьбу не отгуляли по-хорошему, но уж чего теперь говорить. Пусть дальше все будет по-хорошему, по-людски. За здоровье молодых!

Все потянули рюмки. Шурик встал, чтоб чокнуться с бабушкой и дедушкой. Они, хоть и старенькие, оказались охочие до выпивки. Опрокинули рюмочки и закусили.

Потом пошла большая еда. Шурик был голоден, но ел, по обыкновению, не торопясь, как бабушка научила. Прочие все жевали громко, сильно, даже, пожалуй, воинственно. Всем подливали, всем подкладывали. Окорок оказался медвежий, рыба местная, водка отечественная. И выпил ее Шурик много. Застолье кончилось неожиданно быстро. Съели, выпили и разошлись в три двери.

Лена указывала Шурику дорогу: коридор опять сделал два поворота. Пришли в Ленину комнату. Еще недавно это была детская. Лена так стремительно выросла, что мишки и обезьянки не успели скрыться с глаз и рассосаться, как это бывает у девочек старшего возраста. И картинки на стенах висели — кошка с котятами, китайское чаепитие с фарфоровыми чашками и цветущей сливой за позапрошлый год, два клоуна... К стене была прислонена не собранная еще детская кровать. Как будто один ребенок, выросший, уступал место другому, новому... Еще стояла в комнате неширокая тахта, и на ней две подушки и два одеяла...

— Ванная и уборная в конце коридора направо. Полотенце зеленое я тебе повесила, — сказала Лена, не глядя на Шурика. И он пошел по коридору, куда давно хотел.

Когда он вернулся, Лена уже лежала в розовой ночной рубашке, с горкой живота перед собой. Шурик лег рядом. Она вздохнула.

— Ну чего вздыхаешь? Все так нормально складывается, — неуверенно сказал Шурик.

— Тебе спасибо, конечно, что ты приехал. Отец тебе здесь все покажет — трубопрокатный завод, охотхозяйство, цемзавод... может, на Суглейку свозит, в бане попарит...

— Зачем все это? — удивился Шурик.

— Ты что, не понял? Чтоб люди видели... — Она шмыгнула носом, положила руки на живот поверх одеяла, и Шурику показалось, что живот колыхается.

Он тронул ее за плечо:

— Лен, ну съезжу я на завод... подумаешь...

Она отвернулась от него, тихо и горько заплакала.

— Ну ты что, Стомба? Чего ты реवेशь? Ну хочешь, я тебе водички принесу? Не расстраивайся, а? — утешал ее Шурик, а она все плакала и плакала, а потом сквозь слезы проговорила:

— Письмо мне Энрике переслал. Ему три года за уличную драку дали, а посадили из-за брата... Он пишет, что приедет, если будет жив. А если не приедет, значит, его убили. Что у него теперь другого смысла нет, только освободиться и приехать сюда...

— Ну так и хорошо, — обрадовался Шурик.

— Ах, ты ничего не понимаешь. Здесь я сама не доживу. Это отца моего надо знать. Он деспот ужасный. Ни слова поперек не терпит. Вся область его боится. Даже ты. Вот он захотел, чтоб ты приехал, ты и приехал...

— Лен, ты что, с ума сошла? Я приехал, потому что ты попросила. При чем тут твой отец?

— А он рядом стоял и свой кулачище на столе держал... Вот я и попросила...

Чувство горячей жалости, как тогда, в прихожей, когда он первый раз ее увидел с новой прической и с животом, просто облило Шурика. У него даже в глазах зашипало. А от жалости ко всему этому бедному, женскому у него у самого внутри что-то твердело. Он давно уже догадывался, что это и есть главное чувство мужчины к женщине... жалость...

Он погладил ее по волосам. Они уже не были склоты на макушке грубой красной заколкой, рассыпались густо и мягко... Он поцеловал ее в макушку:

— Бедняжка...

Она грузно повернулась к нему большим телом, и он почувствовал через одеяло ее грудь и живот. Он взял ее руки, прижал к груди. Тихо гладил ее, а она медленно и с удовольствием плакала. Ей тоже было жалко эту крупную блондинку, потерявшую своего возлюбленного жениха и теперь вот с ребенком, который еще неизвестно, увидит ли своего отца...

— Шурик, ты понимаешь, мне письмо привез его друг. Сказал, что вряд ли что у Энрике получится, что Фидель мстительный как черт, всегда с врагами страшно разделяется, из-под земли достает... — Тут Шурик наконец сообразил, что речь идет ни более ни менее как о Фиделе Кастро. — И все это получилось из-за старшего брата Энрике. Он сбежал в Майами, на лодке. А брат-то у Энрике сводный, от другого отца, и еще до революции мать родила этого парня. Стас его зовут. А Фидель отца арестовал за то, что его пасынок сбежал. И Энрике вообще ни за что сидит, и ему еще сколько сидеть, а жизнь проходит, и неизвестно, сможет ли он приехать... И я буду его ждать всю жизнь... потому что никто-никто на свете больше мне не нужен...

Все это сквозь слезы лепетала Стомба, но руки их были заняты. Произнесение этих жалостных слов не мешало более важному делу: они гладили друг друга — утешительно — по лицу, по шее, по груди, они просто шалели от жалости: Шурик — к Стомбе, а Стомба — к самой себе...

Второе одеяло давно уже упало на пол, они лежали под Ленкиным, тесно прижавшись, и лишь тонкий сатин черных трусов был единственной преградой, а в пальцах ее уже был зажат предмет любви и жалости...

— ...потому что никто-никто на свете мне не нужен... ну точно, точно как у Энрике... и я его, может, никогда больше не увижу... ах, Энрике, пожалуйста...

Шурик теперь лежал на спине, еле дыша. Он знал, что долго ему не продержаться, и он держался до тех пор, пока от имени Энрике, заключенного в кутузку на знойном берегу Кубы, не брызнул в черный сатин полным зарядом мужской жалости...

— Ой, — сказал Шурик.

— Ой, — сказала Стомба.

Все, что происходило дальше, Шурик делал исключительно от имени Энрике — очень осторожно, почти иносказательно... чуть-чуть... слегка... скорее в манере другой Фаины Ивановны, чем в простодушной и честной манере Матильды Павловны...

А потом, наутро, командовал уже Геннадий Николаевич. Первым делом сдали билет. Потом повезли на завод... и далее по программе, предсказанной Ленной: от цементного до трубопрокатного...

Еще две ночи они ужасно жалели друг друга: Шурик — Стомбу, а Стомба — себя. Лена больше не плакала. Она время от времени называла Шурика Энрике. Но это его совершенно не смущало, скорее даже было приятно — он выполнял некий общемужской долг не лично-эгоистически, а от имени и по поручению...

Шурика все называли Сан Саныч. Так представлял его тесть своей области, равной по размеру Бельгии, Голландии и еще несколькими средним европейским государствам...

На третью ночь Лену, разлучив с временным заместителем Энрике, увезли рожать. Она быстро и вполне благополучно родила хорошую смугленькую девочку. Если бы весь медперсонал не был заранее извещен о предстоящем рождении негритенка, — слухи просочились через самое же Фаину Ивановну, сообщившую особо близким о предстоящей возможности чуть ли не породниться с Фиделем Кастро, с тех пор весь город со злорадным ожиданием предвкушал скандал, — без подсказки они бы и не заметили примеси чужой расы. Ну разве что волосики на голове были черными катышками, а не белым пухом...

Геннадий Николаевич настаивал, чтобы муж забрал жену из роддома, а только после этого уезжал в Москву. Шурик страшно нервничал, звонил каждый день маме, на работу... Что-то лепетал и тут, и там... В конце концов так и вышло, как хотел тесть: Шурик забрал Лену с розовым конвертом из роддома и в тот же день вылетел домой. На другой день в местной газете была опубликована фотография: дочь первого человека области с мужем и дочерью Марией на пороге роддома...

26

За те десять дней, что Шурик справлял свои дела на Урале, в Москве навалил ранний снег. В квартире было холодно, сильно дуло от окон, и Вера Александровна в накинутой на кофту шали покойной Елизаветы Ивановны с большим нетерпением ожидала Шурика: необходимо было заклеить окна. Шурику окна заклеивать прежде не приходилось, но он знал, где в записной книжке бабушки находится телефон Фени, дворничихи из Камергерского переулка, которая мастерски это делала. С тех пор как переехали на Белорусский, она приходила два раза в год — осенью заклеить, весной вытащить забитую ножом в щели вату и вымыть окна. Шурик, не раскрыв ни чемодана, ни ящика с продуктами, переданного уже в аэропорту шофером Володей, — провожать его Фаина Ивановна не поехала, — сразу позвонил Фене, но та оказалась в больнице с воспалением легких.

Вера Александровна заволновалась: кто же теперь окна заклеит?

Шурик мать успокоил, заверил, что и сам справится, велел ей сидеть на кухне, чтоб не простудилась, и сразу же занялся окном в материнской спальне. Решил, что для начала законопатит щели, а уж завтра, узнав, как варить клей, наклеит бумажные полоски, чтоб сдерживать вторжение преждевременного холода. К тому же он не совсем был готов отвечать на вопросы матери, что за важные дела так долго задерживали его на Урале, и, исполняя полезное хозяйственное дело, одновременно избегал вранья, от которого его всегда мутило...

Всю вату, которая нашлась в доме, он всунул в щели, и дуть от окна почти перестало. Когда же он вошел на кухню, обнаружил гостя. Вера Александровна поила чаем соседа с пятого этажа, известного всему дому активиста, собиравшего постоянно деньги на общественные нужды и заклеивающего весь подъезд нелепыми объявлениями о соблюдении чистоты, некурении на лестничных клетках и невыбрасывании из окон «ненужных вещей обихода». Все эти объявления были обычно написаны лиловыми, давно вышедшими из употребления чернилами на грубой оберточной бумаге, хранящей на краях следы прикосновения нервного ножа. Женья Розенцвейг, бывший сокурсник по Менделеевке, когда заходил к Шурику, постоянно их отклеивал и собрал уже целую коллекцию этих директив, неизменно начинавшихся словом «запрещается». И вот теперь Вера Александровна поила чаем этого старого идиота, а тот, выкачивая бывшие ор-

линые глаза, тыкал пальцем в воздух и возмущался по поводу неуплаты партийных взносов. Шурик молча налил себе чаю, а Вера Александровна посмотрела на сына страдальческим взглядом. Неуплата партийных взносов не имела к ней ни малейшего отношения, сосед же был, как по ходу разговора выяснилось, секретарем домовой парторганизации для пенсионеров. И зашел по-соседски побеседовать с едва прикрытым намерением привлечь Веру Александровну к общественной работе. На лысой маленькой голове партсекретаря плоско сидела промасленная тюбетейка изначально красного цвета, а из ноздрей и из ушей торчала живая и свежая поросль.

При появлении Шурика он прервал свою энергичную речь, помолчал минуту, а потом решительно, все так же сверля воздух пальцем, но уже в Шуриковом направлении, строго сказал:

— А вы, молодой человек, постоянно хлопаете дверью лифта...

— Простите, больше не буду, — ответил ему Шурик совершенно серьезно, и Вера Александровна улыбнулась Шурику понимающе.

Старик решительно встал, слегка качнулся и протянул перед собой картонную руку:

— Всего вам доброго. Подумайте, Вера Александровна, над моим предложением. И дверью лифта не хлопайте...

— Спокойной ночи, Михаил Абрамович. — Вера Александровна тоже встала и проводила его к двери.

Когда дверь захлопнулась, оба захохотали.

— А из ушей! А из ушей! — всхлипывала от смеха Вера Александровна.

— А тюбетеечка! — вторил ей Шурик.

— Дверью лифта... дверью лифта... — заливалась Вера Александровна, — не хлопайте!

А отсмеявшись, вспомнили Елизавету Ивановну — вот кто бы сейчас от души посмеялся...

Потом Шурик кивнул на коробку:

— Мне там гостинцев надавали!

Раскрыл картонную крышку и стал вынимать всяческие редкости и продовольственные ценности, с большой тщательностью сложенные в сибирском продуктовом распределителе для родственника не игрушечного, как этот Михаил Абрамович, а настоящего партийного секретаря... Но об этом Шурик словом не обмолвился, сказал только:

— За работу премировали...

Но над этой шуткой посмеяться было некому.

27

Валерия Адамовна была в ярости: глаза ее, синим унавоженные, сузились, а пухлые обыкновенно губы в розовой помаде были так сжаты, что под ними образовались две очень милые складки.

— Ну и что прикажете с вами делать, Александр Александрович? — Она постучала по столу согнутым мизинцем.

Шурик стоял перед ней в позе покорности, склонив голову, и вид его выражал виноватость, в глубине же души он испытывал полнейшее равнодушие к своей судьбе. Он был готов к тому, что его выгонят за образовавшийся прогул, но знал также, что без работы не останется, да и без заработка тоже. К тому же Валерии он совершенно не боялся и, хотя не любил доставлять людям неприятности и даже испытывал неловкость перед начальницей, что нарушил данное ей слово, защищаться не собирался. Поэтому и сказал смиренно:

— На ваше усмотрение, Валерия Адамовна.

То ли она смягчилась этим смирением, то ли любопытство взяло верх, но она умерила свою строгость, еще немного постучала по столу пальца-

ми, но уже в каком-то более миролюбивом ритме, и сказала по-свойски, не по-начальничи:

— Ну хорошо, рассказывай, что там у тебя произошло.

И Шурик честно рассказал, как оно было, не упоминая, впрочем, о влажных ночных объятиях, — что сыграл-таки роль законного мужа, был всем предьявлен как трофей, а уехать вовремя не смог, потому что, по замыслу тестя, о котором его заранее не оповестили, он должен был еще встретить ребенка из роддома.

— И как ребеночек? — полюбопытствовала Валерия Адамовна.

— Да я ее не разглядел. Встретил из роддома — и сразу на самолет. Но девочка, во всяком случае, не черная, вполне обыкновенного цвета.

— А назвали как? — живо осведомилась Валерия.

— Марией назвали.

— Мария Корн, значит, — с удовольствием произнесла Валерия Адамовна. — А хорошо звучит. Не по-плебейски.

Мария Корн... Он впервые услышал это имя и поразился: как, эта Стовбина дочка, внучка Геннадия Николаевича, будет носить фамилию его дедушки, его бабушки... Ну конечно... в каких-то бумагах она уже так и записана... И сделалось ему немного не по себе и неловко перед бабушкой... не подумал... как-то безответственно...

Растерянность явно отразилась на его лице и не осталась незамеченной.

— Да, Александр Александрович, это браки бывают фиктивными, а детки фиктивными не бывают, — улыбнулась круглой щекой Валерия Адамовна.

Шурику же в этот самый миг пришла в голову интересная мысль: брак его был по уговору фиктивным, об этом знал и он, и Стовба, и Фаина Ивановна, но не нарушили ли безусловную фиктивность этого брака те две с половиной ночи на Стовбиной тахте, когда он столь успешно исполнял роль исчезнувшего в Фиделевой тюрьме любовника...

Валерия Адамовна тоже испытала в этот миг яркое прозрение, посланное инстинктом: именно этот молодой человек, такой душевно чистый и славный и внешне очень привлекательный, мог дать ей то, что не получилось у нее ни в двух ее ужасных браках, ни во многих любовных приключениях, которые довелось ей испытать...

Она сидела в кресле, в крохотном своем кабинете, напротив нее стоял Шурик, мальчишка на никчемной должности, красивый молодой мужчина, которому ничего от нее не было нужно, порядочный мальчик из хорошей семьи, со знанием иностранных языков, усмехнулась она про себя, — все это было написано на нем большими буквами... И она улыбнулась своей главной улыбкой, неотразимой и действенной, которую взрослые мужчины безошибочно понимали как хорошее предложение...

— Сядь, Шурик, — сказала она неофициальным голосом и кивнула на стул.

Шурик переложил журналы со стула на край ее письменного стола и сел, ожидая распоряжений. Он уже понимал, что с работы его не уволят.

— Никогда больше так не поступай. — Она была готова прямо сейчас, немедленно, в девять часов двадцать минут, то есть в самом начале рабочего дня, заняться важнейшим делом жизни, но понимала, что надо чуть-чуть подождать, организовать запланированную случайность, потому что он был явно недостаточно опытен для блестящего экспромта, которые она более всего ценила... Как бы она хотела легко встать из-за стола, скользнуть к нему, прижаться грудью... Но вот этого она никак не могла — вставала она трудно, опираясь одной рукой о костыль, второй о стол... Совершенно свободной чувствовала себя только в постели, когда проклятые костыли совершенно не были нужны, и там, она знала, инвалидность ее исчезала и она становилась полноценной — о! более чем полноценной — женщиной: летала, парила, возносилась... Но до постели еще надо было его как-то довести...

— Никогда больше так не поступай... Ты знаешь, как я к тебе отношусь и, конечно, увольнять тебя не буду, но, дорогой мой, есть правила, которые следует выполнять... — Она говорила мурлыкающим голосом и вообще, когда сидела, была здорово похожа на большую очень красивую кошку, сходство с которой разрушалось в тот самый момент, когда она вставала и шла своей ныряющей походкой... И тон ее голоса совершенно не соответствовал содержанию ее речи, Шурик чувствовал это и оценивал как нечто непонятное... — Иди работай...

И он пошел в отдел, очень довольный, что на работе его, несмотря ни на что, оставили.

28

От той зимы, когда Шурик провожал Лилию от старого университета на Моховой к ее дому в Чистом переулке, — десятиминутная прогулка, растягивающаяся до полуночи, — а потом, после подробных поцелуев в парадном, опоздав на метро, шел пешком к Белорусскому вокзалу, обоих отдалила краткая по времени, но огромная по событиям жизнь. Шурик, куда не переместившийся географически, перешел известную черту, которая резко отделила его безответственное существование ребенка в семье от жизни взрослого, ответственного за движение семейного механизма, включающего кроме хозяйственных мелочей даже и материнские развлечения вроде посещения театра или концерта.

Что же касается Лили, то географические перемещения по Европе — Вена, потом маленький городок под Римом, Остия, где она прожила больше трех месяцев, пока отец ждал какого-то мифического приглашения от американского университета, — и, наконец, Израиль не оставляли места для воспоминаний. Из всего, оставленного дома, один Шурик присутствовал странным образом в ее жизни. Она писала ему письма, как пишут дневники, чтобы для себя самой обозначить происходящие события и попытаться осмыслить их на ходу, с ручкой в руке. Без этих писем — было такое чувство — все эти быстро сменяющиеся картинки грозили слипнуться в комок.

От Шурика она получила за это время всего одно на удивление скудное письмо, и только единственная фраза в этом письме свидетельствовала о том, что он не вполне был создан ее воображением.

«Два события совершенно изменили мою жизнь, — писал Шурик, — смерть бабушки и твой отъезд. После того как я получил твое письмо, я понял, что какую-то стрелку, как на железной дороге, перевели и мой поезд поменял направление. Была бы жива бабушка, я бы оставался ее внуком, закончил бы университет, поступил в аспирантуру и годам к тридцати работал бы на кафедре в должности ассистента или там научного сотрудника, и так до конца жизни. Была бы ты здесь, мы бы поженились, и я бы всю жизнь жил так, как ты считаешь правильным. Ты же знаешь мой характер, я, в сущности, люблю, когда мной руководят. Но не получилось ни так, ни так, и я чувствую себя поездом, который прицепили к чужому паровозу, и он летит со страшной скоростью, но не знает сам куда. Я почти ничего не выбираю, разве что в кулинарии, что купить на обед — бифштекс рубленый или антрекот в сухарях. Все время делаю только то, что нужно сегодня, и выбирать мне не из чего...»

Какой же он прекрасный и тонкий человек, подумала Лилия и отложила письмо.

Ей самой приходилось принимать решения самостоятельно и чуть ни ежедневно: острейшее чувство строительства жизни вынуждало к этому. Родители ее разошлись вскоре после приезда в Израиль. Отец жил пока в Реховоте, счастливо занимаясь своей наукой и опять собирался в Америку — его новая жена была американкой, и сам он был теперь увлечен организа-

цией своей карьеры на Западе. Забавно, как он за полтора-два года превратился из интеллигентского увальня в энергичного прагматика.

Мать, совершенно выбитая из колеи непредвиденным разводом: всю их совместную жизнь она, как говорится, водила его за руку и была уверена, что он без нее завтрака не съест, штанов не застегнет, на работу забудет выйти, — находилась в состоянии депрессивной растерянности, чем раздражала Лилю. Лиля воевала с матерью, как могла, и, в конце концов окончив ульпан в Тель-Авиве, поступила в Технион. И это тоже был сильный шаг: она отказалась от прежних намерений учиться на филологическом факультете, пошла изучать программирование, считая, что с этой профессией она скорее завоюет себе независимость. На нее обрушилась целая лавина математики, к которой она никогда не испытывала ни малейшего влечения, и ей пришлось засесть за учебу, дисциплинирующее мозги, — занятие, как оказалось, весьма трудное. Но ей трудного и хотелось.

Жила она в общежитии, несколько напоминающем общагу Менделеевского института, куда предыдущую зиму изредка наведывался Шурик. Только собрана здесь была молодежь не из Казахстана и Молдавии, а главным образом из Восточной Европы — дети евреев, выживших во время войны. Лиля делила комнату с девочкой из Венгрии, в соседней жили румынка и марокканка. Все они, разумеется, были еврейками, и единственным их общим языком был иврит, которым они только овладевали. Они остро переживали свое возрожденное еврейство и отчаянно учились: для себя, для родителей, для страны.

Друг Лили Арье — он-то и заманил ее в Технион — тоже здесь учился, тремя курсами старше. Он был взрослым, прошедшим армейскую службу молодым человеком, влюблен был в нее по уши, с первого взгляда. Он много помогал ей в учебе, был надежным, не ведающим сомнений саброй, то есть евреем незнакомой Лиле породы. Невысокий парень с крепкими ногами и большими кулаками, тяжелодум, упрямец, он был одновременно наивным романтиком, пламенным сионистом, потомком первых поселенцев из России начала двадцатого века. Лиля, умнее своего друга раз в двадцать, крутила им, как хотела, прекрасно осознавая и силу, и ограниченность своей власти. С будущего года они собирались снимать вместе квартиру, что значило для Арье — жениться. Лиля несколько побаивалась этой перспективы. Он ей очень нравился, и все, что не удалось когда-то Шурику, у него получилось отлично. Только Шурик был родным, а Арье — не был. Но кто сказал, что в мужа надо выбирать именно родных... Вот уж родители Лили — роднее людей не бывает, хором думали — а расстались...

Лиля дальних планов не строила: ближних было невпроворот. Но письма Шурику все-таки писала — из русской, видимо, потребности в душевном общении, пробирающем до пупа.

29

Снова надвигался Новый год, и снова на Шурика и Веру Александровну напало сиротство: бабушкино отсутствие лишало их Рождества, детского праздника с елкой, французскими рождественскими песенками и пряничным гаданьем. И ясно было, что утрата эта невосполнима и рождественское отсутствие Елизаветы Ивановны становится отныне и содержанием самих зимних праздников. Вера Александровна хандрела. Шурик, выбрав вечернюю минуту, сидел рядом с матерью. Иногда она открывала пианино, вяло и печально наигрывала что-нибудь из Шуберта, который получался у нее все хуже и хуже...

Впрочем, у Шурика было слишком много разных занятий и обязанностей, чтобы предаваться тоске. Опять надвигалась сессия. Беспокоил Шурика только один экзамен — по истории КПСС. Это был корявый и неподъемный курс, нагонявший inferнальную тоску. Было дополнительное

обстоятельство, усиливающее беспокойство: Шурик за весь семестр был всего на трех лекциях, лектор же придавал прилежному посещению большое значение и, прежде чем слушать экзаменационные ответы, долго изучал журнал посещений... Шурик, может, и посещал бы эти трескучие лекции, но по расписанию они приходились на вторую пару понедельника, и обычно он сбегал после первой пары — английской литературы, которую читала любимая подруга Елизаветы Ивановны, Анна Мефодиевна, старушка антибританской внешности, помесь Коробочки и Пульхерии Ивановны, англофилка и англomanка, знакомая Шурику чуть не с рождения, равно как и ее несъедобные кексы и пудинги, которые она изготовляла по старой английской поваренной книге «Cooking by gas», запомнившейся ему с детства.

Он сбегал к Матильде Павловне. Возможно, у него выработался такой условный рефлекс на этот день недели: редкий понедельник обходился без посещения Масловки. Он забегал в Елисейевский, чуть не единственный магазин, работавший допоздна, покупал два килограмма мелкой трески для кошек. Именно эта треска и обставлялась как действительно необходимый Матильде продукт, все прочее представлялось вроде как гарниром к основному блюду...

Отношения Шурика и Матильды были начисто лишены романтической составляющей, даже и легкого налета, о чем он и не задумывался. Он вообще не ведал сердечных волнений, и опыт его отношений с женщинами, если не считать Лили, стоявшей особняком, — она и женщиной-то в его представлении не была, птичкой, пушинкой невесомой, плюшевой обезьянкой, готовой к прыжку, гримасе, дурашливому хихиканью, — все женщины, с которыми он до сих пор имел дело, настоящее мужское дело, тоже не испытывали к нему никаких романтических чувств. Даже Алю, которая сделала на него большую ставку в большой игре своей жизни, он волновал как главная фигура на шахматной доске, а не как романтический герой. Стомба использовала его в качестве паллиатива. Или пластыря, приложенного на незаживающую сердечную рану... Про львицу Фаину и говорить нечего...

Но эта явная недостаточность эмоциональной жизни Шурика не беспокоила. Маму он любил. Верочку. Веру Александровну. Она обеспечивала его разнообразными эмоциями — от тревоги, беспокойства, нежности до жалостливой заботливости и неиссякающей жажды общения...

Он всегда спешил домой. Разве что по понедельникам иногда засиживался, залеживался у Матильды. Но, помня об ужасном случае, когда приезжала к маме «скорая», а он прохладился-наслаждался под Матильдиным одеялом, он и от Матильды теперь выскакивал ровно в час, как будто садился в последний поезд метро, и в четверть второго, перебежав через железнодорожный мостик, мягко открывал дверь, чтобы не разбудить маму, если спит. Матильда, надо отдать ей должное, поторапливала, уважая семейную этику.

30

О готовящемся на него нападении Шурик не догадывался. Да и Валерия Адамовна, положившая свой ясный и горячий взгляд на мальчишку, правильной стратегии тоже никак не могла определить, и чем более она медлила, тем более разжигалась. Допустив однажды мысль, что сделает милого розового теленка своим любовником и родит, если Господь смилостивится, ребеночка, она вовлеклась, куда и не метила: страстная и нерасчетливая натура утянула ее в старые дебри чувств, и она, засыпая и просыпаясь, уже бредила любовью и придумывала, как обставит все наипрекраснейшим образом.

И еще Валерия молилась. Так уж повелось в ее жизни, что религиозное чувство всегда обострялось в связи с любовными переживаниями. Она

ухитрялась вовлекать Господа Бога — в его католической версии — во все свои романы. Каждого нового любовника она воображала поначалу даром самого Господа, горячо благодарила Его за посланную ей радость и представляла себе Его, Господа, третьим участником любви — не свидетелем и наблюдателем, а благосклонным участником происходящей радости. Радость довольно быстро оборачивалась страданием, тогда она меняла установку и понимала, что послан был ей не дар, а искушение... Заключительная стадия романа приводила ее обычно к духовнику, старому ксендзу, живущему под Вильнюсом, где она — по-польски! — открывала свое изболешшееся сердце, плакала, каялась, получала сострадательное поучение и ласковое утешение, после чего возвращалась в Москву умиротворенная — до следующего приключения.

Поскольку бурные романы протекали по какому-то раз и навсегда установленному порядку — мужчин она быстро запугивала своей несоразмерной щедростью, требующей ответных движений, и довольно быстро они от нее сбегали, — с годами она становилась сдержаннее в проявлении своих страстей, да и романы случались теперь не так уж часто...

Какой-то горький юмор, насмешливое отношение к самой себе вырабатывались у Валерий на четвертом десятке, и ей, столь нуждающейся в подтверждении небесного покровительства, пришло в конце концов в голову, что Господь послал ей болезнь именно для укрощения ее буйного нрава.

Она заболела полиомиелитом в пятилетнем возрасте, вскоре после смерти матери. Болезнь протекала поначалу в столь легкой форме, что на нее почти и не обратили внимания. Отец, к тому времени женившийся на Беате, вдове своего друга, бывшей актрисе, бывшей красавице и бывшей баронессе, как раз переезжал в Москву, где получил значительный пост в союзном министерстве. Он был специалистом по деревообработке, происходил из семьи богатого польско-литовского лесоторговца и образование получил в Швеции. Еще в буржуазной Литве он успел стать профессором в лесохозяйственном институте, понимал не только в технологии обработки леса, но и в лесоустройстве.

За хлопотами переезда, тщательного устройства новой жизни в новом городе как-то упустили Валерию... С ногой происходили необратимые ухудшения. Валерию оперировали, потом отправили в детский санаторий, долго держали в гипсе. Хромала она все сильнее, и к десяти годам ей самой стало ясно, что она никогда не будет бегать, прыгать и даже ходить, как все нормальные люди.

Сильнейшие страсти с детства грызли ее душу. Она была так ярко красива, так чувственна и так несчастна.

Мужчины обращали на нее внимание. Больше всего на свете она боялась минуты, когда ей надо будет встать из-за стола и мужчина, только что проявивший к ней острейший интерес, с сожалением отойдет. Иногда такое действительно случалось. Еще в отрочестве она, долгое время обходившаяся без палки, завела свою первую трость — черную, с янтарной ручкой, очень заметную — и выбрасывала ее перед собой как предупредительный знак. Не скрывать свой недостаток, а предъявлять его намеренно и заранее — вот чему она научилась.

Несчастное племя советских людей, сплошь перекаленное войной поколение безруких, безногих, обожженных и изуродованных физически, обоготворяло физическое здоровье, обожало спорт, презирало всяческую немощь. И Валерия остро чувствовала неприличие своей немощи. Она, вместе с инвалидностью, ненавидела и самих инвалидов.

Проведя не менее трех лет, с перерывами, по больницам и санаториям, она рано выстроила теорию о телесной инвалидности, которая постепенно калечит душу. Наблюдала несчастных, страдающих, озлобленных, завидующих людей, требовательных к окружающим, и этой формы душевного уродства не переносила. Она желала быть полноценной.

Окончив школу, уехала в далекий сибирский город, где объявился хирург, вытягивающий кости с помощью хитроумной машины, им изобретенной. Провела там ужасный год, перенесла целую серию операций, после которых на нее надевали этот самый аппарат для растяжки костной ткани. Беата приезжала, сидела возле нее в самые тяжелые послеоперационные дни, потом уезжала и приезжала снова. Беата считала, что напрасно Валерия идет на такие страдания. Напрасно и получилось. Кому-то, кажется, этот аппарат помог, но Валерия вышла после года мучений с сильным ухудшением. Тазобедренный сустав не выдержал растяжки, металлический штырь его разрушил, и нога ее, прежде укороченная на семь сантиметров, но живая, теперь представляла собой лишь печальную обузу. Ходила она уже не с нарядной тростью, а с грубым костылем.

Вскоре после ее возвращения умер отец, они остались теперь вдвоем с Беатой, которая покончила со своей артистической карьерой еще до войны и с тех пор никогда не работала. Положение их сильно изменилось. Беата хотела возвращаться в Литву, но Валерия ее удерживала. Неожиданно для Беаты Валерия взяла жизнь в свои руки, будто приняла какое-то важное для себя решение.

Больше она не делала попыток исправить ситуацию с помощью медицины. Оформила первую группу инвалидности, получила первую свою инвалидную машину с ручным управлением и, разъезжая на этой смешной, сильно фыркающей игрушке, окончила институт, а потом и аспирантуру. Беата финансировала — что-то продавала, что-то покупала. Кого-то консультировала. У нее был отменный вкус и чутье делового человека. В те годы это называлось спекуляцией. Валерия же поддерживала ее своей молодой энергией, бесконечной добротой и благодарностью.

С годами Валерия привыкла к своему несчастью, научилась его игнорировать и более всего радовалась, когда могла кому-то помочь. Это для нее значило, что она полноценный человек. Так оно и было. В доме, еще не разделенном между последующими мужьями, всегда толпилась молодежь, и Беата только удивлялась, как это бедная Валерия сумела образовать вокруг себя такое шумное веселье. Друзья совершенно забыли о физическом недостатке Валерии. Чужие, но воспитанные люди делали вид, что все в порядке, люди попроще жалели ее, и именно сочетание красоты с физическим недостатком делало ее еще заметнее.

У нее бывали тяжелые минуты, часы, дни. Но она умела бороться с тем, что называют плохим настроением. Совсем еще девочкой, лежа месяцами на спине, в неподвижности, с непрекращающимся мучительным зудом под гипсовым панцирем, она научилась молиться. И молитва постепенно стала ровным и неизменным фоном — что бы ни делала она, далеко не отрывалась от постоянной, совершенно односторонней беседы с Господом о вещах, которые никак не могли бы Его заинтересовать. И потому всегда добавляла: прости, что я к Тебе с полной ерундой. Но к кому же мне, как не к Тебе... Почему-то помогало.

На втором курсе она вышла замуж за своего сокурсника по институту, молодого человека из провинции. Он учился на художественно-графическом факультете, был прожженным карьеристом. Вселившись в богатый дом Валерии, он расположился с полнейшей бесцеремонностью, вынудил Беату съехать на кратовскую дачу. Прожив четыре счастливейших для Валерии года и окончив институт, он развелся с Валерией и отсудил треть квартиры. Мачеха была вне себя, продала кратовскую дачу и откупилась от бывшего зятя домиком в Загорске, куда он и переехал из отсуженной трети московской квартиры. Выписался — это и была дорогостоящая победа Беаты.

Загорская жизнь пошла ему на пользу — со временем он достиг большого почета и славы, изображая православные древности Сергиева Посада и Радонежа. Валерия тщеславно следила за его карьерой и не упускала случая упомянуть о первом муже...

Второго мужа, опять провинциала без московской прописки, Валерия подцепила на семинаре библиотечных работников, спустя несколько лет после первой брачной неудачи. Он был из Ижевска, здоровый мужик, дезертировавший в библиотечное дело с шинного завода, где чуть было не попал под суд за чужое, как говорил, воровство. Порядочным этот самый Николай себя не проявил — женился на Валерии, прописался несмотря на настоящий семейный скандал, по этому поводу разразившийся. Беата, сухая и пронизательная, стояла насмерть, защищая интересы идиотки падчерицы, и разрешения на прописку на этот раз не давала. При полном несходстве характеров и темпераментов они любили друг друга — скрывающаяся от прошлого баронесса и хромая красавица, все готовая отдать за любовь.

— Ты умрешь на помойке, — предрекала мачеха Валерии. Валерия целовала ее в щеку и хохотала...

Разделили лицевой счет. Валерия оказалась обладательницей двух комнат из трех и вновь стала замужней дамой.

Второй брак стоил Валерии еще одной комнаты. Самым же гнусным в этой истории было то обстоятельство, что ровно через год ижевский Николай привез свою прежнюю жену с ребенком якобы для лечения его в Филатовской больнице, поселил их в квартире, некоторое время ходил из комнаты в комнату, к величайшему недоумению законной, до самого постыдного финала ничего не соображавшей Валерии, и в конце концов объявил, что все же прежняя, старая, любовь взяла свое, опять же и ребенок, которого Валерия, как ни тужилась, не смогла ему произвести, и он решил с Валерией развестись, чтобы снова жениться на своей бывшенькой.

Умная мачеха Беата, которая ко времени второго ее развода отдыхала от ненавистной ей московской жизни на вильнюсском кладбище, вблизи своего первого мужа, уже ничем не могла помочь. Да и ее бывшая комната тоже была к этому времени заселена чужими жильцами — счет-то лицевой они разделили еще перед вторым замужеством Валерии.

Квартира, таким образом, стала коммунальной. От мачехи Валерия унаследовала невзрачную деревянную шкатулку с бриллиантами — других камней Беата не носила.

Итак, к моменту знакомства с Шуриком Валерия была обладательницей не только шкатулки, но и огромной комнаты в коммуналке, плотно заставленной французской музейной мебелью, собранной Беатой отчасти от скуки, отчасти из соображений практических, — ни в какие времена, кроме революционных и военных, не стоили эти драгоценности столь ничтожных денег... Неразбазаренными оказались еще и три картины, приобретенные покойным отцом: один итальянский художник Маруччи, XVIII века, средней руки, один Коровин и один Айвазовский, который, правда, продолжал висеть в комнате бывшего мужа, но Валерия полагала, что временно... Были еще прежде четвертая и пятая картины — два небольших Серова, но их пришлось продать, чтоб выручить одного хорошего человека, который не очень хорошо потом с ней обошелся...

Буфет был набит фарфором, который Беата всю жизнь то покупала, то продавала, до самого конца так и не успев решить, что же имеет больший смысл покупать — русский фарфор или немецкий... Русский почему-то ценился выше, но вкус Беаты склонялся скорее к немецкому. Валерия предпочитала русский.

Вот и сидела она за овальным наборным столиком с двумя страдающими ожирением купидонами в рамке из плодовоовощной смеси, опершись подбородком о натруженные костылями руки. Перед ней стояла крупная чайная чашка с почти стершейся позолотой, поповская, и дешевое печенье в вазочке, и свеча в подсвечнике, и растрепанная книжечка, способствующая разговору. В квартире было жарко и влажно — в ванной и в кухне постоянно сушилось соседское белье. Сильно топили. Даже под волосами

было влажно. Синяя тушь, купленная у спекулянтки, слегка расплылась под глазами от влажной важности минуты.

— Ну хорошо, — обращалась она к своему главному Собеседнику, — признаюсь Тебе: хочу. Как кошка. Но чем я хуже? Она выходит, поорет, поорет — и к ней является мужик, не женатый, они все не женатые, и никакого им греха... Ну чем я хуже кошки? Ты же сам все так устроил, сам дал мне это тело, еще и хромое, и что мне с этим делать? Ты что, хочешь, чтоб я была святой? Так и сделал бы меня святой! Но ведь я правда ребенка бы родила, девочку маленькую или пусть даже мальчика. И если Ты мне дашь это сделать, тогда не буду. Обет даю: не буду больше. Ну скажи: зачем Ты так все устроил?

Она уже давала обеты, что больше не будет. И плакала, и обещала духовнику. Последний раз это было в прошлом году, после неудачного романа с пожилым профессором, из библиотечных завсегдатаев. Но там все закончилось особенно печально: где-то их видели, сообщили жене, и профессора от страха хватил инсульт, и она только один раз после этого с ним встретилась — такая развалина, инвалид... Но теперь было другое, и ничего плохого здесь быть не может.

— Я же не хочу ничего плохого. Только ребеночка. И только один раз, — пыталась Валерия договориться, но никакого одобрительного ответа не слышала и все приставала и канючила, пока не стало стыдно. Тогда она допила остывший чай и решила внепланово вымыть голову. Потрогала волосы — да, хорошо бы! И пошла в коммунальную ванную, где были развешаны для просушки пеленки и всякая детская мелочь, — бывший ее муж со своей кошмарной бабой родили еще одного, и в отцовом кабинете жила теперь семья, ожидающая еще и третьего, для верности, чтобы встать на учет и получить отдельную квартиру. В ванной стоял таз, Валерия его отодвинула и поставила табурет. Уже давно она пользовалась только душем, безгуга коммунальной ванной.

Назавтра все было договорено: Шурик шел с матерью в консерваторию, потом отправлял ее домой в такси и к ней обещал прийти около десяти. До Малой Бронной от Никитской — всего ничего. Зачем? Помочь книги с верхней полки снять, перевязать стопками и отнести в машину. Уже давно Валерия Адамовна собиралась передать в иностранный отдел книги на шведском языке, принадлежавшие отцу.

31

Все складывалось очень удачно. Концерт был великолепный. Играла Юдина. Это была та самая программа, что когда-то исполнял Левандовский, и Вера Александровна впала в приятнейшее состояние: музыка свела воедино воспоминания о покойном возлюбленном и сидевшего рядом их сына, которому она успела перед началом концерта шепнуть, что отец его исполнял все эти вещи великолепно, просто бесподобно. Мария Вениаминовна Юдина тоже справилась совсем неплохо. Не хуже Левандовского. Публика в зале в этот день была избраннейшая — сплошь из ценителей и знатоков, да и музыкантов много пришло на концерт.

— Был бы жив твой отец, сегодняшний концерт был бы для него праздником, — сказала Вера Александровна в гардеробе, и Шурик слегка удивился: мать крайне редко упоминала его отца.

Пожалуй, подумал Шурик, она стала о нем чаще вспоминать после смерти бабушки.

Он не был особенно тонким человеком, но интуиция его обострялась, когда дело касалось матери.

Такси взять долго не удавалось — публика была знатная, и никто, кажется, не хотел ехать на троллейбусе. Прошли по Тверскому бульвару.

Возле Театра Пушкина Вера Александровна вздохнула; Шурик отлично знал, что услышит сейчас.

— Проклятое место, — сказала торжественно Вера Александровна, и Шурику было приятно, что он все заранее знает. Но об Алисе Коонен на этот раз она не упомянула. Он держал ее под руку, и был он того же роста, что Левандовский, с которым столько здесь хожено-перехожено, и вел ее с той же почтительной твердостью, что и пунктирный его отец.

Какое счастье, подумала Верочка.

Они вышли на улицу Горького. На углу, возле аптеки, Шурик остановил такси. Вера Александровна была, пожалуй, даже довольна, что едет домой одна, — ей хотелось побыть наедине со своими мыслями.

— Ты не очень поздно? — спросила она сына уже из машины.

— Мам, ну конечно же, поздно, сейчас уже одиннадцатый час. Валерия Адамовна сказала, там томов восемьдесят, их надо снять, связать в пачки, погрузить в машину...

Вера Александровна махнула рукой. Она знала, что сделает, когда придет домой. Достанет письма Левандовского и перечитает...

Валерия встретила Шурика в голубом кимоно с белыми аистами, просторно летящими по ее полному телу с запада на восток. Давний подарок изысканной Беаты. Вымытые волосы — лесной орех, славянский редкий цвет, — падали на плечи, слегка загибаясь вверх.

— Ну, голубчик, ну спасибо! — радовалась Валерия, покуда он топтался в прихожей. — Нет-нет, здесь не раздевайтесь! В комнате, в комнате!

Она, стуча костылем, прохромала в комнату. Он прошел за ней. Снял в комнате куртку, огляделся. Комната была разгорожена мебелью на отсеки точно так же, как когда-то у них в Камергерском. Шкафы с книгами. Бронзовая люстра с синей стеклянной вставкой...

— Похоже на нашу старую квартиру в Камергерском, — сказал Шурик. — Я там родился.

— Ну, я-то родилась в Вильно, в Вильнюсе, как теперь говорят. Но в школу уже пошла в Москве, в русскую. Я до семи лет по-русски не говорила. Родной язык у меня польский. И литовский. Дело в том, что мачеха моя по-русски очень плохо говорила, хотя последние двадцать лет здесь прожила. С папой мы по-польски говорили, а с Беатой — по-литовски. Так что русский у меня получился третий.

— Вот как? — удивился Шурик. — А со мной бабушка тоже очень рано начала по-французски говорить... А потом немецкому обучила...

— Ну, все и понятно... Вы, значит, как и я, родимое пятно капитализма...

— Как? — удивился Шурик.

Валерия засмеялась:

— Ну, раньше так говорили про всех бывших... Чай, кофе?

Овальный столик на одной ноге, как бабушкин, накрыт был заранее. Шурик сел и заметил, что ботинки его оставляют мокрые следы.

— Ой, извините... Можно, я ботинки сниму?

— Как вам удобнее... Конечно.

Он снова подошел к двери, расшнуровал ботинки, стащил с ног. Вынул из кармана куртки носовой платок, высморкался, провел рукой по волосам...

Она называла его то на «ты», то на «вы», иногда, на службе, подчеркнуто — Александром Александровичем, а то просто Шуриком. И теперь она была в растерянности, особенно после того, как он снял ботинки. Нет, расстояние надо было сокращать.

— Ну, как складываются твои дела на Урале? Что слышно от дочери? — Валерия сделала шаг в интимное пространство.

— А я и не знаю, — простодушно отозвался Шурик. — Она мне больше не звонила.

— А сам? — улыбнулась Валерия.

— Мы не договаривались. Я ведь просто помог ей... ну, выкрутиться из сложного положения. А больше ничего...

Ход оказался бесперспективным.

Либо я поглупела, либо потеряла женскую квалификацию, подумала про себя Валерия. На самом же деле она жаждала мужского интереса со стороны молодого человека, он же был приветлив, доброжелателен и совершенно индифферентен.

— О! — вскинула волосами Валерия. — У меня есть чудесный коньяк. Откройте, пожалуйста, дверку того маленького шкафчика... Нет-нет, другого, с живописью. Это во вкусе Фрагонара, не правда ли? Мачеха обожала... Вот-вот, и две рюмки коньячные... Как славно, когда обслуживают... Я все стараюсь так устроить, чтобы поменьше на кухню выходить. — Она указала на чайничек, стоявший на спиртовке. — А теперь наливайте, Шурик. Вы любите, я вижу, когда вами руководят?

— Кажется, да. Я уже думал об этом.

Шурик налил коньяк почти доверху рюмки.

— Вы налили хорошо, но неправильно, — засмеялась Валерия. — Я немного поручокову. Знаете, я ведь могу вас не только библиотечному делу поучить. Есть еще множество вещей, которые я, вероятно, лучше вас знаю. — Она сделала паузу. Эта последняя фраза ей удалась. — Например, относительно коньяка. Наливают одну треть рюмки... Но это для светского приема. А для нашего случая как раз правильно по полной.

Валерия подняла рюмку, протянула ее к Шуриковой, дотронулась до нее осторожно. Едва коснулась. Она сделала медленный глоток, Шурик проглотил разом.

— У меня есть знакомый грузин, винодел. Он учил меня этой науке — пить вино и пить коньяк. Говорил, что питье — занятие чувственное. Требует обостренных чувств. Сначала он долго греет рюмку с коньяком. Вот так.

Она обняла круглое, как электрическая лампочка, дно рюмки обеими ладонями, приласкала его, немного поплескала нежными круговыми движениями по внутренним стенкам рюмки. Медленно поднесла рюмку к губам, коснулась рта. Прижала стекло к губе.

— Это надо делать очень нежно, очень любовно...

Она уже не рюмку держала в руке, она уже опробовала приближение к нему. Диванчик, на котором она сидела, был «дишес», двухместный.

Сядь, сядь сюда, мысленно приказала ему Валерия. Пожалуйста...

Он не пересел. Но именно в этот момент понял, чего от него ждут. И еще он понял, что она в смятении и просит у него помощи. Она была так красива, и женственна, и взросла, и умна. И хочет от него так немного... Да ради бога! О чем тут говорить? Господи, как всех женщин жалко, мелькнуло у Шурика. Всех...

Она сделала еще один маленький глоток и сдвинулась совсем к краю дивана. Шурик сел рядом. Она поставила рюмку и положила горячую руку на тыльную сторону его ладони. Дальше все было очень просто. И довольно обыкновенно. Единственное, что удивило Шурика, — это температура. Она была высокая. Там, внутри, у этой женщины был жар. Сначала сухой, потом влажный. У нее была большая красивая грудь с твердыми сосками, и пахло от нее чудесно, и вход такой гладкий, правильный: маленькое напряжение — и как с горы... Только не вниз, а вверх... Круто, так что дух немного захватило. Все было так отлично. Ее бил как будто озноб, и он ее немного придерживал. То, чем Матильда заканчивала, этим она начала и поднималась по ступеням все выше и выше, и Шурик догадывался по ее лицу, что она отлетает от него все дальше и ему за ней не угнаться. Он догадался также, что его простые и незатейливые движения вызывают внутри сложно устроенного пространства интересно-разнообразные ответы, что-то пульсировало, открывалось и закрывалось, проливалось и снова высыхало. Она замирала, прижимала его к себе и снова отпускала, и он под-

чинялся ее ритму все точнее и сбился со счета, считая ее взлеты. Он чувствовал, что ему надо продержаться подольше, и ее обморочные паузы давали ему этот шанс.

В час ночи Шурик позвонил маме и сказал, что задержится — очень большая работа оказалась. Действительно, закончили работу только к трем.

Лежали в насквозь мокрой постели. Она выглядела похудевшей и очень молодой. Шурик хотел было встать, но она его удержала:

— Нельзя так сразу.

Он снова лег. Поцеловал ее в подвернувшееся ухо.

Она засмеялась:

— Ты меня оглушил. Надо вот так.

И влезла большим языком ему в ухо, щекотно и мокро.

— Такого со мной не было никогда в жизни, — прошептала она.

— И со мной, — легко согласился Шурик. Ему было девятнадцать, и действительно, было множество вещей, которые с ним еще никогда не случались.

32

Письма Александра Сигизмундовича, две связки, довоенные и послевоенные, Вера Александровна перечитала. Она знала их наизусть и вспоминала не только письма, но и время, место и обстоятельства их получения. И чувства, испытанные ею тогда.

Можно было бы написать роман, подумала Вера Александровна. Сложила конверты стопочками, обвязала ленточкой и отнесла на место. По прошествии лет молодость казалась яркой и значительной. Рядом с коробочкой, в которой хранились письма, Вера обнаружила еще одну, материнскую. У мамы была просто-таки страсть к разным шкатулкам, укладкам, бонбоньеркам. Хранила и жестяные, дореволюционные, из-под чая и леденцов, и швейцарские, и французские...

Да что там? — подумала Вера, отодвигая круглую шляпную картонку, чтобы поместить на место свою мемориальную коробку. Открыла. Удивилась. Улыбнулась. Это были тряпочки для вытирания пыли, сшитые Елизаветой Ивановной впрок из вышедших из употребления рваных фильдеперсовых чулок. Вера вспомнила, как мама резала на куски старые чулки, складывала в четыре слоя и прошивала крестиками-птичками. Точно так же она делала и перочистки, но из старого сукна. Как много всего вышло из употребления... саше... думочки... шипцы для завивки... кольца для салфеток... да и сами салфетки...

Вера взяла две розовато-телесные тряпочки — и чулки такого цвета теперь не носят — и прошла по комнате, сметая пыль со множества мелких предметов, составляющих неизменный пейзаж ее жизни.

А зеркало мама протирала почему-то нашатырем, вспомнила Вера, взглянув в зеркало. И никто больше не считает меня красавицей, усмехнулась своему миловидному отражению. Может, только Шурик.

Повернула голову направо, налево. А что, действительно хорошо выгляжу. Вот только подбородок немного испортился, провисла шея. И если сдвинуть стоячий воротничок, обнажится шрам, розовый и немного складчатый. Хороший шов, у других он получался грубее, толще. Ей сделали косметический... Она потрогала одрябший подбородок. Есть упражнение, — и она сделала круговое движение головой, и что-то хрустнуло сзади в шее. Ну вот, отложение солей. Надо позаниматься...

Прошло уже несколько дней с тех пор, как она ходила с Шуриком в консерваторию. Накануне, уже без него — он занимался в институте, — она была в Музее Скрябина. Исполняли «Поэму экстаза», которую знала она от первой до последней ноты. Играть никогда не пробовала — очень сложно. Но вспоминала с умилением, как в молодые годы под эту энер-

гично-рваную музыку выделявали студийцы свои хореографически-спортивные упражнения. И стихи Пастернака, связанные и с этой самой музыкой, и с его тогдашним кумиром, композитором Скрябиным. Какая мощная, какая современная культура, — и все куда-то ускользнуло, рассеялось, кажется, совсем бесследно... И в театре, кроме классики, смотреть не на что. Говорят, Любимов... Но там все на брехтовской энергии... Как-кая-то пустая полоса... Говорят, появился еще Эфрос. Надо посмотреть... Она сидела с пыльной тряпочкой в руках, размышляя о высоких материях, как вдруг раздался неожиданно поздний звонок в дверь — пришел сосед Михаил Абрамович...

— Я возвращаюсь с собрания, вижу, у вас горит свет, — объяснил он.

— Проходите, пожалуйста, я только руки сполосну... — Вера Александровна зашла в ванную, опустила руки под струю воды. Пыльные тряпочки оставила в раковине — потом прополоскать.

Он стоял на коврике с исключительно деловым видом.

— Ну что, Вера Александровна, обдумали мое предложение? Подвал пустует!

Она и забыла, что он два раза уже донимал ее каким-то кружком, который хорошо бы организовать для детского досуга.

— Нет-нет, я действительно в прошлом актриса, но никогда не вела занятий с детьми, и речи быть не может, — твердо отказалась Вера Александровна.

— Ну хорошо, хорошо... Тогда, может быть, вы пойдете к нам в бухгалтеры. Бухгалтер нам в кооператив тоже нужен. Эта старая уходит. А вы бы нам подошли... — Подумал немного и добавил: — А кому бы вы не подошли, с другой стороны? А? Не отказывайте, не отказывайте! Сначала подумайте! Я просто вне себя, что такая молодая и красивая, извините, конечно, женщина вот так совершенно никак себя не проявляет в общественном смысле. — И он заторопился и отказался от чая, который Вера ему любезно предложила.

Вера Александровна рассказала Шурику и о своих размышлениях по поводу обнищания культуры, и о визите Михаила Абрамовича, предлагающего что-нибудь полезное делать на общественных началах. Посмеялась. Шурик же неожиданно сказал:

— Знаешь, мамочка, а занятия с детьми могли бы тебе очень подойти. Ты так всегда интересно рассказываешь о театре, о музыке. Не знаю, не знаю, может, это было бы и хорошо...

Еще через несколько дней Михаил Абрамович пришел с картонной коробочкой, на которой гнусным коричневым цветом гнутыми буквами было выведено «Мармелад в шоколаде». Пили чай. Он соблазнял ее от имени домашнего парткома. Она улыбалась и отшучивалась. Она давно уже знала, что нравится еврейским мужчинам. Был он чем-то похож на того снабженца, который влюблен был в нее давно-давно...

«Кушайте, кушайте мармелад», — говорил он ей. Они переглядывались с Шуриком — прозвище было готово.

Она улыбалась — настроение сделалось приподнятое, вещь для декабря невероятная — и даже предложила Шурику устроить для его трех учеников если не настоящий рождественский праздник, то хотя бы чаепитие.

— А пряники?

— Ну, можно купить и записочки к покупным приложить...

Но Шурик категорически отверг это предложение как надругательство над домашними традициями. Елку тем не менее купил заранее, на этот раз очень хорошую, и поставил на балкон до востребования...

Вера Александровна после находки материнских пыльных тряпочек вдруг заметила, что со смертью Елизаветы Ивановны дом как-то обветшал и потускнел, хотя и полотер уже приходил, натер двумя волосяными щетками паркет и оставил после себя старомодный запах мастики и благород-

ное свечение паркета, и сама Вера Александровна прошла по квартире несколько раз с фильдеперсовыми тряпками, собрав пыль на их розовые брюшки. Чего-то не хватало... Сказала об этом Шурику в свойственной ей меланхолической манере...

Дело было вечернее, после ужина, сидели за столом — не на кухне, как в утренней спешке, а в бабушкиной комнате, за овальным столом. Брамс подходил к концу, Шурик эту пластинку много раз слышал и ждал приближающейся коды...

— Мамочка, я думаю, не в доме дело. Все у нас в порядке, бабушка вполне могла бы быть довольна. Просто, ты понимаешь, я ведь тоже об этом думаю, ты слишком много времени проводишь дома...

— Ты думаешь? — изумилась Вера такому странному предательству. Не Шурик ли сам так настаивал, чтобы она ушла на пенсию, получила инвалидность... И вдруг — такое... — Ты думаешь, что мне следует поискать работу?

— Нет, я совсем не это думаю. Другое. Не работу, а занятие. Я уверен, что ты могла бы писать рецензии — ты всегда так интересно говоришь о театре, о музыке. Ты столько всего знаешь... Могла бы преподавать... Не знаю чего, но многое могла бы... Бабушка всегда это говорила, что ты свой талант загубила, но ведь не поздно что-то еще делать...

Вера Александровна поджала губы:

— Какой талант, Шурик? Я видела настоящих актрис, знала Алису Коонен, Бабанову...

Кажется, никто и никогда не относился с таким уважением к ее творческой личности, как Шурик. Даже мама... Это было приятно.

33

Времени для какого бы то ни было настроения — хорошего, плохого, грустного — у Али совершенно не было. Уж слишком она была занята. Однако незадолго до Нового года пришло полуофициальное письмо из Акмолинска, с завода. Заведующая лабораторией поздравляла ее от имени бывших сослуживцев с наступающим Новым годом, писала, что на ее место взяли двух лаборантов, и справляются они вдвоем хуже, чем она одна. Это была приятная часть письма. Далее она писала, что вся лаборатория ждет ее возвращения настоящим специалистом, и особенно было бы хорошо, если она освоила как следует методы качественного и количественного анализа продуктов крекинга нефти, потому что это будет ее основное направление работы. И еще: к лету, когда у нее будет производственная практика, завод сделает запрос, чтоб на летние месяцы она приехала поработать дома, а в отделе кадров уже подтвердили, что и дорогу оплатят, и за время практики будут ей давать зарплату.

Вот тут-то у Али и возникло настроение. Плохое. И даже очень плохое. Уже привыкнув к мысли, что навсегда останется в Москве после окончания Менделеевки, поняла она, какой трудной задачей будет избежать Акмолинска, приписанной к которому она оказалась на всю жизнь.

Единственным выходом было только замужество, и единственным кандидатом был Шурик, уже занятый, хотя и фиктивно. Ей казалось почему-то, что, сделав такую услугу Стовбе, с которой особенно и не дружил, на ней-то он уж непременно должен жениться. И притом не фиктивно. Она загибала про себя пальцы — уже шесть раз они были любовниками. А это не раз, не два, серьезно все-таки. Правда, Шурик как-то сам не проявлял к ней интереса. Но он был сильно занят, и мама больная, учеба-работа — времени же на все не хватает, убеждала она себя.

Сдаваться она не собиралась, и Новый год представлялся ей подходящим временем для очередного наступления.

С середины декабря она несколько раз заходила на Ново-Лесную, как бы мимо пробегая, но Шурика дома застать не удавалось. Вера Александровна

ровна поила ее чаем с молоком, была рассеяннo-приветлива, но ничего извлечь из этого было невозможно. Ей хотелось быть приглашенной в дом, на встречу Нового года, как в прошлом году, — в памяти ее как-то совершенно растворилось, что и в прошлом году никто ее не приглашал.

Наконец, вызволив Шурика, сказала, что надо срочно поговорить. Шурик, не испытав и малейшего любопытства, побегал в Менделеевку в одиннадцатом часу вечера, и пробежка эта даже доставила ему удовольствие, как и вид главного входа, вестибюля, — у него было чувство отпущенного раба, заглянувшего на свою бывшую каторгу уже свободным человеком.

Аля в своей неизменной синей кофте, с начесанным большим пуком на голове встретила его на лестнице. Взяла под руку. Шурик огляделся — странно: ни одного знакомого лица, а ведь год здесь проучился...

Пошли в курилку, под лестницу. Аля достала из сумки пачку сигарет «Фемина».

— О, ты куришь? — удивился Шурик.

— Так, балуюсь, — ответила Аля, играя сигаретой с золотым ободочком.

Шурику всегда было немного неловко в ее присутствии.

— Ну что? — спросил он.

— Насчет Нового года хотела с тобой посоветоваться. — Более ловкого хода она не придумала, как ни тужилась. — Может, я пирог спеку или салат?

Он смотрел на нее с недоумением, решивши, что она хочет пригласить его в общежитие.

— Да я дома, с мамой, как всегда. И никуда не собираюсь...

Это была правда, но не вся. Он собирался после часу ночи, выпив с мамой по бокалу ритуального шампанского, пойти к Гии Кикнадзе, у которого собирались бывшие одноклассники.

— Так и я хочу к вам прийти, только надо же приготовить что-нибудь...

— Ладно, я у мамы спрошу... — неопределенно отозвался Шурик.

Аля пустила струю дыма из открытого рта. Сказать было нечего, но что-то надо было...

— От Стовбы ничего не слышно?

— Не-а.

— А я письмо получила.

— Ну и что?

— Ничего особенного. Пишет, что после академического вернется, а дочку, скорей всего, у мамы оставит.

— Ну и правильно, — одобрил Шурик.

— А Калинкина с Демченко женятся, слышал?

— А Калинкина — это кто?

— Из Днепропетровска, волейболистка. Стриженная такая...

— Не помню. Да и откуда я могу слышать, если я никого из той группы, кроме тебя, вообще не видел? Только с Женькой иногда по телефону...

— А у Женьки у самого роман! — с отчаянием почти крикнула Аля. И больше сказать совсем было нечего. Шурик не проявил ни малейшего интереса к новостям курса.

— Ой, забыла сказать! Израйлевича помнишь? Так у него был сердечный приступ, его увезли в больницу, и он зимнюю сессию принимать не будет, а потом вообще, может, на пенсию уйдет!

Шурик хорошо помнил этого математического маньяка, даже в сон к нему проломившегося. Из-за него-то он и сбежал из Менделеевки — осенняя переэкзаменовка по математике все дело решила...

— Так ему и надо, — буркнул Шурик. — А что ты мне сказать-то хотела? Срочное? — уточнил Шурик.

— А про Новый год, Шурик, чтоб договориться... — растерялась Аля.

— А-а, понял, — сказал он неопределенно. — И все?

— Ну да. Надо же заранее...

Шурик галантно проводил Алю до Новослободского метро и побежал домой, забыв немедленно и о ней самой, и о ее малоинтересных новостях. И забыл настолько прочно, что вспомнил об этом разговоре только в двенадцатом часу тридцать первого декабря, когда вдвоем с Верой они сидели в бабушкиной комнате при зажженной елке, и было все точно так, как собирались они сделать еще в прошлом году: бабушкино кресло, и ее шаль на спинке кресла внакидку, и полумрак, и музыка, и новогодние подарки под елкой...

И тут раздался звонок в дверь.

— Кто бы это мог быть? — Вера Александровна с беспокойством посмотрела на Шурика.

— О господи! Это Аля Тогусова!

— Ну вот, опять! — вздохнула Вера Александровна. — Зачем же ты ее пригласил?

— Мам! И не думал даже! Как тебе такое в голову пришло?

Они молча сидели за столом перед тремя приборами. Один — бабушкин. Звонок робко тренькнул еще раз. Вера Александровна постучала узкими пальцами по столу.

— Знаешь, как бабушка говорила в таких случаях? Гость от Бога...

Шурик пошел открывать. Он был ужасно зол — и на себя, и на Алю. Она стояла и смотрела на него с умоляющей и бесстыдной улыбкой. И салат, и пирог... Ему стало ее ужасно жалко... Новый год был испорчен, и он еще не знал, до какой степени.

Стол был красиво украшен, но скуден. Алин пирог оказался сверху пересушен, а внутри недопечен. К инструменту Вера Александровна не подошла, и Шурик страдал, глядя на ее замкнутое лицо. Прошлогодняя нелепость — Фаина Ивановна с ее шумным вмешательством — была хотя бы театральной. Да и самой Але было не по себе: она получила то, чего добивалась, — сидела с Шуриком и его матерью за новогодним столом, но никакого торжества при этом не испытывала. В этой композиции третий был явственно лишним. В двенадцать часов чокнулись. Потом Шурик принес чай и четыре пирожных, за которыми ездил утром на Арбат. Через пятнадцать минут Вера Александровна встала и, сославшись на головную боль, ушла спать.

Шурик отнес на кухню посуду и сложил ее в раковину. Бессловесная Аля сразу же ее вымыла. Как моют химическую — полное удаление жира и двадцатикратное ополаскивание, чтобы не стекали капли.

— Я провожу тебя до метро. Еще работает, — предложил Шурик.

Она посмотрела на него как наказанный ребенок — с отчаянием:

— И все?

Шурику хотелось поскорее от нее отделаться и бежать к Гии.

— А что еще? Ну, хочешь еще чаю?

И тогда она встала в угол за кухонной дверью, закрыла лицо руками и горько заплакала. Сначала тихо, потом сильнее. Плечи ее от мелких вздрагиваний перешли к более крупным, раздалось захлебывающееся клокотание и странный стук, который Шурика даже удивил: она слегка билась головой о дверной косяк.

— Ты что, Аль, ты что? — Шурик взял ее за плечи, хотел повернуть к себе лицом, но тело ее оказалось как дерево, вросшее в пол. Не оторвешь.

Хриплые ритмичные звуки, частые, на выдохе, вырывались из нее.

Как будто порванную камеру накачивают, отметил Шурик. Он просунул руку между нею и дверью, но качание ее не прекратилось. Только звуки стали громче. Тогда Шурик испугался, что услышит мама. Он был уверен, что она не спит, а лежит у себя в комнате, с книгой и с яблоком... Слегка напрягшись и удивляясь сопротивлению ее хрупкого тела, он ото-

рвал-таки Алю от пола, отнес к себе в комнату и закрыл ногой дверь. Хотел положить ее на кушетку, но она вцепилась в него окоченевшими руками и все дергала головой и плечами. Когда же ему удалось ее уложить, он в ужасе от нее отшатнулся: глаза были закачены под верхние веки, рот криво сведен судорогой, руки подергивались — она была явно без сознания...

«Скорую», «скорую!» — кинулся было к телефону и остановился с трубкой в руке: мама перепугается... Бросил трубку, налил воды в чайную чашку и вернулся к Але. Она все еще подергивала сжатыми кривыми кулачками, но уже не издавала велосипедных звуков. Он приподнял голову, попытался напоить, но губы ее были плотно сжаты. Он поставил чашку, сел у нее в ногах. Заметил, что и ноги ее подрагивают в том же ритме. Юбочка была жалко задрана, тонкие ноги угадывались под розовым трико избыточного размера. Шурик запер дверь, снял с нее трико и начал производить оздоровительную процедуру. Других средств в его арсенале не было, но это, единственное ему доступное, подействовало.

Птималь, малый эпилептический припадок, — вот что произошло с Алей.

Она об этом ничего не знала, да и Шурикова медицинская осведомленность касалась только маминой щитовидной железы. Но это и не имело никакого значения. Через полчаса она совершенно пришла в себя. Помнила, что вымыла посуду, а потом оказалась на Шуриковой кушетке, с чувством глубокого удовлетворения отметив про себя: седьмой раз!

Застегивая брюки, он галантно поинтересовался, как она себя чувствует. Чувствовала она себя странно: голова была гулкая и тяжелая. Решила, что это от шампанского.

Метро уже не работало. Шурик отвез Алю в общежитие на такси, поцеловал в щеку и на той же машине отправился к Гии, счастливый тем, что все обошлось и он свалил с плеч это неприятное приключение.

У Гии веселье было в полном разгаре. Родители уехали в Тбилиси, оставив на него квартиру и старшую сестру, маленького роста толстушку с монгольской внешностью и неразборчивой речью. Обычно они брали ее с собой, но в этот раз не смогли: она была простужена, а простуды, было известно, грозили ей опасными последствиями. Кроме бывших одноклассников Гия пригласил несколько сокурсниц из института, так что девочек, как это часто бывало, оказалось с большим избытком, и потому танцевали не парами, а все вместе. Шурик сразу оказался в середине этой танцевальной кутерьмы и отплясывал рок-н-ролл или то, что он так именовал, с большим одушевлением, прерываясь исключительно ради выпивки, которой было море разлитое. Он пил, плясал и чувствовал, что именно это необходимо ему для избавления от незнакомого прежде чувства жути, осевшего на такой глубине души, о существовании которой он и не догадывался. Как будто в собственном, известном до последнего кирпича доме обнаружился еще и таинственный подвал...

Грузинский коньяк, привезенный в цистернах из Тбилиси в Москву для местного разлива, частично расходился по московским грузинам, друзьям начальника московского коньячного предприятия. Двадцатилитровая канистра дареного напитка стояла в кухне. Он был не особенно плох, хотя до хорошего ему было далеко, но количество его настолько превосходило качество, что качество уже совершенно не имело значения. Это был тот самый коньяк, которым угощала Шурика Валерия Адамовна, — из того же самого источника, из тех же самых рук. Но Шурик пил коньяк стаканами, а не рюмками, наполненными на одну треть, пытаясь поскорее избавиться от навязчивого воспоминания — Али с закатывшимися под лоб глазами и судорожными биениями скрюченных лапок.

Через час он достиг зенита опьянения и минут сорок пребывал в том счастливом состоянии, ради которого люди вливают в себя более или менее «огненную воду». Счастливое, но краткое состояние, из которого Шурику запомнились толстенькая карлица с сияющим плоским личиком,

прыгающая вокруг его ног не в такт музыке высокая длинноволосая девушка в синем, с надкусанным пирожком, который она засовывала Шурику в рот, одноклассница Наташа Островская, располневшая, с обручальным кольцом, настойчиво предъявляемым Шурику, — и снова низенькая толстушка, все тянувшая его куда-то за руку.

Еще он помнил, что блевал в уборной и радовался, что попадает ровно в середину унитаза, нисколько не промахиваясь. Начиная с этого момента он уже не помнил ничего до тех пор, пока не проснулся на узкой кровати в незнакомой комнате. Это была детская, судя по обилию мягких игрушек. Ноги его были чем-то придавлены. Он с трудом приподнял голову. На его ногах спала с большим плюшевым медведем в обнимку сестра Гии.

Он осторожно выпростал ноги из-под трогательной парочки. Толстушка открыла глаза, неопределенно улыбнулась и снова заснула. Смутное подозрение закралось на мгновенье, но Шурик его тут же отогнал. Встал на ноги. Кружилась голова. Хотелось пить. Почему-то сильно болели ноги. Он вышел на кухню. Свинство вокруг творилось беспредельное: липкий пол, битая посуда, окурки и объедки... В большой комнате на ковре, укрывшись пальто и нелепо белоснежным пододеяльником, спали вповалку гости.

Шурик подхватил свою куртку, которая удачно лежала посреди прихожей, и смылся. Надо было поскорее домой, к маме.

Аля была довольна своими новогодними достижениями. Она выпалась — одна во всей комнате. Соседки разъехались по домам. Голова болеть перестала. Шурик ей про ее приступ ничего не сказал.

Через полтора месяца приступ ни с того ни с сего у нее повторился, на этот раз в институте. Он был несильный и кратковременный — сознание она потеряла всего на несколько минут, — но произошло это во время занятий, когда она раздавала прописи для лабораторной студентам-вечерникам. Одна девочка-студентка сказала: падучая. На этот раз Але рассказали, что у нее был приступ, и она собралась пойти к врачу. Но все как-то было некогда, да и приступов больше не было.

Разве что в начале лета...

Было уже тепло. Аля купила туфли на шпильках и переходила Каляевскую улицу напротив булочной, как раз чтобы зайти туда и купить хлеба — лучшего на свете. Машин было мало, но какая-то безумная серая «Победа» не разминувшись с ней на почти пустой дороге и сшибла. Умерла она сразу же. Шофера засудили, хотя он уверял, что она упала сама прямо ему под колеса. Был даже один свидетель, который подтверждал показание водителя. Но показание свидетеля не признали, потому что давал он его в пьяном виде, другого же вида у него никогда и не было.

Конечно, если бы Аля ходила по врачам и у нее был бы где-то записан диагноз, шофера, может, и не посадили бы. Потому что кто же на самом деле теперь мог установить, упала ли она из-за приступа, или действительно ее сбили?

Шурик узнал о смерти Али только осенью, потому что Женя Розенцвейг и сам этого своевременно не узнал: был во время этого несчастного случая в Новомосковске, на практике. Осенью, когда Шурик узнал о смерти Али, он очень огорчился. И Вера Александровна тоже.

— Бедная девочка! — сказала она.

(Конец первой книги.)



АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

*

РАСТЕРЯННАЯ РАДОСТЬ

* *
*

...и поди догадайся, пойми попробуй,
отчего то шарфик на мне скрестит,
то свои ладони; и впрямь, с чего бы
порешила мучить меня до гроба —
и стишки, и душу мою скрести;

то щадит, то милует... — не за то ли,
что — Ея Величества поставщик муры —
я водился с небом, якшался с полем —
подалась в укротительницы запоев,
нанялась в усмирительницы хандры;

разберись попробуй, где сушь, где море,
что картавит ворон, что — соловей
и кому — на радость или на горе —
я пишу об этом, будучи в ссоре...
мне казалось — с миром, а вышло — с ней...

* *
*

Только подумаю, что со мной случилось, —
разом полынь на губах:
все, чем я мыслил себя, пораспалось
в урночках или в гробах.

Комья на крышках, звезды на крышах —
вот вам и весь матерьял
жизни, что трогал, правды, что слышал,
радости, что растерял...

Попытка утешения

В розовой тьме немоты Моисея,
у Аароновых уст
старый мичуринец юной Расеи
ладит ракиновый куст;

в алое горло Давидовой дудки,
полной Ионовых слез,
черные ангелы лагерной будки
тычут сережки берез...

Родина, родичи, посох и плаха —
по истечении бед
явится вам из Адамова праха
Авелев голос и свет.

* *
*

Одни уводили меня в моря,
другие вели в молву,
а ты — река, по которой я
полжизни своей плыву,

и берег невидим, но коль ему
приспичит мелькнуть на миг,
я наше течение с себя сниму,
как осень — дождевик,

собью ракушки с колен, с груди —
лодки и якорьки.
Так ты с колечек сняла бигуди,
колечко сняла с руки...

* *
*

Оглядишься: тоска да забота...
Отмахнешься, и вспыхнет, свежа,
разноцветная спелость полета
пережившего юность стрижа;
вспомнишь Блока — столкнешься со сплином,
кликнешь Баха — и чуть не собьет
представлявшийся днесь муравьиным
соловьиный горячечный пот.

Выбьешь двери, отбросишь калитку,
и ударит из карих рябин
зримый реквием — нитка на нитку,
зрячий реквием — пытка на пытку —
переделкинских паутин...

* *
*

Здравствуй, моя дорога
в крылышках и лесах:
листья в гостях у Бога,
птицы — в Его часах,
шепот и кукованье
облака и травы,
складное волхвованье
месяца и молвы.

Там, где темно, — сиянье;
там, где светло, — волхвы...

* *
*

Могли бы и не жить.
Ты представляешь:
я — выкидыш послевоенной ночи,
ты — недоносок брежневского сплина,

я к облаку лечу,
подтолкнут воплем
«Да здравствует Иосиф Виссарьоныч!»,
ты к облаку спешишь, подтолкнут всхлипом
лица социализма развитого,

и вот сидит на краешке союза
из социалистических республик
Евгений (но уже не Боратынский,
а тот уже, который Евтушенко) —

сидит и шумным перышком сверкает,
и складывает строки «Недоноска»,
тебя расслышав
и меня приметив...

* *
*

...ну и что с того, что башка твоя в моих поцелуях,
да и плечи — тоже, и те же руки, и та же попа,
ну и что с того, что спрашиваешь, почему я
о себе подумал при том, что тебя прохлопал,

ну и что с того, что ты семя мое, а плачешь,
и моя надежда, а маешься без надежды
на мою поддержку, и ломку никак не спрячешь,
и она, как ветер, сотрясает твои одежды,

ну и что с того, что ты вышел из дома, горю
подставляя щеки, на слово мое притопнув.
Если встретишь Йорика, вспомни: отец твой — Йорик,
прикоснешься к тополи, думай: отец твой — тополь...

Ну и что с того, что знобит нас, шатает, клонит,
что — летучий прах — мы то солнце, то счастье застим,
и при том, что не ждут нас, а, дверь приоткрывши, гонят,
мы с тобою пороги кровавим: здрасьте!

Вот с тобой мы какие: опять огорчаем маму
да, на радость соседям, таскаем себя, как гири,
от болотца — к морю, да от часовенки — к храму,
да от горя к горю, от горя к горю, от горя к горю.

День

Все, сложенное за ночь, на столе
лучится инеем; в смиренных рубахах
Марс и Венера; дева — на земле,
солдатик — на посту;
ночные страхи
опять на кладбище: жестяная звезда
и холм всклокоченный — не далее ограды;
и верится, что мертвым никуда
не хочется и никуда не надо —
ни птица их не выкликнет, ни лист,
ни город не аукнет, ни поселок.
Лишь где-то, всем невидим, тракторист —
с заботой о грядущих новоселах,
перемоловши корочку дерна,
из глины выковыривает глыбы
и смачно матерится;

тишина
в могилку убегает, и Господь,
чтоб ей не испугаться, серебристо
высвечивает впившуюся в плоть
распавшуюся

горечь тракториста...

* *
*

Вечерние огни,
скукоженные стужей, —
действительность, что ни
просторнее, ни уже
того, что мог бы взгляд
перевести в понятие
увеличенья трат
на перемены в платье
к зиме... Уж не вчера ль
мы превратили дали
и в шапочку, и в шарф,
и в треушок для Дарьи,
и в лыжи для Петра,
и в наши растабары
про то, чтобы пора
сапожки для Варвары...

Заплачь, мой друг, ударь
 возжегшего жестоко
 под окнами фонарь,
 сворованный у Блока,
 за страх, а не стихи,
 за чад, а не горенье,
 за перебег строки,
 а не сердцебиенье!

Хоть жизнь перепиши,
 хоть строчку переделай —
 действительность души
 не дале чем в пределах
 отпущенного ей
 сумеет развернуться,
 и дудочке моей
 вернее задохнуться...

Утро

От песенки отталкиваясь, от
 ее припева —
 над городом очнувшимся плывет
 ночная дева:

плечо крылатится,
 и мелодрамой
 из тьмы халатика
 то мрак, то мрамор...

Снам не обученный, в сатиновых трусах,
 в штанах на вате
 в девицей прибранных крахмальных небесах
 спешит солдатик.

Как хорошо им: встретятся, найдут
 друг дружки руки
 и медленно в друг дружку потекут,
 как реки — в реки

и горы — в горы...

Жаль, что из-за нас,
 зачем-то к ним летящим торопливо,
 ночная дева вскрикнет «не сейчас!»
 и мятым облаком прикроется стыдливо...



ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ

*

СПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Рассказы

В ПОТЕМКАХ

Если вы встречаете женщину, в которую влюбляетесь с первого взгляда или внезапно понимаете, что это именно *ваша* женщина (что в общем-то почти одно и то же), а она между тем — с другим мужчиной, то дело плохо. Хотя, впрочем, для кого-то, не исключено, и хорошо — ревность только распаляет чувства, а чувство в его высшем развитии и напряжении и есть не что иное, как страсть, а страсть — не что иное, как полнота жизни, то есть желанна и востребуема. Пусть даже толкает на всякие непредвиденные поступки, на какие в другое время человек, казалось, вовсе и не способен.

Тут, надо сказать, бывает, и до драмы недалеко (если не до трагедии), что, собственно, и понятно: женщина — *ваша*, однако — с другим. Нечто несообразное, неправильное, мучительное, непотребное, несправедливое и обидное до глухого, со стоном в недрах души страдания.

Именно так, между прочим, и случилось с Саней М.

Роковая, если так можно выразиться, встреча произошла на даче приятеля, куда Саня с еще одним другом приехали в прекрасный позднемайский вечер с носящимися в воздухе ароматами цветущих яблонь, еще каких-то цветов, дыма от углей разведенного прямо на участке костерка и жарящегося на них шашлыка. Кто когда-то обонял сей великолепный коктейль запахов, никогда его не забудет — столько в нем всего сразу для мягкой весенней свежестью души.

Там, у костерка, они (хозяин и гости, в числе коих и Саня) тихо сидели, попивали красное вино, закусывали медленно дозревающим шашлыком, покуривали, беседуя вполголоса, — словом, вкушали весеннюю предночную благодать. И вдруг из тьмы за забором — негромкие голоса, а затем две фигуры, мужчины и девушки, мужчина явно старше, с чуть раскосыми глазами и длинными, чуть завивающимися у концов темными волосами (Саня, впрочем, в него и не взглядывался), а вот девушка...

Тут-то сразу, еще она даже не вышла толком на свет, так что и разглядеть пока было трудновато, а он, не поверите, затрепетал мгновенно, всматриваясь в облекавшую ее полутьму, — и разглядел: стройная легкая фигурка, ржаные короткие волосы, носик небольшой, приятная открытая улыбка — вся разом и высветилась.

Мужчина оказался старым знакомым, художник там или кто, вдруг решившим наведаться со своей девушкой в гости к Павлу (имя приятеля). Девушка же, впрочем, как позже выяснилось, была вовсе и не его, а сама

по себе, но именно в ту ночь она оказалась с ним (значит, все-таки его). Так тоже бывает: и его, и не его, но для Сани-то — все равно испытание. Еще какое!..

С того самого мгновения Саня краем глаза постоянно держал девушку (Наташа) в поле зрения: как она сидит на бревне, чуть наклонившись, отчего ее лицо то озаряется внезапно прорвавшимся из-под углей язычком пламени, то вновь темнеет, как она руки зябко тянет к теплу или снимает осторожно зубами сочащееся соком мясо с шампура, как улыбается чьей-нибудь шутке или смотрит задумчиво куда-то перед собой, длинные ресницы изредка вздрагивают...

Порой его взгляд перехватывал ее (или случайно пересекался), и тогда внутри все обмирало, сердце словно проваливалось, а потом начинало бешено колотиться, и он, не отрываясь, смотрел, смотрел или, наоборот, отводил глаза, потому что девушка была чужая, а смотреть *так* на чужую девушку — неприлично. Но иной раз ему не удавалось оторваться, и тогда в глазах девушки (пока еще неопределенного цвета) появлялось что-то вроде вопроса, она его выделяла (он чувствовал) и потом время от времени на Саню мельком, словно случайно, поглядывала — с любопытством.

Короче, контакт между ними установился почти с самого начала, Саню это волновало, даже говорить совсем перестал и так, молча, словно затаившись, сидел. Будто парализовало его. Только вино пил в большем количестве, чем прежде, отчего в голове начиналось некоторое кружение и покачивание. Между тем что-то еще происходило в нем — вроде как он чувствовал непоправимость надвигающегося.

А что, собственно, надвигалось?

Ночь надвигалась, верней, это они погружались в ночь — все глубже и глубже, в ночные весенние ароматы и шорохи, в мерцанье звезд и всякую прочую лирику, костерок догорал, угольки алели, лица, чуть подсвеченные багрово, все больше уплывали во тьму, голоса расплывались, а они все сидели. И вдруг... Саня обнаруживает, что рядом никого, он один сидит, уткнувшись носом в дотлевающие угли, а все куда-то подевались.

Но главное — исчезла и девушка вместе с тем человеком, с которым приехала, настолько исчезла, что ему аж нехорошо стало — нетрудно ведь догадаться, куда исчезла. Саня вспомнил, что приятель повел их (ее и того самого мужчину) в дом — устраивать, как он сказал (запало) на ночлег. Какую-то комнатку им выделил гостеприимный приятель, совершив тем самым чуть ли не предательство по отношению к Сане: потому Саня, может, и остался у костра, хотя им с другом тоже полагалась комнатка — в мансарде, куда его, между прочим, тоже хотели проводить. Только Саня, упрямый, уперся и никуда идти не хотел, обидевшись (с пьяными бывает) на приятеля за вероломство, а заодно и вообще на весь мир. Нет, в самом деле, *его* ведь это девушка была, точно, а ушла (о, подлость!) — с этим самым человеком, которого Саня знать не знал и знать не хотел.

Итак, угольки дотлевали, звездная сонная одурь царила над миром, да и сыровато стало, так что Саня вынужден был подняться и, размяв затекшие члены, двинуться, слегка пошатываясь, к темнеющему в глубине сада дому. Впрочем, и еще что-то такое, невнятное (мысль не мысль), двигало им, отчего, приблизившись к бревенчатому срубу, начал он перемещаться как-то украдкой, словно таясь, и не пошел почему-то внутрь, а свернул в сторону и стал медленно, стараясь не производить никаких звуков, обходить дом.

Окна, метра два от земли (так просто не заглянешь), были темны — в глубокий сладкий сон, казалось, погружен дом, лишь Саня аки тать в ночи крадется куда-то и неведомо зачем в чуть подсвеченных фонарем с улицы потемках. В том-то и беда — не верилось ему в сон, напротив, мерещилось что-то за окнами (за одним из них), может, даже звуки, не ис-

ключено, стоны, вроде как ужасное — насилие не насилие, но все равно жутковатое, а главное, непоправимое — там, в темной глубине заоконного пространства, *его* девушка с другим...

Не катастрофа разве?

Так он бродил вокруг дома, ноги давно промокли от росы и озябли, хотя ночь была сравнительно теплая. И весь он продрог, даже зубы полязгивали. Однажды почудилось ему: белое мелькнуло в окне, которое выходило в сторону улицы, нежное, немужское.

Впрочем, мало ли что почудится в лунном серебристом свечении да еще при некотором кружении головы и сердца? Девушка стоит у окна, по ту сторону стекла, волосы распущены, как у русалки, в потемках — как в мерцающей глубине озера, вглядывается в весенний сад, а сад — тихий такой, весь в изумрудно-серебристой дымке и яблоневого аромате. Вроде как одна стоит, будто ждет кого-то, будто подозревает, что этот кто-то (Саня), очарованный, бродит вокруг, мучимый то ли желанием, то ли любовной тоской, то ли несправедливостью мироустройства, где роковые несоответствия бьют в самое сердце.

Только, видно, и в самом деле пригрезилось — ни звуков, ни шевеления, замерло все в предутренней дреме, а *его* (вот терзание-то!) все не оставляло — вроде как скрип кровати, ритмичный такой, скрип-скрип, будто кто в ней качается, как на качелях, или другого качает, или вместе с другим, и скрип этот (Саня сторожко прислушивается) *его* то в жар, то в холод швыряет.

В какое-то мгновение он не выдерживает и начинает карабкаться по стене, чтобы в одно из окон, то самое, что глядит в сторону улицы (фонарь), все-таки попытаться заглянуть — *его* не смущает неблагоприятность этого действия, он просто не думает об этом, поглощенный видением: девушку *его* там, в потемках, держит в объятиях *некто*. И *некто* этот кажется ему чуть ли не демоном, вороны крыла над ней распластавшим. Ну да, девушку спасти надо — любой ценой! — вот какой идеей одержим Саня.

Карабкаться-то он карабкается, но неудачно — ноги то и дело соскальзывают с влажных от ночной росы бревен, никак не дотянуться ему, а когда все-таки дотягивается, держась за выступающий наличник — настолько, что уже, кажется, можно заглянуть (и вглядывается, ничего, правда, так и не успев рассмотреть), — тут наличник с оглушительным хрустом отделяется от стены, а Саня неуклюже скатывается на землю — и тут же стремглав бросается в глубь сада, петляя, как заяц по грядкам, и круша по пути какие-то ветки. В ужасе мерещится ему, что хлопает открываемое вслед окно и потом за ним кто-то ломится, догоняя, сопя и тоже треща ветками.

Что же это за ночь такая, чертыхается Саня, весь взмокший и истосковавшийся. В такие вот волшебные головокружительные ночи и совершаются всякие ужасы, о которых потом пишут романы и снимают кино. Сердцебиение еще не унялось, а страх быть разоблаченным леденит душу.

Девушка эта, Наташа, вовсе не к добру тут появилась, и ржаные ее волосы, и поворот головы, и смуглая нежная кожа, и все остальное, при мысли о чем у Сани вдоль позвоночника пробегает мелкая дрожь, а кровь бросается в голову — всего этого, ему принадлежащего, теперь уже точно не видать, как собственных ушей.

И что, собственно, он там, за стеклом, хотел увидеть? В чем удостовериться? Что девушка эта блаженствует под ласками другого, то есть изменяет ему? Так сказать, *de facto*, устроенная на ночлег *его* же приятелем. Жутко, жутко!.. Он вот тут, на мокрой траве, сам мокрый, всего в нескольких метрах, а там, там...

И вновь мерещится Сане за темным стеклом что-то белеющее, смуглое, господи, так же с ума сойти можно...

В конце концов, кто же виноват? А никто!..

Даже этот мужчина непонятного возраста, похожий на демона, со слегка раскосыми глазами и длинными, чуть завивающимися у концов темными волосами, он тоже ни при чем. Так уж случилось, что Наташа эта вышла откуда-то из недр Саниного существа (там она, похоже, и жила), а тот, другой, этого просто не знал, не мог знать. И что теперь Сане делать, если девушка, воплотившись, тут же оказалась в чужих руках?

Правда, за что ж это его (ее) так? В чем он и она провинились? И что теперь ему остается — нет, правда? Пусть хоть кто-нибудь подскажет!

От костра уже почти ничего не осталось, только узенькая струйка сизоватого дымка все еще сочится из-под почти потухших углей. Дом по-прежнему мирно спит, и девушка эта, вероятно, спит, согреваемая чуждым теплом покоящегося рядом жаркого мужского тела. А Саня все сидит на бревнышке, засунув руки в карманы куртки и чувствуя себя совершенно разбитым — только какие-то видения время от времени прокатываются волнами в мутной и тяжелой с недосыпа голове.

Рассвет уже занимается, легким туманом окутывая деревья, время тянется бесконечно, и нет у Сани иного выхода, кроме как встать и побрести прочь, по тропинке вдоль улицы — к станции, к электричке...

Тут бы и кончить эту историю, однако еще несколько слов напоследок.

Нет, не тот Саня человек, чтобы вот так исчезнуть, оставив принадлежащее ему по праву, в чем нет у него никаких сомнений.

С девушкой Наташей все у них в итоге сладится — вот уже несколько лет они вместе, только временами Сане не спится ночью, он встает в потемках, пьет воду из-под крана или просто бродит, как привидение, по квартире, а потом вдруг задает разбуженной им недовольной Наташе неожиданный вопрос:

— Таишься?

— Что-что?..

— Таишься, спрашиваю?

— Почему «таишься»? Просто сплю.

— Просто сплю — это неинтересно.

— А таиться интересно?

— Конечно, вроде как ждешь чего-то необычного. Вроде как в засаде. Вроде как опасность.

— Не хочу никакой засады и никакой опасности! Спать хочу...

— На самом деле ты именно в опасности. Наступление ночи всегда связано с опасностью. Темнота, неизвестность, крадущиеся шаги...

— Ну ты и придумашь.

— А тут и придумывать нечего. Даже сны — в них тоже опасность, ты же не знаешь, что с тобой происходит, когда видишь сны. Может, ты соединяешься посредством их с другой реальностью, может, через них в твою жизнь, в твое подсознание проникают духи или какие-то неведомые силы. Может, ты просыпаешься уже не совсем такой, как прежде, а?

— А при чем здесь «таишься»?

— Ну вроде как ты спряталась, притихла, чтобы тебя не застучали, не заметили, не засекли... Я иду и тебя как будто не вижу. Одеяло натянуто до носа, только глаза блестят.

— А ты и шел крадучись.

— Ну да, опасался засады. Мало ли с чем можно столкнуться в темноте?

— Что ты болтаешь, ты же лампу включил.

— А что лампа, лампа всю комнату не освещает, только часть. Ну да, я боялся тебя разбудить, а потом вижу, что ты не спишь, глаза поблескивают в полумраке, как у кошки. Притаилась.

— Глупости, даже и не думала, просто лежу, и все. Пытаюсь заснуть.

— А засыпание — это все равно что притаиться. Притихнуть, замереть, замаскироваться — вроде как спишь, а у самой глаза приоткрыты и в темноте как два огонька.

— Странные фантазии!

— Ты притаилась и ждешь, что я буду делать.

— Я и так знаю, что ты будешь делать.

— Это тебе кажется, что ты знаешь, а на самом деле даже мне самому неведомо.

— ???

— Заросли вкрадчивой мглы, колючки больно впиваются в тело, скользко во мраке, и шатка земля, сыростью тянет и прелью... Если прислушаться, стоны можно услышать, душ неприкаянных ропот...

— Слушай, ложись-ка спать, хватит нести околесицу! И выключи, наконец, лампу!

Такой вот между ними происходит ночной разговор.

Ну и точка, пожалуй.

СПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Когда живешь в центре, любой район за пределами, скажем, Садового кольца уже начинает казаться не просто далеким, но и загадочным, как лес или другой город. Выходишь из метро в конце какой-нибудь, скажем, «красной» или «зеленой» ветки и обнаруживаешь, что действительно будто бы неведомо где. Вроде и дома те же, да не те. Москва — чисто условно. Белые современные строения, не сказать чтоб слишком красивые, немереные пространства, деревьев и прочей растительности почти нет, даже машин мало, и солнце над головой — яростное.

Ощущение, что место — посередине пустыни, а вовсе не на семи холмах. И как в пустыне, солнце здесь белое, и дома тоже кажутся особенно белыми, может, пока еще от новизны, незадымленные. И людей почему-то мало — то ли все на работе, а работа в центре, то ли еще где...

Разве что вечером забурлит, заклубится жизнь — народ начнет возвращаться, поток из метро...

А днем почти никого, редкий прохожий встретится на огромных просторах. Магазины, однако, открыты, продавщицы скучают, смотрят на белое солнце и белые дома, стоя возле дверей (внутри душно), на сероватые от пыли чахлые кустики, и, возможно, им кажется, что где-то совсем неподалеку лениво плещется и вздыхает море, и вот-вот долетит оттуда легкий бриз, принесет йодистые запахи водорослей.

Только ветерок, увы, приносит лишь тучу пыли, рассеивая мимолетное бирюзовое (о, море в Гаграх!) видение, и тогда начинает мерещиться за домами вовсе не море, а совсем противоположное — пустыня, зыблущиеся барханы, раскаленный добела струящийся песок, летящий в глаза.

Море — хорошо, пустыня — плохо.

Странно, но кажется, что и люди здесь какие-то другие. В движениях смуглых продавщиц томная замедленность, девушки сладко потягиваются, поднимая руки и выпячивая крепкие груди, расчесывают длинные волнистые волосы, подкрашивают глаза или губы, нехотя перебрасываются словами.

Так же медлительны и редкие покупатели, они словно задремывают перед витриной, вглядываясь в выставленный там вполне обычный ассортимент продуктов, и кажется, что попали они сюда случайно, просто забрели от нечего делать — вот так постоять поглазеть, имитируя процесс выбора. Но даже если и покупают что-то, то купля-продажа происходит все в том же замирающем режиме — вроде как ничего и не надо.

Нет, это не Москва.

Оказавшись в этом районе, Гарик чувствует себя не совсем в своей тарелке, как если бы действительно попал в другой город. Он беспокойно оглядывается по сторонам, с удивлением взирая на все эти белые дома и светящуюся даль по-за ними, заслоняется ладонью от летящей в лицо пыли. Он поправляет темные очки, чтобы белое солнце не слепило глаза, а песчаные кристаллики не засоряли их. С этим новым не обжитым (им, Гариком) пространством что-то надо немедленно делать, чтобы пустыня не поглотила случайного путника, каковым он себя ощущает здесь.

Собственно, это могла быть даже и какая-то другая планета — словно из лемовских фантастических романов, Марс там или иная, и там бы тоже время текло по-другому и клубились пылевые смерчи.

Веселое и тоскливое чувство потерянности обычно подступает к горлу Гарика, когда тот попадает в новое место. Поэтому он просто не может не познакомиться с какой-нибудь его миловидной обитательницей. Это не столько хобби или охотничий донжуанский инстинкт, как может показаться, сколько психологическая необходимость. Другой город должен быть как-то приручен, а что для этого лучше всего? Разумеется, обзавестись здесь новым знакомством, с девушкой или женщиной, — верное средство для адаптации и познания нового места.

Да, девушки для Гарика — вроде спасительной бухты или лоцмана в этом незнакомом волнующемся или, напротив, штилевом море. Появление на горизонте симпатичной аборигенши воспринимается им с надеждой и трепетом, как обещание если не спасения, то самообретения.

Дело в том, что в новом для него месте Гарик перестает чувствовать себя самим собой, у него самопроизвольно зарождаются совершенно нелепые вопросы вроде: зачем он здесь и что это за чудное место, куда занесло его бог весть какими путями, даже если у него в сумке командировочный лист или бумага, которую ему надо передать в некую контору (по работе Гарик приходится заниматься и этим)? Так что ему срочно нужно подтверждение, что он — это именно он, а не кто-то другой.

К тому же в любой женщине (а особенно красивой) всегда есть, по твердому убеждению нашего героя, нечто от гения места (*genius loci's*), как если бы она, положим, была нимфой здешних лесов (которых нет) или наядой здешних водоемов (в метафорическом смысле), а значит, и сближение с ней означает приобщение или даже природнение к окружающему пространству. Именно в этом смысле материнское начало, какое мужчина ищет в женщине, получает свое подлинное значение — как влечение именно к матери-природе.

Завязывается все с того, что Гарик спрашивает у первой же привлечшей его внимание девушки (женщины), предпочтительно блондинки, как пройти (куда ему нужно), даже если он уже сам сориентировался, и в зависимости от степени приветливости/доброжелательности ответа следует (или не следует) продолжение.

Приветливость для Гарика — свидетельство правильности его выбора, то есть душевной доброкачественности, открытости миру и новым впечатлениям. Гарик очень ценит подобное отношение — улыбку и ясность взгляда, подробное неспешное объяснение и терпение в случае его непонятливости (взаправдашной или чуть-чуть симитированной).

Обычно он самым дотошным образом выспрашивает про поворот налево или направо, разные указатели и всякое прочее, что не даст ему сбиться с пути. И если тест девушкой успешно пройден, то Гарик в конце концов предлагает ей проводить его (если она, конечно, никуда не торопится) до пункта назначения, поскольку он все-таки опасается заблудиться (тонкая усмешка) и потеряться (трагическое выражение лица).

Ну да, пыльные бури могут застить глаза, закрутить-завертеть, и в горле уже пересохло, жажда мучит, а белое солнце пустыни жарит вовсю, и одиночество подкрадывается тихими крадущимися шажками, готовое вот-вот сжать свои липкие щупальца.

Надо сказать, чаще всего он встречает отзывчивость и человеколюбие (хотя и не всегда). Там, где жизнь течет неторопливо и размеренно, где нет нервных перегрузок, как в центре (постоянный шум, пробки, дым неочищенных выхлопов, спешка и нервы, нервы), где сонное облако над белыми домами не разрывают молнии автомобильных сирен, там и отношение к человеку более сердечное — без судорожной оглядки на часы.

И вот уже совсем недавно стремительный Гарик вдруг затормаживается, взгляд его темных глаз становится тягучим и ласковым, походка не то что вальняжной, но какой-то слегка раскачивающейся, как у моряка, только что сошедшего с палубы корабля. Он идет рядом с девушкой, положим, ее имя Лола, на ней белая юбка и голубая блузка, легко постукивающие об асфальт белые, слегка запыленные босоножки. Он рассказывает, что вчера ночью видел Лолу во сне, так бывает, люди сначала, как бы это правильнее выразить, сближаются и только потом знакомятся, и сейчас сон как будто продолжается, нет, он не какой-нибудь там мистик, но все равно от тонких связей никуда не уйдешь — правда, как так могло случиться, что он встретил здесь, на краю света, именно Лолу, а не кого-то еще? И что вообще судьба его забросит сюда, в этот неведомый край с белыми домами и пыльными ветрами? Если бы не Лола, он точно бы потерялся среди барханов, волны бы захлестнули его утлое суденышко, или оно бы непременно разбилось о скалы.

Ничего, что девушка поглядывает на него с некоторым изумлением, Гарик сам верит в то, что так и было, он берет загипнотизированную девушку под руку и ведет ее по указанному маршруту, там в соответствующей конторе Гарик делает дела, а девушка между тем терпеливо ждет его на улице, поверив, что он без нее точно отсюда не выберется, и потом они идут в какой-нибудь указанный той же Лолой кабачок.

В небольшом зальчике никого, кроме сонного, разомлевшего в духоте и безделье бармена. Гарик заказывает кофе с мороженым для девушки и кофе с рюмкой коньяка для себя — культурная жизнь, почти как в центре, разве что только над всем висит морок неподвижности и праздности, отсутствие людей настораживает и превращает все в приключение.

Гарик тербит пальцы девушки (тонкие, длинные, на одном серебряный перстенок), вроде как изучает линии судьбы. Кофе жидковат, коньяк резковат (явно подделка), но Лола аккуратно, с некоторым даже педантизмом слизывает мороженое с ложечки, проводя то и дело языком по неброско покрашенным пухлым губам. Она и в самом деле чувствует себя так, словно давным-давно знает Гарика, он ей нравится, сквозь знойное марево и усыпляющее дыхание пустыни (шум волн) до нее долетают (помимо негромко мурлыкающей в кафе музычки) его странные, непривычные слова про пустыню и одиночество, воспаленное солнце и неодолимое тяготение одного человека к другому.

Медленно ползут минуты — время словно остановилось. Немного взбодрившиеся после кофе Гарик и Лола начинают позевывать, сначала нечасто и скрытно, прикрывая ладонями рот, но постепенно все откровенней и беззастенчивей, даже с неким завывающим стоном.

Слова, которые Гарик выталкивает теперь с некоторым усилием, уже не кажутся Лоле такими уж необычными. На них тоже словно образовался пыльный серый налет, и девушка с некоторым удивлением всматривается в сидящего перед ней невысокого круглоголового господина средних лет в синей тенниске и светло-голубых джинсах, то и дело касающегося ее руки и перебирающего ее пальцы (кто это?).

Гарик уже почти все знает о ней: студентка местного медицинского училища, живет с родителями, отец каждый день мотается в другой конец города на фабрику, где уже бог знает сколько лет инженерит, возвращается поздно вечером, чтобы наскоро поужинать и лечь спать, а утром снова пилить в другую степь; мать — продавщица в здешнем универсаме, в отделе верхней одежды.

Лоле нравится их район (он такой белый!), хотя иногда и скучновато. Но если никуда не надо ехать, как, например, отцу, то здесь вполне сносно. Ее подружкам тут тоже нравится — до училища два шага, Дворец культуры с дискотекой, клуб с кегельбаном, еще кое-какие культурные заведения... Им хватает. А главное, здесь так спокойно, так тихо, что порой забываешь, что это Москва.

Может, это вовсе и не Москва, вяло тянет Гарик, может, это вовсе и не Москва, он никак не может ухватить мысль, слова буксуют, он уже зациклился на пустыне, хотя при чем тут пустыня? Никак ему не освободиться от ощущения крайней отдаленности этого места. Он смотрит в серые полупрозрачные глаза Лолы со слегка наведенными тенями и вяло думает: девушка из спального района — все равно что девушка из другого города, но это не город, это всего лишь, увы, спальный район, предположим, они могли бы пойти сейчас к Лоле в гости (пока нет ее родителей) — и что дальше?

Ничего, кроме сонливости, Гарик, к своему удивлению, не испытывает. На него это совершенно не похоже. Он любит женщин, они придают жизни остроту, здесь же что-то не так: девушка ему нравится, однако почему-то абсолютно не хочется идти к ней домой и проделывать все то, что обычно давало ему столько новых свежих впечатлений, которые потом вспоминались с грустью и нежностью или с каким-нибудь другим, почти всегда благодарным и теплым чувством.

Это тревожит его: как так, девушка нравится, но желания что-то предпринять, чтобы узнать друг друга лучше и ближе, у него нет? Чашечки кофе и рюмки коньяка ему достаточно да еще вот так легко пальцами касаться девичьих тонких пальцев?

Впрочем, в таких вполне невинных касаниях тоже есть своя прелесть и даже изысканность, но все это слишком отвлеченно и бесплотно, а Гарик любит земное и плотское: при его частых разъездах по городам и весям страны только это и дает возможность не чувствовать себя совсем уж неприкаемым. Даже имея квартиру в центре столицы, от бесконечных разъездов чумеешь и теряешься в пространстве, а потом теряешь и самого себя.

Гарик заказывает еще кофе и коньяк, а Лоле (кажется, ее зовут именно так) мороженое, они вяло перекидываются малозначащими фразами — о погоде, необычной для мая жаре, странной (чего уж странного?) безлюдности в кафе, будто знакомы уже сто лет и переговаривали обо всем на свете. Гарик держит руку Лизы (или Лолы?) близко к губам и даже касается ее, ощущая прохладную, чуть влажную гладкость кожи. Правда, делает он это скорее по инерции, а отчасти, впрочем, и по умыслу — как бы проверяя себя на возрастание влечения.

Ничего и в помине. Все замечательно, идеальный вариант, когда мужчине, только что познакомившемуся с привлекательной женщиной, ничего от нее не нужно. Ну совершенно ничего, разве что кроме ее присутствия (да и то безусловно), — такие вот платонические, бескорыстные, чистые отношения, способные не только разочаровать, но и внушить некоторые подозрения относительно тайных намерений мужчины.

До этого, однако, не доходит — зевки Лолы и самого Гарика становятся все более продолжительными и звучными, весенняя дистония и кофе с коньяком (Лола тоже выпила рюмку) делают свое дело, и, чтобы не за-

снуть окончательно, надо идти куда-то, надо двигаться, они выходят под палящее солнце на раскаленный асфальт и идут рядом. Гарик даже не берет Лолу за руку и тем более не обвивает ее талию, что непременно бы сделал в обычной ситуации. Теперь же он опасается быть неверно понятым и даже побаивается приглашения в гости — на чай или послушать музыку. Зевота не отпускает ни его, ни его спутницу. Самое то было бы сейчас принять душ, включить вентилятор, выпить холодного пива, а потом прикорнуть на диванчике.

Забиться и уснуть.

Никогда еще Гарик, тридцатисемилетний жуир, не ощущал себя таким развалиной, как если бы ему было все восемьдесят или больше. Таким пассивным и скучным. Господи, что может подуматься про него Лола, которой предложено было такое многообещающее начало?

Впрочем, она и сама сомлела — то ли от коньяка, то ли от все усиливающегося зноя и закручивающейся в воздухе пыли. Белые дома вокруг — как меловые отложения, как склоны известняковых карьеров. Между тем уж вечер, и на улице стало многолюдней. Народ бежит от метро во дворы и исчезает в подземках. Рабочий день кончился. Время отдыха.

Они медленно бредут по длинной-длинной улице, которая ведет их не куда-нибудь, а к метро. Возле входа Гарик записывает (непонятно зачем) Лолин телефон в записную книжку. Ему было приятно познакомиться, он ей позвонит, и они непременно встретятся, непременно... Слово «непременно» Гарик пытается произнести с некоторым напором, но выходит все равно тягуче и необязательно, так что если Лола и не обижается, то только потому, что и сама пребывает в какой-то вязкой полудремоте. В завершение Гарик пытается поцеловать Лолу, но вместо этого раздражается таким сладким зевком, что ни о каком поцелуе речи уже быть не может (тревожная мысль: опоири их чем-то).

В метро он тоже дремлет или, точнее, спит самым настоящим, крепчайшим сном, каким, может, не спал уже много лет. Это даже похоже не просто на сон, а на сонный обморок. Ему снятся пустыня, барханы, желтое солнце в черном небе (не исключено, что это луна)...

Просыпается он оттого, что кто-то сильно и нетерпеливо треплет его за плечо — конечная. Надо выходить. Он и выходит, с трудом вспоминая, что же это такое с ним было и где. Было, было, все было!

Пустыня, одиночество, белые дома, славная девушка Лола (телефон в записной книжке)...

ОСИНОЕ ЖАЛО

Если человек к чему и стремится, так это к полноте жизни. Чтобы все в ней было, и главное, по высшему разряду — в смысле концентрации чувств и событий, которые только и придают ей подлинную ценность. Все остальное не жизнь, а так, прозябание. К полноте же человек устремлен даже подсознательно, хотя может вовсе не думать об этом. Иные за этой концентрацией бросаются во всякие экстремальные виды жизнедеятельности: на байдарках через пороги ходят по стремительным горным речкам, скалолазанием увлекаются, горными лыжами, на автомашинах ездят по трассе так, будто это гонки «Формула-1», за женщинами бегают — в общем, ищут себе острых ощущений.

Вдруг это стало понятно, когда Ю. в очередной раз после довольно долгого перерыва наступил на осу, и та, естественно, его ужалила. Лучше бы он, конечно, этого не делал, поскольку уже пару раз с ним случалось такое, и однажды очень нехорошо, потому что оказалось, что Ю. — аллергик и именно на осиный яд: по всему телу — красные волдыри, глотать

невозможно, уши отекли и стали как у Чебурашки, в общем, чуть не очурился. Пришлось даже «скорую» вызывать, и доктор определил какой-то там шок, а коли так, то Ю. теперь в осиное время должен постоянно иметь при себе лекарства, а то ненароком можно и в ящик сыграть.

Поразительно, конечно, что от такой мелкой твари, как оса (или пчела), можно лишиться жизни, будто это яд какой-нибудь жуткой гюрзы или скорпиона, но что есть, то есть, теперь ему следовало быть осторожным. Он и старался быть осторожным, но на осу тем не менее наступил, глупо причем — босиком решил походить, смелый такой. Да ведь, с другой стороны, что за жизнь, если даже босиком нельзя по июльской, щекочущей ступни травке, особенно в жару, когда все вокруг плавится от зноя?

Жало он, понятно, вытащил и яд попытался выдавить, а потом стал прислушиваться к происходящему в себе — как-никак знал, что ему грозит как аллергику. С осиным ядом внутри, медленно растекающимся по организму, наш герой ходил по саду, где все и приключилось, и пытливо, подобно ученому, следил за физиологическими процессами: как охватывает его жар и начинает стучать в висках, глотать все труднее, зуд возникает в разных местах, уши тяжелеют и вроде как не свои, звуки будто сквозь вату... Но с другой стороны, даже увлекательно: что ни говори, острые ощущения, своего рода русская рулетка. Вот не примет он сейчас соответствующие меры (лекарство), и неизвестно, что вообще за всем этим последует.

Может ведь статья и так, что...

Внезапно начинает он чувствовать, что дышится ему иначе, чем прежде, то есть плохо дышится, трудней и трудней, воздуха не хватает, он пытается вдохнуть, но не тут-то было, не получается, не проходит воздух в легкие, не втягивается, не проникает, словно некая преграда на пути, — и тогда на него накатывает волна ужаса, он бросается принимать лекарство, судорожно роется в сумке, таблетки выскальзывают из дрожащих пальцев...

Но... но при этом ощущает он даже как бы некое наслаждение, что вот жизнь его прямо сейчас, без дураков, висит на волоске, независимо от того, верит он в это или не верит, но, возможно, и в самом деле все, и ах как приятно, однако, находиться на краю, не верить в это и в то же время понимать краешком сознания, что не помоги лекарство, не справься организм — и прости-поощай...

Ну кто скажет, что не кайф, не полнота жизни?..

Вот теперь надо уточнить: осиное жало — также и метафора в некотором роде. Ведь ощущать растекающийся по организму яд — это может стать потребностью и даже необходимостью, как для наркомана доза зелья, а для курильщика затяжка сигаретой. Жизнь без такого допинга — и не жизнь вовсе. Ни священного ужаса, ни затажного полета в неизвестность, ни радости воскресения, ни еще чего-то в том же роде. А значит...

И хотя вовсе это ничего не значит, тем не менее наш герой уже попал в некоторую, так сказать, зависимость, а потому нужны ему и другие средства, подобные осиному жалу. Ну, к примеру, угрызения совести. О, кто не знает, что это могут быть за муки, тому даже трудно представить. Одному, положим, изменить поднаскучившей жене — раз плюнуть, тут не только никаких страданий, а сплошное удовольствие и развлечение.

Но и радость от такой измены, положила руку на сердце, пошловатенькая. А вот если изменять и при этом испытывать уколы совести, то тут уже совсем другой колленкор. Как же, ведь жена — она, можно сказать, родной человек, она ему доверяет, она себе ничего подобного не позволяет, между тем как он... Ну и так далее. Все вроде и ничего, а тем не менее неудобно.

И что говорит Ю. своей, как бы это лучше выразиться, близкой приятельнице, когда та в удобную для этого минуту (у всех разные) заводит разговор о дальнейших отношениях, об их, так сказать, бесперспектив-

ности, о том, что она устала и не может вот так больше, у нее, когда он возвращается к жене, сердце разрывается, и не потому, что ревность, а потому, что любит его и не хочет ни с кем делить (а кто хочет?)...

Ю. же отвечает, что и он испытывает к подруге самые нежные чувства, но жена (многозначительная пауза) есть жена, к ней чувства, может, и पोостыли, но не совсем же умерли. Она для него теперь как ребенок, а кем надо быть, чтобы бросить собственное чадо? И так у него сердце за нее болит, что вот им с подругой хорошо, а жена между тем одна, ждет его к ужину (даже если и не ждет, а ужина нет и в помине), и никто ее не любит, кроме него, да и то по остаточному принципу. Горько это и несправедливо, она ведь не виновата, что у него вот так все случилось — новое увлечение и вообще...

Ю. вполне искренне говорит и жену жалеет искренне, а по жилам у него меж тем растекается сладкий яд угрызений, и чем сильнее действие этого яда, тем острее он чувствует если не радость (какая уж тут радость?), то, во всяком случае, полноту — жизнь, короче, чувствует. Тоскливо ему, но при этом даже немного вдохновенно. Да и что он, в конце концов, может предложить нынешней пассии, к которой его тоже вполне безобманно влечет? Будь он свободен...

Впрочем, не стоит так далеко заглядывать, потому как и герой наш этого не делает. А вот вину перед женой он действительно испытывает и подчас от усиления этого чувства (особенно в минуты, подобные вышеупомянутой) с ним случаются приступы удушья, похожие на осиную аллергию: вроде как близок край, но, может, и пронесет — сложное такое, не без приятности, впрочем, ощущение. А если не пронесет, то тогда неизвестно что — и от непредсказуемости чуть ли не восторг в душе, как у моряка на палубе в разгар разыгравшейся бури...

Можно, конечно, привести и другой пример. Тот же Ю., скажем, не любит брать деньги в долг, но если берет, то отдает их не скоро и с муками, и не потому, что ему жаль расставаться с деньгами, которые он привык считать своими, а именно из-за ощущений, при этом возникающих. Деньги — что? Паршивые бумажонки, хотя если они есть, то с ними как-то уверенней.

Впрочем, вовсе не этот мотив оказывается решающим в случае Ю.

Тут другая коллизия, связанная не столько с одолженной и подлежащей возвращению суммой, сколько с тем человеком, которому Ю. должен. Знает же он прекрасно, что человек ждет, но тем не менее не возвращает — сначала делая вид, что не помнит, потом — действительно забыв, а затем вспомнив и устыдившись.

Вот этот последний миг и становился, можно сказать, решающим: Ю. начинал ощущать покалывания совести, поначалу легкие, потом (бегая от кредиторов) все сильней и сильней. Ясно же, что подрывает доверие к себе, а главное, сам осознает это. И все равно не отдавал, даже если деньги были. Непременно находился предлог, почему именно в сию минуту они ему особенно нужны.

В общем, нехорошо ему было, дискомфортно, но в этом-то состоянии, в этом расплзающемся по жилам, подобно осиному яду, сознании собственной непорядочности, граничащей с нечестностью, он и обретал некую сладость. Ведь, в сущности, еще чуть-чуть — и в глазах одолжившего ему деньги хорошего знакомого он не просто упадет, а однозначно будет похоронен.

Каково?!

Что говорить, для такого чувствительного, как Ю., человека это было труднопереносимо, но вместе с тем, судя по всему, и желанно, такое напряжение нервов дорогого стоило. Тоже ведь своего рода грань между бытием и небытием, а значит, и вожденная полнота.

Собственно, и с работой у него аналогично получалось (Ю. — переводчик, и неплохой). Брал он помногу заказов (как и авансов, где давали), обкладывался книгами, выбирая, с какой начать для разогрева, даже скоро так продвигался поначалу, а потом вдруг понимал, что явно пожедничал: не только по срокам договорным не успевает, но и вообще что-то не так — не идет, и все. Бывало, что по десять страниц в день, если не больше, делал, а теперь иногда и две через силу.

И чем ближе к назначенной дате, тем хуже. Кошмары по ночам начинают сниться, давление подскакивает, не то что за стол себя не усадить — с кровати встать трудно. Вот уже срок подошел, из издательства звонят, интересуются вежливо, напоминают: дескать, как дела, не пора ли?.. Конечно, пора, ему совсем немного осталось. Между тем иная из работ даже не начата, с другими стопор.

Каково?

Ю., естественно, нервничает — чем хуже дела, тем больше. Но нервничает со странным таким, приятным оттенком: вот он волнуется, переживает, как не чуждый ответственности человек, даже работа из-за этого не клеится. А когда работа не клеится, то возникает вопрос: зачем?

Не зачем работа, а зачем *всё*? Все вообще, ну, вы понимаете...

Толстовский такой, «проклятый» вопрос.

И оттого, что вопрос такой капитальный, градус переживаний тоже, естественно, выше. Вообще все выше и глубже.

Ю. уже к телефону не подходит: нет его, нет... И жене строго наказывает: он в командировке. Или в больнице. Может же он, в конце концов, попасть в больницу? Хоть бы и от ужаления той же осы (если лето). А сама мается ужасно: всех подводит, перед всеми неловко, даже перед женой, но ничего сделать не может. Чем больше обязательств, тем меньше шансов как-то выйти из положения. К тому же и авансы потрачены, и жизнь коту под хвост...

Но как ему ни худо, однако и сладко тоже: и что худо, и что жизнь зря, и что перспективы туманны. Вроде как близко к отчаянию, но и — к восторгу тоже, отчасти истерическому. Что-то такое во всем этом есть — объемное, полновесное, подлинное, значительное.

Нет разве?

Так бедный Ю. и живет в неусыпном совестливом бдении, пристально отслеживая в организме всякие опасные для его жизнедеятельности процессы. Но и не избегая их, а, напротив, всячески идя им навстречу и даже вызывая их на себя, как отважный воин огонь противника. Смелый, даже в известном смысле мужественный человек, вот только нельзя сказать, чтобы с ним все было благополучно. Дерганый он после того осинового ужаления до того, что общаться с ним нет никакой возможности, да и отношение к нему у знакомых сильно с тех пор переменялось. Если уж совсем честно, то народ его просто-напросто сторонится, потому как неведомо, чего от него ждать можно и какой фортель он в очередной раз выкинет.



АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ

*

ИГРА, КОТОРОЙ НЕТ

* *
*

Нас в небе ждет элизиум,
А здесь — иллюзион,
Мы дни на дни нанизываем,
Как будто бы живем.
Как будто жить не против,
Как будто бы дыша,
Как будто бы из плоти,
Как будто бы душа.

* *
*

Планета, словно поезд,
Летит в межзвездный мрак,
Конечной остановки
Не угадать никак.
А мы сидим скучаем
И мнем в руках билет.
Давай с тобой сыграем
В игру, которой нет.

* *
*

Что-то завтра
С нами станет,
Тяжел камень
Шею тянет.
Чужих мыслей
Ходы лисьи.
В душе нищей
Бесы рыщут.

* *
*

Живешь — умей крутиться,
Прикидывайся, ври,
Не тронь пера жар-птицы,
А если взял, умри.
Взял — отправляйся в пекло,
Раз возжелал, плати,
Сгори до кучки пепла,
Иного нет пути.

* *
*

Душа моя, дева немая,
Зачем я с тобой не молчу,
Дурацкий колпак надеваю,
Дурацкие шутки шучу.
Пока так нелепо и жалко
Треплю языком о пустом,
Танцует душа, как русалка
С раздвоенным рыбьим хвостом.

* *
*

Я знал всю жизнь, чего не надо:
Не нужен жест, не нужен знак,
Не надо слов, не надо взгляда,
Оно понятно все и так...
Мне б замолчать, пока не поздно,
Но в споре долгим и крутом
Зачем-то сотрясаю воздух,
Жестикую притом!

* *
*

Дрязги, склоки и укоры
Не щадим и не прощаем.
Наших ссор собачьи своры
Оглушают душу лаем.
Ночью липнет к окнам морось,
Снег за окнами маячит,
Спит душа с душою порознь
И во сне тихонько плачет.

* *
*

Как телу надобен уход,
Как нужно языку общенье,
Душе необходим уход,
Побег, отъезд, невозвращенье.
Не от жены, не от трубы
Над крышей дома, не от быта!
Побег ей нужен от судьбы,
Которая душе открыта.

* *
*

Оказалось, что не воин, что не волен,
Бледной немочью четвертый месяц болен.
Вот иду за суетою, не за делом,
Предо мной покрыто поле снегом белым.
Все покрыто пеленою снеговою,
И такие же снега над головою.
Мне б споткнуться да остаться в этом поле,
Затеряться в четырех шагах от воли.

* *
*

Душа моя старалась
Не потерять лица,
Как карандаш, стиралась
И стерлась до конца.
А то, что мы любили,
Страдание и страх, —
Лишь след графитной пыли
На сереньких листах.

* *
*

Мне прошлого не нужно никакого,
Но я хотел бы в мире жить похожем.
К примеру, стать в рассказе Казакова
Случайно им увиденным прохожим.



СЕРГЕЙ МАРКЕДОНОВ



«ВЕСТФАЛЬСКАЯ» РОССИЯ

Черты российского регионализма рубежа XX — XXI веков

Регionalная политика, находившаяся в 90-е годы прошлого столетия в центре внимания политического класса, экспертов и журналистов, стала теперь темой второго плана. Интерес к ней не идет ни в какое сравнение с тем местом, которое уделяют в наши дни проблемам взаимоотношений власти и бизнес-сообщества или судьбам многострадальной военной реформы. Рассуждения о перспективах развития федеративных отношений в нашей стране по большей части сводятся к вопросу: «Укрупнять ли российские регионы?» Политический заказ российской власти очевиден. Укрепление властной вертикали требует своих «жертв» в виде маленьких автономных областей или республик, которые, по идее (обычно не тождественной практическому воплощению), должны войти в состав более крепких и экономически продвинутых административно-территориальных образований. Принимая во внимание чувствительность российского экспертного сообщества к стабильно высоким рейтингам первого лица государства, можно констатировать, что споры о будущем региональной политики сводятся к обсуждению сроков, темпов и методов «укрупнения» и «укрепления».

Скажем больше. Проблему российской региональной политики поспешили объявить закрытой, и если не окончательно, то в основном разрешенной. В марте 2002 года в России отмечали 10 лет со дня подписания Федеративного Договора Российской Федерации. Противопоставление политики президентов Бориса Ельцина и Владимира Путина по отношению к регионам с неизменной критикой курса первого российского главы стало отправной точкой практически всех политологических исследований или комментариев того времени. При этом сам Договор 31 марта 1992 года рассматривался как значительная уступка аппетитам региональных баронов. Укрепление вертикали власти и укрощение губернаторской вольницы трактовались экспертами как главные завоевания команды нового президента России. Так, руководитель Института политических исследований Сергей Марков среди главных успехов путинской команды особо отмечает «региональную реформу», остановившую «расползание России». Еще более резкие оценки ельцинской региональной политики содержались в редакционной статье сборника «Федерализм и региональная политика в полиэтничных государствах» (М., 2001), вышедшего под эгидой Российской академии наук: «„Эпоха Ельцина“ стала историей. Появилась известная надежда на то, что деградация российской государственности достигла наконец своей крайней точки. Региональная политика, концептуально сформулированная в лозунге „Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить!“ , исчерпала себя полностью». А после проведения голосова-

Маркедонов Сергей Мирославович — историк, политолог. Родился в 1972 году. Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета. Автор книги «С. Г. Сватиков — историк и общественный деятель» (1999). Заведующий отделом Института политического и военного анализа; кандидат исторических наук. Выступал со статьями в «Знамени», газете «Гражданин», «Русском Журнале» и др. В «Новом мире» печатается впервые.

ния по проекту Конституции Чечни 23 марта 2003 года (которое столь же единодушно эксперты занесли в актив Кремля) российский президент заявил, что «мы закрыли последнюю серьезную проблему, связанную с территориальной целостностью России». Так, может быть, в самом деле в истории регионализации России наступила развязка и говорить о проблеме региональных отношений как об одной из многочисленных «болевых точек» в год президентских выборов не актуально?

Во всех человеческих делах прежде всего достойны изучения истоки, — считал Эрнест Ренан. Не будем забывать, что 13 мая 2000 года «дней Владимировых прекрасное начало» ознаменовалось президентским указом № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Федеральном округе». Первым актом главы государства, прошедшего инаугурацию, было решение в сфере региональной политики и федеративных отношений. Словосочетание «укрепление вертикали власти» стало знаком президентства Владимира Путина, сменив символ веры ельцинского десятилетия — «рыночные реформы». Начало нового века, тысячелетия и нового президентского срока оказалось чрезвычайно насыщенным инновациями главы Российского государства именно в региональной политике: создание федеральных округов, изменение порядка формирования Совета Федерации и как следствие серьезная ротация кадров губернаторского корпуса. Прошло четыре года, наступило время для подведения итогов, и логично задаться вот какими вопросами. Стали ли инициативы последних двух лет переломным этапом в процессе «регионализации» России? Можно ли рассматривать нынешний порядок формирования верхней палаты российского парламента как оптимальный или же нужно вести речь о временном компромиссе между федеральным центром и региональными элитами? Не пошли ли новые окружные элиты по пути бюрократизации и не стал ли Совет Федерации в своем нынешнем виде своеобразной ярмаркой вакансий для не нашедших себе лучшего применения чиновников? И в конечном итоге — следует ли рассматривать путинские нововведения как некий политический прорыв, ставший «концом истории» региональной вольницы? Известный мастер афоризмов Марк Блок назвал проблему происхождения «идолом племени историков». Полагаю, что поклонение этому «идолу» было бы чрезвычайно полезно для ответов на поставленные выше вопросы. В каких исторических условиях возник новый российский федерализм и формировались отношения Центра и регионов в 90-е годы? Какой коридор возможностей для выстраивания этих отношений был у первого российского президента и насколько корректно сравнивать ельцинские «провалы» с путинскими «триумфами»? Сравнение двух политических практик — региональной политики первого и второго российских президентов без оглядок на самые «свежие» опросы общественного мнения и измерения рейтингов — могло бы стать основой для действительно содержательного разговора о том, насколько обоснованны торжества по случаю победы на региональном политическом фронте.

Российский историк и архивист Н. П. Павлов-Сильванский был первым среди отечественных специалистов, использовавшим понятие «феодализм» для описания социально-экономических и социально-политических реалий Древней Руси киевского и удельного периодов. Рассматривая почвенные особенности системы отношений «сеньор — вассал», ученый подкреплял свои тезисы свидетельствами источников, в которых часто встречалось выражение «заложился за» такого-то и такого-то боярина. Думается, доживи Павлов-Сильванский до славной эпохи «парада суверенитетов», он немало удивился бы тому, что древнерусская конструкция «заложился» вошла в активный вокабуляр региональных чиновников России постсоветской. Мэры стали «закладываться за губернаторов» (что было более частым явлением), а губернаторы (что встречалось гораздо реже) — за главу Российского государства. Российский федера-

лизм, о необходимости построения которого так долго говорили активисты «Демроссии», оказался нисколько не похож на книжные образцы федеративных систем Европы и Северной Америки. К концу ельцинской эпохи публицисты стали довольно часто играть словами «феодализм» и «федерализм». Слишком уж феодально-партикуляристский оттенок наблюдался у российского федерализма. Но в чем состояла его специфика и есть ли у него реальные перспективы — вопрос, который до сих пор остается без ответа.

После распада Союза ССР многие политики и эксперты предрекали, что та же участь постигнет и Россию. Эти прогнозы подтверждались многочисленными фактами. Возникновение осенью 1991 года фактически независимой Ичкерии, активные политические выступления и референдум о независимости в Татарстане, напряженность в отношениях между ингушами и осетинами (которая вылилась в открытый конфликт в 1992 году) отчетливо говорили, что будущее России как целостного суверенного государства туманно и непредсказуемо. Неуверенность в возможности сохранить единое Российское государство демонстрировали и наши сограждане. Согласно данным социологического исследования, проведенного в марте 1992 года экспертами Российского независимого института социальных и национальных проблем, 62,2 процента респондентов заявляли: «Дело идет к тому, что межнациональные конфликты могут привести к развалу Российского государства». Исследования же, проведенные после 31 марта 1992 года (то есть после подписания Федеративного Договора), неизменно фиксировали сокращение числа уверенных в распаде России по сценарию СССР. Так почему же у Ельцина все-таки получилось то, на чем обжегся Горбачев?

В постсоветский период поиски параллельных сюжетов в истории России и Германии стали своеобразным правилом хорошего тона в сообществе политологов. Компаративистский анализ социально-экономической и политической ситуации в постсоветской России и Веймарской Германии явился основой политологических исследований А. Л. Янова (см. его работы «„Веймарская” Россия» — «Нева», 1994, № 3 — 6; «После Ельцина. „Веймарская Россия”». М., 1995). Сравнение постсоветской России и Веймарской Германии — отличительная черта сочинений и публичных высказываний не только политиков либерально-демократического спектра. В 1996 году лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, мотивируя свой выбор в пользу Бориса Ельцина, заявил: «Лучше престарелый Гинденбург, чем молодой Эрнст Тельман». Спрос на «сравнительно-исторический метод» был особенно велик в периоды острых кризисов. «Призрак Веймара» бродил по России и в сентябре 1993 года, и после пресловутого «черного вторника» и августовского дефолта, и во время непродолжительного примаковского царствования, и накануне страстей вокруг импичмента. Будь наши аналитики поскромнее, оценивай они политическую культуру отчизны не по относительно высоким цивилизационным меркам Веймарской Германии, увидели бы они иные компаративистские соблазны.

По ходу строительства «реального федерализма» в нашей стране, сопровождаемого «синдромом Беловежья» и «парадом суверенитетов», мы стали свидетелями возникновения феномена «Вестфальской» России, живущей точь-в-точь по принципу Германии в годы после завершения Тридцатилетней войны и заключения в 1648 году Вестфальского мира: «Cuius regio eius religio» («чья власть, того и вера»). В результате ослабления федерального Центра и перетекания значительной части властных полномочий на места долгожданного торжества демократии и федерализма не произошло. Напротив, «вместо одного самодержавного государя» возникло восемьдесят девять «самовластных и сильных фамилий», перед которыми российское народонаселение было вынуждено «горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать». Пример посткоммунистической России лишний раз подтвердил, что слабая центральная власть ни в коей мере не способна преодолеть авторитарные тенденции и дать полноценные возможности для развития по демократическому пути. При потере Центром властных рычагов и отсутствии сколько-нибудь эффективных

гражданских институтов, своего рода школы политических конкурентов, авторитаризм меняет лишь форму, но не содержание. Иерархичный, отлаженный по вертикали авторитаризм уступил место «горизонтальному авторитаризму». Командно-административные отношения, дополненные и модернизированные рыночными реалиями, были спущены сверху в регионы. Культ генсека уступил место культу губернатора (президента, главы правительства республик). Лишенные же общих для всех идеологических ориентиров, некой «генеральной линии» Президента и Правительства, российские региональные начальники, как и немецкие князья, подчиненные лишь *de jure* фиктивной императорской власти, стали вводить на подведомственных территориях близкую и понятную им политическую религию.

Какие только «модели» социально-экономического и политического развития не были реализованы в российских регионах постсоветского периода! И крупные мегаполисы, и российская «глубинка» (конечно, при всей условности формулировок) явили примеры оазисов либерализма (Нижегородская область немцовского периода, Самарская область), победившего колхозно-совхозного строя (Тульская область в губернаторство В. Стародубцева), практического воплощение эмблемы КПРФ (серп, молот и книга) в политике кубанского «батки», номенклатурный «*Nabeas corpus act*» в Ростовской области, наконец, конструирование особой московской идентичности и московского национализма. Однако — при всем богатстве выбора — российские региональные элиты оказались близки сущностно. Если перефразировать печальной памяти формулу Третьего рейха: «*Ein Volk, ein Partei, ein Führer*» (опять кстати приходится немецкие аналогии!), то на региональном уровне мы увидели надежную схему: «Один регион, один губернатор, один уполномоченный банк (как вариант — одна „особо близкая” финансово-промышленная группа)». Говорить о демократии, свободной экономической конкуренции, борьбе с криминалом и коррупцией, благоприятном инвестиционном климате в данных условиях — занятие самое неблагодарное. В борьбе за увеличение объема властных полномочий региональные руководители изобрели новый способ легитимации. Жаль Макс Вебер не дожил, обязательно бы к выделенным им трем типам легитимации (через право, традицию и харизму) добавил бы посткоммунистическое российское «*ноу-хау*» — легитимацию через обличение «федерального Центра». Борьба с «рукой Москвы» по своей маниакальной настойчивости оставила далеко позади противодействие происка «мирового империализма» и «сионистскому заговору». Приведу несколько ярких примеров использования «антифедеральной» легитимации, подчеркнув, что партийная принадлежность регионального руководителя в его борьбе с «рукой Москвы» не имела существенного значения. Губернатор Свердловской области Э. Россель («центрист»): «Есть федеральные органы власти, которые сидят в Москве. Что-то они делают, но делают изолированно от мнений регионов... Федеральные органы власти, кто за забором, кто не за забором, управляют Россией, а регионы — сами по себе, мы фактически брошены правительством с 1990 года». «Красный» губернатор Н. Кондратенко (в 1996 — 2000 годах): «Нам не по нраву „Лукойл” и прочие московские рокфеллеры! Нам не по нраву их прихлебатели! Богатства края, в том числе нефть, должны принадлежать народу!» Экс-губернатора Приморья Е. Наздратенко трудно назвать демократом. Вместе с тем до поры до времени (до масштабного конфликта с А. Чубайсом во время исполнения последним обязанностей главы президентской администрации) он имел репутацию твердого «ельциниста». Так вот еще до «чубайсобрества» Наздратенко заявлял: «Центр, упиваясь собственным значением, совершенно забыл о тех, кто живет на его окраинах».

Другая напрашивающаяся аналогия — на сей раз не немецкого, а польского происхождения. Совет Федерации в 1993 — 2001 годах был в той же степени средоточием демократии, в какой им был Сейм Речи Посполитой до ее трехкратного раздела. В Сейме почти так же, как и в нашем постсоветском «Сенате», ясновельможные паны, упражняясь в красноречии, выбивали у сла-

бой королевской власти все мыслимые и немыслимые льготы и привилегии, используя, где нужно (а чаще — где нет), право «liberum veto» и парализуя таким образом законотворческую деятельность, превращая государство исключительно в средство для удовлетворения лоббистских устремлений.

О таком детище «Вестфальской» России, как этнократизм, следует сказать особо. В современной научной литературе появилось емкое, пусть и не бесспорное, определение «внутреннее зарубежье». В самом деле, для русских, равно как и для других этнических групп в субъектах России, где законодательно закреплено дискриминационное в своей основе доминирование «титულიной нации» (даже если она составляет меньшинство), среда обитания становится чуждой. Как еще оценить тот факт, что в Республике Адыгея, где русские составляют 68 процентов (а вместе с «русскоязычными» 72 процента), существовал так называемый паритет, при котором половина мест парламента закреплена за «титულიной нацией», а вторая половина — за русскими? Недалеко от Адыгеи ушел и Дагестан. В республике, почти на 90 процентов дотируемой федеральным Центром, выборы в высший законодательный орган — Народное собрание — проходят по национальным округам (депутатом от округа может стать только представитель определенной национальности). В Башкирии, где «титულიная нация» уступает численно не только русским, но и татарам, в 1995 году во всех без исключения общеобразовательных школах введено изучение башкирского языка, а также дополнительные предметы — культура, история, география Башкирии. Результатом политики по «национальному возрождению» республик в составе РФ стало кардинальное изменение этнодемографической ситуации в этих российских субъектах. По данным последней советской переписи, на территории Чечено-Ингушской АССР русских проживало 294 тысячи человек. После «суверенизации» Чечню покинуло 220 тысяч русских, а 21 тысяча была убита еще до ввода федеральных войск. До 6 процентов от общего числа населения сократилось количество русских в Дагестане, с 50 процентов до 30 процентов — число русских жителей столицы Северной Осетии Владикавказа. Иначе как «исходом» эти процессы не назовешь.

Появлению «внутреннего зарубежья» в немалой степени способствовал и поощряемый региональными элитами академический и образовательный шовинизм. Десять лет назад представители российской интеллектуальной элиты в едином порыве радовались исчезновению из учебных планов и программ пресловутого наследия «Краткого курса». Ненавистные (особенно студентам технических и естественнонаучных вузов) «марксистско-ленинская философия», «научный коммунизм», «основы научного атеизма» и история КПСС были сброшены с корабля отечественного образования. Но всеобщее ликование оказалось преждевременным. На смену истматовской экзегезе пришли «краткие курсы» в новом, этнонационалистическом (или вульгарно-областническом) обличье. Под видом так называемого регионального компонента гуманитарного образования мы получили фактический «парад суверенитов» в изучении истории, политологии, культурологии. «О нашем народе ходит много исторических небылиц и лживых мифов. Раньше это насаждалось нарочно, чтобы преуменьшить значение татарского народа», — обращается к школьникам младших (!) классов учебное пособие по истории Татарстана. «Целые страницы многовековой истории нерусских народов, и прежде всего тюркских, замалчивались или преподносились с негативной оценкой», — эти слова адресованы уже хорошо «подготовленным» учащимся 8 — 9-х классов. В результате реализации политики академического и образовательного шовинизма специалисты-гуманитарии были вынуждены работать в условиях цензуры. Например, ученые «двухсубъектных» образований Кавказа — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии публиковали свои исследования за пределами своих республик (черкесы в Кабардино-Балкарии, а балкарцы — в Карачаево-Черкесии). «Так, сотруднику КБ ИГИ (Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарии. — С. М.) <...> Б. Х. Кучмезову не позволили опубликовать в республиканских научных журналах статью о традиционном земледелии

балкарцев вследствие того, что в ней автор писал о развитом террасном земледелии, сложной системе искусственного орошения и пр. — о том, чего не было у адыгов, а потому, по мнению кабардинских историков, не имеющем право на существование у карачаево-балкарцев», — сообщает исследователь проблемы М. Д. Боташев.

Было бы неверно сводить «этнократический вызов» единству Российского государства исключительно к этнократизму и партикуляризму республиканских властных элит. По этой части не отставали и главы «русских регионов». Достаточно вспомнить борьбу с «жидомасонством» кубанского батьки Кондрата, партийные форумы РНЕ под патронатом высоких чиновников администрации Ставропольского края, антикавказские эскапады (подкрепленные рейдами храбрых омонцов) столичного мэра и борьбу с «желтой опасностью» экс-губернатора Приморья.

Каковы же причины формирования феномена «Вестфальской» России? Почему с распадом тоталитарного имперского государства, провозгласив десять лет назад в качестве приоритетов новой России гражданские права и свободы, мы вместо чаемого государства правового, вместо новой, демократической региональной политики получили конгломерат авторитарных этнократических образований, слабо подчиняющихся центральной власти? Рассматривать фразу, обращенную некогда Ельциным к российским региональным начальникам: «Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить» — в качестве отправной точки дезинтеграции России стало уже привычным делом. Но это слишком просто, чтобы быть правдой. Куда больше для возможного распада России по сценарию распада Советского Союза сделало последнее руководство СССР и КПСС, стремившееся любыми способами убрать с политической сцены «неправого Бориса». С помощью Закона о выравнивании прав союзных и автономных республик от 26 апреля 1990 года советские вожди пытались вывести руководителей автономий РСФСР из-под власти Ельцина под горбачевскую длань. Подобный «ход» использовался руководством СССР и в начале чеченского кризиса, когда вновьявленному ичкерийскому вождю была предложена альтернатива Ельцин — Горбачев. Однако объяснять внутривосточный «парад суверенитетов» одними горбачевскими происками значило бы также идти по пути упрощения.

Дезинтеграции России в немалой степени способствовали и «идолы разума», овладевшие советской, а затем и российской интеллектуальной элитой, «творцами смыслов». По справедливому замечанию московского этнолога В. Р. Филиппова, «в первые годы горбачевской „перестройки“ московские энтузиасты демократических преобразований (так же, впрочем, как и большинство интеллектуалов на Западе) допустили серьезную ошибку, которая имела в дальнейшем самые неприятные последствия для российской государственности. Ошибка состояла в том, что они отождествили борьбу за власть этнических элит в советских и постсоветских „национально-государственных образованиях“ с общедемократическим движением против советского тоталитаризма». Очередная попытка России осуществить модернизацию вызвала всплеск традиционализма и политической архаики. Ценности рыночной экономики, гражданского общества и правового государства были отвергнуты не только и не столько экс-секретарями комитетов КПСС различных уровней, сколько лидерами возникших под общедемократическими лозунгами движений за самоопределение, «возрождение» национальной культуры и искусства, возврат к «истокам и корням». Отказ руководства СССР и России от коммунистической идеологии и политическая либерализация повлекли масштабную переоценку ценностей. В регионах с устойчивой традиционалистской культурой (Северный Кавказ в особенности) разрыв с советским прошлым совпал с этнической, клановой, тейповой мобилизацией. Перестав быть *homo soveticus*'ами, бывшие подданные советской империи занялись конструированием новой идентичности и обратились вспять, к «золотому веку», в поисках ответов на

актуальные вопросы современности. «Золотым веком» на Кавказе была сочтена эпоха «наездничества», борьбы тейпов и кланов, торжества «справедливой» кровной мести. Поэтому самые, казалось бы, невинные начинания, даже в сфере культурного возрождения, будь то реконструкция народных обычаев или восстановление исчезающих традиционных ремесел, совершенно неожиданно радикализируются и получают выход в сферу политической конфронтации, а то и военного противостояния. За рассуждениями о духовном возрождении (культурном или религиозном) оказывается потребность в региональной самостоятельности и обособлении определенных территорий.

Поскольку идейные поиски интеллигенции в национальных республиках встречали противодействие со стороны КПСС, видевшей в них угрозу своей идеологической и политической монополии, следствием подобного сопротивления и стала неверная идентификация движений за «возврат к истокам» как движений демократических. Между тем традиционалистские искания республиканских оппозиционеров, несмотря на антикоммунистическую риторику, никакого отношения ни к либерализму, ни к демократическим ценностям (в современном их понимании) не имели. Они начались как попытки придания своей этнической культуре статуса уникальной цивилизации, а своему этносу (тейпу, клану) — роли вершителя исторических судеб.

Наиболее радикальная (и удачная для деятелей национального «освобождения») попытка прорыва к политическому Олимпу имела место в Чечне. Успех сепаратистов именно в этой республике Северного Кавказа объясняется прежде всего двумя причинами: агрессивно-наступательным характером чеченского национального движения и неверной оценкой этого движения Москвой. Рассматривая ОКЧН (Объединенный конгресс чеченского народа) как антикоммунистическую организацию, а генерала Дудаева как диссидента, Москва сначала проигнорировала традиционалистский вызов, брошенный новой, демократической государственности, а впоследствии неоднократно недооценивала силу этого вызова. Видя в коммунизме главную и единственную опасность, угрожающую развитию рыночной экономики и гражданского общества, российские власти во многом способствовали превращению РФ в «сообщество регионов», в котором региональный руководитель самостоятельно и без демократических процедур выбирает и образ правления, и политический строй, и экономическую доктрину.

Центробежным тенденциям весьма способствовала политическая либерализация, которая, как сказано выше, снимала преграды в нацреспубликах (и в меньшей степени в областях и краях) на пути этнической (клановой, тейповой) мобилизации и поисков собственной идентичности. С крахом СССР и коммунистической идеологии региональные элиты начали искать собственные идеологии. «Почему следует российские реформы брать за эталон? Разве не имеет право Татарстан идти своим путем к реформам, отвечающим интересам его населения? Или в мире существует только один путь, предложенный Москвой?» — заявлял в 1995 году советник М. Шаймиева Рафаиль Хакимов. Поскольку же российские республики, края и области никогда не придерживались в ежедневной социально-политической и социокультурной практике принципов европейского Просвещения, Декларации независимости и постулатов Адама Смита, то результаты их идеологических поисков можно было легко просчитать.

Превращению России 90-х годов в «сообщество регионов» помогли и такие параллельные процессы, как сложившееся в центре в 1991 — 1993 годах двоевластие (Президент и Верховный Совет) и нерешенность «основного вопроса всякой революции — вопроса о власти». Не разрешив кардинально вопрос о стратегическом пути, по которому пойдет государство, образовавшееся в результате августовской революции, браться за «замирение» окраин было бы верхом политического легкомыслия. Видимо, из подобного постулата исходил первый российский президент, предлагая регионам взять побольше суверенитета. Проще говоря, выбирая между «покупкой» (и недешевой) региональных баронов и их силовым «замирением», Борис Николаевич остановился на пер-

вом. Ельцинскую региональную политику, следствием которой стала дезинтеграция страны, не ругает только ленивый. Но мало кто из аналитиков понимает (или желает понять) тот факт, что первый российский президент «делился» суверенитетом не из-за жгучего желания превратить Россию в сообщество регионов, а по причине отсутствия у него в 1991 — 1992 годах и правовых, и силовых механизмов для обуздания региональной вольницы. Главным, чего он добивался, была внешняя лояльность и умение сдерживать на подведомственной территории национал-коммунистическую оппозицию, с чем местные начальники худо-бедно справлялись. Обвинять же Ельцина в потворствовании региональному партикуляризму можно лишь при одном условии: если гипотетический обвинитель готов назвать те ресурсы, за счет которых президент смог бы могучей рукой подавить местную вольницу. Действительность же была такова, что ни правовых механизмов (поскольку российское законодательство надо было создавать с нуля), ни силовых рычагов (МВД и органы безопасности переживали реорганизации, а армия России, напомним, была создана лишь весной 1992 года) у российского главы не было. Но в отличие от Горбачева он вел разговор (и успешный) с региональными баронами не на языке романтического догматизма о непреходящих социалистических ценностях, новом мышлении и прочих благоглупостях, а о вполне земных вещах — власти, собственности, личных гарантиях. Получив свою долю «общероссийского пирога», региональные вожди, периодически фрондируя (особенно в моменты ослабления федеральной власти), все же отказались от повтора беловежского сценария. Успехи же федерального Центра в преодолении двоевластия (октябрьская победа Ельцина в 1993 году), укрепление самой центральной власти делали региональных баронов стоворчивее. До октября 1993 года невозможно было даже помыслить о силовом замирении Чечни. Борьба с ичкерийским сепаратизмом, а также смягчение позиций посткоммунистических воевод и в конечном итоге выдвигание тезиса об «укреплении властной вертикали» — все это оказалось реальным во многом благодаря «похабному миру», заключенному в начале 90-х годов между Ельциным и региональными элитами. Не видеть той политической основы, благодаря которой стало возможно само обсуждение такой темы, как укрепление политического единства государства, могут только не вполне добросовестные конструкторы виртуальных «технологичных» комбинаций.

Так как же нам оценивать феномен «Вестфальской» России эпохи Ельцина? Для понимания российского «феодалного федерализма» 90-х годов требуются взвешенные подходы. Данная система возникла в условиях распада СССР и всеобщего управленческого и экономического коллапса, в ситуации «предчувствия гражданской войны», кризиса национальной идентичности и прочих весьма неприятных вещей. Подобная система смогла существовать и потому, что гражданские институты были чрезвычайно слабы и заражены патерналистскими установками. Очевидно также, что «Вестфальская» Россия стала логическим продолжением на новом витке и в иных исторических условиях так называемой «русской системы» власти (абсолютное доминирование властных институтов, персонификация власти, неразделенность власти и собственности, неподконтрольность государства обществу и проч.). Только на сей раз «русская система» оказалась делегирована из Центра на места. Но при всех своих издержках «Вестфальская» Россия Ельцина позволила избежать повторения «беловежского сценария» и дать некоторый импульс для развития демократических процессов, поскольку выборы были признаны и в Центре, и на местах единственной легитимной процедурой. Разрешение федерального Центра на «вестфализацию» позволило решить основной вопрос — вопрос о власти в самом Центре, консолидировать ее и приступить к следующему логическому шагу — преодолению «Вестфальской» России и строительству нефеодалного федерализма.

Став президентом, В. В. Путин столкнулся с серьезной дилеммой: либо, имея в своем распоряжении более широкие, чем у предшественника, властные

ресурсы и высокий уровень поддержки населения, проводить курс на унификацию правового пространства России и преодоление «удельного федерализма», то есть политику укрепления «вертикали власти», либо ориентироваться на политическую целесообразность и, держа в голове дату следующих президентских выборов, «оставить в покое» региональных руководителей. Первый постинаугурационный указ Путина (№ 849) давал повод думать, что преемник Ельцина выбирает сценарий укрепления единства Российской Федерации. Введение института полномочных представителей президента и образование семи федеральных округов создавало предпосылки для преодоления «горизонтального авторитаризма». Прежде всего ослаблялась монополия региональных руководителей на власть на местах, так как аппараты полпредов обеспечивали (пусть и на бюрократической основе) конкуренцию губернаторам и президентам нацреспублик на региональных политических рынках, образуя систему сдержек и противовесов. Введение постов полпредов в федеральных округах было, таким образом, вовсе не возвратом в авторитарное прошлое. Напротив, задуманное для преодоления правового партикуляризма и унификации законодательства, оно изначально несло элементы демократизации.

Но, как известно, продолжением достоинств любой системы становятся ее недостатки. Тем паче, что в случае с указом № 849 достоинства, как показала практика, ограничились почти исключительно декларациями о намерениях. Начатая президентскими представителями унификация правового пространства оказалась выборочной, незавершенной и несовершенной. И «особый вид на жительство» (регистрация для приезжих) в Москве, Краснодарском крае, и «суверенитет» для Чечни, и этнократия (тейпокротия) как главный кадровый принцип в ряде республик в составе РФ, и борьба с инородцами на Кубани, несмотря на уход «бабки Кондрата», — все это никуда не исчезло. «Мы должны защитить нашу землю и коренное население... Это — казачья земля, и все должны знать это. Здесь наши правила игры». Процитированная выше фраза — не фрагмент выступления Кондратенко эпохи «ельцинского безвластия». Это фраза из спича его преемника — А. Н. Ткачева, произнесенного на совещании по проблемам миграции в Абинске 18 марта 2002 года с участием чиновников краевого и районного уровней. Как говорится, найдите отличия... А они на самом деле есть. Витийствования «бабки» ограничивались квазинаучным «жидоборством». Призывы же «сынка» нацелены не на мифических «сионистов» (где они на Кубани?), а на вполне реально проживающие в Краснодарском крае этнические общины... И это тоже результат «укрепления вертикали»? В марте 2001 года прошли выборы в парламент соседней с Краснодарским краем Адыгией. Округа, нарезанные для выборов, были таковы, что количество избирателей в них различалось в десять раз. Такая «нарезка» была сделана для обеспечения преимущества кандидатам от «титальной нации». Верховный суд РФ признал незаконной подобную «нарезку». Несмотря на то что формирование округов по-адыгейски противоречило федеральному законодательству, выборы по этому принципу в маленькой и дотационной республике состоялись. И что же? Кремль, стоящий на страже «вертикали власти» и имеющий серьезные рычаги влияния на экономически зависимую от центра республику, просто не заметил этого инцидента.

Вместо противодействия региональному партикуляризму Кремль и его полпреды стали активно вбрасывать идею об укрупнении регионов. Что ж, очередной рецидив институционально-бюрократического мышления. Как будто степень демократичности, финансовой прозрачности, экономической открытости и управленческой эффективности региона зависит от его площади и периметра. Деятельность президентских назначенцев вообще была с самого начала ограничена бюрократическими рамками. Сама идеология региональных преобразований недооценивала возможности гражданского общества и общественное мнение. В результате аппараты полпредов быстро бюрократизировались и потонули в «текучке». Но самое страшное для института полпредов заключалось как раз в поведении высшей власти страны. Она, похоже, сама чет-

ко не представляла, для какой цели создается этот институт. Кто такой полпред? «Государево око», приглядывающее за губернаторами и президентами? Или он вместе со своим аппаратом — информационно-аналитическая служба для получения адекватной «картинки» происходящего в разных частях государства? А исправление регионального законодательства — это финальная цель в деятельности аппаратов полпредов или промежуточная? И без ответов на эти вопросы говорить об эффективности новой бюрократической надстройки бессмысленно. Но вместо ответов верховная власть России накануне очередного избирательного цикла пошла, по сути дела, по пути «сдачи» своих полпредов ради нового «дурного мира» с региональными лидерами.

Будущие исследователи новейшей российской истории, характеризуя эпоху Владимира Путина, наверняка выделят в ней как два отдельных этапа период укрепления «вертикали власти» и «поствертикальный» период. Рубежом между этими периодами стало постановление Конституционного суда от 9 июля 2002 года, согласно которому отсчет первого губернаторского срока начинается с октября 1999 года. И хотя у нас, как неоднократно говорил президент, судебная власть независима от исполнительной и ее решения носят исключительно самостоятельный характер, нельзя не заметить удивительное единомыслие конституционных судей и главы Российского государства. На своей пресс-конференции, предварявший вердикт Конституционного суда (24 июня 2002 года), Владимир Путин высказал тезис, что определение количества сроков пребывания у власти местных руководителей находится в компетенции избирателей. В переводе на общедоступный язык это означает, что о ротации управленческих кадров в субъектах Российской Федерации следует на определенный период забыть, а местные начальники, особо понравившиеся населению, смогут покидать свои кресла, одновременно покидая этот грешный мир. Вероятно, вертикаль власти и институты гражданского общества в России укрепились настолько, а административный ресурс настолько же ослаб, что можно совершенно не беспокоиться за исход выборов в Татарстане, Башкирии, Калмыкии и других российских субъектах. Дескать, победит достойнейший...

Удивительно, что большую часть российского экспертного сообщества вердикт, принятый Конституционным судом, не заставил внести коррективы в оценку региональной политики второго российского президента. Словосочетание «укрепление вертикали власти» до сих пор продолжает украшать страницы газет и журналов. Но совершенно очевидно, что решение от 9 июля 2002 года — не то событие, анализ которого можно ограничить комментариями «на злобу дня». Минимум два избирательных цикла проблема «поствертикального периода» будет сохранять свою актуальность, не позволяя говорить об окончательном разрешении регионального вопроса в России.

Столь же преждевременно констатировать, что с «расползанием» России и всевластием региональных баронов покончено раз и навсегда. В этой связи вполне правомерен вопрос, а чем же, собственно, политика второго российского президента коренным образом отличается от предшествующей и насколько вообще оправданы региональные инновации последних двух лет. «Центр снова стал проводить политику кнута и пряника», — констатирует аналитик Фонда Карнеги Андрей Рябов. «Накануне выборов центру было невыгодно ссориться с губернаторами-долгожителями, которые обладают наибольшим электоральным ресурсом», — делает вывод эксперт Центра политических технологий Борис Макаренко. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика. Разве не подобного рода оценки и комментарии исходили из уст политологов в ельцинские «годы мрачные, глухие», когда никто не задумывался об укреплении вертикали власти, а уж тем более о «равноточности» и невозможности жить по понятиям? Как видим, несмотря на победоносную риторику, наше государство не слишком приблизилось к правовому регулированию отношений Центра и регионов. Все те же пресловутые «понятия», все та же политическая целесообразность.

Другими словами, решение Конституционного суда развернуло ситуацию в обратном направлении. Предоставив дополнительные преференции региональным баронам, российская власть вернулась на путь укрепления авторитарного правления республиканских и областных элит, усиление этнократического принципа верховенства «титовых наций» и «коренного населения».

Но самое печальное другое. Решение Конституционного суда отчетливо продемонстрировало *слабость высшей государственной власти* в стране и ее неэффективность. Спрашивается, зачем было создавать дополнительные бюрократические надстройки в виде семи армий федеральных представителей, инспекторов, советников и консультантов? Зачем тратить такие огромные бюджетные средства на содержание аппаратов полпредов (фактически избыточных информационно-аналитических служб), освещающих разные неблагоприятные дела региональных владык? Не проще ли организовать процедуру их цивилизованной ротации? Стоило ли превращать верхнюю палату парламента в, по сути дела, назначаемый, а не избираемый орган с низкой степенью легитимности лишь для того, чтобы не обидеть бывших глав республик, краев и областей, дав им по синекуре в новом «Сенате»? Зачем тратились немалые деньги на проведение многочисленных форумов и «круглых столов» по поискам новых кадров для России, если отныне все сколько-нибудь возможные, мыслящие по-новому кадры будут надолго отрезаны старыми властными элитами от принятия управленческих решений? Увы, мы в очередной раз произвели имитацию деятельности вместо самой деятельности.

Здесь следует сказать и о Чечне, без сомнения, самом проблемном регионе России. Эволюция «чеченской политики» Путина проходит в рамках логики все того же «поствертикального периода»: тот же акцент на политическую целесообразность и правовой партикуляризм.

Во время своего визита в Грозный накануне «исторического референдума» по Конституции тогдашний глава кремлевской администрации Александр Волошин сообщил о необходимости заключения Договора о разграничении полномочий между федеральным Центром и Чечней. «По России мы стараемся сократить количество таких договоров. Но Чечня — это особый случай». А ведь период «укрепления вертикали» начинался с критики договорной практики как порождения ельцинской политики суверенизации. «Особость» Чечни, необходимость отличного от других субъектов правового регулирования — эти тезисы озвучены как президентом («самая широкая автономия»), так и другими представителями кремлевской администрации (Владислав Сурков). В течение двух лет созданные президентом аппараты его полномочных представителей в образованных семи федеральных округах вели работу по исправлению положений в региональных Конституциях и Уставах, противоречащих статьям и положениям общероссийского Основного закона. В центре внимания президентских назначенцев было обеспечение изъятия из Основных законов российских субъектов конструкции «суверенитет». Башкирия была вынуждена заменить понятие «суверенитет» на «государственность», а вокруг права Татарстана сохранить в своем Основном законе данную юридическую конструкцию Центр и республиканские власти ведут сложные правовые дискуссии (положение о «суверенитете» Татарстана опротестовано российской Генпрокуратурой в Верховных судах России и Татарстана). В выносимой же на референдум Конституции Чечни в статье 1 черным по белому прописан ранее столь неприемлемый для путинского Кремля суверенитет. «Суверенитет Чеченской Республики выражается в обладании всей полнотой власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Чеченской Республики и является *неотъемлемым качественным свойством Чеченской Республики* (курсив мой. — С. М.)». Эта же статья вместе с тем содержит положение о Чечне как составной части России, однако еще в июне 2000 года (в период «укрепления вертикали») Конституционный суд Рос-

сии постановил, что слово «суверенитет» не может относиться к субъектам Российской Федерации. Даже «ограниченный суверенитет» не может быть прерогативой республик в составе России. Таким образом, налицо двойной стандарт в правовом обеспечении региональной политики.

Но и «суверенитетом» юридические противоречия вынесенной на референдум Конституции Чечни не ограничиваются. В статьях 29 и 30 вводится понятие «граждане Чеченской Республики». Между тем не кто иной, как сам президент Владимир Путин, в 2002 году подписал новый федеральный закон «О гражданстве РФ», который не предусматривает для россиян никакого иного гражданства, кроме российского. На понятие «граждане Чеченской Республики», думается, стоило бы обратить особое внимание. Выше мы уже писали о том, что проблема беженцев 1991 — 1994 годов из Чечни оказалась вне поля зрения и российских политиков, и российских экспертов. Не является ли в данном случае конструкция «граждане Чеченской Республики» закамуфлированным юридическим закреплением нынешней, сложившейся в результате неудачной попытки суверенизации Чечни этнодемографической ситуации?

При беспрецедентном административном давлении Конституция Чечни принята, в соответствии с ней избран (при помощи того же административного ресурса) ее новый глава — Ахмад Кадыров. И что же? «Войска — это проблема. Пребывание войск — нарушение всех норм и законов», — заявляет вовсе не лидер ичкерийских сепаратистов, а легитимный президент Чечни, якобы пророссийский политик. Добавим сюда требования Кадырова об освобождении от налогов, создании офшорной зоны, передаче властных рычагов на места, то есть фактически его, Кадырова, представителям. Не следует забывать и о разработанном главой Чечни проекте Договора о разграничении полномочий между Грозным и Москвой. Текст проекта предусматривает среди прочего и республиканскую эмиссию, и открытие международных представительств Чечни за пределами России. Так, может быть, поспешил глава России «закрывать» последнюю территориальную проблему нашего государства?

На фоне «чеченского прорыва» в тени остались последние инициативы Кремля по не менее проблемному Дагестану. Речь идет о введении института президентства в этой республике и отказе от коллегиальной формы правления. Ради чего? Ради благородной цели правовой унификации. Странное объяснение. В соседней Чечне Кремль целенаправленно насаждает правовой партикуляризм. То есть такая политика проводится в республике с наиболее мощным сепаратистским и, чего греха таить, антироссийским потенциалом. В Дагестане же, не поддавшись на сепаратистские и радикал-исламистские посулы и не раз доказавшем свою приверженность Российской Федерации (чего стоят события 1999 года!), правовые особенности тамошней политической системы становятся кремлевским «технологам» костью в горле. Справедливо, что Госсовет сохраняет лишь видимость коллегиального управления республикой, являясь, по сути, официальным прикрытием власти его председателя М. Магомедова. Но именно эта видимость во многом позволила избежать в Дагестане 90-х годов полномасштабных этнических конфликтов и дробления этой республики по этнонациональным «квартирам». Сомнительно, что на сегодняшнем этапе прямые президентские выборы, которые, зная нравы кремлевских технологов, надо думать, пройдут с административным давлением в пользу М. Магомедова, принесут политическую стабильность Дагестану. Исчезнет видимость коллегиальности, и не станет ли это причиной разрушения хрупкого этнического паритета?

Инициативы Кремля в «поствертикальный период» показали, что извечная традиция российской власти не думать о перспективах и не видеть дальше завтрашнего дня, к сожалению, не канула в Лету. К чему приводит отсутствие процедуры цивилизованной ротации управленческих кадров, хорошо известно. Во-первых, власть перестает адекватно оценивать обстановку. Единственно возможными видами аналитики в такой ситуации становятся победные реля-

ции и славословия в адрес первых лиц. Во-вторых, способные молодые и похорошему честолюбивые кадры, не видя никакой возможности легитимными способами войти во власть, находят себе применение в других нишах — криминал, политический экстрим и разные виды антигосударственной деятельности. В лучшем случае — эмиграция (внешняя или внутренняя — второй вопрос). Не отсюда ли «беспочвенность» и антипатриотизм нашей интеллигенции — кто, как не власть предрешающая, формирует «беспочвенную» и зараженную антигосударственными взглядами интеллигенцию?

И последнее. О компромиссах и уступках можно рассуждать в рамках правового, а не «понятийного» контекста. Наши региональные вожди, говоря словами Талейрана, «ничего не забыли и ничему не научились». Было бы наивным считать, что российские воеводы по-христиански простили Путину шок лета 2000 года (начало укрепления вертикали) и свой страх от резких заявлений, сделанных президентом тогда. У российских чиновников, воспитанных в старых добрых номенклатурных традициях, есть только две реакции — боязнь сильного и смелость перед лицом слабого. Как говорится, «молодец среди овец, а на молодца и сам овца». И вот уже высокочувствительный к малейшим изменениям наверху Минтимер Шаймиев повел споры по поводу обоснованности унификации законодательства субъектов РФ. И то ли еще будет! До тех пор, пока рейтинг второго российского президента высок, его будут славословить. Но от падения рейтинга не застрахован никто. Вспомним хотя бы изначальную популярность Горбачева и Ельцина. «Слабому» же и, не дай Бог, «двухпроцентному» Путину нынешние региональные вожди никогда не забудут того, что когда-то он понудил их выказать свою человеческую слабость. Летом 2000 года они на мгновение перестали быть небожителями и предстали перед нами на экранах ТВ и по радио как простые смертные, желающие иметь хороший прожиточный минимум в отдельно взятом особняке. Нынешние же уступки будут восприняты губернаторами и президентами национальных республик не как благородство федерального Центра, а именно как отступление перед их силой. И, естественно, на реформах можно будет поставить жирный крест. Люди, занятые сохранением личной власти и собственности, позаботятся, чтобы население не отвлекали бесплодными мечтаниями о преобразованиях...

Как видим, после 2000 года «Вестфальская» Россия никуда не исчезла как политическое явление. Но в эпоху Ельцина для «вестфализации» страны были веские основания. Создавалось само Российское государство, которому предстояло выбрать форму власти, правления, экономическую модель и видение внешней политики. «Вестфализация» была большой, но объективной платой за революционный слом старой коммунистической и советской системы. Решая основные вопросы российской буржуазной революции (власть, собственность), политики ельцинского призыва мало-помалу минимизировали последствия дезинтеграции страны и создали предпосылки для превращения России в единое федеративное государство. Большого требовать от революционеро-разрушителей было бы просто несправедливо. «Вестфализация» же по-путински — во многом искусственный процесс, вызванный чувствительностью к рейтингам, в высшей степени бюрократическим мышлением, боязнью гражданского общества и установления прямого диалога с избирателем. Стремление нравиться представителям всех слоев бюрократии, а также законсервировать застой под именем «стабилизации», неумение определять политические приоритеты и желание выполнять одновременно разнонаправленные действия привели к реставрации наихудших проявлений эпохи «парада суверенитетов». Сегодня Россия намного дальше от федерализма, политического единства и региональной стабильности, чем в 1999 году, накануне политической отставки первого российского президента. Пока все держится на популярности В. В. Путина. А завтра?..

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



«ПОТОМ ОПЯТЬ ТЕПЕРЬ»

Мнения о последней книге Виктора Пелевина с невразумительной аббревиатурой ДПП (NN) на кичевой обложке производства издательства «Эксмо» (расшифровывается как «Диалектика переходного периода из Ниоткуда в Никуда»), состоящей из романа «Числа», повести и нескольких рассказов, как и следовало ожидать, диаметрально разошлись. (Большинство рецензентов говорит лишь о романе, и здесь я не буду оригинальна.)

Появление критического разноса Андрея Немзера («Время новостей», 2003, 11 сентября) можно было предсказать с той же вероятностью, как наступление осени после лета: каждый текст писателя вызывает у критика острую аллергию. Но в предыдущих статьях Немзер снисходил до аргументов, на сей же раз критик просто сравнил Пелевина с графом Хвостовым, а его книгу назвал «глумливой, вихляющей и безответственной болтовней». Что ж, пассаж в романе «Числа» о «мелком литературном недотыкомзере», который питается в своей норке «сырым повествовательным предложением», может показаться обидным. И вообще пелевинская привычка сочинять сатиры на своих литературных критиков малосимпатична. Но уж если на то пошло, существует простой закон физики насчет действия и противодействия, и если желчный зоил имеет обыкновение невоздержанно бранить писателя, то можно предположить, что рано или поздно ему отплатят той же монетой.

Михаил Золотоносов, который всегда и обо всем пишет с брюзгливой гримасой, тоже вынес свой приговор: непереваренная «японщина», «олитературенная галиматья» («Московские новости», 2003, 27 сентября).

Если Немзер сравнивает Пелевина с графом Хвостовым, то Игорь Зотов — с капитаном Лебядкиным. «Никакого литературного интереса», «кроме разве что поверхностной пропаганды основ буддизма», пелевинские тексты «не представляли и не представляют», а новым романом «ДПП» Пелевин наконец «занял свое законное место в паноптикуме русской литературы — место капитана Лебядкина. В „ДПП“ проявился во всю свою мощь неистребимый дух Пелевина-графомана». (Хотя Игорь Зотов преследовал цель поразмашистее уязвить автора и явно не задумывался о тех коннотациях, которые придал фигуре героя Достоевского литературный XX век, он нечаянно задел довольно занятую тему, к которой мы еще вернемся.)

Характерный мотив газетных откликов на новый роман: Пелевин повторяется. «Череду подновленных опять» увидел в новой книге Пелевина Александр Архангельский («Известия», 2003, 6 сентября); о том же пишет Вита Окочурская: «Роман „Числа“ — крохи, сметенные с собственного <...> стола». («Русский Журнал», 2003, 2 сентября).

И наконец, есть те, кто увидели в книге Пелевина не самоповтор, но новое качество. Так, Дмитрий Быков считает, что писатель опять попал в «главные болевые точки», что его новая книга — очередной «прорыв» («Огонек», 2003, № 32); Антон Долин («Газета», 2003, 15 сентября) уверен, что «взвешенная, умная, искренняя и талантливая» книга Пелевина заставит понять «суть обыкновенного чуда хорошего писателя», а в Сети Василий Пригодич, как всегда, рубит сплеча: «Скажу честно: последняя книга Пелевина просто-напросто гениальна».

Если Пелевин повторяется, то что он повторяет?

«Опять сквозь двойной покров реальной жизни и политического пиара проступают сакральные основы. На сей раз числовые», — пишет Архангельский. По мнению Золотоносова, Пелевин загубил роман «нумерологической мистикой», как раньше он загубил «Generation 'П'» «натужным буддийским мистицизмом». «В последний момент „просветленному“ заместителю Виктора Пелевина (неизменному герою его прозы) все-таки удастся выпрыгнуть из тотальной лажи и устремиться к свету Внутренней Монголии (и/или Шенгенской зоны)», — иронизирует Немзер.

Если попытаться составить представление о смысле романа на основании таких высказываний, то получится, что Пелевин увлекся «нумерологической мистикой», которая сменила увлечение буддизмом, что герой — alter ego автора и что каким-то путем автор все-таки приводит его к просветлению.

Однако Степа Михайлов, чью историю рассказывает Пелевин, совершенно не годится на роль «заместителя Виктора Пелевина», никакого просветления ему не светит, и никакой нумерологической мистики Пелевин не проповедует. А вот иронии над этой и ей подобной мистикой — предостаточно.

С раннего детства Степа Михайлов проникся верой в могущество чисел. Маленький Степа, стихийный пифагореец, подобно древнегреческому математику и философу, особо почитал число 7, но, не добившись от него ответной любви, начал поклоняться числу 34 (три плюс четыре дают семь). Он изобретает цепь ритуалов, связанных с этим числом, выбирает институт, потому что информация о нем оказывается на 34-й странице справочника; во всех делах, в отношениях с женщинами следует указанию любимого числа, даже любовный акт заканчивает своеобразным ритуалом: сползая на пол, садится на корточки спиной к партнерше — так, чтобы «при взгляде на воображаемое сечение этой композиции получалось „тридцать четыре“: тройку давал контур женского зада, а четверку — его торс и выброшенные назад локти».

У счастливого, солнечного числа нечаянно обнаруживается антипод — лунное 43, которого следует опасаться.

Порой в жизни Степы происходят страшные трансверсии. Вот он пользовался вилкой, привычно видя в ней число 34 — три пустых проема и четыре зубца. Но вдруг первыми бросаются в глаза зубцы, а потом просветы между ними. Вилка означает 43! И все — еда не лезет в горло, рвота, понос, боли в желудке, бессильные врачи. Помогает случай — японский ресторан. Степа начинает есть палочками и моментально вылечивается от болезни. В описании подобных трансверсий Пелевин необыкновенно изобретателен: вот три птицы на бортике сада уже готовы превратиться для Степы в затенное число 34, но тут он соображает, что птицы — сороки и «этих *сорок* было *три*».

Роман не случайно посвящается Зигмунду Фрейд и Феликсу Дзержинскому. Отец психоанализа и основатель ЧК имеют прямое отношение к его смыслу. Сначала о Фрейте. Вера в магическое значение чисел восходит к архаическим культурам и пронизывает многие мифопоэтические системы, в значительной степени сохраняясь в современном сознании (например, распространенная тредакофобия — боязнь тринадцати). Но поведение пелевинского героя подпадает под определение навязчивого состояния, obsessions.

Философ и психоаналитик Вадим Руднев в статье, посвященной концепту obsessions в психоанализе, развивая идеи Фрейда, высказанные в книге «Тотем и табу», указывает на такую черту obsessивных: «В сущности, вся их жизнь строится на системе <...> запретительных норм: не касаться того или иного предмета, не выполнив предварительно некоего абсурдного ритуала, не идти по улице, пока не сложишь цифры на номере проезжающего автомобиля <...> и так далее. Эту черту Фрейд закономерно связывал с системой табу традиционных народностей».

И в другом месте: «Obsessивное сознание все время что-то считает: количество прочитанных страниц в книге, количество птиц на проводах, пассажи-

ров в полупустом вагоне метро <...> Если выделить одну наиболее фундаментальную черту обсессивного стиля, то таковой чертой оказывается характерное амбивалентное сочетание гиперрационализма и мистицизма, то есть, с одной стороны, аккуратность и педантичность, а с другой, магия, ритуалы, всемогущество мысли. Но именно эти черты синтезируются в идее всемогущего числа, которое управляет миром, — в пифагорейских системах, в средневековой каббале да и просто в мире математики и математической логики».

Читается как история болезни Степы Михайлова.

Невротик может быть литературным героем, но невроз не может быть духовной целью.

Считать, что Пелевин, приобщавший читателя к буддизму, теперь хочет всерьез увлечь его нумерологической мистикой и «подсадить» на гадания по гексаграммам китайской «Книги перемен», — значит просто не заметить едкой иронии автора. Это в прежних романах Пелевина ученик под руководством наставника совершал путь духовного восхождения. В «Числах» пара «ученик — учитель» сохранена, только гуру оказывается гибридом стукача и шарлатана. Как происходит знакомство Степы с Простиславом, толкователем эзотерических текстов?

Опасющийся пользоваться вилок, Степа понимает, что палочки для еды будут уместней смотреться, если он прослышет приверженцем азиатской кухни. Трансформацию образа должен довершить хороший китайский чай, который поставляется из клуба под названием «ГКЧП», что расшифровывается как «Городской клуб чайных перемен», где Простислав за «главного консультанта и духовного учителя».

Степа безошибочно узнает в нем осведомителя ФСБ, что, впрочем, не отпугивает банкира: мысль, что древние китайцы знали тайный смысл чисел, с которыми он с детства находится в особых отношениях, так его поражает, что он не может упустить шанс проверить свои прозрения по китайской классической гадательной «Книге перемен», с которой знакомит его Простислав.

Хорош, однако, гуру с коллекцией порно, приклатненной речью и доверительными контактами с таинственными «блондинами в штатском».

А чего стоит история с дзэнским садом камней! Прочтя о нем как-то в краткой газетной заметке, Степа решает устроить такой же на собственной даче. Еще раньше среди посетителей «ГКЧП» Степа встречает загадочных молодых людей с глазами, горевшими «неземным огнем». «Наверное, какие-нибудь особенные мистики», — думает простодушный Степа. «Сурьезный народ», — говорит о них Простислав, добавив какое-то слово, что-то вроде «амитафинщики». Догадливый Степа сразу же соображает, что речь идет про «будду Амида, владыку мистической Западной Земли, где возрождаются праведники, чтобы за один короткий марш-бросок достичь окончательной нирваны». Менее догадливый читатель отнесет горящие глаза, трясущиеся челюсти и ночное бормотание высокодуховных мистиков не на счет эзотерических практик, а на счет употребления наркотика амфитамина.

«Амитафинщики», которым Степа заказал изготовить сад камней, оказываются родными братьями тех портных, что впарили андерсеновскому королю дорогостоящее платье, — не лишены ведь были чувства юмора и точно сыграли на человеческой природе. «Они спрашивают, какой сад камней делать — с лингамом?» — звонит Степе его возлюбленная Мюс. Степа, видимо впервые услышавший слово «лингам», ошарашенно переспрашивает, но, когда Мюс объясняет, что бывают, дескать, два вида дзэнского сада камней — со священным лингамом победы и без, с достоинством бросает: «Это я без них знаю». Хорошие психологи эти «амитафинщики». Конечно же, банкир ответит, что без лингама саду никак нельзя, даже если понятия не имеет о том, что это такое.

С трудом удержав гримасу удивления при виде счета, Степа удивляется еще больше, открыв обитую шелком коробочку с «лингамами победы» и обнаружив в аккуратных углублениях «три пластиковых члена — синий, красный и зеленый», выполненные с соблюдением всех анатомических подробностей».

«Они что, издеваются? — посещает его светлая мысль. — Или я чего-то не догоняю?» Издеваются, это уж как пить дать.

Лингам (или линга) на санскрите значит то же, что по-гречески «фаллос». Фаллические культы — примета разного рода архаичных культур, где почитается животворящее мужское начало. В древнеиндийской мифологии могучий лингам бога Шивы обеспечил ему победу в споре с Брахмой и Вишну. Барельефные изображения лингама могут украшать стену индуистского храма (в особенности если он посвящен Шиве). Что же касается дзэнских садов камней, то они предназначены для длительных медитаций монахов: строгий прямоугольник открытого пространства, разровненные граблями волны мелкого гравия и особое расположение камней рождают чувство умиротворения. (Самый знаменитый из них находится в Киото, на территории дзэн-буддийского храма Рёандзи). Буддийские монахи дают обет безбрачия. Лингам в дзэнском саду камней не более уместен, чем перед входом в христианский монастырь.

В общем, Степу не просто «развели», но сделали это с грубоватым приколом. Чего только стоит стилизованная надпись на «лингаме победы» «*Ом мама папин хум*». Наивный и невежественный Степа не узнает в ней знаменитую буддийскую мантру, звучащую примерно как «ом мане падме хум», — молитвенное обращение к Будде с просьбой благословения — и не улавливает скабрёзного юмора «дизайнеров».

Но над чем смеется Пелевин, не побоявшийся оскорбить свой буддизм кощунственными каламбурами?

А смеется он над тем, что героиня романа Мюс назвала «духовным фастфудом». (Сама она, правда, питается пищей едва ли лучшего качества — образами покемонов, да еще подводит под свою страсть семиотическую базу.) Эта наско-ро состряпанная эзотерическая пища в изобилии представлена на книжных лотках, в оккультных лавочках «Путь к себе», пропахших дешевыми индийскими благовониями, на интернет-порталах душевного общения, типа «Белые облака», в меню которых уютно соседствуют «Вопросы кармы», «Эзотерика», «Астрология», «Нумерология», «Магия чисел», «Нумерологический код», «Гадания по китайской „Книге перемен“», «Гадания на рунах» ну и так далее.

«Во всем, что выходило за пределы его тайного завета, Степа, как и большинство обеспеченных россиян, был шаманистом-эклектиком; верил в целительную силу визитов к Сай-Бабе, собирал тибетские амулеты и африканские обереги и пользовался услугами бурятских экстрасенсов», — иронизирует Пелевин над своим героем. Сюда бы добавить еще одну деталь: чтение книг Виктора Пелевина. Нравится это писателю или нет, но и его романы оказались в меню таких Степ в качестве духовного фастфуда — общедоступного пособия по буддизму. И в сарказме Пелевина по отношению к этой скороспелой пище мне мнится намерение сложить с себя сомнительное звание молодежного гуру и стать просто писателем.

Золотоносов упрекает Пелевина, что он сосредоточился на своей доморощенной мистике вместо того, чтобы заниматься социальной сатирой, где он значительно сильнее. Но не ясно ли, что в романе «Числа» доморощенная мистика является объектом сатиры?

Сюжетное построение романа дало повод для многих нареканий. Действительно, ни один из его эпизодов не вытекает с неумолимостью из предыдущего, а некоторые побочные линии можно изъять без всякого ущерба для повествования. Например, Степе нет никакой надобности затевать телевизионную программу про Зюсю и Чубайку (смахивающих на Хрюна и Степана). Не его это дело — заботиться об имидже власти и уж совсем не его — придумывать телевизионный проект. Создается ощущение, что у писателя был совершенно автономный пародийный сюжет и с помощью небольшой натяжки он пристегнут к роману.

С точки зрения здравого смысла правы те, кто считают неправдоподобным решение Степы убить банкира с отвратительной фамилией Сракандаев за то, что тот является живым воплощением ненавистного числа 43. Еще более неве-

роятно желание сделать это лично. Банкиры не бегают друг за другом с пистолетами в руках. Способ убийства (стреляющая ручка, запрятанная в лингам) заранее обречен на провал.

Но в романе Пелевина торжествует не логика жизни, а парадоксальная логика анекдота.

Переодевающийся, удачно маскирующийся киллер — сюжетный штамп массовой культуры. Отправляясь вслед за своим мистическим врагом Сракандаевым в Петербург, Степа переодевается священником и в таком виде идет на представление «первенца российской гей-драматургии», а затем — в гей-клуб. Стоит ли говорить, что наряд его вовсе не маскирует, но, наоборот, выделяет из толпы? Пелевин переодевает не только Степу, но и традиционные сюжетные схемы. Убийца, насилующий жертву, — тривиальный сюжет массовой культуры (да и действительности). Жертва, принуждающая убийцу к любовному акту, — травестийно переодетый штамп. Энергия ненависти, вложенная Степным Волком (которым вообразил себя Степа), чтобы уничтожить Осла — Сракандаева (тот носит прозвище «Ослик семь центов», имеет обыкновение напивать на себя во время любовных игр ослиные уши и кричать по-ослиному), интерпретирована мистическим врагом Степы как энергия страсти. Лингам, в который вложена стреляющая авторучка, использован не как смертельное оружие, но как орудие секса. Сцена комична, грубовата, абсурдна и натуралистична одновременно.

Степа оказывается в ситуации героя известного фривольного анекдота, что прекрасно чувствуют сетевые интерпретаторы Пелевина, растаскивающие его образы на цитаты. Так, на одном из экзотичных ресурсов — сайте «виртуальных заказных убийств» — пелевинского «Ослика семь центов» (нарисован задом к зрителю) предлагают использовать как киллера, а «лингам победы» (запечатленный в анатомических подробностях) — как орудие убийства. Способ убийства характеризуется энергичным глаголом, более подходящим к выбранному оружию преступления. Про стреляющую авторучку создатели сайта забыли. Но в романе она выстрелит, разнеся Сракандаеву голову в самый неподходящий момент: только он может решить проблему с похищенными у Степы тридцатью пятью миллионами, отозвав перевод из подконтрольного банка на Багамах.

За фантазмагоричную гомосексуальную сцену с участием «Ослика семь центов» на Пелевина сильно обиделись некоторые критики (Немзер, Архангельский, Зотов), дружно решив, что это плевок в сторону издательства «Вагриус», с которым Пелевин расстался не лучшим образом. Да, Пелевин любит втыкать шпильки в тело своих недругов. Но мне, например, сначала пришел на ум «Золотой осел» Апулея — тот эпизод, где герой делит ложе с восплававшей к нему страстью дамой, сжимая ее четырем копытами, и лишь после объяснения Немзера я вспомнила об эмблеме «Вагриуса». Может, лучше было бы не объяснять? Именно с подачи Немзера — Архангельского и развернулась в Сети дискуссия о том, что значит прозвище героя и почему «семь центов». Семь центов с каждой проданной книги — скупая ставка издательских отчислений? Или семь процентов людей гомосексуальной ориентации? Или еще что? Гадать придется долго, ведь романский ослик погиб, так и не раскрыв Степе тайну своего прозвища (хоть и обещал).

Сатира в пелевинском романе всеобъемлюща. Осмеяны бизнес, политика, масс-медиа, осмеяны богема, театр, литературоведческое сообщество, причем то самое, которое благосклонно к Пелевину как представителю русского постмодернизма, — это ведь там читают доклады на тему «Новорусский дискурс как симулякр социального конструкта». Именно тотальность отрицания рождает то ощущение мрачной духоты, которое неприятно поражает в романе, несмотря на обилие комических ситуаций, шуток, каламбуров.

Коллекции фирменных пелевинских «приколов» первым делом были собраны и прокомментированы газетной критикой и расплозились по миру — по Сети. Есть среди них удачные: политическая партия крупных латифундистов под названием «Имущие вместе», есть забавные: «Ты чечен, какой здогчен».

Есть те, которые заставляют поморщиться: «Баннер за Е. Боннэр», «Старый пиардун».

А уж фамилии Сракандаев и Мердашвили вместе со стишком «Как-то раз восьмого марта Бодрияр Соссюр у Барта» заставляют всерьез задуматься над дополнительным смыслом посвящения Фрейду.

Но Пелевину же принадлежит каламбур, который, на мой взгляд, лаконично и всеобъемлюще передает суть наступившей эпохи.

После того как неведомый фээсбэшник капитан Лебедин расстреливает на глазах Степы двух картинных братьев-чеченов, крышующих бизнесмена, а потом, запугав и обласкав, подсовывает ему на подпись «меморандум о намерениях» с лаконичным текстом «я все понял», счастливо вынырнувший из кровавой купели Степа посылает привет новой эпохе — устанавливает на Рублевке рекламный щит с эмблемой ФСБ (щит и меч) и придуманной циничным рекламщиком Малютой (перекочевавшим из «Поколения 'П'») надписью «ЩИТ HAPPENS». Любящий играть со своим читателем, который благодарно и догадливо «рубит фишку», Пелевин пишет в сноске: «От английского „shit happens” — проблемам свойственно возникать», что, в общем, соответствует смыслу идиомы, но никак не объясняет значение слова «shit» (дерьмо). Игра со сходно звучащими словами «щит» и «shit» на первый раз сходит Степе с рук — капитан Лебедин всего лишь просит «подлечить подпись», оставив нетронутой эмблему.

Степа немедленно выполняет просьбу: меморандум-то подписан. «Всем сидеть. Джедай-бизнес», — восклицает капитан Лебедин, предостерегая посетителей кафе, где только что произошла кровавая разборка. Наследники Дзержинского (вспомним второе посвящение) не утратили специфических навыков и арсенала средств. Но поменяли цель. Бандитская крыша тяготила Степу. Но бандиты соблюдали понятия. У рыцарей джедай-бизнеса аппетит тот же, возможности шире, а принципы отсутствуют.

Большой Брат в мире Оруэлла позволял по крайней мере на время любовного акта опустить занавески на прозрачном окне. Джедай-бизнесмены не позволяли и этого. Степа знает, что коллеги Лебекина «провели много часов в просмотровом зале», изучая особенности его сексуальных контактов. Не успел Степа осмыслить происшедшее между ним и его врагом-партнером Сракандаевым, как в вагоне поезда Петербург — Москва его настигает звонок весело хохочущего и брутально матерящегося капитана Лебекина: «Запись уже в Москве. Сейчас быстро — по Интернету гоним. Всем отделом с утра уссывались». Технический прогресс — на службе защитников безопасности отечества. Можно начинать день с бесплатного служебного порно.

Сракандаев тоже знает, что любопытные джедаи всевидящи и вездесущи, но даже не пытается извлечь записывающие камеры, а лишь ставит под нужным углом фотографию Путина в кимоно: такой компромат кто ж решится использовать?

Клиент должен помнить: джедай держит его на крючке. И в любой момент может дернуть леску.

«Ты понимаешь, сколько людей в цепочке?» — произносит Сракандаев, берясь возратить за десять процентов от суммы похищенные из банка Степы 35 миллионов долларов. «Ты знаешь, сколько людей в цепочке?» — произносит точь-в-точь ту же фразу джедай Лебедин, требуя денег от Степы и не обращая внимания на беду банкира, хотя похищение тридцати пяти миллионов вроде бы должно и его касаться.

Мелькало в критике: парадигматический сдвиг в обществе, замена бандитской крыши на фээсбэшную столь очевидны и столь замусолены в прессе, что Пелевину нечего сказать, кроме общих мест. А и не надо. Подробности узнаем из других источников. Каламбурные формулы «щит happens» и «джедай-бизнес» не описывают действительность, но моделируют.

Что в «Омоне Ра», что в «Чапаеве и Пустоте», что в «Generation 'П'» торжествовала идея иллюзорности окружающего мира, оставляющая возможность прорыва в мир подлинный.

Мир «Чисел» не подлинный. Но выхода из него что-то не видно. Привыкшие к прежнему Пелевину, поклонники с разочарованием обнаружили, что в романе отсутствует очевидное буддийское послание. Пелевин написал текст без философской начинки. В чем же его message?

Сам Пелевин в не столь уж малочисленных интервью, которые дал после выхода книги, изменив своей привычной позе отшельника и молчальника, повторяет, что хотел написать роман о «плене ума», о том, «как человек из ничего строит себе тюрьму и попадает туда на пожизненный срок», а «полюса, перемены и герои нашего времени попали туда просто в качестве фона». Получилось же, что фон поглотил героя. Из плена ума есть выход только в мир, лежащий в плену. В конструкцию романа заложена идея диалектики: единство и борьба противоположностей, число солнечное и лунное — 34 и 43, чеченская крыша и джедайская. Но сам мир статичен.

Я уже упоминала статью Зотова, в гневе сравнившего Пелевина с капитаном Лебядкиным.

Пелевин и сам расставляет знаки отдаленного родства с первым русским абсурдистом: не зря же в романе действует капитан Лебедкин. Однако важнее родство с обэриутами, как известно, культивировавшими ту «принципиальную стилистическую какофонию» (выражение Л. Я. Гинзбург), которой капитан Лебядкин из «Бесов» следовал стихийно.

Открывающая «ДПП» «Элегия 2» потому имеет столь странный порядковый номер, что отсылает филологически подкованного читателя к другой «Элегии», полвека назад написанной Александром Введенским и столь же причудливо соединяющей в себе словесное ёрничество и метафизическое отчаяние. «Так сочинилась мной элегия / о том, как ехал на телеге я» — это эпитафия из Введенского. «Вот так придумывал телегу я / О том, как пишется элегия», — автоэпитафия Пелевина.

Механическое перечисление существительных, кажется ничем не сцепленных, кроме каламбурных созвучий («За приговором приговор, за морем мур, за муром вор, за каламбуром договор»), рождает тоскливое ощущение дурной бесконечности, в которую проваливаются существительные, глаголы, явления, предметы, само время.

...За дурью дурь,
За дверью дверь.
Здесь и сейчас пройдет за час,
Потом опять теперь.

Вот это «потом опять теперь» и есть результат диалектики «переходного периода». Тому, кто не столь безнадежно смотрит на нынешнюю эпоху и чего-то ждет от будущего, становится душно в пелевинском романе. Что ж, можно отложить книгу в сторону и выйти на улицу. Глотнуть воздуха?



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — «ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ»

Из «Литературной коллекции»

Очень значительная книга. От первых же страниц удовлетворение: настоящая литература, какой (современной) давно не читал. И — мужественный тон. Вся манера повествования — последовательно традиционная, никаких специально издуманных новизн. Ставит сложные проблемы, но все — на сюжетных случаях, образах, а не в общем голом виде.

Для такой обширной по содержанию картины — весьма компактный роман, в конструкции почти нет обвисаний. Тут умело, удачно совмещены столь отдельные моменты войны, как декабрь 1941 под Москвой и октябрь 1943 под Киевом. При, кажется, причудливых переносах повествования — от ординарца Шестерикова, 1943, — к генералу Власову в 1941, дальше к Гудериану. (Власов у храма Андрея Стратилата, первое-первое наше наступление от Москвы — и Гудериан в Ясной Поляне подписывает приказ о первом немецком отступлении от Тулы — какой рельефный узловый момент!) И хотя есть отходы от временного порядка, но это не к худу, большей частью удачи, переходы получаются естественно. Книга несколько раз поражает нас неожиданными поворотами, самый разительный из них — орудийный обстрел генерала Кобрисова своими в конце — и замкнутие на «виллисе», с которого книга начата. Кажется: ни одна как бы случайная завязка, сделанная в романе, — не осталась без такого крепкого конечного замкнутия: и «беспокойство» смершевца Светлоокова о целостности командарма; и медсестра-любовница, так и не названная по имени; и её предчувствие: «ляжешь на том берегу»; и, казалось бы, малозначное предательство шофёра Сиротина (себе же на погибель); и команда на уничтожение Кобрисова передана по тому самому подводному проводу, о котором он так заботился; и множество таких. Достойная и сколь разнообразная конструкция. (Только над главой 5-й, двусоставной, — лубянская камера весной 1941 и летнее отступление 1941, — когда читаешь, возникает опасение: неужели книга теперь пойдёт в слабины? Но — нет! Да и таким необъятным расширением тем для такого компактного романа автор взял на себя задачу почти непосильную).

Организация текста, правда, тоже иногда взывает к большей чёткости: несколько крупных глав, а внутри них совсем разнородные эпизоды бывают и ничем не разделены; неравномерно, лишь кое-где, вставлены звёздочки. Не хватает естественных дроблений текста, облегчающих и динамизирующих чтение.

Фронтальная тема. За необъятную тему советско-германской войны Владимов взялся не только как художник, но и как самый ответственный историк, перебрал, перекопал много материалов самого широкого обзора (и не раз веско и с большим достоинством проявил эти свои познания — уже и за пределами романа, во вспыхнувшей за тем против автора яростной дискуссии). А как

художник-изобразитель — удивительно уверенно Владимов справляется с живыми подробностями, сам в той войне не воевавши. Очень хороша уже только вступительная поэма о гонком генеральском «виллисе». Не робеет и со знанием описывает детали из действий артиллерии, танковых войск, авиации, кавалерии. Детально изучил многие военные подробности, лично-опытные материалы, — это сколько надо было вникать, прозревать, воображать. Отлично дана понтонная переправа при оживлённом воздушном бое («в воздухе, перенасыщенном ненавистью»). Ошеломительно — ночной воздушный десант, idiotически организованный генералом Терещенко, — и страшный конец: как вешали взятых наших десантников на стропах или дожигали в костре. — Среди подбитых «фердинандов»: «неживая сталь пахнет мертвечиной». — И такое общее понимание воюющей армии: «Только малую часть её, как в гранате запал, составляют те, кто воевать любит и без кого война и трёх дней бы не продлилась, а для людей в массе, „в серёдке“, она только страшна и ненавистна». — И такое безошибочное фронтовое ощущение: на передовой нет сволочей, передовая отсекает их. (Только вот двухмесячное отступление крупного сводного отряда, в несколько дивизий, в 1941 без реального соприкосновения с противником — неплотняно, невозможно. И на своей конной тяге протянули — просёлками? — пушки? и, почти дойдя до советской линии, — теперь Кобрисов берётся отбивать немцев? какими снарядами? — и их тоже протянули? два месяца?)

Власовская тема (ещё ранних «изменников», не РОА). По её неосвещённости в советской литературе она в книге выдвигается наряду с основной фронтовой, и даже с особой болезненностью. И как не воздать должное Владимову за его смелость — не уклониться от темы (как увёртливо или дуболомно уклонялись столькие его предшественники, лакировщики, наспех и прославленные). Он не побоялся выстоять встречный гнев и самую низкую брань, которые заглумили возможные серьёзные разборы книги по существу.

Генерал Власов при провидческой встрече своей с храмом Андрея Стратилата и вся сцена вокруг — великолепны. (Привлекательный приём: вводит долго без фамилии — смекай сам.) Автор имеет честность и мужество назвать его (и показать это) «подмосковным спасителем», ему отдаёт, по заслуге, поворот всех боёв под Москвой: «Он навсегда входил в историю спасителем русской столицы, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить»; «из такого можно было сделать народного вождя». И портрет хорош (дорисовывает его и в других местах, возвращаясь), так же непреклонно пишет о его заслугах под Киевом в 1941 (ещё одно замыкание в романе: Киев 1941 — и Предславль в 1943).

Короткими наплывами эта тема о странных, всегда неназываемых русских, которые стали воевать против «своих» (против советских), возвращается и возвращается. Сперва — первые пленные «земляки» и как смершевец Светлоков цинично ободряет их, а потом устраивает расстрел их «земляками» же. Потом раздирающая сцена допроса уцелевшего десантника напрягшимся генералом Кобрисовым («от предчувствия, что вот сейчас откроется тайна, которую он был обязан узнать») в навязанном присутствии смершевца — из самых волнующих сцен в романе, тема заклётого «предательства» трепещет, как кровавое мясо, — вошёл же Владимов в тему, сумел! — Тут запетливается целый гарнизон «наших у немцев», несколько батальонов русских — в обречённом Мырятине (и не упущен тот скорбный гимн «За землю, за волю, за лучшую долю», который отзывно звучал в эфире в войну), — запетливается на опыт, понимание и смущение Кобрисова, что направит и судьбу операции, и его судьбу — как ложная приманка для обстрела в конце. И — реальная расправа с русскими из мырятинского окружения: им объявили в мегафон: «Плывите» (через Днепр). — «Да вы же стрелять будете?» — «Не будем. Слово чекиста». «И не стреляли. А послали катер, он по ним носился зигзагами, утюжил и резал винтом. Вскипала кровавая волна. Не выплыл никто».

Ещё ж и другие эпизоды. Только одной разработки этой темы было бы достаточно, чтобы роман Владимова навсегда остался отмечен в русской литературе.

Закончить и о Гудериане. Обрисовка его сразу пошла хорошо, свободно, в уклонение от неперемного, навязанного стандарта. Удачно найдено это беспомощное сползание его танка в овраг — как импульс к отступательному приказу. Интересен общий план кампании глазами Гудериана. Poleмика Гудериана с Толстым интересна и по сути и хорошо осмысливается применительно к современности.

Тема НКВД и СМЕРШ'а. Она разработана во многих эпизодах и на нескольких персонажах.

Отметны и страхи генералов в ялтинском санатории перед войной.

Дальше — три грозных энкаведиста навстречу большому воинскому соединению, выходящему из окружения в 1941. Дальше, конечно, «Дробнис» (Мехлис) и фронтовые расстрелы после сталинского приказа 227 (27.7.1942) — очень сильная сцена, как лейтенант Галишников в отчаянии готов расстреляться сам, но не губить своих солдат. Мехлис («красные сверлящие глазки, надменная отвислая губа») — как раз таков, чего он стоит.

Хотя в предвоенной лубянской камере, в арестантском самочувствии не передана трагическая безысходность, сползает к камерной болтовне с вяловатым остроумием — но очень свеж, удался следователь Опрядкин — и наружность его, эта «ухмылка, не затрагивающая ледяных глаз», и ловкая переменчивость поведения, и крайняя амплитуда её — до коньяка и торта, когда он внезапно вынужден вернуть генералу отглаженный мундир и пистолет.

И ещё свежее смершевец Светлооков. Самое свежее в нём — что он взят из фронтовиков-строевиков — так недавно прост в обращении, да и сейчас сохранил ту манеру, компанейский, простодушные глаза, никакого чванства, любит литературу. Научиться сыску, кажется, и успеть было некогда — а природное ли открылось? И вербовки проводит, достаточно варьируя, глядя по клиенту, хотя где-то и обрываясь на грубом заученном повторе. Что-то от его службы, но что-то же и от личности, что командующий армией «всегда пасует» перед ним. Завязанная им сеть вокруг генерала как будто забывается по ненужности — и вдруг, к концу, так грозно обрушивается артиллерийским смертным налётом. (И внезапно проступают читателю с новым смыслом как будто недельные распросы особиста — боится ли генерал смерти, чувствует ли себя заговорённым.)

Но вполне типична тайная сотрудница смершевского майора, штабная телефонистка Зоя. По отношению к ней (таких случаев за всю книгу всего два-три) автор позволяет вмешаться своему голосу и провиживает её будущее — через радостную лейтенантку недель военной Победы, с подъёмом в центральный аппарат КГБ — и с отработкой в «дебёлую партийную бабёнку, переспавшую со всеми инструкторами обкома».

Генерал Кобрисов. Весь образ в целом задуман глубоко, типично — да и удался. Хотя на ранних страницах автор мог бы помочь нам ясней его увидеть, это потом только на сотнях страниц нам выступает, даже и наружность. (Однако сам по себе приём затянуть его молчаливое присутствие — хорош. Сама и фамилия генерала названа впервые только на 40-й странице, хотя всё действие — плотно вокруг него.) Даже и в 4-й главе, в середине книги, зрительского вида сильно не хватает, задержка в обрисовке генерала становится недосветом. Внутренний его мир — если можно так назвать, выясняется и ещё поздней. Кое-что важное — история женитьбы, страхи в ялтинском санатории в 1940 — даны нам уже в конце книги как объёдки сюжета, после кульминации главного действия они уже и мало интересны, не поспевают к лепке образа. Знали бы мы всю биографию пораньше — легче было бы и нам осмысливать, да и

самому автору легче бы работать. Правда, едва названа наконец фамилия, тут же узнаём, что Кобрисов — из реабилитированных. Это — даёт нам некое предвиденье сюжета (впрочем, мы в нём значительно обманемся — к художественному успеху автора).

Наружность постепенно нагляднее: от «грузен», «кабанья туша», далее «высокий» (уже почему-то роста и не ждёшь), «ниточка усов», которой все в армии будто бы подражают (никак ему не идёт, трудно увидеть) — дальше ясней: «восемь пудов», «мясистость лица», «глазки под толстыми бровями» (а брови ему подравнивает ножничками ординарец), «складчатая шея», «сутулящаяся спина», — к концу очень виден: распротранённый вид советского генерала, да и прообраз будущего Брежнева.

Соответственно сказанному Кобрисов не блещет эрудицией. Что Киев сызначала едва не назвали Предславем в честь Предславы, сестры Кия, — откуда б такое диво? — он узнал из фронтовой газетки. Обдумывание впервые увиденного, через Днепр, Киева — уже слишком интеллектуально для него, впрочем, вскоре он напевает и пошлую частушку. Что будто запомнил наизусть стих Луговского — мало верится. Впрочем, этого тяжелодумья автор не обыгрывает и в обратном, сатирическом, смысле. (Милая шутка с конфискацией подлинников писем Вольтера: «но копии есть?» Потом и сам читает Вольтера, да на фронте? — напрочь невероятно.) Автор тактично останавливается на немногих тут штрихах.

Политическое сознание (или взгляды?) Кобрисова более половины книги скрыты от нас. В эпизодах расстрела Мехлисом отступающих (летом 1942), кажется, тронулось сердце Кобрисова? Бегло читаем, что «весна 41-го сделала его другим», — ещё не понимаем. Вослед нам объяснено: лубянская посадка на 40 дней. На следствии он ведёт себя стандартно, да и никаких политических убеждений не проявляет, хотя через пяток недель уже и повернулся: «Да кто их защищать будет, сукиных сволочей, когда они такое творят!» (Но это не получает развития.)

Возвращённый в генеральское звание и в строй ещё месяцем позже, «думал сходно» (с комиссаром троцкистского типа Кирносом) о свержении Сталина? и даже, с неожиданной прозорливостью? — что не в 37-м году дело, а вот: кронштадтские матросы! крымские офицеры! «и сам руку прикладывал к неправому делу», — оказывается, подавлял басмачей, — а внуки басмачей «назовут их национальными героями», — уж совсем невероятные для него прозрения. Однако — быстро возвращается в привычное генеральство, и от других отличает его лишь острый интерес к Власову и власовцам. Даже: «не раз примерялся к положению Власова». А когда внезапно вместо опалы получает звание генерал-полковника — снова верит в Сталина, благодарен ему. Несмотря на пережитое, он неисправимо принадлежит к общей породе советских генералов.

А — военные свойства его? Из прошлого узнаём: солдатский Георгий за Первую Мировую войну — очень возможно, такие тоже многие пошли к большевикам. Потом исключительно успешно (но не ощущено нами в реальности) отступал в 1941 году? И вдруг — неосторожный, безоглядчиво-беспечный его заскок в Перемерках, выпить коньяку, на передовой несколько километров пешком, с одним ординарцем? Восемь пуль ему в живот — и ото всего бесследно оправился? да ведь сколько органов должно быть продырявлено? ну, чудеса бывают, допустим. Вот решение переправиться через Днепр с первым же батальоном, «решил включить в план операции свою гибель» — может быть, от того момента, «когда разглядывал в окуляры стереотрубы „отдыхающего“ чёрного ангела с крестом (статую Владимира Святого над Днепром) и вдруг почувствовал, что перед ним, возможно, осуществление самой большой из его надежд?» Это, конечно, поступок, на который шёл редкий генерал, вдохновительный пример для солдат, трудно переоценить. Другое дело — насколько он эффективен для самой операции, с плацдарма куда трудней управлять. В переправе-то «он почувствовал себя лишним среди этих людей». Вот —

и что сделал для него лейтенант Нефёдов — рассеял группу «фердинандов», — это решающее всё равно прошло без него. Однако, обходя вослед «маленький лагерь бессловесных», погибших, — малоестественно приходит он к мысли: «люди гибнут за металл» фердинандовых коробок — совсем не генеральская мысль, и не по уровню мышления Кобрисова вообще. Скорей вот эта: мертвецы и сгоревшие «фердинанды» — «зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз».

Кроме явного честолюбия — силы личных чувств в Кобрисове нигде автор не отмечает, даже напротив. Бесчувственно, бегло генерал воспринимает весть, что утонула его любовница, — ну, может быть, по огненности плацдарменного момента, только — «Как же это? Как допустили?» — впрочем, и очень верно. Но — позже? потом о ней? — ни скольженьем. Так же и к лейтенанту Нефёдову — не выполнил обещания, данного герою в предсмертный час, не послал письма его возлюбленной. Воспринимается без веры и что, при близости с медсестрой, испытывает не мелькучее, а чуть не молитвенное угрызение совести к жене: «Неужели же мне всё не простится?» — Так же совсем без доверия воспринимается сообщение автора (ничем не подтверждённое, ни на чём более не показанное): «И стало частым (?) непривычное ему, раньше и не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не задумывался путём, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила или мучило ранение». Вот суеверие — это есть, во вспышке всего лишь мелкой дурной приметой раздражается на танкового майора: «под трибунал пойдёшь!» (да кто на фронте не слышал этого от генералов, и сколько раз).

А что непрерывно движет Кобрисовым — честолюбивая жажда успеха. Он — и лестью выторговывает желанное ему от Ватутина приказание на мырятинский плацдарм. Во взрыве этого честолюбия — чего же другого? — услышав благодарственный приказ Сталина с лишней звездой на погон, он совершает свой впечатляющий внезапный поворот от Москвы опять на фронт — «Предславль брать, не меньше!»

Уже к самому концу книги автор придаёт Кобрисову и как будто способность человековедения: оказывается, он всегда понимал и знал, что три ближайших к нему человека — адъютант, ординарец и шофёр — были на крючке оперуполномоченного. И, уже в отставке, к старости, когда он «вымучивал свои мемуары», где правды сказать нельзя, а все сочиняют, — Кобрисов «всё большее облегчение находил в том, чтоб уходить под защиту своей дури». Он, вот, и командовать расхотел, и даже ему «вспоминать войну расхотелось». И докоснулся он до мысли, что «умирание — тоже наука». И вот когда — с теплотой приходит в память та мимоходная сестра — и её почти безошибочное предсказание, что «ляжет он на том берегу». Хотя и не умер там, но именно там настигли его снаряды собственные, из пушек *его* армии и направленные смершевцем.

Кроме Кобрисова и Власова в авторский свет на краткое время попадают ещё и другие генералы, скрытые за разными псевдонимами: Черновский (Черняховский), Рыбко (Рыбалко) — этот мало выразителен, почти ничего о нём, «с быстрой хищной улыбкой» Терещенко (Москаленко?), бесшабашный авиатор Галаган (М. Галлай?). И под своими фамилиями — Ватутин и Жуков. Кроме Жукова не берусь судить ни о чьей степени достоверности, Ватутин кажется вялым (был ли он таким?). Но что достоверно: что генералы, в соревновании друг с другом, заняты не общими военными интересами Родины во всей кампании и не сохранением жизни подчинённых, а перехватом: «я возьму! я возьму!», очередным куском славы. Жутко подумать, что так и было (нам, снизу, не было это видно). — А Жуков при всей краткости и немногословности показа — («жёсткая волчья ухмылка», «цепкий, хищный глазохват», «чудовищный подбородок, мало не треть лица», «твёрдые губы обронули „здась...”») и его поведение на совещании — всё очень натурально, убедительно.

тельно. Весь этот военный совет описан легко и живо. — Так же живой и Хрущёв — верна его политрукская суетливость («он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей»), и пренебрежительное отношение Жукова к нему, и глупо-пропагандное решение: брать бы Киев генералу-украинцу (так и подстроили).

Прямо политическое. Почти бесплотное, призрачное отступление сводного отряда в 1941 заполнено диалогами Кобрисова с дивизионным комиссаром Кирносом. Сам по себе этот Кирнос, ископаемый троцкист, вполне бы сгодился как тип мышления и тип характера, но — кабинетного.

Черты Кирноса карикатурны (кажется: единственный, кроме Хрущёва, юмористический тип в романе), и сам вид его — «больной нахохленной птицы с заострённым носом, беспокойным лихорадочным видом, исступлённо горячими чёрными глазами», и действия его вроде накопления уцелевших партбилетов, изумление, от какой такой буржуазной пропаганды литовцы бросали на наши отступающие войска из окон цветочные горшки или опоражничали ночные — и теперь пишет большое донесение партии — «не теперешней, которая утратила всё лучшее, а той, которая должна быть и будет». (Его разоблачения Сталина для 1941 года ещё невозможны, а сегодня уже и сильно устарели. Тем более невероятны откровенные суждения о Ленине в лубянской камере 1941.) Дальше комизм Кирноса уже и переходит границы: вот им, отступающей армии, войти в Москву с боем и спасти завоевания революции, «революция обязана себя спасти любыми средствами», «надо суметь подавить в себе жалость», и Кобрисов станет диктатором, а «я помогу тебе избежать многих ошибок», «вот чего тебе не хватает. Надо же наконец-то вплотную познакомиться, что писали Маркс и Энгельс, что говорил Ленин». Вместе с тем он не умеет даже плавать, изнемог от застрела раненой лошади — когда же застрелился сам, это не воспринимается трагично. — А собственно, вполне нынешнего и современного начальника политотдела армии у Кобрисова как будто нет — он не действует (то есть не мешает), безмянен даже, промелькнул — и нет его.

А вот ярко: проходка Сталина в сопровождении Берии по коридору наркомата обороны мимо сотни амнистированных генералов и других чинов — вместо речи к ним с ненаправленным брюзжанием: «Труссы, предатели, зачем выпустили, никому верить нельзя». Вот это находка. (Или кто-то сохранил в памяти, так и было?) Очень похоже на Сталина. (И перешёл на грузинскую речь тут же.) И — верна радость амнистированных, и готовность служить. (И — верна преданность Кобрисова на кунцевской горке: Верховный «лучше всех изучил, что нужно этому народу». Он уж так благодарен Сталину за упоминание в приказе и очердное звание.)

Другие персонажи. Живой до предела, верный истине — десантник, взятый немцами в плен, а теперь обратный перебежчик от мырятинских власовцев. Это — натуральный кусок нашей истории. И — то простодушие, которым он даёт на себя обвинительный материал. («Этот парень не озаботился запастись легендой».) По-моему, это одна из вершин книги.

И трогательно хорош лейтенантик, бывший студент-филолог, ещё не состоявшийся поэт Нефёдов, обеспечивший всю удачу переправы и polegший со своим отрядом, жертвенно. Не только сцена у Кобрисова тепла, но и ответы лейтенанта через Днепр, по радио: «Какие у меня силы?» — устало — «ну, постараемся». И — верна высокая прощальная отрешённость умирающего Нефёдова.

Ординарец Шестериков — каков надо, и удачен, — однако не вполноту. Жива нерядовая история его сдружения с Кобрисовым. Безупречно показаны все его усилия спасти раненого генерала. Начиная от прислуживания в госпитале, в Москве, но как будто с начисто отрубленной своей предшествующей жизнью (как будто не привязан ни к родным местам, ни к жене, и где следы коллективизации?) — тем уже ослаблен. Вызов к Светлоокову сперва поведен

оригинально, но потекла беседа не так удачно: ждёшь, что мужичок будет сильно дурить и плутать, а он прямо-таки выставляется. И автор — вмешивается со своими объяснениями. И: откуда может существовать такое досье на рядового? Крестьянскую обиду в Шестерикове надо бы выявить раньше, а то — чувство вдруг встало в неожиданной зрелости. И планы на послевоенную службу при генерале у него тоже как у бессемейного. Но — великолепно командует по телефонам за генерала во время переправы. И очень выразителен, когда, с дурной вестью о гибели медсестры, ничего не говорит, а сел перематывать портянки.

Безымянная медсестра («дочка»), любовница Кобрисова, в единственной своей сцене — достоверна («печать мужественности и простоты, бесхитростный и гордый вызов» — и не нежность, не обиходливость с ней генерала), а дальше («я с этим батальоном пойду» через Днепр), по своей безвременной жертвенной гибели в момент победы генерала, оставляет сильно ноющее чувство. (Очень ярко: сопоставление, одновременность их любовной сцены — и начавшейся переправы и разведки на том берегу.)

Адъютант Донской — и ничего бы, но автор склонился на игру сопоставлять его с Андреем Болконским; настоятельные напоминания о том, и мысли самого Донского о том — от этого появляется привкус вторичности. А сам по себе служебный эгоизм — конечно, част, но мало его для характера.

Опора на «Войну и мир» — несколько избыточная (а через Гудериана как раз естественная), тут и жертвенность Наташи Ростовой два раза. Конечно, сопоставление 1941 и 1812 само на это тянет. Однако от прямого толстовского влияния Владимов зорко освобождался и почти не подпал под него.

Четыре персонажа сразу хорошо суммированы в последней сцене: что каждый из них думает и рассчитывает, сидя в обречённом «виллисе», — перед своею неизвестной смертью.

Удался и тот безымянный наводчик, который послал роковые снаряды с его «знобящим страхом» понимания, что — бьёт несомненно по своим... И — в его догадке — всплывает опять тема власовцев: «Какая тёмная вода протекла между своими?» Сильнейшая сцена, и какое стройное замыкание темы.

И наводка «параллельного веера» по обрезу проглянувшего месяца — какое совмещение строгой артиллерии — и поэзии.

И целая серия ярких удач — во всей кунцевской сцене («Поклонная гора»). И поведение простых работниц с их жалостью к военным, вовсе не погибающим за обильным завтраком, и их простодушно ошибочное истолкование чувств генерала. И о голосе радиодиктора: «горланно-бархатный, исполненный загаённого до поры торжества», а потом «загремел звонко-трубно, державно-ликующе». Сам приказ Верховного, от которого взмывает весь сюжет, и внутренний голос генерала по ходу приказа — прекрасные картины и мысли о войне. «Волна грозного веселья, мстительной радости, жгучей до слёз». И вершина всего — недослышавший шофёр «студебеккера»: «Какой такой Сятин [Мырятин]? Мелкоту отмечаем! А как Харьков сдавали — кто помнит, бабоньки? Одна строчечка была в газетах». И взрыв гнева на него: «Дезертир! Чтоб ты взорвался! Падла!» (Простой народ — на стороне дутого салюта...)

К той главе («Поклонная гора») эпиграф из Некрасова очень уж лобовой (лучше б его не было). Да и эпиграф из Кирсанова перед танковой переправой — тоже лишний, зачем он? (Другое дело, если бы приём эпиграфов проводился какой-то бы органической линией.)

После обстрела «виллиса» переход повествования на рапорты — верно и выразительно.

За фоном языковым не всегда следит. Для мыслей Шестерикова вдруг: «вариант», «персонаж». Хотя и косвенно передаёт разговор шофёров — но тут и «коллега» и «амбиция».

— Прежде рассвета видны «косящие обиженные глаза жеребёнка» (?).

— Пейзажный приём: при переправе первый солнечный луч разящим лучом разрубил Днепр надвое, «и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была ещё тёмной, но, казалось, и там, под тёмным покровом, она тоже красна, и вся она исходит паром, как дымится свежая, обильная тёплой кровью, рана». Очень хорошо, органично слито с сюжетом.

— «Чем привязать себя к жизни, чтобы подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?»

Иногда — до афористичности:

— «Божье братство полов, так пленительно меж собой враждующих».

— «В стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее».

2001.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ



НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПОЭЗИИ

Очерк поэтического пространства-времени

Литературный процесс — это сосуществование и взаимодействие изменяющихся во времени структур. Я попытаюсь очень кратко проследить, как они видоизменялись на протяжении последнего столетия, которое было для русской поэзии и плодотворным, и трагическим. Проследить, конечно, пунктирно и произвольно, выделяя наиболее существенные, с моей точки зрения, моменты. Поэзия, как и вся литература, существует не в пустоте. Она является частью социального бытия и связана с этим бытием теснейшим образом. Бытие влияет на поэзию, и поэзия влияет на бытие. Читатель поэзии принадлежит этическому потоку, потоку действия. И именно оттуда он приходит в поэзию и принимает ее или отказывает ей в праве на существование. Вывод, к которому я пришел, заявлен в названии статьи, но я постараюсь быть доказательным.

Модель поэтического пространства

Представим себе поэтическое пространство как тонкую ткань. Эта ткань не что иное, как язык поэзии, образованный всей суммой актуальных на данный момент времени поэтических текстов и их контекстных взаимодействий. Эта ткань отнюдь не ровная и не гладкая. Она пересечена глубокими складками, на ней поднимаются пики и холмы. Здесь нет глобального максимума. Есть много локальных. Ландшафт меняется во времени, иногда довольно резко. То он почему-то выравнивается, и даже малая горочка видна далеко. То вдруг вздымаются целые хребты.

Ландшафт зависит от точки зрения наблюдателя-творца. Ландшафт на самом деле разный, а не выглядит по-разному. То, чего не видит наблюдатель, — не существует. Но то, что он видит, не определяется только его точкой зрения, а содержит объективные характеристические черты. Хотя и нет двух наблюдателей, которые одинаково видят один и тот же объект, они прекрасно понимают друг друга, когда говорят об одном и том же.

Наблюдатель-творец — это читатель. Это может быть профессиональный читатель — критик или литературовед, а может быть барышня, затвердившая с мучительными ошибками несколько пушкинских четверостиший, потому что заставили в школе. Их поэтические пространства различаются не качественно, а скорее количественно. Погружение в поэтическое пространство происходит в обоих случаях, хотя глубина погружения несравнима. Барышня думает, что поэзия — это мелководье: песочек, солнышко, облачко. А настоящий читатель знает: два шага от берега — а дальше дна-то нет.

Поэты — особый род наблюдателей. Поэт способен изменять внутреннюю топологию пространства. Он может рассечь ткань. Но попытка любого изме-

Губайловский Владимир Алексеевич — поэт, литературный критик, эссеист. Родился в 1960 году. Окончил мехмат МГУ. Автор книги стихов «История болезни» (1993) и многочисленных публикаций стихов и статей в литературной прессе. Постоянный автор «Нового мира», лауреат премии журнала.

нения структуры, которое привносит поэт своей работой, всегда первоначально отторгается поэтическим пространством. Новая поэзия может возникнуть только в точке бифуркации, в точке перенапряжения, где достаточно малого прикосновения, чтобы прорвать пространство. Поэзия предельно консервативна. И поэт может очень немного. Он не сам строит горы и отверзает пропасти. Он только перенаправляет энергию читателей. Тех самых наблюдателей, которые вместе с ним творят пространство поэзии. Поэт может стать источником, из которого вытекает малый ручей, но огромной рекой этот ручеек может сделать только читательское внимание.

Каждый наблюдатель — точка порождения нового смысла, точка вторжения бытия. В ней происходит рождение нового материала, который неизбежно раздвигает горизонт. Этот материал — не обязательно новые стихи или, скажем, критическая или теоретическая статья о поэзии. Это любой опыт чтения стихов, обогащенный личным жизненным опытом читателя. Поэтическое пространство не замкнуто, оно впитывает вмещающую его реальность всеми точками входа, всеми своими порами. Но оно обладает и независимостью по отношению к миру действия и поступка. И эта независимость позволяет так преобразить личный опыт, что он отчуждается от наблюдателя. И внутри поэтического пространства оказывается возможен обмен опытом между разными людьми.

Люди способны делиться опытом и без прикосновения к поэтическому пространству. Это опыт предметный, и это опыт теоретический. Один человек может научить другого делать столы и стулья или решать дифференциальные уравнения. Можно научить человека со вкусом заниматься сексом и получать от этого максимум чувственного удовольствия. Но нельзя разделить опыт любви. Он непредметен, и у него нет (а возможно, и не может быть) объективной теоретической модели.

Поэзия обладает редкой способностью отчуждать непредметный опыт человеческих чувств, облекать его в слова и возвращать преобразенным в поле коммуникации.

Строчку Максима Амелина «стихи — валюта нетвердая» можно принять как современное определение поэзии. Во-первых, валюта — мера чужого опыта (как стоимость есть мера затраченного труда), делающая возможным неограниченно широкий обмен. Во-вторых, нетвердая. То есть не имеющая единого золотого эквивалента, который неизменен и который можно подкупить впрок. Нетвердая валюта (например, свободно конвертируемая) всякий раз переопределяется заново, в зависимости от того, насколько оказывается платежеспособен наблюдатель, насколько он щедр, чтобы пережить чужой опыт как свой собственный, и насколько он вообще заинтересован в подобном обмене.

Поэзия говорит о человеке как о целом. О всей его жизни: от рождения до смерти. Всякий, кто борется за славу, за деньги, за власть, размещает цель внутри прагматического мира. Жизнь как целое прагматического смысла не имеет. Поэзия способна мыслить человека как целый мир и потому придать смысл всему человеку, всей его жизни.

Поэзия и утопия

Социальная утопия есть словесная конструкция. Ее литературный канон сравнительно недавно назывался «социалистический реализм». Утопии нужна поэзия. И не только потому, что это еще один способ агитации и пропаганды. Агитировать можно и без поэзии. И не только потому, что утопия тотальна, то есть стремится контролировать любую деятельность человека. Поэзию можно было бы просто запретить, если бы она только мешала. Утопия использует поэзию, делая из нее своего рода молитвенник. Утопия пытается использовать внутренние духовные силы человека в собственных интересах, а управлять этими силами можно только в том случае, если человек принимает и разделяет отчужденный опыт в тех клишированных формах, которые диктует ему утопия.

Утопия властно вторгается в поэзию. И тогда возникают турбулентные вихри и мощная воронка искривляет все пространство.

Своей заинтересованностью в поэзии социальный утопизм резко отличен от прагматической культуры. Прагматическая, предметная культура слишком мало интересуется словом как таковым. Слово само по себе для нее — чистая фикция. Оно интересно только как наклейка на предмете. И потому словесное искусство прагматического мира чисто этикеточное. Поэтическое, многомерное слово невозможно приспособить под этикетку на товаре, но его искаженное, уплощенное, проглаженное подобие можно сделать этикеткой на идее. В пространстве социальной утопии поэтическое слово можно попытаться приспособить к делу. Потому что дело — его цель и средства — здесь не предметны, а словесны. То, что поэтическое пространство при этом искажено и повреждено, разомкнуто и разорвано, то, что его топология нарушена, чувствует себя не сразу и не всеми. И чувствуется очень по-разному.

Эта воронка несравнимо глубже, чем любое другое колебание поверхности поэтического ландшафта. По сравнению с ней любой «золотой век» или декаданс — всего лишь малые флуктуации. Эта воронка затягивает и стремится поглотить любого наблюдателя, находящегося в поэтическом пространстве.

В большей или меньшей степени все пространство искажено. Но чем ближе к жерлу воронки, тем оно искажено сильнее. Чем ты ближе к этому краю, тем больше шансов соскользнуть в пропасть. Но в том-то и дело: то, что для одного — пропасть, для другого — самая настоящая вершина. Потому что чем ты ближе к жерлу, тем ты ближе к свету публичности. Здесь: публикации, должности, материальные блага, возможность прямого воздействия на современников. Здесь поэт ближе к свету. А о том, что это свет из преисподней, можно не думать.

Где-то по горловине воронки проходит горизонт событий. Ниже этой отметки стихи перестают существовать: они выпадают из пространства поэзии, которое даже в самом искаженном виде продолжает выполнять свою главную функцию — аккумуляции и передачи чужого беспредметного опыта. В искаженном пространстве есть прагматически выигрывающая стратегия. Попытаться подойти к провалу поближе, но не переступая, однако, горизонт событий.

Стихи, поврежденные идеологией, становятся комсомольскими речевками, своего рода рекламными слоганами единственно верной линии партии. Но особенно дороги для идеологии по-настоящему искренние и сильные стихи, которые не только иллюстрируют ее положения, но и демонстрируют силу утопии. Например, «Коммунисты, вперед!» Александра Межирова или «Сентиментальный марш» Булата Окуджавы. Такие подарки можно сделать только от души, и это дорогого стоит. Это не ахматовские вымученные строчки и даже не пастернаковский растерянный и сомневающийся в своей правоте энтузиазм.

Топология этого пространства не была постоянной. Но воронка, образовавшаяся в конце двадцатых годов — именно тогда она стала тотальным искажением, воздействующим на любую сколь угодно далекую точку, — эта воронка всегда присутствовала, тянула, срывала с места, ломала стихи и судьбы. И каждый поэт по-своему решал проблему противостояния этому постоянному давлению. Это давление в какие-то периоды менялось относительно медленно, в какие-то — скачком. Например, во время войны или «оттепели» оно вдруг резко падало. В такие моменты ощутимо смещалась зона публичности, и в ней оказывались не только напрямую ангажированные властью писатели, но и вполне искренние люди, подпавшие под обаяние утопии.

Во второй половине восьмидесятых годов притяжение идеологического вакуума, высасывавшего поэзию, втягивавшего в себя все сколько-нибудь живое, чуть приподнявшееся на гладком склоне, отполированном беспощадным ветром семи десятилетий, — это притяжение вдруг быстро ослабело и исчезло. Черная дыра замкнулась в себе и выпала в другое измерение, предоставив поэтическое пространство самому себе.

Что произошло с поэзией? Искажающее воздействие социальной утопии на топологию поэтического пространства не могло пройти бесследно. И не прошло.

Первое желание — поменять местами «плюс» и «минус». Советское, в общем, плохо, вне- и постсоветское в целом хорошо. И кто-то уже ждал, что на него посыплются все сброшенные с секретарей ЦК и СП лавровые венки и золотые диадемы. Но этого не произошло. Никакого единого полюса, противостоящего советской иерархии, не было никогда. И не могло быть. Каждый (и только поэтому все) действительно работавший в советское время поэт противостоял губительному ветру. Каждый (и только поэтому все) сопротивлялся, как мог, как умел, как хотел. Но каждый действовал исходя из собственных предпосылок и тянул в свою собственную, единственную, верную, с его точки зрения, сторону. Когда построжки ослабли и оборвались, каждый пошел своей дорогой, не очень понимая, почему, собственно, именно его не осыпают лаврами. Кому-то что-то, конечно, перепало, но, в общем, по мелочи. А венки и диадемы сгнули в той черной дыре, в которой они и возникли.

Поэтическое пространство стало обретать свой нормальный вид только десятилетие-полтора спустя после того, как произошли радикальные изменения рубежа девяностых. И только в начале нового века проявились черты внятного, связного контекста, в котором может существовать поэтическое высказывание, резонирующее в пространстве и получающее более-менее объективную оценку.

Нарисованная мной «картинка», конечно, не единственно возможная, но некоторые вещи она, на мой взгляд, проясняет.

Смена парадигмы

В советский (утопический) период поэтическое пространство имело вполне определенную ориентацию. Что есть верх, а что есть низ, каждый решал сам для себя. Но то, что и верх и низ *есть*, ни у кого сомнений не вызывало.

Каким бы плохим, искажающим ни было внешнее давление, которое оказывала на русскую поэзию реализованная социальная утопия, сколь бы ни были разрушительны последствия внешнего вторжения, утопия была той внешней тяжестью, тем балластом, который задавал ориентацию всего поэтического пространства. Пространство существовало в мощном поле тяготения. И каждое стихотворение прорастало вдоль или поперек силовой линии. Осознанность структуры (вполне интуитивная) была у поэта и транслировалась читателю. И его ориентация в поэтическом пространстве была существенно облегчена.

Поэзия была нужна. Ее значение иногда переоценивалось, но ее ценность не вызвала сомнений. Советская поэзия прямо (или несколько завуалированно) обслуживала существующую идеологию и потому могла не сомневаться в своей востребованности. Она была продана на корню. Обязательная продажа была просто одним из условий ее существования. Конечно, советские поэты могут сказать, что они давали духовный хлеб людям, у которых не было ничего. Давали. Правда, это был не хлеб, а мякина. Но, может быть, кого-то и поддержали стихи Исаковского (а песни наверняка) или Эдуарда Асадова (он и сегодня один из самых читаемых поэтов). Может быть. Но в этом нет заслуги советских поэтов. Они со товарищи по партии сначала лишили людей настоящей пищи, а потом подсунили свое — а там уж ешь, что дают. Но их все равно читали.

Другая — вне- и постсоветская — поэзия была еще как необходима. Как крошки белого хлеба в блокаду. Накормить она не могла, но сделала все, что было возможно, и мы должны быть ей благодарны навсегда.

Кризис девяностых — это кризис самой возможности сориентироваться в мире. Трудно требовать от человека, которого только что крутанули в центрифуге, чтобы он твердо стоял на ногах. Чтобы головокружение прошло, требуется время. Иногда немалое.

Кризис социальной утопии неизбежно привел к кризису любой нематериальной — идеологической или эстетической — ценности. Все, что претендует на высокий уровень обобщения, все, что не несет немедленной прагматической выгоды, было подвергнуто сомнению. Это привело к распаду иерархии ценностей и торжеству сетевой парадигмы мышления и восприятия. Нет никаких последних истин, есть только набор частных мнений и предпочтений. И более того, всякий, претендующий на высказывание глубоких теоретических концепций, подвергается ожесточенной критике. При таком положении во всех областях деятельности предпочтение отдается прямому наблюдению, а не рациональному выводу и теоретическому построению. Это победа номинализма после долгого правления реалистов.

Но мнение не обладает обязательностью. У каждого оно свое. И требовать, чтобы оно стало убедительным основанием для формирования чьего-то взгляда на мир, кроме твоего собственного, конечно, нельзя. Это трудное время для поэтической коммуникации: почти невозможно убедить читателя разделить частное предпочтение поэта, но это хорошее время для самой поэзии — время эксперимента и поиска. Свобода эксперимента — это возможность делать свое дело, не чувствуя давления победивших и установившихся предпочтений. Возможность пробовать и ошибаться, не отказываясь от поиска заранее, не будучи заранее убежденным, что в избранном направлении ничего хорошего нет, поскольку известно же всем и каждому, что все хорошее лежит в другом. Чтобы стала возможна такая свобода, никто не должен иметь права сказать «я знаю, как надо». Никто, кроме самого поэта, который обречен обосновывать свой поиск единственно доступной ему уверенностью — уверенностью в собственной правоте, о которой говорил Мандельштам в статье «О беседнике».

Время собирателей

Если ни один не лучше другого и каждый претендует на высказывание частных истин, единственный способ систематизации поэтического пространства — это библиотека, в которой представлены все существующие поэтики и все поэты выстроены в самом объективном и потому совершенно произвольном — алфавитном — порядке. Но другого выхода нет. Нужно собрать все, что есть, — потом разберемся, что действительно ценно, а что случайно и мимолетно. Не страшно, если в библиотеке окажется что-то лишнее, главное — ничего существенного не потерять.

Я чувствую глубокую признательность собирателям и коллекционерам современной русской поэзии. В частности, создателям сайта «Вавилон» <<http://www.vavilon.ru>> и в первую очередь Дмитрию Кузьмину. Сайт был создан в 1997 году и с тех пор непрерывно пополняется. В преамбуле к сайту авторы пишут: «Мы попытаемся представить здесь все многообразие актуальных сегодня поэтик (включая, в общем-то, и вполне традиционные, но, как нам кажется, не исчерпанные до конца) в виде „Антологии современной русской литературы”».

Думаю, это удалось. Несмотря на то, что неоднократно высказывались претензии к создателям сайта в том, что они кого-то замалчивают, кого-то несправедливо выдвигают. Но на сайте представлен 131 поэт. Это много. Это подробный и акцентированный, хотя и неизбежно частный взгляд на современную русскую поэзию. Сама попытка собрать и представить заинтересованной публике достижения современной поэзии была и остается полностью оправданной. В самой многочисленности представленных поэтов есть скромность коллекционера, так необходимая в периоды распада системы. «Вавилонская» библиотека — это тот статистический материал, который в дальнейшем может быть осмыслен и обобщен. Но этот материал сначала должен быть предъявлен, с этого чисто номинативного предъявления и начинается осмысление и исследование новой поэзии.

Об одном недоразумении

Необходимо сказать об одном недоразумении, которое стало, кажется, общим местом. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Евтушенко заметил как что-то само собой разумеющееся: «Поэт Александр Межиров... очень здорово сказал: „Современная молодая поэзия сейчас похожа на хорошее исполнение сольной арии Бродского”»¹.

Когда я думаю о феномене массового подражания Бродскому, то понимаю, что это, как правило, фантомный феномен. Он не в тех, кто пишет, а в тех, кто слушает. Если вы читаете Бродского много, а всех остальных — эпизодически или совсем не читаете, для вас все поэты будут похожи на Бродского. И если поставить на его место кого угодно другого, то — на кого угодно другого. Я не знаю ни одного реально работающего поэта, который шел бы от Бродского. У некоторых есть темы и версификационные приемы — обычно в ранних стихах, и обычно это не главное. Но и как же иначе? Бродский — русский поэт, и его опыт должен быть освоен, усвоен и преодолен. Те, кто говорит о массовом подражании Бродскому, просто сами очень часто находятся под его обаянием. И к Межирову это в полной мере относится, и к Евтушенко.

Феномен Бродского — та позиция, которую он в силу таланта и обстоятельств занимал к моменту перелома — к концу восьмидесятых. Он как бы уже принадлежал к ряду классиков. Но он несравнимо ближе к современной поэзии по структуре и проблематике стиха. И потому в возникшем вакууме ценностей его голос был очень силен. Настолько, что многим заложило уши.

Пафос и банальность

Едва ли не первое, что сделали поэты нового поколения, — они вернули поэзии право на пафос и трюизм — право говорить всерьез о высоком: прямо, без иронии. Право говорить банальности. Торжественный одический строй поэтики Максима Амелина и откровенное, до неприличия и провокации частное высказывание о себе Дмитрия Воденникова — только два из многих ярких примеров.

У Амелина есть такие строчки:

Зверь огнедышащий с пышною гривой,
серпокогтистый, твой норов игривый
не понаслышке знаком
всем, кто, вдыхая гниения запах,
некогда мызган в чешуйчатых лапах,
лизан стальным языком.

У Державина в «Персее»:

...преисподний зверь,
Стальночешуйчатый, крылатый,
Серпокогтистый, двурогатый,

Я хочу обратить внимание только на один эпитет — «серпокогтистый». Амелин пишет о противостоянии человека и государства, причем государства вполне конкретного — «серпокогтистого». Это противостояние практически то же, что и у державинского героя, — и здесь совершенно уместен высокий пафос борьбы. Борьбы не равной, борьбы, в которой герой кажется заранее обреченным. У Державина эпитет «серпокогтистый» говорит в первую очередь о размерах дракона, с которым сражается герой, — у него когти величиной с серпы. Для державинского читателя серп принадлежит к пространству обязательного опыта. Серпы видели все, а многие ими пользовались. Для современного читателя коготь — это вещь вполне абстрактная. Когти он видел разве

¹ <<http://www.echo.msk.ru/interview/3033.html>> 29 декабря 2000 года.

что у домашней кошки. Однако серп... Серп и молот. Хочешь сей, а хочешь куй. Но у Амелина возникает параллель, которая пафос оправдывает, делает его серьезным, а не смеховым. Это — два серпокогтистых зверя, державинский и амелинский. Они оба достойны восхищения и ужаса. Амелин подключает мощную традицию, которая снимает смеховые ассоциации. Серпокогтистое государство оказывается не единственным, оказывается сопоставленным в мифологическом ряду. И здесь пафос не только уместен, но и необходим. Амелин, уже свободный от прямого противостояния, может смотреть поверх серпов и молотов, он видит перспективу и пишет — с ужасом, с отвращением, но и сознанием того, что борьба небезнадежна. Персей победит.

Дмитрий Воденников в стихотворении «Без названия» говорит:

А в этой дрожи, в этом исступленье
(всех наших жил —
вдруг захотевших здесь
еще продлить дрожанье и паденье!)
нет — логики,
нет — пользы,
нет — спасенья.
А счастье — есть.

Так — постепенно —
выкарабкиваясь — из-под завалов —
упорно, угрюмо — я повторяю:
Искусство принадлежит народу.
Жизнь священна.
Стихи должны помогать людям жить.
Катарсис — неизбежен.
Нас так учили.
А я всегда был — первым учеником.

(Курсив и полужирный Дмитрия Воденникова.) Эта попытка сломя голову броситься навстречу банальности, провозгласить сносившиеся и осыпавшиеся, дискредитированные и, кажется, навсегда отброшенные лозунги достойна, на мой взгляд, всяческого уважения. «Искусство принадлежит народу... Стихи должны помогать людям жить». Если это не так, то стихи не нужны. Цена, впрочем, тоже указана: нет логики, нет пользы, нет спасенья. Но счастье есть. С чего бы это? А ни с чего. Счастье должно быть. Счастье есть, потому что иначе жить нельзя.

Эта декларация противопоставлена и разъедающей иронии, и очень долго паразитировавшей на этих же в точности словах социальной утопии. Поэт фактически говорит: верните значение слову и поэзии. Воденников декларативен, банален, но он последователен и готов разделить ответственность за все то, что сделали (делают, делаем) с поэзией. «Нас так учили». А ты и поверил, наивный! А я и поверил. И до сих пор верю. И почему-то уже не хочется смеяться над этими прямолинейными строчками. А вдруг правда?

Серьезное отношение к истории

Новая поэзия с традицией обращается не так, как предшествовавшая ей. Для нее не существует одной, единой и единственной, традиции, потому что востребованы сразу множество и в прошлое можно двигаться по разбегающимся и пересекающимся тропинкам, не боясь потеряться, — там повсюду есть вешки и огни.

Давид Самойлов в стихотворении «Пушкин по радио» говорит:

Возле разбитого вокзала
Нешадно радио орало
Вороньим голосом. Но вдруг,
К нему прислушавшись, я понял,
Что все его слова я помнил.
Читали Пушкина...

И вдруг бомбежка. «Мессершмитты».
Мы бросились в кювет. Убиты
Фугаской грязный мальчуган
И старец, грозный, величавый.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман»...

Пушкин, которого Самойлов цитирует в каждой строфе, принадлежит другой, высокой реальности. Его стихи — не молитва, но это знак другого мира. Слишком высокого, чтобы туда доходили твои собственные слова. Слишком далекого, чтобы его задевало хоть что-нибудь, происходящее здесь. Даже смерть «грязного мальчугана». Это параллельное пространство. Это неземной фон твоего земного существования («на фоне Пушкина...»). При таком отношении к Пушкину мы рискуем потерять его как поэта, как автора великих стихов, и тогда нам останется только памятник, у которого на голове рядом с голубями простирали громкоговоритель: «Любви, надежды, тихой славы...».

Александр Еременко:

На холмах Грузии лежит такая тьма,
что я боюсь, что я умру в Багеби.
Наверно, Богу мыслилась на небе
земля как пересыльная тюрьма.

Это понижающее цитирование. Пушкинский текст очень хорошо подходит для пародирования и обыгрывания. Причем обыгрывается и понижается не само пушкинское стихотворение, а его школьное, штампованное восприятие, тот текст, который уже практически утратил свой первоначальный смысл, зарастая славословиями, как ракушками. Но у Еременко Пушкин — это все равно знак «высокого», и потому переворачивание, опрокидывание возможно и даже необходимо, чтобы резким контрастом с «пересыльной тюрьмой» привести высказывание к абсурду.

К Пушкину у каждого свой путь, и у каждого неповторимый. И никакого царского пути нет. И сегодня, кажется, уже никому не придет в голову претендовать на то, что именно он один Пушкина понимает, и даже на то, что такое единственное понимание вообще возможно. И это тоже завоевание сегодняшней поэзии — серьезное, живое и подчеркнуто личное отношение к собственной истории.

Ни Пушкина, ни Блока не надо ни «понижать», ни «повышать». Их надо читать и над ними думать. Может быть, сопоставляя их стихи с собственными, но не как слова небожителя и простого смертного, а как принадлежащие одному и тому же общему поэтическому пространству, как входящие в один глобальный контекст.

Полина Иванова:

*Где, медленно пройдя меж пьяными,
всегда без спутников, одна,
дыша духами и туманами,
присаживаюсь у окна.*

*И веет древними поверьями
мой эксклюзивный секонд-хэнд,
и челка, травленная перьями,
и «Прима» в пачке из-под «Кент».*

*Чтоб незнакомец упакованный
за чаркою очередной,
внезапной близостью окованный,
увидел в барышне сюрной*

*с физиономией зареванной
не эту мелкую деталь,
но некий берег очарованный
и очарованную даль.*

Это прямой разговор с Блоком. Несмотря на сленг, на понижающий бытовой контекст, несмотря ни на что, «очарованная даль» здесь та же, что и у Блока.

Это другая степень свободы и другая форма традиции. Полина Иванова цитирует ровно одно стихотворение, вызывая в памяти читателя устойчивую ассоциацию. Она не сорит цитатами ради центона. Ей важно, чтобы опорный контекст был однозначно опознаваем. Но здесь в отличие от самойловского «Пушкина по радио» нет предопределенного пиетета, нет преклонения. Здесь поэт волен говорить с поэтом на собственном языке, потому что он волен слушать этого поэта по собственному внутреннему выбору, а не потому, что так надо и так предписано. Не потому, что этот поэт — литературный генерал. И это возможно благодаря тому, что пространство прозрачно и не искажено.

О верлибре

Тема русского верлибра остается по-прежнему вполне актуальной, как это ни странно. Мне одно время казалось, что этот разговор уже полностью себя исчерпал. Но нет, рассуждения о вредности или плодотворности свободного стиха постоянно возникают.

В советской поэзии верлибр присутствовал чаще всего как перевод — за некоторыми несчастными исключениями. Верлибр не был основным размером практически ни у кого из реально публиковавшихся поэтов. В нем было что-то несправедливое с точки зрения Секретарей. Что-то капиталистическое. Народ не поймет. Народ поймет трехстопный анапест с перекрестной рифмой. Надо же, какой народ продвинутый. У непубликовавшихся поэтов, напротив, верлибр был широко востребованной формой, что совершенно естественно. Что врагу плохо — то нам хорошо.

Сегодня претензии, предъявляемые верлибру, почти те же. Верлибр — это переводные стихи или это стихи, стилизованные под западную поэтическую традицию XX века, а у них с поэзией сегодня все совсем плохо. Значит, если мы будем писать верлибром, у нас все будет еще хуже, потому что мы ни в чем меры не знаем.

Мы очень часто определяем верлибр чисто негативно: свободный стих — это такой, в котором ничего нет: рифмы нет, ритма нет, чего нехватишься, ничего нет. А что есть? Должно быть, особо глубокая мысль. Давид Самойлов язвительно заметил: «Может, без рифмы и без размера / Станут и мысли другого размера». Но в стихах мысль никогда не выражается в прямой словесной форме. Стихи — не философская проза. Это замечательно продемонстрировала Лидия Гинзбург, показав, как любомудры, которые носились с псевдофилософской лирикой Веневитинова, просто не поняли, что буквально рядом с ними, на соседних журнальных и альманашных полосах, присутствует действительный поэт-философ — Тютчев. Тютчев? Это же тот, который все про природу? Про природу-то, про природу, но только про природу вещей — «De Regum Natura», как Лукреций Кар примерно.

Мысль выражается верлибром так же, как и любым рифмованным стихотворением, — путем построения образного пространства, путем образной реализации абстракций, родившихся, может быть, и в царстве чистой мысли, но почему-то в нем оставаться отказавшихся. Так что же все-таки в верлибре есть? Можно ли дать ему позитивное определение?

Верлибр — это пограничная поэтическая форма, которая имеет право на существование только в том случае, когда полно и последовательно реализуются все другие традиционные формы поэтического высказывания: ритмически и рифменно организованные. Верлибр умирает, если вся поэзия становится свободным стихом. Ему попросту нечего преодолевать, ему нечему быть границей.

Верлибр остается стихом только в том случае, когда является предельной точкой в процессе освобождения и раскрепощения строгой формы. Только в этом

случае свободный стих — это именно стих, а не сомнительные прозаические отрывки, свободные от всех обязательств — и прозаических, и поэтических.

Той формой верлибра, которая мне наиболее близка, написана книга Сергея Стратановского «Тьма дневная». Речь поэта настолько затруднена, что традиционный строгий стих кажется избыточным. Но эта затрудненность — не следствие намеренного усложнения. Она неизбежное следствие стиховой задачи, стоящей перед поэтом. Мир, который видит, к которому прикасается поэт, распадается в пыль, и удержать его в поле гармонии можно только предельным усилием воли. И когда это удается, вдруг возникают редкие звоночки рифм и возникает ровное дыхание ритма.

Я все твержу себе, когда мне особенно трудно:

Делай дело свое
за столом в кабинете рабочем
Из трагедии Вильсона
кончить пора перевод
Сцены той,
где зачинщика оргий певца
Обличает священник

Делай дело свое, делай дело... И нет у тебя никакого выбора. Да и не нужно тебе ничего другого.

В верлибре обязательно должны угадываться преодоленные ритмические, традиционные формы. Они должны в нем присутствовать, пускай и в некотором снятом виде. И на мой взгляд, в сегодняшней русской поэтической картине верлибр занимает именно то место, которое и должен. Это кромка прибой у берега поэтического океана. Никакой тотальной верлибризации стиха не происходит. Кому нравится поп, кому попадья... Верлибром с удовольствием пользуется не только молодой и резкий Кирилл Медведев, но и такой апологет традиционной формы стиха, как Олег Чухонцев (например, его поэма «Вальдшнеп» написана очень свободным акцентным стихом).

Но нельзя забывать, что прибой существует только до тех пор, пока существует океан. Если все нормальные стихи пишутся верлибром, а рифма — это атрибут рекламного плаката, значит, с поэзией что-то не так.

Набросок синтеза

Поэт сегодня может жить где угодно, хоть в Праге, хоть в Нью-Йорке, хоть в городе Энгельсе, и быть тем не менее прочитанным и оцененным, хотя бы и узким кругом сегодняшних читателей поэзии. Почему-то этого не происходит со стихами Алексея Цветкова. А если и происходит, то далеко не в той мере, которой эти стихи заслуживают. Они очень нужны сегодня. Творчество Алексея Цветкова может стать узлом новой кристаллизации, зародышем нового, только возникающего и угадываемого порядка. Но, может быть, эта отстраненность, это дистанцирование и полезно. Издалека лучше виден масштаб.

Поэзия Цветкова — это попытка нового синтеза. И не важно, что стихи написаны довольно давно. Их прочтение далеко не закончено, они еще блуждают в поэтическом пространстве, обретая в нем свое место и время.

мы стихи возвели через силу
как рабы адриановы рим
чтоб грядущему грубому сыну
обходиться умелось без рифм
мозг насквозь пропряла ариадна
били скифа до спазма в ружье
чтоб наследным рабам адриана
развиваться без рима уже

Рим разрушен. Его отточенная структура, которая воплощена в рифмованном стихе, рухнула. Но несмотря на то, что распад приводит к хаосу и кишению

одноклеточных «парамеций»², он всегда чреват новым витком, поиском новой, возрождающейся, совершенной формы.

начинать тебе отче с аза
на постройку ассирий и греций
в хороводе других парамеций
возводить карфаген и шумер
вот такие стихи например

Карфаген и Шумер — не Рим, но и не хаос. Значит, сделав круг, спустившись к парамециям и «глухоте паучьей» (Мандельштам), «грядущий грубый сын» восстановит-таки с Божьей помощью «вот такие стихи например» — рифмованные четверостишия трехстопного анапеста.

В стихотворении Цветкова круг завершен. Это набросок синтеза, набросок доказательства, разметка пути, по которому мы могли бы двигаться вперед.

Неизбежность поэзии

После того как внешнее вторжение закончилось, поэтическое пространство оказалось предоставленным самому себе. И многие, очень многие поэты утратили в нем ориентацию, и многие, очень многие поэты пришли к выводу, что никакая определенная ориентация не нужна вообще. Но, предоставленный самому себе, поэт теряет возможность реального управления теми энергетическими потоками, которые поставляет ему читательское внимание.

Что остается поэту, замкнутому в поэтическом пространстве? Остается оттачивать свое перо и писать стихи. Для каждого отдельно взятого поэта ситуация вполне нормальная, даже комфортная: поэта никто не может подкупить. Правда, в этом заслуги поэта нет никакой. «Я никогда не брал взятку». — «А разве тебе их кто-то давал?» Остается писать стихи, вслушиваясь в собственную душу и всматриваясь в окружающую реальность.

Утратив внешнюю опору, поэзия начинает искать ее внутри — в собственной истории и действительности. Меняя форму стиха, отыскивая и поднимая близкие иноязычные стиховые традиции, возвращаясь и перечитывая весь существующий поэтический корпус, пытаюсь разбудить заснувших классиков, но уже не только для того, чтобы «потрепать им лавры», но и чтобы поговорить с ними всерьез и на равных.

Я полагаю, что иерархия ценностей будет восстановлена. И к поэзии вернется массовый читатель. Не настолько массовый, чтобы наполнить стадионы, но достаточный и для того, чтобы поэзия могла вести нормальное существование, и для того, чтобы начать диктовать поэзии свои предпочтения и вкусы. Моя уверенность в этом основана на некоторых наблюдениях за сегодняшним поэтическим процессом и окружающей действительностью.

Во-первых, это творчество многих и многих работающих сегодня поэтов. Я назвал в этой статье далеко не все важные для меня имена, поскольку предпочитаю говорить о каждом поэте предметно и отдельно, но я полагаю, что любой заинтересованный читатель этой статьи может сформировать свой список поэтических достижений последнего времени. Эстетическая ценность создаваемых сегодня стихов настолько высока, что она просто не может остаться неостребованной. Если такое почему-то произойдет, это будет не просто крайним расточительством, но будет означать, что человечество действительно претерпевает самые радикальные за последние несколько тысячелетий изменения. Но я убежден, что этого не случится.

Человек постиндустриального мира — очень одинокий человек. Он все больше замыкается в своем крохотном мирке, расчисленном до последней минуты, в который нет доступа извне. Но человеку трудно одному, ему необхо-

² Парамеции (Paramecium) — туфельки, род простейших организмов класса инфузорий.

дим обмен информацией с себе подобными. Не только той информацией, которая позволяет ему работать и действовать, но и той, которая помогает ему быть. Человеку, замкнутому в стеклянном коконе, необходимо разделить опыт самочувствования. И такую возможность дает поэзия, являясь словесным выражением отчужденного и разделяемого чувственного опыта. Поэзия размыкает пространство индивидуального существования, проникает в сердце человека и согревает его дыханием другого. Поэзия становится не просто развлечением и отдыхом, но и необходимостью, как лекарство от одиночества.

Человечество не может отказаться от поэзии. Поэзия — это форма познания бесконечного и форма выражения бесконечного в слове. Это искусство предельного синтеза. Поэзия трогает канву бытия, и биение глубинного ритма становится основой поэтического языка. Этот ритм неизменен, и потому возможен прямой диалог с предшественником и потомком, и потому человек способен войти в историю и действительность не как в холодную и черную пустоту, где ему отпущено несколько коротких и случайных лет, а как в родное и обжитое пространство, полное понятных и близких голосов, войти, чтобы понять и быть понятым.

Свобода эксперимента и самовыражения — это трудная и строгая свобода, потому что поэт всегда экспериментирует не с поэтической формой и даже не со словом: он ставит эксперимент на себе. Но это его выбор. И хорошо, если никто ему не мешает, не прописывает ему патентованные средства наилучшего сочинительства. Такая свобода выпадает не каждому поколению поэтов. Нам она выпала. А чтобы дожидаться признания современников (если это действительно необходимо), нужно всего лишь поскрипеть лет этак двадцать—тридцать. Кто дотянет, тот и получит все лавры. Кого-то забудут. Кого-то упомянут, а кого-то помянут.



НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Андрей Дмитриев. Призрак театра. Роман. — «Знамя», 2003, № 6.

Леонид Зорин. Юпитер. Роман. — «Знамя», 2002, № 12.

С перерывом в полгода в журнале «Знамя» были опубликованы два новых романа о театре — «Юпитер» Леонида Зорина и «Призрак театра» Андрея Дмитриева. При внимательном чтении оказалось, что вторая книга содержит в себе незлобную пикировку по поводу первой, что позволяет рассматривать роман Дмитриева как литературный ответ Зорину. Оба романа имеют схожий сюжет в виде д лящегося и очень подробно описанного процесса репетиций, переданного читателю через исповеди стареющих актеров. В первом случае — это актер, сходящий с ума, во втором — актер, умирающий от переизбытка чувств.

Леонид Зорин, автор «Юпитера», почитается классиком советской драматургии, который не забыт и сегодня, и нет сомнений в том, что он театральную кухню знает. Романист Андрей Дмитриев, кажется, подобными знаниями обладает в меньшей степени. Впрочем, это не мешает последнему глубже погрузиться в особенности театрального мирка. Именно поэтому мы с него и начнем.

Автору этих строк — театральному критику, не претендующему на анализ собственно литературной составляющей двух текстов, — всегда казалось непонятным и неправильным четкое видовое разделение современной российской литературы. Крупные драматурги не пишут прозы (исключения — Зорин и Петрушевская), крупные прозаики не пишут пьес (исключения — Сорокин, Королев и Мамлеев) и даже, кажется, не имеют вовсе интереса к актерскому мастерству. Миры театра и высокой литературы почти не пересекаются, что не может не сказываться, во-первых, на качестве новой пьесы, идущей на нынешней сцене, и, во-вторых, на общем отставании театра от очевидных новшеств современной словесности. В театральном мире принято считать, что писатель, пишущий для театра, может предвосхищать реформу сцены или хотя бы подталкивать ее к обновлению, — по крайней мере это в полной мере касалось наших классиков. А те — за редкими исключениями, — кого мы считаем классиками, имели в своем собрании сочинений особый, театральный, том. Сегодня — все совсем не так.

Театральным людям лезно думать, что сегодня в столичном обществе — мода на театр. Два новых театральных романа дают надежду на слияние мира сцены и мира изящной словесности, благотворное для обеих сторон.

Андрей Дмитриев угадал: театрално-авангардная Москва сегодня увлекается так называемой «документальной драмой», создаваемой на основе свидетельств очевидцев или, проще сказать, интервью. В параллель с модным веянием писатель пишет роман в некотором смысле тоже документальный, где основная прелесть состоит в эффекте узнавания ситуаций: да, это так и происходит в театре, так только и бывает в закрытом чужом глазу и очень прихотливом организме, где живут странные люди, работающие ни за грош.

Подмосковный театр «Гистрион» под руководством Егора Мовчуна репетирует современную пьесу Тиши Балтина (явившегося из Сан-Франциско) «При ярком свете непогоды». Роль в ней получил шестидесятишестилетний актер Шабашов по кличке Дед, которого зрители должны помнить еще по «комсомольскому кино».

Театрального человека поражает (почти насмерть, до обожания) тонкое и уникальное знание театрального предмета, театральных повадок и заморочек, мелочей и подробностей, густо рассыпанных по тексту, который можно в этом смысле сравнить только с дневником ведения репетиций, имеющимся у каждого помережа в каждом театре. Театр «Гистрион» похож сразу на все московские труппы 2000-х годов; театральному человеку не может не хотеться разгадать прототипы. Но от начала и до конца это не удастся. Хотя поиски, признаться, увлекают...

«Призрак театра» не шутя можно было бы рекомендовать в обязательный список для прочтения абитуриентам, поступающим в театральные вузы. В прагматическом отношении роман этот — еще и красочная поучительная картина буден репертуарного театра с гениальным руководителем, научившимся выживать при любых обстоятельствах.

Достоверность повествования подчеркивает не только эта «физиология театра» и даже не кое-какие современные театральные реалии (Мовчун ставит спектакль «Эта сладкая рябь океана» — «то было попури из разных текстов Гришковца»; или промелькнувшее воспоминание о давнем раритетном спектакле Эфроса «Буря», или точная ироническая характеристика «Трех сестер» — «хоровода капризных мужиков»), но — главный удар, главная коллизия, которая в романе называется своим именем: «Норд-Ост».

Написанный вскоре после теракта, роман Дмитриева отражает парадоксальную ситуацию: как в другом театре, далеко от печально известного здания на Дубровке, переживают вместе со страной несколько ужасных дней «в ожидании публичной казни сотен неповинных», как чувствуют, что «вытекает с каждым часом из души наша заветная и, как стопарь, спасительная вера в то, что все само собой и как-нибудь рассосется». Драма заложников, запертых в театральном зале, отражается в драме театральных профессионалов, ставших заложниками собственных чувств.

Завтруппой Фимочка, правая рука Мовчуна, якобы отправилась на модный мюзикл с приезжей подругой. И дело даже не в том, что труппа волнуется за бесценного сотрудника, попавшего в водоворот событий. История «Норд-Оста» прояснила некоторые факты: Мовчун тайно женат на Серафиме, а актер Шабашов тайно в нее влюблен. Это тихая, мечтательная, не требующая взаимности любовь старика к занятой энергичной женщине.

Сутки ожидания — испытание для двух мужчин, вдруг узнавших, что они соперники, и не особенно удивившихся этому. Шабашова «тянуло к Мовчуну, поскольку Мовчун любил Серафима, и потому ему никто сейчас на свете не был ближе, чем Мовчун». Они вместе переживают событие просто и достойно, как мужчины, занимающиеся настоящим театральным делом и не поддающиеся ложно-театральной экзальтации.

На следующий день решили не отменять «Двенадцатую ночь», и в «Гистрионе» впервые за годы существования театра был аншлаги — люди предпочли перед лицом беды собраться на шекспировской комедии, как в храме в дни тревоги и печали. И тут чей-то глаз заметил в зале сидящую и ни о чем не подозревающую Фимочку... (Дмитриев до поры щадит сердца Мовчуна и Шабашова: только читатель знает, что Фимочка предпочла «Норд-Осту» сладкую встречу с любовником). Все обошлось, и шагающий после спектакля домой Шабашов кротко умирает от любви, переполненный чувствами, слишком сильными в его возрасте.

Метатеатральная история о силе чувств призвана показать, что существует спасительная мужская стойкость, что после сгустка переживаний обязательно приходит чувство покоя, легкости и мудрости, что мы, зрители Театра, выдержим все, что ни подкинет нам горестная судьба, и что если изречение «мир — театр, и люди в нем — актеры» верно, то найдутся в нем режиссеры, способные крепкой рукой обустроить неуютное пространство жизни. Андрей Дмитриев написал крепкий, бодрый роман о пробуждении силы жизни, о механизме сопротивляемости, об особом театральном мышлении как способе выживать.

В годовщину трагедии «Норд-Оста» на канале РТР был показан очень неплохой телефильм по мотивам романа Дмитриева, где роли Мовчуна и Шабашова блистательно сыграли Сергей Маковецкий и Игорь Кваша.

В финале романа Дмитриева Егор Мовчун вслух размышляет о планах на будущее: «Какой-то бодрый Полторак звонил на той неделе: с пьесой про Сталина; мне в STD шептали: прогрессивный, и деньги есть на постановку». Тут, конечно, дмитриевское знание театра дало осечку: в нынешнем STD уже никому ничего не советуют, а если что и шепчут, то совсем по другому поводу... Но дело не в этом. В романе Леонида Зорина, вышедшем за два месяца до окончания работы над ро-

маном Дмитриева, актер-мастодонт Донат Ворохов репетирует главную роль в пьесе Клавдия Полторака «Юпитер» в режиссуре Глеба Пермского.

С нового, 2003 года в Москве распространились слухи: Леонид Зорин написал «апологию Сталина». Одних это шокировало, других восхищала смелость опытного литератора, третьи не верили, четвертые сомневались. Мы же прочли...

Апологией Сталина это впрямую не назовешь — ну хотя бы потому, что защищает Сталина, вживаясь в его нетленный образ, актер, которому суждено впасть к финалу в неблаженное безумие и выйти за рамки профессии, сменив собственные монологи на монологи своего героя. Самый финал романа заимствует предполагаемую концовку горьковского эпоса о Климе Самгине. Героя растаптывает прокоммунистическая реваншистская демонстрация, с которой тот всеми силами не хочет сливаться, опешив от извращения своих идей...

Сюжет зоринского романа вышел не таким ясно очерченным, как у Дмитриева. Отчасти поэтому очень трудно сказать, солидаризируется ли автор текста с актером, начавшим думать за Сталина. Но, похоже, все-таки солидаризируется: трудно себе представить писателя, никак не сближающегося со своим ведущим героем. С некоторого момента роман распадается на «дневник роли» — монологи Сталина, воображаемые актером, и вяло трепыхающуюся нить сюжета, которую к финалу окончательно забивает идейная мощь Юпитера-Сталина. Здесь вообще все гиперсерьезно: ни улыбки, ни самоиронии, ни подтекстовой двойственности. Очевидно, спустя полвека после своей смерти Юпитеру есть чем оправдаться!

Зорин рисует академический театр, где очень ответственные актеры с чувством собственного достоинства увлеченно и трудоёмко работают над образами. «Отдаю в ваши руки пять лет моей жизни», — говорит драматург актеру. Режиссер много думает, многое прикидывает и носитися с пьесой Полторака как с писаной торбой, не желая нарушать замысел драматурга. А он заключается в том, что до сих пор в вечном конфликте власти и художника сознательно принижался интеллектуальный уровень властителей. Здесь же Юпитер-Сталин — «титан среди пигмеев», и ему есть что сказать литературному народу, окружающему его престол.

Нельзя отнять у Зорина его идеализма. Он, в сущности, описывает утопическую ситуацию, которую ему, наверное, очень хотелось бы наблюдать как драматургу, приносящему пьесу в театр. Актер и режиссер маниакально погружаются в чтение текста, процесс создания роли становится частью жизни актера. Зорин изображает актера-графомана, сочиняющего литературные тексты вместо того, чтобы «с легкостью необыкновенной» переживать свою роль. Актер Ворохов так долго готовится к тому, чтобы выйти на сцену с посланием человечеству, что нельзя не вспомнить известную фразу Татьяны Пельтцер: «Ни один спектакль лучше от репетиций не становился».

Герою Доната Ворохова, возможно, очень хотелось бы выглядеть именно таким: бесконечно умным, всезнающим, тонко разбирающимся в литературе. Но в романе Зорина это вороховское желание сделать из Сталина умнейшего человека своего времени превышает, на мой взгляд, разумные мерки.

Сталин здесь — литературный критик. Он блистательно разбирает «Бориса Годунова», цитирует его наизусть и рассуждает о природе власти у Пушкина как опытный пушкинист. Сталин отчетливо понимает, что «Батум», пьеса Булгакова о нем самом, написана халтурно. Ему сняты литературные сны о том, как Мандельштам дает пощечину Алексею Толстому. Он знает все стихи Мандельштама, он ловит на лету все его фиги в кармане, взвешивает его рифмы и образы. Он знает Библию наизусть и жалеет, что забыли русские люди Ветхий Завет, не читают, не учатся порядку. Юпитер — это генсек, который печется преимущественно о литераторах, копается в склоках литературного мира и даже выступает в нем арбитром: «Когда Маяковский всадил в себя пулю, я дня через три позвонил Булгакову. И, можно сказать, разрядил обстановку». Тут нельзя не заметить апропо, что у Зорина, у Рассадина в его недавней книге «Самоубийцы», как и у других классических «шестидесятников», вообще преувеличенное представление о значении интеллигенции в обществе.

Многие возразят: «Позвольте! Так и было! Сталин действительно простирает свою властную руку на литературный мир. Есть факты — в том числе и о его зна-

менитых телефонных звонках!» Но возражу и я есть и другие факты, так сказать, контрфакты.

Знаете, о чем не думает и не говорит в романе этот замаванный ходом истории тиран? О терроре и о коллективизации, об уничтожении людей и строительстве лагерей, о стахановском движении и Беломорканале и об Отечественной войне с ее страшным началом...

Видимо, желая объективировать историю, писатель заодно с героем принялся по методу Станиславского в плохом искать хорошее и накопил столько величавого, что жуткое, можно сказать, забывается.

Сегодня, когда общественный интерес к литературе резко упал, наверное, лестно и утешительно думать, что Сталин был отменным читателем и на правах великого человека думал о писательской среде, — это, возможно, даже скрытый укор нынешней власти на всех ее уровнях. Но по мне, пусть лучше никто в правительстве и Госдуме не читает романов и стихов, чем станут читать их по-сталински.

Павел РУДНЕВ.

*

«МОЛЧИТ НЕУЗНАННЫЙ ЦВЕТОК...»

Елена Аксельрод. Избранное. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2002, 358 стр.

С обложки книги глядит красивая молодая еврейка со строгими чертами библейского лица. Это — портрет Елены Аксельрод работы ее отца, Меира Аксельрода.

Интонации первого, заглавного, стихотворения сборника — под статью портрету: тоже строгие, величавые, почти библейские.

Я иудейка из рода Авраама,
Лицом бела и помыслом чиста.
Я содомитка, я горю от срама,
Я виленских местечек нищета...

В этом же стихотворении сказано: «Судьба моя в глаза глядит обидчиво / Который век, который час, который год». Сказано с некоторым надрывом, дающим повод ожидать, что дальше об этом будет много — о судьбе, об обиде; об обиде на судьбу. К счастью, ожидания не оправдываются.

Хотя поводов для обиды (если, конечно, захотеть обижаться) перечислено немало. Список, так сказать, прилагается: после «виленских местечек нищеты» — «Я та, на чьих лохмотьях звезды желтые / Взойдут однажды и меня сожгут», «Вернуть бы мне себя, еще одну — / Ту, что когда-то не своею волей / Валила в снег таежную сосну» и т. д. (Интонации, ритм и мотив, впрочем, узнаваемы: «Мне кажется сейчас — я иудей, / Вот я бреду по древнему Египту, / А вот я, на кресте распятый, гибну, / И до сих пор на мне — следы гвоздей»: Евгений Евтушенко, «Бабий Яр», 1961.)

Этот горделивый голос (он возносится в книге еще не раз) после произнесения первых стихов вдруг стихает, делает паузу. Кажется — лишь затем, чтоб передохнуть и продолжить восхождение, звеня и нарастая. Но когда он раздается вновь (в первом цикле книги — «Двор на Баррикадной»), то предстает перед нами настолько изменившимся, что узнать его трудно.

Дождь — веревочная лестница,
Мне взобраться бы по ней,
Со ступеньки верхней свеситься,
Чтобы глянуть в пропасть дней.

Различить к земле придавленный
Во дворе московском дом,
В низенький штакетник вправленный
Палисадник под окном.

Разрослись там беспорядочно
Желто-круглые цветы.
Дома тесно, дома празднично,
Дома радости просты.

Речь не то чтобы снижается, но — скажем так — заземляется. Чтоб тут же подняться — невысоко, впрочем: до верхней ступеньки «веревочной лестницы». Как будто нам явили библейскую декорацию (мастерская Караваджо, холст, масло), а сразу после этого показали детский карандашный рисунок.

В строгих четких линиях первых стихотворений узнается многое — и общность общей судьбы предвоенного поколения (скудость быта, война, эвакуация), и особенность частной судьбы. Елена Аксельрод родилась в семье художника (как Пастернак). Отец ее — замечательный живописец Меир Аксельрод, выпускник ВХУТЕМАСа, младший современник Фалька и Петрова-Водкина. (Он, помимо всего прочего, писал — в соавторстве с Иосифом Шпинелем — эскизы фресок для фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».) Мама и отец переехали в столицу из черты оседлости. В этой семье родители очень любили друг друга и любили дочь, и, судя по всему, детство Елены Аксельрод — бедное предвоенное детство («ветхий ватин» да «реденькая байка») — было счастливым. Отсвет этого счастья падает на ее стихи. Посвященные отцу, посвященные детству, посвященные первым художественным впечатлениям (благодаря отцу появившимся довольно рано), они насыщены живописными и графическими ассоциациями, в них наравне с родными и друзьями присутствуют любимые художники — Эль Греко, Сезанн, Ван Гог...

Ах, «Красный виноградник»
И голубой Дега!
В каморке нашей праздник,
Хоть в пол-окна снега.

Этот праздник в каморке, однажды широко начавшись в детстве, пребудет с ней и дальше, навсегда — во всех каморках, комнатах и палисадниках ее жизни. Когда она видит розовое небо Крыма — в нем вспыхивают виноградники в Арле. Черно-белый пейзаж Прибалтики в марте отсылает к любимой графике, а в нью-йоркском парке она замечает «перламутровый воздух Коро». Этот праздник способен наполнить любое пространство, даже, например, пространство коммунальной ванны, и любую тему, даже если она далека от радости (вот стихи о том, как соседи по коммуналке приносят домой живую рыбу, чтоб потом ее убить и изжарить):

Из общей вида видавшей ванны
Выпрыгивали живые сазаны —
Шлепая золотистыми брюхами,
Задыхаясь, по узкой прихожей трюхали...

Видно, что сквозь этого сазана пятнисто просвечивает Сезанн.

Рисунок в стихах Елены Аксельрод всегда сделан решительной рукой. «Мне есть в кого счастливой быть. / Дай силы мне, Господь, / И ясность красок перенять, и линий чистоту». Но у «прекрасной ясности» и твердого нажима существует другая сторона — этим стихам порой недостает недосказанности.

Лирика Елены Аксельрод отчетливо сюжетна. В основе многих ее стихов лежит конкретная история, случай. Это стихи как бы на случай — не хочется писать, что они «случайны», но они часто так случаями и остаются, обращенные к конкретным адресатам. Личные обстоятельства и истории — они ведь у каждого из нас свои, не для посторонних. Не то чтоб эти стихи «не поднимаются над обстоятельствами» или «не достигают обобщения» — это не совсем то. Хорошо сказала сама Аксельрод: «В траве мой ремешок, / а я над ним, я над / Несбывшейся судьбой, / незрячестью своей». Вот это «над» иногда удается ей, а иногда нет. Скажем так: многие стихи ее — это «песни зябких муз». И Давид Самойлов как будто про них написал: «Не торопи пережитого, / Утаивай его от глаз. / Для посторонних глухо слово / И утомителен рассказ. / А ежели созреет очень / И сдерживаться тяжело, / Скажи, как будто между прочим / И не с тобой произошло».

Как ни странно, лучшие стихи — те, в которых она признается, что слово произнести невозможно; стихи о несказанном.

Того, что не умолкает,
За немоту попрекает,
Произнести не могу.
И только смотрю, как вороны
Бьют белому снегу поклоны
В молитвенном черном кругу.

В «Избранном» хорошо заметно, что стих ее пленителен, когда он вопросителен, когда ответы как бы раздваиваются и мерцают.

Не знаю, кто там прячется в кусте,
Но куст стрекочет.
Кто новости приносит на хвосте?
Кто лясы точит?

Какие запахи сбивают с ног —
Сирень или мята?
О чем молчит неузнанный цветок
В траве косматой?

Или вот это:

Какой нынче праздник? Кто так испуганно
Играет огнями на звонком пруду?
О чем это галки кричат изумленно
И что же я плачу у них на виду?

Какой невидимка стоит за спиной
И волосы треплет мне легкой рукой?
О чем говорит до заката со мною,
Как с птицами листья, как ветер с рекой?

Ее дар являет себя в полную силу, когда звучат ее излюбленные скользящие мотивы — переплетения, срастания человеческого и древесного, человеческого и растительного. «Но сплетались в сизых просветах / Руки яблонь с руками людскими. / И была я одной из веток, / И носила людское имя». Как будто рядом с жизнью людской, — еще определеннее: рядом с жизнью женской, где все названо, прищиплено словом и слишком лишено тайны, медлительно проходит другая жизнь — древесная, шумящая, и в сплетении ветвей, корней, побегов словно еще есть первобытная таинственность. Вот стихотворение «Загадочная картинка». Героиня всматривается в узор нагих ветвей — и видит, что в этом узоре прочитывается некий личный сюжет. А дальше получается, что в этом рисунке есть еще что-то помимо узнаваемых деталей — и вот это «что-то» важнее всего — и не нужно расшифровывать смутный смысл этого древесного послания. «Загадочная картинка — / Что она означает? / Может, в сплетении веток / Та сторона бытия? / Как они изогнутся, / С кем окажусь я рядом — / Так ли все это важно? / Лишь бы стояло дерево / И рисовало загадки / Тонкими карандашами / На ватмане голубом».

Как мы уже видели, муза Елены Аксельрод — не муза гнева; скорей печали. Впрочем, бунтарство ей свойственно — и, как утверждает автор, с детства: «Воюя с набегавшим сном / И пряча слезы в одеяло, / Еще не ведая о чем, / Я плакала и бунтовала».

Елена Аксельрод последние годы живет в Израиле. «Израильским» стихам (израильским в географическом смысле) ее неистовство как раз очень подходит. Едва ли не библейская испуганность (которая и раньше возникала в стихах Аксельрод) развернулась здесь до предела: многие стихи — это стихи-молитвы, стихи-заклинания, стихи-плачи. Но вот парадокс: этот торжественный голос часто произносит бунтарские слова. Как будто устами поэта говорит богоборец Иаков (стихотворение про жертву Авраама и многие другие). Она задает очень много неудобных и неудобных вопросов. И это не потому, чтобы она стала гневливее или обидчивей («судьба моя в глаза глядит обидчиво»). Кажется, Елене Аксельрод и самой уют-

но в своей вере-невере — это какое-то не ее состояние. И поздние стихи ее звучат словно еще одна, поздняя, молитва — что-то вроде «Приди на помощь моему неверью». Впрочем, там, кажется, есть и другое, новое для нее — растерянность перед непонятным и ужас перед неизбежным; то, что на язык реминисценций можно перевести как «о, бурь заснувших не буди»:

...Не эта ль бездна открывалась
Пророкам в их бесстрашных снах?

...Быть может, у листвы зеленой
Храбрее и мудрее сны?
О чем мечтали анемоны,
Вчерашним ветром сметены?

Ольга КАНУННИКОВА.

*

ПРИГОДИТЬСЯ СВОИМ БЛИЖНИМ

Корней Чуковский — Лидия Чуковская. Переписка. 1912 — 1969. Вступительная статья С. А. Лурье, комментарии и подготовка текста Е. Ц. Чуковской, Ж. О. Хавкиной. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 592 стр.

Весной 1945 года, прочитав рукопись вступления к детгизовскому изданию «Былого и дум» Герцена (которое, кстати, в свет так и не вышло), литератор Корней Чуковский отправил автору предисловия, своей старшей дочери Лидии Чуковской, письмо профессионального содержания.

«Милая Лидя. Можно ли начинать статью с самого *неинтересного* для нынешнего молодого читателя — со своеобразия формы данного произведения? Детей нигде не учили любить форму, понимать, что в ней душа данной книги, — и вдруг ты с первого же абзаца говоришь „о необычности построения“. Это *нужно* в конце или где-нибудь поближе к концу».

Думая о прочитанном томе, состоящем из почти полутысячи писем, хочется начать именно с формы. Оба автора этой книги прожили долгие жизни. Земные сроки их судеб почти одинаковы: Лидя прожила на один год больше отца, но пережила его на двадцать семь лет. Он скончался в 1969-м, она — в 1996-м. Но я не о том, как странно-причудливо выглядят их *последние* даты, если поставить их рядом.

Я об их привычных, годами сложившихся личных *формах существования*. Они оба, как справедливо написал в своей яркой вступительной статье критик Самуил Лурье, смотрели на жизнь из литературы. Отношение к написанному тексту считалось священным: оба не любили словесных публичных импровизаций. Любой, даже самый «малозначительный», текст вынашивался, выверялся и отшлифовывался в соответствии с ритмом и смыслом сказанного. Импровизированных выступлений Чуковского практически не существует, если не считать (это уже подвиг кинорежиссера) нескольких реплик в документальном фильме «Чукоккала» (1970) — кстати, последних кадрах, запечатлевших Корнея Ивановича. Что же до Лидии Корнеевны, то, например, в жанре интервью она потрудились лишь однажды, когда в начале перестройки беседовала с критиком Аллой Латыниной для «Московских новостей». Однако, насколько я знаю, магнитофонной записи этой беседы не существует: на сформулированные вопросы давались четкие письменные ответы¹.

Тем удивительнее, ценнее читать эти послания, которые весьма часто диктовали не соображения композиции и доказательный ряд, но дыхание и ритм бессовестного и беспощадного времени. В своем большинстве это, конечно, и у него и у нее —

¹ На выполнение моей журналистской просьбы — прокомментировать события августа 1991 года — Лидии Корнеевне, как я помню, потребовалось... два часа. Отклик состоял из двух коротких предложений («Сегодняшние события привели меня в отчаяние. Но я не теряю надежды. Лидия Чуковская»).

подлинные и высокие образцы эпистолярной формы. Но сама российская жизнь, накладывающиеся одна на другую немислимые эпохи, личные и общественные трагедии и победы в сочетании слов иной, уходящий за слова смысл. Иногда в письме или короткой записке начинали звучать совершенно невыразимые ноты, выпадавшие из «обязательного» реестра. Слова не хотели, не могли рождаться, места истолкованию не было. И если слова подыскивались, они лишь отражали чувства, переживаемые отцом и дочерью, — отражали как бы единой плотью, одинаково.

...В 1939 году, хлопоча об арестованном зяте, физике Матвее Бронштейне, еще не зная, что зять уже убит, Корней Иванович волшебным образом попадает сначала домой, а потом и на прием к всевластному председателю Военной коллегии Верховного суда — В. В. Ульриху. Волшебным, потому что Чуковский узнали в учреждении: сердобольная чиновница, опознавшая знаменитого сказочника, кидает ему бумажный комок с домашним телефоном властителя. Чуковский начинает ходить и узнавать. С ответами тянут. Тем временем дочь, справедливо понимая, что «В. В. не будет принимать тебя до бесконечности — надо *знать*, чего мы просим», составляет в письме отцу список вопросов к Ульриху. Надо бы выяснить географический и почтовый адрес высланного мужа и зятя, распорядиться о разрешении посылок, похлопотать об использовании арестованного родственника по специальности... Она еще предполагает, что надо пойти и к самому Вышинскому, безотлагательно, до начала лета.

И — ее последние строки: «...Понимаешь? Очень дрожат руки. Кончу потом».

Через полгода мучений (я насчитал пять походов в коллегию) отец смог наконец дожидаться определенности: «Дорогая Лидочка. Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем. У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу».

Их переписка началась еще при царском режиме, длилась через революции и войны, через мясорубки и «оттепели», через новые «похолодания», самообманы, прозрения и надежды. Больше половины писем, понятно, фильтровались бдительными перлюстраторами.

В августе 1941-го отец пишет ей из Переделкина в Чистополь: «Как живете вы? Напиши подробно. Чтобы письмо дошло, нужно начинать его словами „Мы живем отлично, радуемся счастливой жизни, но...“ и дальнейшее любого содержания. Так делает Боба, все его письма доходят...». В те же месяцы младшего сына, Бориса Чуковского, убили в бою.

Когда в 1926 году арестованная («в поисках мировоззрения» — на самом деле за то, что не донесла на подругу, увлекшуюся «подлинно мыслящими пролетариями») и мягко сосланная на три года в Саратов² Лидия Корнеевна начала удивляться, что письма от родных долго не приходят, а потом сваливаются целыми пачками, ссылные объяснили ей, что сотрудникам ГПУ лень читать по письму, проще *накапливать*.

Еще ранее, в сентябре 1921-го, из организованной Чуковским художественной колонии Холмки Лида написала отцу в Петербург: «Когда ты приедешь? Меня этот вопрос doubly интересует: во-первых, я, конечно, страстно желаю тебя поскорее увидеть, а во-вторых, страстно желаю поскорее увидеть Питер. Что в Питере? <...> Получила <...> письмо с подробностями о смерти Блока. Лозинский рассказывал подробности другой смерти. Напиши об этом все, что можно».

«Другая смерть» — это Гумилев. Спустя много лет выяснится, что гневное, наотмашь красноречивое (неоконченное и, по-видимому, неотправленное) обращение к тогдашним властям по поводу расстрела поэта написал — от лица коллегии издательства «Всемирной литературы» — именно Чуковский. Сейчас оно опубликовано и может послужить полезным подспорьем в рассуждениях о «внутреннем конформизме» иных советских писателей. Например, того же Корнея Ивановича.

Это были очень родные, очень близкие и очень разные люди. Но так и должно быть. Возвращаясь к эзопову языку и навязшей формуле «отцов-детей», остае-

² Благодаря хлопотам отца ссылка сократилась почти на год.

ся только изумляться тому, как терпеливо в конце 30-х отец уговаривал дочь: «Мне кажется, тебе нужно будет дня на два съездить в Ленинград, побывать на квартире (где дочь жила с мужем, где Чуковский присутствовал при обыске. — Л. К.) и уехать от тамошнего климата куда-н<и>б<удь> под Москву».

Этим призывом он спас ее. Сегодня опубликованы документы (они представлены и в подробнейших, стереоскопических комментариях) об «оформлении ареста писательницы Лидии Корнеевны Чуковской». Когда она затем поехала в Киев, к родителям мужа, он мягко просил ее уехать «отдохнуть» в Ялту. Он тревожился, что к ней в Киев приходит большая почта (понимая, что это привлечет внимание органов). Она писала в ответ яростные письма, «угрожая» возвратом в родной город.

Какой сумасшедший Шекспир описал это?!

В ноябре 1938-го Корней Иванович, уже вовсю хлопочущий об арестованной сотруднице маршакского Детгиза и подруге Л. К. — Александре Любарской, сообщает дочери: «Тут ходят очень благоприятные сведения, которым боюсь поверить, — так они хороши...» Речь идет о слухах насчет возможного снятия Ежова. Лидия Корнеевна, которая, по словам Ахматовой, чудом уцелела, как стакан после разгрома в посудной лавке, вернулась в свой город. Вернулась писать легендарную «Софью Петровну», повесть о Большом терроре в одной отдельной стране и в одной отдельно взятой судьбе, о добровольном самоослеплении одного из миллионов граждан этой страны. Она еще не сообщила отцу о том, что закончила новую вещь, что написала ее за два месяца, — пока она посылает ему, как это нередко было, свое новое лирическое стихотворение:

«Я пустынной Москвою
Прохожу одиноко,
Вспоминаю и жду.
Мы любили с тобою
Чаши, полные света,
Что в Охотном ряду.
Нас игрушечный поезд
Увозил в подземелье,
Где веселая тьма.
То был свадебный поезд,
Обещал он веселье, —

а последняя строчка еще не написана. Не сердись! Целую тебя крепко. Лида».

А строчка, естественно, была:

«...Оказалась тюрьма».

В своем пространном ответном письме Корней Чуковский пишет о хворобах, о прожорливости своей *щитовидной железы*; о сокрушении, что «наградил» дочь по наследству базедоидом; о необходимости усваивать и добродетели от родителя (он, чуть представилась возможность, передал свою статью о Шекспире из «Известий» в «Правду», — советует и дочери не печататься в «шкловитянской» «Детской литературе», но в «Красной Нови»); о своем желании проконтролировать, как бы в Киеве (в процессе прохождения Лидиной книги о восстании гайдамаков) литературные прохвосты не украли ее идеи; об интересном знакомстве с бывшей пулеметчицей чапаевской дивизии...

Вот и последняя фраза, уже после подписи: «Ты хорошо написала про метро „Охотного ряда”». Конечно, он понял.

Они оба отлично знали, с кем каждый из них «имеет дело». За время этой более чем полувековой переписки они не единожды признались в отцовско-дочерней любви, не единожды спасли друг друга, н❶ единожды поудивлялись и понедоумевали от (впрочем, почти всегда объяснимой и понятной из нашего-то *близка*) «глухоты» по отношению друг к другу³.

³ Например, я не готов вслед за С. Лурье образно именовать отстраненную реакцию Корнея Ивановича на некоторые жесткие пассажи Л. К. (например, страстное описание антифашистского фильма «Профессор Мамлок» — о самоослеплении германского народа, о

Когда она родилась, он был хотя и известным критиком, но все же еще мальчишкой — 25 лет! Когда он умирал, знал, что только она одна из всей огромной чуковской семьи в полной мере унаследовала от него не только базедоид, но и мучительный, невыносимый, раз и навсегда приставший к душе, полубессознательный вирус *служения* русской словесности. Выпадающее из рук дело он передал ей и ее дочери — на них он надеялся и в осуществлении этой надежды очень нуждался.

Так все и вышло. Лидия Корнеевна написала лучшую книгу о Корнее Чуковском («Памяти детства») и сохранила в целости его дом. Внучка издала дневники деда, полную «Чукоккалу», которую когда-то помогала ему готовить к советской печати, теперь ведет его полное собрание сочинений. Книги матери — тоже теперь на ней. И этой книги без нее не было бы. Слово «по-двиг» — слово старинное...

Дочь любила отца с младенчества, любила самозабвенно, без всяких «но», целиком. Так и плыла до самой своей смерти в широкой куоккальской лодочке, где он им с Колей и Бобой читал, размахивая руками и веслами, Пушкина и Жуковского. А узнала его *изнутри* и разобралась в нем она попозже, со временем.

Ниже — портрет отца и литератора Корнея Чуковского — в письме к своему позднему товарищу, поэту Давиду Самойлову. Написано в год столетия Чуковского, в 1982-м:

«К. И. был человек одинокий, замкнутый, сломанный, бессонный, страдавший тяжелыми приступами отчаяния. Считал себя бездарным. Мучился — долго — незаконнорожденностью. Женат был на женщине, которая последние лет 20 своей жизни была, несомненно, психически больна. Женился рано, 19 лет, и тяжким трудом содержал большую семью.

Если взять его биографию объективно, то в ней было 3 большие несчастья: 1) смерть Мурочки 2) гибель Бобы 3) то, что К. И., рожденный критик, вынужден был этот главный свой талант закопать в землю. Начиная с 30-х гг. он уже выступал не как критик, а только в защиту: обругали зря Пантелеева — выступил со статьей; обругали Глоцера — опять статья и т. д. Это совсем не то, что статьи об Андрееве, Горьком, Бунине, «Книга об Ал. Блоке», статья о [Джеке] Лондоне и т. д.

Конечно, если сравнить его судьбу с судьбами АА, или ОЭ, или БЛ — то — то — он счастливеец. Но я-то видела его *изнутри*; и сейчас, перечитывая свои старые дн<евни>ки, все время читаю: „Бедный папа“... Конечно, было в нем и природное веселье, но, кроме того, он требовал от себя веселья — в особенности на людях; жаловаться он считал невежливым; вот иногда в Дн<евни>ке, иногда в письмах (в особенности ко мне). <...> Помню наизусть строки в стенной газете института, где я училась: „Необходимо освободить институт от детей тех доктябрьских шавок, которым октябрьская колесница отшлепала хвосты“. Шавка — это К. И., а щенок, разумеется, я»⁴.

Он же, как и водится умному отцу, многое понял сразу и поразился тому, что открылось. В февральские дни 1914-го, когда в Куоккале у Репина гостил Шаляпин и по просьбе Корнея Ивановича вспоминал о Чехове, Чуковский записал в дневник и такое:

«Вчера с Лидочкой (семилетней. — Л. К.) по дороге (Лидочка плакала с утра: отчего рыбки умерли): — Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать бы богатыми — или нет, пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Какие есть

доносительстве, работе гестапо, очередях жен арестантов к тюрьмам) «рассеянно-бодрой манерой Порфирия Головлева». Мне кажется, он хорошо понимал, в каком контексте идет их переписка, и абсолютно сознательно избегал обсуждения «болевых точек» ради ее безопасности. То же, думаю, относится и к его предложениям Лиде в начале 40-х попробовать писать стихи на какую-нибудь далекую от нее тему («не о себе, не о своем душевном состоянии»), даже не предложениям, а вопросам: может ли попробовать? И его вопрос, и ее почти негодующий ответ («Да как же писать, если это далеко? Я не понимаю») — разве они необъяснимы? Разве он не хотел отвести от прямодушной дочери катастрофу, которой ожидал в любой момент, которая могла родиться из чего угодно?

⁴ «Знамя», 2003, № 6, стр. 176.

люди безжалостные: как можно убивать животных, ловить рыбу. Если бы один человек собрал побольше денег, а потом и роздал бы всем, кому надо. И много такого.

Этого она нигде не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым — впервые. Я слушал как ошеломленный. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо, а здесь, в натуре, волновало до дрожи».

Когда автор этого отрывка, бывший, как мне все больше кажется, *душой* ее души, умер, она писала и писала ему и о нем в своем стихотворном дневнике. Писала в ночные часы, когда сторожила его дом, самодеятельный музей, созданный ею и его читателями:

...Ночные поиски очков
 Посреди подушек жестких.
 Ночные призраки шагов
 Над головой — шагов отцовских.
 Его бессонницы и сны,
 Его забавы и смятенья
 В причудливом переплетенье
 В той комнате погребены.
 А стол его уперся в грудь
 Мою — могильною плитою,
 И мне ни охнуть, ни вздохнуть,
 Ни встать под тяжестью такою, —
 Под бременем его труда,
 И вдохновения, и горя,
 И тех легчайших дней, когда
 Мы босиком, на лодке, в море.

<1980>

В начале 1941 года она послала ему в Переделкино свой «воплъ души»: «...мне 34 года. И я решительно ничего не умею. Я всегда считала праздным занятием размышлять о своих способностях — надо работать, и все тут, — но за последние дни я как-то много об этом думаю». И это пишет она, опекающая Ахматову, уже создавшая «Софью Петровну», написавшая о Герцене и Миклухо-Маклае, проредактировавшая кучу книг, поднявшая дочь, сумевшая *после всего* выжить.

Он понял, что надо отвечать, и решил повторить то, что уже писал ей не однажды: «Во-первых, ты чудесный поэт, во-вторых, у тебя большой беллетристический дар (первый автор восторженного отзыва на „Софью...“ и „Записки об Анне Ахматовой“ — Л. К.), в-третьих, ты первоклассный критик. Во мне говорит не отцовское пристрастие, а вполне объективный и достаточно опытный ценитель. <...> Я насчет тебя не заблуждаюсь, ведь вижу же я все скверные стороны Колиного писательства, ведь меня доводят до бешенства его халтурные переводы. <...> Главное, человек должен пригодиться своим ближним. Когда я перевожу „Тома Сойера“ или редактирую „Хижину дяди Тома“, я так ясно представляю себе то счастье, которое эти книги доставят миллионам детей, что не считаю свое время потерянным». И через несколько строк: «Ну, целую тебя крепко — нужно торопиться. Весь твой».

Здесь, конечно, можно было бы рассказать-пересказать о том, как он поражался ее способности любить Ахматову и служить ей и не вспомнил в этот момент себя — в похожем сюжете с Блоком. Как на десятках и десятках страниц развертывалась все возрастающая эпопея их профессиональных забот друг о друге: вот она посылает ему новые слова и детские выражения, вот занимается его издательскими делами, вот идет в фотокабинет, чтобы переснять картинки из «Чукоккалы», и не выпускает альбом из рук, потому что «так воспитана»...

А вот он следит за прохождением ее книг, отчитывается ей о хлопотах по «делу Иосифа Бродского», любовно ругает за блестяще-безумную статью о номенклатурных детских писателях⁵, превратившуюся в «бисер перед свиньями», и согласовы-

⁵ Речь идет о реакциях на статью Л. Чуковской «Гнилой зуб» (1953) с разбором произведений В. Осеевой и А. Алексина, напечатанную в «Литературной газете» под редакцион-

вает с ней (и через нее с Ахматовой) свой поздний очерк об авторе «Поэмы без героя». Как боится за нее и как ее побаивается.

А вот они находят неточности и опечатки в книгах друг друга и старательно высылают друг другу списки.

И кому, как не ей, сочувствовать и заступаться за него, в страшные годы ошеломившего Шкловским (тот в 30-е «ненавязчиво» «вспомнил» о журналистском прошлом Чуковского) и в «послеоттепельные» — Харджиевым (этот распространил старинную дезинформацию о «посвящении» дореволюционного «Гимна критику» Маяковского — реальному критику Чуковскому, у которого поэт жил дома в те самые дореволюционные годы). Выбор тем может быть бесконечным: более пятидесяти лет переписки и сотни сюжетов.

В конце концов можно порассуждать об эволюции их отношений, о том, как время меняет тональность высказывания, как эпистолярное «дерево» медленно овивается растущей доверчивостью и доверительностью, как с какого-то таинственного момента меняются «весовые категории», и вот уже дочь — старшая, а отец — младший.

Главное, я не думаю, что их — Корнея и Лидию Чуковских — нужно и должно как-то специально сравнивать, например, его «карнавальность-закрытость» и осторожность и ее прямодушие и бескомпромиссность-бесстрашие. Это, по-моему, «непродуктивно».

Они прожили каждый свою судьбу и сделали почти все, что могли и хотели. Лопаста времени прошли по ним сполна, каждому досталось — мало не покажется. Они успели (когда — мягко, когда — настойчиво) позаботиться даже о посмертной репутации друг друга. Чего у них не отнимешь, так это страдания, боли. Вполне допускаю, что не всякий читатель этой книги, закрыв ее, сживется с этими героями или даже полюбит их. Пускай. Но за них не стыдно. Остаться людьми в бесчеловечном пространстве дано не каждому.

Как сказал мне недавно один известный литературный критик на похоронах одного настоящего, подлинного литератора: «Таких людей больше не делают...»

Не говоря уж о том, что из этих 435 писем сам собой получился еще и пронзительный художественно-документальный роман об отношениях просто двух частных лиц — отца и дочери — в прошлом, все отдаляющемся от нас двадцатом веке.

Павел КРЮЧКОВ.

*

РОССИЯ-ИМПЕРИЯ ИЛИ РОССИЯ-ЦАРСТВО?

Человек между Царством и Империей. Сборник материалов международной конференции. Под редакцией М. С. Киселевой. М., Институт человека РАН, 2003, 528 стр.

Чем междисциплинарный сборник научных статей может быть интересен читателю-неспециалисту? Не только фактами, наблюдениями, выводами в рамках каждой специальной статьи. Но и никак не в меньшей мере ассоциациями и аналогиями, обобщающими наблюдениями, вписывающими эти статьи в широкий культурный и историософский контекст. Разумеется, первый — узкоспециальный, насыщенный конкретикой — слой при таком вписывании необходим: когда его нет, в изобилии возникают «новые хронологии» и прочие популярные достижения и чудеса.

«Эпоха конца Царства и начала Империи дает основания для социокультурной компаративистики. Сегодня ученые и политологи активно обсуждают проблемы империй и их социокультурной роли; имперского сознания; имперских достиже-

ным заголовком «О чувстве жизненной правды». Эту статью печатно обругали С. Михалков, Ю. Яковлев и другие. Чуковская им ответила новой статьей. Отец отреагировал на этот ответ: «Статья отличная, но чем она лучше, тем она бесцельнее, бессмысленнее. <...> Ты приходишь к растленным писакам и заклинаешь их Чеховым быть благородными. <...> Больно, что ты своим золотым пером выводишь эти плюгавые имена и фамилии, больно, что ты тратила время на изучение их скудоумной продукции».

ний и потерь. Взгляд в историю из сегодняшнего дня специалистами разных гуманитарных дисциплин, соединенных в одном проекте, дает новый импульс к пониманию современных российских проблем. Реформы Петра — это встреча России лицом к лицу с Европой, желание занять в ней свое место — проблема актуальная для наших дней при всей разности культурно-исторических контекстов». Так пишет в предисловии к сборнику его ответственный редактор и один из авторов Марина Киселева. Иначе говоря, сборник оказывается участником обостряющихся ныне споров о выборе Россией ее исторического пути.

Заявку на такое участие мы видим уже в заглавии сборника и в предисловии к нему. Ясно, что авторы называют «путем Империи»: идти этим путем — значит ставить себе и решать вселенские по духу и общеевропейские по политическим целям задачи. А «путь Царства», стало быть, — это уход в себя: в замкнутость и самодостаточность, в автаркию? В какой мере эта терминология исторически корректна? И отвечает ли такое толкование понятия Царства естественному и принятому словоупотреблению?

Для некоторых участников сегодняшних дискуссий такое употребление слов «Империя» и «Царство» самоочевидно и полностью оправдано. Но подчас терминология, принятая в одном круге авторов, за пределами этого круга мало- или превратно употребляема. Само собой разумеется, что это нередко лишает горячие споры сколько-нибудь содержательного смысла.

Заметим, впрочем, что с понятием Империи дело обстоит достаточно просто: вынося за скобки бранящуюся этим словом бульварную публицистику, мы приходим к более или менее однородному его употреблению. Не помню, кто первый сформулировал основную идею империй: единение ради общего блага. В империях, в отличие от национальных государств, включаемые народы и культуры не ассимилировались и не уничтожались, они имели возможности существования и развития. Речь шла, разумеется, не о равенстве; но покоренные народы боролись порой не за отделение, не за свободу: целью бывало получение имперских прав, как у восставших самнитов — предоставление Самнию латинского гражданства. В каком неимперском государственном образовании возможна подобная борьба?¹

Но не будем увлекаться, ограничим наши рассуждения христианской Российской Империей. Определение ее — лучшее, возможно, из существующих — дал Владимир Соловьев: «Настоящая империя есть возвышение над культурно-политической односторонностью Востока и Запада, настоящая империя не может быть ни исключительно восточной, ни исключительно западной державою. Рим стал империею, когда силы латино-кельтского запада уравновесились в нем всеми богатствами греко-восточной культуры. Россия стала подлинной империею, ее двуглавый орел стал правдивым символом, когда с обратным ходом истории полуазиатское царство Московское, не отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и преданий, отсеклось от их исключительности, могучей рукой Петра распахнуло широкое окно в мир западноевропейской образованности и, утверждаясь в христианской истине, признало — по крайней мере в принципе — свое братство со всеми народами».

Раскроем теперь Георгия Федотова. Что такое Империя? «Это прежде всего лад и строй, окрыленная тяжесть, одухотворенная мощь... Все волшебство <...> северной петербургской красоты заключается в примирении двух противоположных начал: тяжести и строя... Эта эстетическая стройность Империи получает — по крайней мере стремится получить — и свое нравственное выражение...»

¹ Конечно, Империя не обходится без ведущей, титульной нации — этнического зародыша, вокруг которого и формируется имперский кристалл. Здесь сложное соотношение между понятиями имперского и национального — несколькими словами его не описать. В иудее Павле, родившемся в римском гражданстве, больше имперского достоинства, чем в римском тысяченачальнике, приказавшем его бичевать. Но дарование гражданства — не только формально-юридическая процедура: оно приобщает в данном случае к латинству, к имперским латинским ценностям. В этой сложности можно, однако, выделить одну определяющую черту: сознание титульного народа и должно быть не провинциальным, а титульным, вселенским. Русский солдат гордился своей миссией спасителя единоверцев на Кавказе, он был готов вернуть на Софию православный крест. Когда же у народа исчезает такое сознание, когда патриотизм избы и огорода умерщвляет его — тогда великой Империи приходит конец.

Конечно, и Федотова, и Соловьева нетрудно упрекнуть в неконкретности, в «красивостях». «Лад», «строй», «крылатая свобода» — что все это, в самом деле, значит? Или же вот: «признало свое братство». Когда это было? Как и где?

Но ничего не поделаешь: Империю — ее надо не меньше чувствовать, чем понимать. Зато почувствовав, представив перед собой цельный образ Империи, мы легко разглядим и в деталях типические ее черты. Империя всегда открыта миру, она легко принимает в себя чужое — и в то же время сама она экспансивна, всегда стремится вдаль и вширь. Империя может быть строга, даже жестока. Но она всегда великодушна, предана своим друзьям, способна к бескорыстию.

Либерализм связан с Империей часто², демократия — почти никогда. И еще: в Империи всегда существуют и укрепляются с ходом времени личное достоинство, личная свобода. Это какой-то глубокий внутренний закон: в Империи бывают периоды произвола, «зажима»; но проходят немногие десятки лет, и оказывается — свобода без усилий восстановилась, взяла свое.

Сложнее, нежели с понятием Империи, обстоит дело с понятием Царства: ему в сегодняшнем словоупотреблении соответствует несколько различных, достаточно далеких друг от друга религиозно-исторических категорий. Часто этот термин теологизируется, сакрализуется: Царство, монархия — единственный богоустановленный строй, прочие государственные устройства небогоугодны, они могут быть в лучшем случае лишь терпимы. Однако усмотреть в Библии непосредственную связь Царства земного с Небом нелегко, сказано в Книге несколько иное: «И созвал Самуил народ к Господу в Массифу. И сказал сынам Израилевым: так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта, и избавил вас от руки Египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: царя поставь над нами» (1 Царств, 10: 17 — 19). Господь и поставил над Израилем земную власть — Царя, снизойдя этим к слабости Своего народа. Жажущим же вкусить непосредственного божественного мироустройства следует, таким образом, стремиться не к монархии, а к непосредственному пророческому правлению многострадальной страной. Что вполне логично, но уровню нашей праведности соответствовало бы вряд ли. Безусловно, попахивающие хилиазмом грезы — серьезный показатель общественных настроений; но все-таки в фундаментальных теоретических спорах Царство как сакральное понятие вряд ли следует брать в расчет.

Есть, однако, и иное понятие Православного Царства, оно выводится не из наивно-религиозных, а из конкретно-исторических представлений. Речь идет о теории «Москвы — Третьего Рима»: кажется, вот же прямая заявка на вселенско-имперское наследство! И притом задолго до трансформации Московского Царства в Имперскую Россию. «Третьеримская» идеология Москвы ставит, как представляется, под серьезный вопрос обсуждаемую в сборнике историософскую схему. Действительно, теория Третьего Рима, Четвертому же не быти, появилась в Москве в период ее неуклонного возвышения. Адресованная власти и, казалось бы, принятая ею, эта теория представляется символом возвышения, его духовной базой. Добавьте к этому соблазнительные параллели, эффектную «мистику цифр» («Третий

² Идея либерального империализма прозвучала минувшей осенью в выступлениях Анатолия Чубайса: политик говорил о великой Империи, несущей свободу в собственные пространства и за их пределы. Речь шла, таким образом, о вещах общезвестных, да и самими освобожденными народами подчас не забытых: в Финляндии чтут память Александра I, а жители Карабаха и сегодня называют свою родину частью России. Но без гневной отповеди, конечно же, не обошлось, тяжкую задачу опровергнуть историю взяли на себя журналисты некоторых популярных изданий. Борис Вишневский из «Новой газеты» (2003, 13 октября) сообщил нам, что Империя — это всегда дурно: в республиканском Риме все были свободны и обладали правами, в императорском же, напротив того, все были рабами императора. Леонид Радзиховский в «Известиях» (в тот же день) поэлегантней: либеральная Империя — «горячий снег», Россия же вечно «себя отбрасывала от западноевропейского времени в восточноазиатское пространство» (этот изящный пассаж — чтоб наконец отменить как-нибудь понятие *восточноевропейского* пространства, то есть того религиозно-культурного ареала, в котором Россия как раз и развивалась). Впредь журналист рекомендует ни в какие отвлеченности не отступать, а усердно чистить зубы, наипаче же сортиры. Антитеза идеям Екатерины, Александра II, Столыпина наконец-то окончательно найдена.

Рим — Третий Интернационал») — мистике этой отдали дань не только среднеграмотные памфлетисты, но и Арнольд Тойнби... Как быть?

Мессианские чаяния бывают почти у любого народа. У немцев, поляков, румын (вот уж подлинные римляне!). У сербов, болгар, к их «Третьему Риму» мы ниже еще вернемся. Но что уж Третий Рим — маленькая Англия породила активные, истовые общины «новых израильтян» — и они образовали новую великую мессианскую страну. Образцом средневропейской трезвости и здравости слывут чехи — а и они в XV веке побывали «новым Израилем», основательно разрушив в честь этого высокого призвания собственную родину.

Таким образом, мессианство, на христианской почве закономерно принимающее облик «нового Израиля» или «нового Рима», — черта многих народов. И для того, чтобы объяснять историю какого-либо народа именно этой чертой, мало, по видимому, лишь констатировать наличие мессианских настроений. Надо показать, что они были существенны, что какой-то отрезок жизни народа определен именно этой его чертой. Посмотрим же с этой точки зрения на историю России.

«Идею Москвы — „Третьего Рима“ московское государство никогда официально не признавало своей. Более того, когда Иван IV короновался как царь, то он просил на это благословения живших под турками восточных патриархов и воздержался от именованья себя „императором ромеев“, а стал только „царем всея Руси“. Большой контраст с империями болгар и сербов!» — констатирует один из крупнейших специалистов по русской и византийской церковной истории прот. Иоанн Мейендорф.

Мало этого. Те действия Москвы, которые нередко рассматриваются публицистами как признак ее третьеримских претензий, свидетельствуют в действительности об отсутствии таковых. Верно, что под давлением Бориса Годунова константинопольский патриарх основал Московский патриархат. Москва стремилась к возвышению, это несомненно. Но новый патриархат не только не претендовал на вселенское первенство — он занял *пятое* место среди православных патриархатов. И это при несметном богатстве, власти и престиже, которыми к тому времени уже обладала Москва. У болгар, для примера, цари короновались «императорами всех болгар и греков». Москва же никогда, даже после Флорентийской унии, на наследие византийских императоров не претендовала.

«Обдуманное идеологическое самоограничение русских, — продолжает прот. Иоанн Мейендорф, — можно объяснить самыми разными соображениями. Во всяком случае, оно не помешало впечатляющему росту Российской империи как национальной государственности. Но именно потому, что Московское царство носило характер национальный, некоторые глубоко укоренившиеся представления не давали его правителям забыть, что „римская“ (или византийская) политическая идеология исключает право какой бы то ни было нации как нации на монополию главенства в универсальном православном содружестве. Поскольку Московское государство всегда мыслило себя национальным, оно не могло претендовать на *translatio imperii*. Примером этой внутренней диалектики может служить изгнанническое Никейское государство XIII века: не возрождение эллинизма сделало его центром христианской ойкумены, а упорный акцент на своей „римскости“ и надежда восстановить свою власть в единственном настоящем „новом Риме“ — Константинополе».

Translatio imperii (здесь: наследование империи) — либо построение национального царства. Допетровская Русь шла по второму из этих двух принципиально различных путей. И потому порождению рафинированного интеллигентского сознания, «Третьему Риму», суждено было остаться изысканной эсхатологической доктриной. Учением о возложенном на Россию Богом тяжком духовном кресте. В «горизонтальном» же плане тема византийского наследства, возвращения Царьграда возникла всерьез лишь при Екатерине Великой. Через полвека после петровских преобразований это была уже имперская политика, не мечты.

Так мы снова приходим к единственно корректной — принятой в рассматриваемом нами сборнике — дихотомии «Империя — Царство».

Прежде чем перейти к сборнику непосредственно, отметим, что рассуждения на эти темы осложнены многими обстоятельствами. Решение вселенских, мировых

задач не дается просто: силы Империи и ее народов оказываются порой надорванны, надломлены. И тогда иные идеалы встают в повестку дня: изоляция и замкнутость, самодовление, внеисторическое «тихое житие». Под конец своего существования Империя свернула с избранного Петром пути, целью последних Государей стало «подмороженное» автаркическое Царство. Но именно правление Александра III и его несчастного сына всячески прославляется, поднимается на щит постсоветским «консерватизмом». При этом перед нами опять оказывается опасная иллюзия. Потому что за внешней привлекательностью победоносцевских идеалов забывается основное: забывается то, к чему привели они Россию — и не могли не привести. Потому что происходит полная подмена понятий: неимперский по сути своей период новой российской истории выдается за ее имперскую полноту. В последние царствования неопатриоты пытаются «запрятать», уместить — психологически и эмоционально — всю нашу имперскую историю. «Вот она — Империя! — повторяют они. — Разве мы не любим ее?» Но за безудержным прославлением «самых русских» наших царей едва скрыта глухая неприязнь к тем, *иным*, «нерусским» — к приконченной бомбой Гриневицкого великой петербургской России.

И на всем этом непрестом фоне отрадн одно — интенсифицирующееся научное изучение имперской идеи, имперского пути. Одним из плодов этого изучения и стал индуцировавший наши размышления сборник. Главная его ценность — фактическая: он оснащает исторической конкретикой некоторые концепции, лишая тем самым реального веса противоположные, тоже формально логичные, мнения и взгляды.

Скажем, был ли необходим России петровский рывок, или реформы лучше было проводить постепенно? Почти все сделанное Петром было уже начато его предшественниками. И петровских результатов вроде бы можно было достичь плавно, без ломки московской жизни, без чудовишных потерь... Что ж, абстрактно говоря, плавный путь, конечно же, предпочтительнее «поднятия на дыбы». Правда, даже столь убежденный противник петровских реформ, как М. Щербатов, считал, что без них экономика достигла бы петровского уровня лишь к концу XIX века, — напоминает один из авторов сборника. Выходит, наполеоновские войны Россия встретила бы с допетровским военным и экономическим потенциалом, со всеми вытекающими из этого последствиями... Но главная тема сборника, в соответствии с названием его, — не экономика, а сам человек: его менталитет, вера, культура. Каков образ человека предпетровской Руси?

«Алексей Михайлович был для своего времени человеком образованным. И при нем в России уже начали появляться иностранцы, иностранные учебники в некоторых областях, иностранные одежды. Но <...> среди его забав и увлечений значилась и любовь к сказителям и сказкам. Сказкой тогда называли не только вымысел, но и обычное повествование. Особенно нравилось Царю слушать сказки людей, посетивших дальние страны. „Все смолкало в терему... В тишине ровно звучал голос сказителя или чтеца. Рассказывал он, как иные нехристи огню поклоняются, как строят капища для золотых идолов, как поганые турки сторожат град Господень. Рассказывал про птицу страфокомила, про страшного единорога и левиафана. Царь слушал чудные рассказы и тихо шептал: „Дивны дела Твои, Господи!“ Представить на его месте Петра невозможно. Они были людьми разных эпох» (В. Келле, «Историческая антропология и ее подход к эпохе становления Российской Империи»).

Оценочно нагруженное противопоставление «просвещенный Запад — невежественная Русь» тенденциозно и неверно. Но Московская Русь, при всех ее контактах с Европой, жила в ином историческом времени. «Без Петра Россию <...> ждала бы участь Африки», — заключает один из исследователей. Вернее было бы, пожалуй, сравнение с Южной Америкой: столкновение времен стерло там изысканную, богатую культуру с лица земли.

Попытка свернуть российский время с общеевропейским столкнулась с многочисленными трудностями. В том числе и довольно неожиданными. «В изданном Петром Генеральном Регламенте оговариваются часы государственной службы, но едва ли не в течение всего XVIII века чиновники успешно этот закон саботируют <...> „Из разных городов пишут, что воеводы в канцеляриях находились, а в кото-

ром часу приходили и выходили, — о том, за неимением в тех городах часов, писать не с чего». Ничего не скажешь, символический эпизод.

Мы не ставим своей целью полно описать содержащий 38 статей пятисотстраничный сборник. Остановимся на религиозной проблематике, важнейшей и в то же время, как нам представляется, наименее известной читателю. Мнение о религиозной политике Империи давно заштамповано: подчинение Церкви государству, преследование старообрядцев... Исчерпывают ли, однако, эти клише проблему? И в какой мере и степени они верны?

Начатые Алексеем Михайловичем преследования староверов резко усилились после его смерти. Психологической кульминации противостояние достигло при Петре: не только деятельность, но и сама внешность Царя-Преобразователя прямо-таки предназначили его на роль Антихриста. «В Ульяновском государственном художественном музее выставлена редкая икона начала XVIII века, посвященная усекновению главы Иоанна Предтечи. Помимо самой отсеченной главы Крестителя <...> на иконе изображен палач, отрубаящий голову пророку. Эта явно шаржированная фигура облачена в европейский красный кафтан с золотыми пуговицами и наделена портретным сходством с самим Петром I» (И. Кондаков, «„Русский человек“ в переходную эпоху: самосознание смуты»).

Преследования и ограничения старообрядчества продолжались в тех или иных формах до Манифеста 1905 года. Все это создает устойчивую картину постоянного жестокого гонения на инакомыслящих. Вполне ли эта картина верна?

Расправы над старообрядцами достигли пика в регентство Софьи (с легкой руки литераторов ассоциирующейся у нас с «теремом» и бородачами стрельцами): 12 статей указа 1685 года перечисляют действия староверов, за которые их предписано сжигать в срубах. Но положение старообрядцев резко меняется после воцарения Петра. «Если теперь в отдельных случаях гражданская власть действительно борется со староверами, то только в тех, когда религиозный конфликт приобретает политическую окраску (как это было, например, в Тарском бунте 1722 г.)» (И. Юркин, «Государство и старообрядцы в первой трети XVIII века: действительно ли Империя боролась с расколом?»).

Политические протесты в петровской России подавлялись с той же жесткостью, что и по всей Европе тех времен. Но в Европе политическая нетерпимость сплошь и рядом соседствовала с религиозной. В России было не так. Яркий пример имперской конфессиональной политики дает судьба Выговского старообрядческого общежития. Не признавая мир истинно православным, выговцы до 1739 года даже не молились за правящего Императора. Но они оставались лояльными в политическом отношении и полезными Империи подданными: опытные рудознаты, грамотные люди. Результат: уже в 1704 году общежитие получило возможность вести богослужение по старопечатным книгам. «Указом от 7 сентября 1705 года Выговское общежитие признавалось самостоятельной хозяйственной единицей, имеющей выборного старосту, была обещана защита от всякого „утеснения“ <...> Как ни чужда была для старообрядцев Империя, закрепившая результаты Никонской и Петровской реформ, однако именно она дала ревнителям древнего благочестия возможность не только относительно спокойного существования, но и укрепления своих общин» (Е. Юхименко, «Старая вера в новых условиях»).

Петровская политика быстро дала плоды. Пустынножители разыскивали руды для демидовских заводов в Сибири. В 1723 году выговцами было открыто богатейшее Кольвано-Воскресенское месторождение меди. В 1746-м старовер Мануил Петров составил и передал в Коллегию экономии карту речного пути из Белого моря в Санкт-Петербург.

«Единение ради общего блага». Не правда ли, все это несколько отличается от литературной картинке несчастных обитателей скитов, кидающихся в огонь, дабы не попасть в руки свирепой карательной воинской команды? (Впрочем, правительственная политика на протяжении послепетровских веков будет меняться; так, давление на старообрядцев заметно возрастет... в последние десятилетия XIX века. То есть при попытке вернуть Россию в состояние одноконфессионального национального Царства.)

«Отношение светской власти к расколу политика и экономика ориентировали различно, — пишет в цитированной выше статье И. Юркин. — Политика склоняла с ним бороться <...> Экономика советовала раскол не просто терпеть, но, может быть, отчасти и культивировать (хотя бы неборьбой) в его социально приемлемых, минимально дистанцированных от общества и государства формах». Свою точку зрения Юркин основывает на многочисленных цифрах и фактах: «Нетрудно привести примеры действий правительства, сомнительных и неэффективных в плане борьбы с расколом. По городам годами разгуливали „неуказно“ одетые бородачи, лица, заподозренные в причастности к старообрядчеству. Установленные и находившиеся под следствием „расколоучители“ и старообрядческие монахи уходили из-под ареста, беглые крестьяне и горожане, принудительно возвращаемые на места проживания, не скрываясь, пропагандировали по дороге противные господствующей Церкви взгляды <...> Городовые магистраты, несмотря на ограниченность данных им законом прав староверов, весьма успешно их защищали или по крайней мере покрывали <...> Непрерывное расширение границ государства, формирование Империи придает этим событиям и фактам особый оттенок. В этом плане обратим <...> внимание на массовые миграции старообрядцев — их побег. Беглые тянулись не только к западным границам. Они составляли один из главных отрядов русского населения, колонизировавших входившие в состав Империи обширные окраины <...> Итак, начиная с Петра Великого и долгое время после него <...> государство с расколом боролось достаточно вяло. Временами кажется, что ровно настолько, чтобы не слишком ему повредить. Его существование, похоже, стало осознаться как приносящее известную материальную выгоду». Таковы выводы этой статьи.

Несколько необычный материал дают статьи о борьбе Петербурга с суевериями, «к спасению непотребными», ворожбой, «несвидетельствованными чудесами». Само слово «суеверие» возникло в русском языке в первый год имперского века — в 1701 году. И весь этот век правительство вело упорную борьбу за «христианскую веру разумную». Суеверия, подчеркивал Духовный Регламент, распространяются «во всяких чинах». Включая и чин духовный: союзников в этой борьбе у правительства не было.

«Представители духовенства в первой трети XVIII века составляют от четверти до трети обвиняемых в „волшебных“ практиках. Известен даже случай, когда поп Петр Осипов, по его собственному признанию, в Санкт-Петербурге в 1730 г. „после Рождества Христова, когда намерен был он со крестом славить“, читал магический заговор, надеясь, что „те люди, к которым он идет, будут к нему милостивы“. Правда, волшебства не происходило, и попа то прогоняли „в шею и с собаками“, то били „дубьем“, — пишет Е. Смилянская в статье «Православный пастырь и его „суеверная“ паства».

«Особенную нетерпимость власть демонстрировала во всех случаях, когда представители духовенства подозревались в измышлении „чудес ложных, видений, явлений, снов“. Так, например, новгородский дьячок Василий Ефимов за то, что огласил чудо, „будто бы бывшее“ в Троицкой церкви, в 1721 г. даже был казнен. Но и в этих случаях пастыри и прихожане в обращении со святыней или к святыне часто выказывали единство, противодействуя стремлению власти внести „регулярность“ в местную культовую практику через разного рода „освидетельствования“».

Неудивительно, что попытки правительства победить колдовство, «таковые безделия навсегда запретить» долго давали обескураживающие результаты. «Данные „волшебных дел“ демонстрируют, что „бытовое“ обращение к магическим практикам было настолько распространено и составляло такую естественную часть повседневности, что зачастую могло не восприниматься как то „волшебство“, о котором говорится в указах <...> Когда крестьянина Иуду Федорова задержали на дороге сотрудики „питейной конторы“ по подозрению в спекуляции вином, задержанный, оправдываясь, утверждал, что „оное вино корчменное, в которое де сыпана мороженая по прозбе ево соль для лечения им больных ево ног“. Как видим, признание в волшебстве является здесь своего рода защитной стратегией, с помощью которой человек пытается обезопасить себя». Воистину ситуация, непредставимая в Западной Европе!

И все же перелом произошел. В 1720 году начали издаваться «краткие и простым человеком уразумительные и ясные книги» с толкованием церковных догматов, в 1775 — 1778-м появились многочисленные издания образцовых проповедей... В итоге тип священника XIX века уже имел мало общего с описанным в протоколах «волшебных дел».

Сборник не ограничивается изучением России XVII — XVIII веков. «Имперская идея и Шотландское Просвещение» — озаглавлена статья М. Микешина.

«В конце XVII — начале XVIII века еще одна страна в Европе совершила переход из состояния „царства” (точнее, „королевства”) в состояние „империи”. Я говорю о Шотландии, которая в 1707 г. добровольно присоединилась к Англии и образовала вместе с ней Британскую империю <...> Союз бедной, социально и экономически отсталой Шотландии с процветающей Англией вовсе не был <...> союзом неравным. Более того, Шотландия имела <...> даже определенные преимущества над сытой и чересчур коммерческой соседкой. Так, Адам Смит считал, что его родина имеет преимущества в области культуры и образования <...> По Смигу, Шотландия может снабжать партнера общими идеями и гуманитарной культурой. Без них Англия не сможет продолжить свое развитие <...> Без сомнения, говорил Смит, такая специализация в энциклопедической и книжной культуре не будет очень доходной в материальном смысле, но придаст шотландцам в Империи некий особый статус <...> Специализированная, механистическая и неметафизическая культура Англии объединилась в Империи с гуманитарной, интеллектуально прогрессивной, философствующей и метафизической даже на обыденном уровне культуры Шотландии».

Что ж, идеи подобного взаимодополнения понятны и естественны, они высказываются сегодня нередко (см., например, статью Кирилла Якимца «Окно в Америку» в № 6 «Нового мира» за 2003 год). Вот только аристократическая Англия XVIII века и ее сегодняшний аналог — Соединенные Штаты Америки — все-таки не одно и то же. Способна ли «Новая Англия» понять, что без «Шотландии» она попросту не сможет продолжить свое развитие? Ответы на такие вопросы неочевидны, и диктоваться они должны не оптимизмом, а трезвым изучением реальностей окружающего нас мира. Реальность же наших сегодняшних взаимоотношений с далеким партнером совсем не та, что у двух маленьких, веками живших бок о бок островных народов три века назад. В писаниях и выступлениях американцев нередко дружелюбие и симпатия к нам. Но при самом горячем желании трудно увидеть в них какое-либо понимание возможной общей судьбы...

Трудно рекомендовать широкому читателю сборник, вышедший тиражом всего 500 экземпляров. Но не хотелось бы, чтобы он прошел незамеченным: собранные в нем статьи важнее для прояснения существа актуальных проблем, чем расхожая публицистика. Ценный материал копится, как фактический, так и концептуальный. Представляется, что скоро будет набрана критическая масса — и общественное обсуждение имперских путей и проблем выйдет на качественно новый уровень.

Валерий СЕНДЕРОВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ

+10

Книги, волею случая (который, согласно А. С. Пушкину, есть мощное орудие Провидения) оказавшиеся на моей книжной полке, вряд ли подлежат оценке с точки зрения системы +/-, принятой в этой рубрике журнала «Новый мир». Но раз уж таковы условия, выставляю всем «плюсы». Потому что с точки зрения того, как книги сделаны, они все очень качественные, и вопросы, которые в них подняты, — это

все реальные, я бы даже сказала, насущные вопросы. А вот о том, что в них сделано столь качественно, в том числе и об оценке этого что уже не с точки зрения его реальности, а с точки зрения того, как изменяет реальность его присутствие в ней, можно поговорить. А посему дополнительно к «плюсам» выставляю эпитафию:

...великая битва образов, движущихся
к Богочеловеку или к обезьяночеловеку.

А. К. Горский об искусстве¹.

Умберто Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. Перевод с английского Александры Глебовской. СПб., «Symposium», 2002, 285 стр.

Шесть лекций, прочитанных Умберто Эко в 1994 году в Гарвардском университете, посвящены описанию и оценке роли читателя в художественном повествовании или, может быть, точнее, *ролям* и функциям читателя, которые, собственно, и способны превратить художественное повествование (дискурс, как у нас теперь говорят) в художественное произведение. Ибо после объявленной на Западе в шестидесятых годах XX столетия «смерти автора» именно читательская энергия воспринимается там как активная и аккумулирующая смыслы художественного текста: «Так обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст»². Вот уже сорок лет Запад смотрит на произведение не глазами творца, но глазами воспринимающего³, и чрезвычайно характерно, что автор романов, издающихся многомиллионными тиражами, в своих лекциях о литературе тоже является в амплу читателя⁴ (в частности — многолетнего читателя «Сильвии» Жерара де Нерваля), и многочисленные «образы автора», выявляемые им в тексте, обретают свое существование лишь в соотнесенности с соответственными образами читателя. Вполне логично, что после объявленной несколько ранее «смерти Творца» творец не мог выжить, и создателю (равно как и Создателю) позволено было существовать лишь в качестве проекции воспринимающего, ставшего отныне организующим центром творения. Однако, следуя за блужданиями Эко в «лесах» Жерара де Нерваля, нельзя не отметить чрезвычайной плодотворности позиции воспринимающего, которому впредь не к кому предъявлять претензий по поводу несовершенства сотворенного. «Образцовый читатель» (имеющий своей проекцией «образцового автора») определяет собою пути следования для эмпирического читателя, обязанного отныне, в силу заданной «образцовым читателем» планки, отбросить позволительную ранее читательскую лень, склонность списывать за счет недостат-

¹ Пожалуй, к эпитафии необходимо пояснение. Обезьяночеловек не есть непременно человек-животное, это может быть понято и как «человек, связанный с природными стихиями и владеющий или одержимый ими». Стоит вспомнить изображения богов в египетской и шумеро-вавилонской культурах (соответственно — люди с головами животных и животные с головами людей), чтобы понять, что я имею в виду. Хануман индустов — мощнейшее стихийное божество в облике обезьяны. Таким образом, смысл эпитафии может быть прочитан как движение посредством искусства в сторону сотрудничества с Богом или стремления самостно овладеть стихийным могуществом в замкнутом отречении от Бога мира.

² Барт Р. Смерть автора. — В его кн.: «Избранные работы. Семиотика. Поэтика». М., 1994, стр. 390.

³ Впрочем, понятно, что на Западе такая позиция — доминирующая позиция зрителя — возникает уже в середине XV века, при переходе от иконы к картине. Именно тогда «сама его зрительная способность впервые провозглашается главным критерием истинности знаний о мире» (Прилуцкая Т. И. Живопись итальянского Возрождения. М., 1995, стр. 4).

⁴ При этом возникает ощущение, что о себе *как об авторе* он знает очень немного и это немного знает довольно поверхностно.

ков и недоработок автора собственные недопонимание и невнимательность и целиком отдаться внимательному пониманию — единственной достойной читательской позиции. Привлекательна и щемящая нежность, испытываемая читателем, втайне претендующим на статус образцового, к эмпирическому автору, блуждавшему в сотворенных им «лесах» без карты и плана и иногда так и не смогшему выбраться. Нельзя не отметить, что мы, при всем нашем стремлении в последние десятилетия следовать за западным литературоведением, так и не смогли сосредоточиться на категории «читателя» и продолжаем вести (во всяком случае, в актуальной критике) споры и войны с автором, часто даже в том случае, когда авторское лицо и авторская позиция, благодаря наличию сложной системы повествователей (как, например, у Шарова, см. далее), ни разу не проявились в дискурсивном плане произведения. На мой взгляд, эта разница позиций заслуживает не оценки, а осмысления.

Аврил Пайман. История русского символизма. Авторизованный перевод. Перевод с английского В. В. Исакович. М., «Республика»; «Лаком-книга», 2002, 415 стр.

Очень хорошая книга о *внешней* стороне жизни символистов и символизма: топография и история идей в гораздо большей степени, чем история событий. Идей, определявших жизнь их носителей как в мире со-бытийном: бытийном и бытовом, — так и в мире личностном, индивидуальном — в чрезвычайно сложной субъективной жизни тех самых идей, которые очерком представлены в исследовании Пайман. Цитаты в книге — как обрывки мяса и внутренностей на коже. И, налетая на каждую, думаешь: вот здесь бы копнуть, нырнуть бы поглубже — и весь организм покажется, живой и целый; но у автора иная задача, и, не останавливаясь, мы мчим дальше...

Заявлена — очень привлекательная — позиция «не столько критика, сколько хроникера». И все же остается впечатление, что автор (в меньшей степени, чем это нередко бывает, но все же пусть даже невольно и неосознанно) полагает себя занимающей позицию, с которой можно лучше рассмотреть реальность сквозь все эти «неозаренные туманы», чем то оказалось доступно ее героям. Или, вернее, она молчаливо принимает, что имеется некая более рациональная реальность, чем отображена у символистов, и ее, этой реальности, дерационализация — все же в некоторой степени художественный прием. Один ничтожный пример: «В другой раз Блок выступил со стихами и своим чтением дал присутствующим предметный урок символистской неопределенности. Когда он окончил стихотворение „В голубой далекой спальне / Твой ребенок опочил“, молодые актрисы недоумевали: „Умер ребенок или он просто спит?“ На это поэт отвечал: „Я не знаю“» (стр. 273). То, что заявлено здесь как своего рода «поэтический троп», как некая методология определенного направления в искусстве, как свойство «вторичной реальности» («предметный урок символистской неопределенности»), для Блока таковым вовсе не является. Он действительно *не знает*, то есть он *не видит* отсюда, не может разглядеть, разобрать — и так и говорит; то есть говорит только то, что видит. Символисты говорят о себе как о визионерах, исследователи и критики, сбитые с толку их теориями поэтического творчества (в том числе и тщательной разработкой технических его аспектов, чему Аврил Пайман уделяет немало места), зачастую обращаются с ними как с «ремесленниками». А у них были не недоработки, а только «недосмотры», «недослышания».

Очень хорошая книга, но возникает вопрос, не может ли она сбить с толку, представить читателю то, что по замыслу автора является картой и схемой, как реальность и глубину. По нашим-то меркам их плоскость куда как не плоска, их поверхность куда как не поверхностна...

Лена Силард. Герметизм и герменевтика. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2002, 328 стр.

Очень хорошая книга о *внутренней* глубине жизни символистов и символизма. О его герметических корнях и герменевтических ветвях. Об устремлении в глубину истории и истины, события и смысла. Об изменении качества взгляда, которым

созерцается реальность. Об изменении качества реальности, проницаемой *таким* взглядом. Не случайно главным героем книги, составленной из ряда статей, написанных и опубликованных в разное время и посвященных разным персонажам и разным проблемам, оказывается (или, во всяком случае, ощущается) Вячеслав Иванович Иванов — глава и вершина и горизонт русского символизма. Символизм — как очередной выход на поверхность иной, неявной, и все же никогда не скрытой, затухающей на долгие годы и все же непрерывной традиции европейской культуры, существующей на иных основаниях, чем явный и определяющий эту культуру рационализм. Традиции, покоящейся (ох! — совсем не верное слово — это рационализм может «покоиться» и «опираться»: на бинарные оппозиции, субъект-объектные отношения, на самоидентичность субъекта и объекта, на связь означающего с означаемым⁵ — эти столпы «аристотелевской традиции» хорошо обозначены в предисловии к книге, написанном С. Бочаровым и М. Виротайнен), — так вот, традиции, существующей в непрерывном напряжении субъект-субъектного отношения, живом бытии единого энергетического поля, где «бинарные оппозиции» — всего лишь его границы, а субъект может быть утверждён в своем существовании лишь обращенным к нему «ты еси». Традиции, где нельзя говорить о *связи* между «означаемым» и «означающим», потому что «означающее» и «означаемое» там одно, единая сущность, по-разному явленная и именно через свое явление в качестве «означающего» доступная для воздействия, для сообщения и общения. Эта традиция очень привлекательна для утомленных мертвой механистичностью рационализма, но здесь есть свои опасности, и немалые. Если рационализм угрожает овеществлением окружающего, превращением манипулирования в основной принцип общения, а в конце концов — окаменением, омертвлением самого субъекта, то герметическая традиция соблазняет властью над душами вещей, порабощением окружающего, но часто сбывается иное — и душа, искавшая власти, истощается в непосильном усилии, не выдерживает напряжения борьбы, сама попадает в плен стихий, в плен магических сетей, которыми думала овладеть, — и сколько судеб «рубежа веков» сокрушилось на этих туманных и темных, извилистых путях.

Лена Силард (кстати, бывшая наша соотечественница, Елена Айзатулина) — прекрасный переводчик и истолкователь (то есть интерпретатор и герменевт) герметического языка символизма потому, что это — ее родной язык; полагаю, она понимала его задолго до того, как прочла первого в своей жизни символиста. Но она тщательно и рационально выстраивает словарь, указывает ближайшие и отдаленнейшие примеры словоупотреблений (см. в первую очередь статьи: «Дантов код русского символизма», «К символике круга у Блока»; но на самом деле вся книга об этом) — скептическому читателю не приходится верить ей на слово.

Можно сказать, что как исследователь (здесь больше бы подошло слово «испытатель») она занята не символизмом и не символистами — она занята тем же, чем были заняты и они, их область интересов совпадает (а символисты были заняты отнюдь не «символизмом», символизм был только путем, способом достижения того, что их так больно и жизненно занимало). И это сродство интересов, эта общая устремленность взглядов — единственная истинная позиция для постижения символизма.

О жизни схиархимандрита Виталия. Воспоминания духовных чад. Письма. Поучения. М., издание Новоспасского монастыря, 2002, 207 стр.

Первый опыт составления жизнеописания схиархимандрита Виталия, в миру Виталия Николаевича Сидоренко (1928 — 1992). «Воспитанный в традициях Глинской пустыни у великих старцев, он прошел путь и монастырского послушника, и странника-юродивого, и монаха-пустынника. Явившись наконец пастырем многих

⁵ Именно констатация такой *связи* и именно в рамках рационалистической традиции приводит постепенно к утрате, к распаду этого отношения. Потому что связь устанавливается там, где, как предполагается, ее не было, то есть устанавливается произвольно, конвенционально, и, конечно, при таких условиях всегда возможна ее утрата.

Христовых овец, как истинный христианин он сам исполнил Евангелие всей своей жизнью. Читая эти страницы, мы увидим человека, никогда и ни в чем не дававшего себе поблажки, добровольно выбиравшего самый тяжелый жизненный крест: страдания, унижения, гонения, непосильные труды, — и все это для того, чтобы смирить свое сердце, сделать его достойным принятия Божественной благодати и любви».

Очень просто написанная книга о простых вещах — вере, любви и надежде среди мрака, гонений (начиная с гонений от самых близких) и кажущейся безнадежности; о бесконечном самоотречении в мире торжествующей самости; о человеческом величии, достигаемом последним смирением; о непрерывности чудес (как присутствия Божества в тварном мире) — в мире, нашим неверием сделанном серым и плоским. О том, что Бог везде, куда Его пускают. О том, как святые живут среди нас. О том, что «традиционное Православие» никогда не было «пассивной религией». О величии подвига послушания, послушания человеку, подготовляющего послушника к послушанию Богу, к сотворению себя орудием Божества — с тем, чтобы делать работу Божию в мире: спасать, исцелять, мертвых воскрешать, голодных питать, заблудших возвращать на пути истинные, вражду умирять, все вокруг себя преобразовать в бесконечную красоту, давая выступать из тленных пелен первозданному раю. А чтобы все это сотворить — зреть всякого человека пред собою, видеть прошлое и будущее, чистым зрением видеть замысел Господень о всякой душе — и помогать ему совершиться. О том, что соединившийся с Богом человек един со всеми людьми, какими бы они ни были разрозненными и отъединенными, и чтобы так соединиться со всеми, вовсе не надо ждать «всеобщего объединения». О преобразующей силе одного человека, для которой не требуется никаких «технических приспособлений» и «научного прогресса». И обо всем этом — просто факты, рассказы очевидцев и участников великого таинства, к которому призван всякий человек, — «свободы славы детей Божиих».

Протоиерей Александр Шмеман. Исторический путь Православия. М., «Православный паломник-М», 2003, 367 стр.

«Эта книга — не история Православной Церкви, еще менее — научное исследование» — так начинается предисловие к своему труду о. Александр Шмеман, выдающийся богослов и один из *просветителей российской интеллигенции* (я бы таким образом назвала славную плеяду православных священников, очень разных, от о. Александра Меня до владыки Антония Сурожского, в которых, однако, наша интеллигенция согласилась видеть своих учителей на пути к Православию, к которым она отнеслась с интеллектуальным доверием, — и это был огромный по своему значению, а также — по требовавшемуся порой для него усилию акт). «Читатель найдет здесь как бы комментарий к такой истории с ссылками на главные события, попытку в прошлом отличить главное от второстепенного, отметить — хотя бы в основном — веки длинного исторического пути Православной Церкви».

Я бы сказала, что это история Православной Церкви, рассказанная человеком, находящимся внутри этой истории, вместе с Церковью проходящим ее *исторический* путь; а *исторический* путь — это всегда путь отпадений, расколов, потерь — до того времени, пока не будет пройден до конца: путь греха членов Церкви против Церкви, покрывающей и исцеляющей все грехи, восстающей на каждом (историческом) шагу из праха и пепла, на каждом временном отрезке кажущейся потерпевшей сокрушительное поражение и всегда вновь сияющей в славе. Такая история радикально отличается от истории, рассказанной *извне*, «объективным» исследователем; отличается прежде всего исполненностью смыслом, правильной (потому что невероятно много открывающей) перспективой, возможностью объяснения и понимания самых необъяснимых *извне* фактов. В сущности, «первообразом» такой истории являются Деяния Апостольские, написанные, согласно Преданию, евангелистом Лукой, и вот как характеризует эту историю первоначальной Церкви о. Александр: «Из всех новозаветных авторов Лука более других может быть назван историком в нашем понимании этого слова, и все же не на одной истории, не на истории как таковой сосредоточено его внимание. Его тема — Церковь как завер-

шение Нового Завета, как исполнение в мире, то есть в человеческом обществе, в истории, — дела, совершенного Христом. Не просто история Церкви, а прежде всего она сама, ее живой образ, ее сущность, какими раскрылись они в самые первые годы ее существования, — вот содержание этого основоположного для церковной истории памятника. Это — первое учение о Церкви, показанное в фактах ее жизни, а потому и из фактов выбраны лишь те, которые служат этой цели, которые существенны для понимания этого учения».

Перед нами история, написанная человеком, пережившим потрясающую силу перерождения в крещальной воде, а не тем, кто стоял на берегу и может лишь констатировать, что кого-то окунули три раза с подобающим случаю присловьем. Эта книга — возможность для честно заинтересованной, но не воцерковленной и даже неверующей части нашей интеллигенции все же познакомиться с историей Православия, с причинами — историческими и догматическими — разделения церквей, с истинной «феорией»⁶ Церкви, проступающей сквозь всегда неполные и часто склоняющиеся от истины ее воплощения в исторической действительности.

Юрий Мамлеев. Задумчивый киллер. М., «Вагриус», 2003, 302 стр.

Очень качественная проза. Думаю, потому, что предельно точная. Крайне реалистичная, скорее даже — натуралистичная, хотя описываемые явления могут кому-нибудь показаться и довольно фантастическими. О мире людей с редуцированной душой и о самом процессе этой редукции. О том, как душа (по лени и сонливости, по мечтательности, по беспутности или по иным причинам) покидает тело или они расходятся по разным планам бытия (представлено много вариантов), а тело тем не менее продолжает существовать и действовать на нашей с вами земле — или управляемое все более мелкими и кривыми обрывками души, или зомбируемое собственной душой, находящейся уже в адских областях, или ставшее пристанищем для могучих и чудовищных духов, прежде всего *нечеловеческих*, то есть не просто нарушающих все человеческие представления о добре и зле, о должном и возможном, но находящихся вообще за границами применения этих представлений. Или даже — и едва ли это не самый жуткий вариант — тело начинает существовать и действовать в абсолютно автономном режиме, и это даже всех устраивает, да, впрочем, никто этого и не замечает.

И, однако, здесь встает вопрос (чрезвычайно настоятельно встает — в том числе и из-за специфической стилистики текстов Мамлеева): фиксирует ли только автор такое состояние человека в мире вокруг себя, или он своими текстами активно способствует приобретению человеком этого состояния? Создает в мироздании дополнительные дыры для вторжения всего нечеловеческого? Выполняет, словом, ту самую роль, которую в XV — XVII веках в Европе приписывали ведьмам и колдунам, почему и разгорелись костры инквизиции? Защитники очаровательных ведьмочек (или «несчастных истерических женщин») и могучих магов (или «просто решительно отбросивших средневековые запреты ученых») зачастую довольно смутно себе представляют, чем на самом деле была инквизиция⁷. Культура из последних сил пыталась защитить себя от разгула магизма, от «вредительства», причиняемого средствами, не признаваемыми рациональным сознанием, но в наше время вновь занявшими свое место среди других способов борьбы человека с человеком (примеры⁸ объявлений в наших газетах: «Приворожу навсегда» или «Устраню любую соперницу», «Внушу отвращение к разлучнице»; для сравнения: в «Молоте ведьм» многие и многие страницы посвящены проблеме наведенной импотенции). И вот суть совершаемого ведьмой и колдуном, пожалуй, очень точно вы-

⁶ Теория (θεωρία) по первоначальному смыслу — созерцание священного зрелища, богопознание.

⁷ На всякий случай поясню, что я *при любых обстоятельствах* против сжигания людей на кострах другими людьми (кроме того, это средство уже доказало свою неэффективность), но надо же понимать, что там на самом деле происходило!

⁸ Ничтожные примеры явления, в настоящее время уже не уступающего тогдашнему по массивности и размаху.

ражена в следующем месте популярного на протяжении веков сочинения Шпренгера и Инститориса: «<...> можно заключить, что ведьмам для поражения скота достаточно лишь прикоснуться или бросить взгляд, а все остальное производит демон. Если бы ведьма не принимала в этом никакого участия, то демон не мог бы производить вредительства против созданий, как об этом и было сказано выше»⁹. Из приведенной фразы следует: во-первых, для совершения зла и нанесения вреда миру, для порчи творения демону необходимо сотрудничество человека; во-вторых, это сотрудничество может быть ничтожным, просто обозначением факта, то есть разрешением на демонское вторжение. В памяти христианской культуры неизгладимо запечатлено: человеку дано уникальное достоинство (и это достоинство не отнято у него и после грехопадения) — быть хозяином и работником — садовником на земле, владельцем творения. И поэтому без соизволения и помощи человека (хотя бы просто как проводника иного влияния) ничто не совершается на земле. Гоголь, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», только и писал о том, что человеку достаточно повернуть взгляд, чтобы впустить зло или добро в мир, так что мы могли бы это усвоить и без Шпренгера с Инститорисом. Ныне все чаще и чаще человек, пользуясь, давно уже зачастую бессознательно, этой своей великой властью, «подставляет» и «сдает» (как теперь говорят) творение. Вот это *предательство* (по каким бы причинам оно ни совершалось) по отношению к миру Божию и своим собратьям, это открывание ворот мироздания захватчикам и разрушителям и каралось *светскими властями* (ибо именно светской власти вручен меч для защиты границ) после того, как констатировалось инквизицией. С этой точки зрения не так удивительна и борьба *общественной организации* против Владимира Сорокина (говорят, ученика и последователя Мамлеева). Люди словно инстинктивно ощущают, что *вред*¹⁰, приносимый такого рода искусством, нуждается в некоем общественном (только лучше бы не коллективном, а соборном) противостоянии.

Очень искусная проза...

Ролан Барт. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., Издательство им. Сабашниковых, 2003, 512 стр.

Чрезвычайно качественная игра в бисер. Где-то в самой глубине эта книга родственна предыдущей: обе представляют опустошающийся на глазах, но при этом весьма успешно функционирующий мир. Сложно о сложных вещах (сложными становятся простые вещи в результате их расчленения и приведения в негодность с точки зрения их истинного бытия и смысла; зато то, что получается, прекрасно поддается различным операциям и преобразованиям, чрезвычайно зрелищным и в пределе бесконечным). Огромный умственный потенциал затрачен на разработку сложнейшей и точнейшей (во всяком случае — тончайшей) научной методологии и методик, позволяющих с двухсотпроцентной надежностью констатировать ряд безусловно бессмысленных и весьма небезынтересных пустяков. Например, показать, как паразитирует язык моды и подобных систем (рекламы, например) на словах и вещах мира, как на наших глазах производится подмена значительного незначительным с тем, чтобы мы потом принимали (и покупали) незначительное как чистое золото, без лигатуры. Вникнув в методологию Барта, легко понять (и показать), как рафинированное подсолнечное масло становится в рекламе эквивалентом спокойствия и душевного равновесия ближних и устремляющийся за этими труднодостижимыми благами покупатель временно удовлетворяется, получив бутылку масла. Приведу цитату, характеризующую, на мой взгляд, одновременно и предмет, и метод книги: «Мода бессодержательна, но не бессмысленна. Это своеобразная машина, поддерживающая смысл, но не фиксирующая его; это сплошной уклончивый смысл, но все же смысл; лишенная содержания, мода зато функционирует как зрелище — в ней люди демонстрируют свое умение

⁹ Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. Саранск, 1991, стр. 239.

¹⁰ Колдуна в Средние века называли «малефик», то есть вредитель.

делать незначимое значимым; тем самым она предстает как образцовая форма акта сигнификации вообще и в этом сближается с основной задачей литературы — раскрывать читателю в вещах значение, но не смысл; оттого она становится знаком собственно человеческого. Этот ее сущностный статус отнюдь не бесплотен: обнаруживая свою чисто формальную природу, система Моды-описания воссоединяется со своими глубочайшими экономическими основами; именно процесс активной, но пустой сигнификации придает модному журналу институциональную устойчивость; поскольку для такого журнала говорить — значит упоминать в речи, а упоминать — значит делать значимым, то речь журнала есть самодостаточный социальный акт, каким бы ни было ее содержание; такая речь может длиться бесконечно, ибо она пуста и вместе с тем значима, — ведь если бы журналу *было что сказать*, он попал бы в такой ряд, где целью является именно высказать это „что-то“ до конца; напротив того, ведя свою речь как чистое значение без всякой содержательной основы, журнал вступает в процесс, который состоит в чистом поддержании равновесия и теоретически не имеет конца». Весьма небезынтересное чтение, но непонятно, почему все время лезет в голову чье-то высказывание (кажется, Аристотеля): «Лучше ничего не знать, чем знать малоценное».

Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря. М., «Вагриус», 2003, 366 стр.

Хороший философский роман. В пространной рецензии можно было бы указать на некоторые изъяны формы, впрочем весьма незначительные. А вот безусловное достоинство формы (могущее стать своеобразной ловушкой для читателя) нельзя обойти: необходимо отметить очень сложную стратегию «вложенных» один в другого повествователей (*буквально* вложенных: последовательно выдерживается эпистолярная форма, причем в письма первичного героя-повествователя вкладываются письма следующего героя-повествователя, содержащие, в свою очередь, отсылки к другим письмам, которые своим появлением переинтерпретируют второй уровень и т. д.); все *повествователи* — в той или иной степени федоровцы, причем автор своим лицом ни разу не появляется на сцене, у него нет ничего, даже близко напоминающего «резонера», при этом заканчивается роман письмом повествователя «четвертого уровня», что в соответствии с семантикой литературных форм значит примерно «на колу мочало, начинай сначала», то есть требует перечитывания текста под новым углом зрения, оформляющимся у читателя лишь при завершении чтения по первому разу.

Владимир Шаров, очевидно, больно ушиблен федоровским учением. К сожалению, я не успела познакомиться с его более ранним романом, вызвавшим чрезвычайную реакцию критиков и резкое отвержение со стороны тех, кто изучает наследие Н. Ф. Федорова. Но с проблемами, которые автор поднимает в «Воскрешении Лазаря», на мой взгляд, необходимо считаться. Даже если окажется, что он неправильно понимает федоровское учение, совершенно очевидно, что не он один его *так* неправильно понимает. Речь, в общем, идет о вариантах федоровского проекта как воскрешения в плоскости земного бытия, как возвращения в ту же самую реальность, которую человек покинул, умерев. Как отмечает прот. Георгий Флоровский¹¹, цитируя Федорова: «„Христос есть воскреситель, и христианство есть воскрешение; завершением служения Христа было воскрешение Лазаря“¹² ... Это не случайная обмолвка. Христос и был для Федорова только величайшим чудотворцем, которому духи и стихии повинуются. Таинство Креста оставалось для него закрытым, — и „самая крестная казнь, и смерть Христа были *лишь* бессильным мщением врагов воскрешения и врагов Воскресителя“... Вифания, где воскрешен был Лазарь, для Федорова выше Назарета, и Вифлеема, и самого Иерусалима...»¹³ В сознании героев Шарова, именно в силу такого понимания, дело Христа

¹¹ Один из тех, кто видел в учении Федорова те же опасности, что видит и Шаров.

¹² Таким образом, само название романа Шарова бьет в сердцевину проблемы, осознаваемой Флоровским в связи с учением Федорова.

¹³ Флоровский Георгий, прот. Пути Русского Богословия. Paris, «YMCA-PRESS», 1983, стр. 327 — 328.

требует повторения, воспроизведения, переименования, *потому что оно само по себе недостаточно*, оно — лишь своего рода образец. Вся метаистория человечества повторяется и воспроизводится, чтобы разрешиться в земной плоскости. Для этого мичуринец Халюпин (странным письмом-видением которого и завершается роман) выводит саженец дерева познания добра и зла, к которому надо не допустить прародителей, неудержимо влекущихся к нему силою засеявшего в их внутренних змея-искусителя. Шаров очень последователен (а его герои предусмотрительны) — ведь если, повернув энергию эроса в обратном направлении, воскрешать поэтапно всех предков, то дело дойдет же до Адама и Евы, и тогда вопрос с древом познания встанет вновь. Данная автором триада возможного воскрешения (Христом, потомками умерших, чекистами, обладающими наиболее полными сведениями об убитых) — сильный ход. Причем начинается гонка: дочь, готовая отказаться от идеи воскрешения отца, так как понимает, что он не хочет и боится воскресать в ее руках, вновь берется за дело, узнав, что воскрешением занялись и чекисты. Невольно напрашивается вывод: воскреснуть в руках своего потомка по сравнению с воскресением во Христе — так же чудовищно, как воскреснуть в руках чекистов по сравнению с воскресением в руках собственной дочери.

Очевидно, Шаров (надо сказать — я тоже) не сомневается в *принципиальной возможности* реализации федоровского проекта именно как проекта секулярного. Ужас перед этой возможностью и движет его пером...

Анастасия Гачева, Ольга Казнина, Светлана Семенова. Философский контекст русской литературы 1920 — 1930-х годов. М., ИМЛИ РАН, 2003, 400 стр.

Рельефная карта философии 20 — 30-х годов, оттенки и направления этой философии, объединяемые некоей общей мыслью и рассмотренные под ее углом. Эта мысль — хозяйственная задача человека на земле. Еще на рубеже веков (опиравшиеся в этом смысле на непрерывную традицию XIX века, но переключившие ее в какой-то совсем иной план) весь мир был вновь восчувствован как человеческое хозяйство, причем не политэкономами и политиками, но поэтами, художниками и философами отнюдь не материалистического толка. Эта мысль легла в фундамент философии указанного в заглавии книги периода. Для философов самых разных направлений определяющими стали положения о человеческой активности и *ответственности*, об *обязанностях* человека перед мирозданием. (Думаю, отчасти это было ответом на провокацию официальной идеологии, провозглашавшей *права* трудящихся — в действительности бесправных и безответственных.) О книге можно говорить долго, но остановимся на сюжете, связывающем ее с предыдущей, — на идеях последователей философии Федорова. Автор раздела «Религиозно-философская ветвь русского космизма», А. Гачева, указывает на целый ряд идей Федорова и его последователей, не позволяющих уплощенно толковать учение космистов. Такова, например, идея органического прогресса, рассматривающего продукты технического прогресса лишь как «протезы» соответствующих человеческих органов, еще не развитых или редуцированных. Таким образом, технические достижения оказываются полезными лишь как некий проект «полноорганного» человека, человека, развившего в себе все присущие ему возможности, утраченные в процессе грехопадения или еще не развитые эволюционно (этот пункт для меня не ясен). Следовательно, и воскрешение предполагает восстановление человека «в новой славе», а не в прежнем несовершенном теле. Однако развития «полноорганности» случалось достигать как святым с помощью Божией, так и самоправным личностям, овладевавшим стихиями магическим путем. Странный федоровский проект заселения звезд воскрешенным человечеством все же заставляет думать, что воскрешение совершается в плоскости непреображенного мира... Словом, несмотря на объем, который получают идеи космистов в изложении Гачевой, вопросы Шарова вовсе не падают сами собой.

Н. А. Сетницкий. Из истории философско-эстетической мысли 1920 — 1930-х годов. Выпуск 1. Составление Е. Н. Берковской (Сетницкой), А. Г. Гачевой. Подготовка текста и комментарии А. Г. Гачевой. М., ИМЛИ РАН, 2003, 624 стр.

Серия должна состоять из трех выпусков, включающих труды последователей Н. Ф. Федорова, — Н. А. Сетницкого, А. К. Горского, В. Н. Муравьева. Сейчас перед нами — замечательный том переизданий почти недоступных брошюр и впервые публикуемых работ Николая Александровича Сетницкого (1888 — 1937), частично написанных в соавторстве с А. К. Горским. Весьма внушительное впечатление производят комментарии. Книга заслуживала бы «длинной» рецензии, поскольку в центре размышлений Сетницкого (и его соавтора) — чрезвычайно актуальная и острая проблема «христианского активизма», христианского общественного делания, понимаемого очень широко. Последователи Федорова ставят столь интересующий нас (здесь уже в третий раз) вопрос о борьбе со смертью прежде всего как задачу для *объединенного человечества*. (На мой взгляд, это было бы возможно лишь при объединении всего человечества в *единую вселенскую Церковь святых*. Но авторы этого в виду не имеют.) Они объявляют «смертобожническим» сознание «ограниченности человечества и невозможности для него *самостоятельно и самобытно* обладать бытием в себе». Слова «самостоятельно и самобытно» указывают все же на идею *автономного* бытия человечества, для которого, кстати, по мнению авторов, иконы есть лишь *символические* или *проективные* изображения (то есть побудители к деятельности), а не *дверь в другой мир*, не место встречи. Кажется, и литургия дает лишь *символическое* единство причащающихся. То есть, по моему ощущению, авторы оказываются глухи к христианскому реализму. Да и сама смерть (что неоднократно уже отмечалось критиками федоровского учения) понимается здесь очень суженно, лишь как механический распад, разложение, переход в небытие. Но в христианстве смерть (особенно — после пути, открытого Христом¹⁴) — не процесс распада, а процесс *перехода*, возможно, процесс приобретения опыта, недоступного человеку в его «обрезанном» после грехопадения состоянии. С тем, чтобы вернуться с иным знанием, например, возможностей того же тела...

Вообще, думаю, что Шаров не зря бьет тревогу. У учения Федорова и его последователей есть все для того, чтобы именно в настоящий момент приковать к себе внимание значительной части человечества. И есть основания опасаться, что это учение будет воспринято именно в его секулярном варианте, несмотря на комментарии исследователей, убеждающих нас в его последовательном христианстве (в этом убеждены и сами Сетницкий с Горским). Во всяком случае, проблемы, поставленные федоровцами, чрезвычайно остры и многих заденут за живое. Ведь в основе всего учения лежит идея альтернативности перспектив человечества и возможной отмены Страшного суда...

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ДУРНО ПАХНУТ МЕРТВЫЕ СЛОВА

(1) Любопытно, практически не знаю французского, английского и немецкого, читаю по слогам, иногда. Не столько любопытно, сколько досадно. Не столько досадно, сколько объяснимо. Впрочем, не мешает понимать знаменитый занимательный журнал «Кайе дю синема», устроенный так ловко, спроектированный так грамотно, что все понятно человеку без языка.

¹⁴ Распятие и смерть Христа не являются для авторов необходимым условием нашего спасения, а есть лишь историческая случайность, обусловленная безответностью человечества на Его призыв, в первую очередь на призыв, прозвучавший в воскрешении Лазаря...

Между прочим, при ближайшем рассмотрении сей факт озадачивает. Ведь русскоязычная печатная продукция, напротив, зачастую непонятна: розовый туман. Это связано с тем, что в свое время у нас в моде был высокий образовательный стандарт, возведенный в степень неограниченного досуга. Но об этом ниже.

Два года назад, подводя итоги года, журнал «Кайе дю синема» объявил лучшим фильмом «Маллхоланд драйв» американца Дэвида Линча. Во французском опроснике, у критиков и постановщиков, лента не опускалась ниже второго места, а чаще первенствовала.

Подивившись выбору, я поспешно объяснил его тем, что решающую стадию производства финансировали французы. Они же премировали фильм в Канне (спецприз за режиссуру, *третий* в иерархии фестиваля, но тоже попробуй заслужи!). Линч не интересовал меня настолько, что в свое время я проигнорировал и «Голубой бархат», и «Диких сердцем», и даже общеупотребимый «Твин Пикс». Дело, скорее всего, в том, что *доверчивый* я оценивал Линча по отечественным рецензиям и устным впечатлениям очевидцев. То, что писали (говорили), не внушало энтузиазма: мистика, инфернальное томление, декадентство и постмодернизм. Короче, все тот же туман, но не розовый, а зловещий. Многим нравилось, прочие отдавали должное «профессионализму». Один лишь я ходил меж ними и — презирал. Спекулятивного мистика, а заодно всех заинтересованных в его кинематографе лиц.

В ответ на мою просьбу откомментировать французский выбор наши критики, режиссеры и синефилы посмеивались: «Францу-узы, блин. Эстеты». А для чего же вы с завидным постоянством смотрите американского уroda?! На этот опасный вопрос, впрочем, не отважился. Они же, блин, профессионалы: быть в курсе, смотреть все.

Два года спустя, недавно, жестокий таинственный голос приказал «иди и смотри». Два раза подряд, со все возрастающим изумлением смотрел самого нелюбимого (конечно, после Феллини) режиссера. Полдня лихорадочно читал отклики российской критики. Заснул с головной болью, в тоске. Было страшно. За себя, страну и душевное здоровье ее элиты. Проснулся новым человеком, чуточку злым.

(2) Прочитав книгу эссе Эдуарда Лимонова «Русское психо» (М., 2003), обратил внимание на термин «главный протагонист». Не в том дело, что термин избыточен, фактически тавтологичен (греч. *prōtos* означает «первый»). Допускаю, что Лимонов знает это не хуже меня. Тем более, что и греческим я «владею со словарем», то есть хуже некуда, то есть никак. Потопчемся, разберемся, потому что такое словоупотребление обнаруживает важную особенность письменного текста.

При желании писатель может позволить себе роскошь — завести несколько протагонистов. Кстати же, говорить в этом случае о «главном» не приходится. Лучше всего иллюстрирует подобную стратегию знаменитая притча Чжуан Цзы о бабочке, воистину любимая притча советской интеллигенции. Кто кому приснился: бабочка философу или наоборот? Кто *реален*, а кто *фантом*? Но литература не обречена на окончательное решение. Наоборот, неотразимое обаяние китайского текста именно в том, что реальность ускользает, а равноправные тела *двоих протагонистов*, бесконечно меняясь местами, лишь мерцают, *никогда* не овеществляясь!

Однако Лимонов употребляет своего «главного протагониста» применительно к игровому кино, попутно признаваясь в ненависти к этому виду искусства. Что, замечу, связано с патологической неспособностью Лимонова продуктивно фантазировать. Но сейчас важнее другое: фильм устроен иначе, нежели письменный текст.

Важно понимать: я снова и снова возвращаюсь к проблеме телесности не потому, что мне «двадцать с небольшим» и я «всерьез озабочен», как предположили еще в прошлом году иные пишущие дамы. На самом деле я несколько старше, и у меня было время догадаться, что игровой кинематограф требует *одного протагониста*, первого и последнего. Персонажа, чья достоверность не подлежит сомнению.

Реальность этого героя должна быть вне подозрений. *Телесность* — вне подозрений. Сопутствующий социальный статус тоже. Все прочие могут клубиться в подсознании, превращаясь в пыль, в обитателей «возможных миров». И только этот, заветный, занимает достоверную *точку зрения* (буквально, в пространстве!),

задавая стратегию считывания и понимания. Только он является гарантом конституции, то бишь наррации.

Картину Тарантино, которую воспевают Лимонов, ценю не настолько, чтобы помнить. Кажется, впрочем, там есть целый ряд вложенных одна в другую историй. То есть некоторые «главные протагонисты» все же менее «главные», то есть *вообще не протагонисты*, хотя, по мнению Лимонова, в «Криминальном чтиве» все равны. Можно, не пересматривая, утверждать: все микросюжеты в конечном счете оказываются «вложены» *в одно тело*, как в некий большой конверт. В противном случае фильм нельзя было бы ни связно придумать, ни считать с экрана.

Итак, протагонист — обитатель «лучшего из миров», того самого, подлунного, где осознаем себя и мы, зрители. Это позволяет осуществить чудо идентификации, *связав* разнесенные во времени просмотра, будто бы случайно приклеенные друг к другу интерьеры, пейзажи, эпизоды. Появляясь там и здесь, взаимодействуя с тем и с этим героями, протагонист, благодаря своей *безусловной телесности*, обеспечивает единство повествования. Порождение смысла в кино *радикально* отличается от аналогичного процесса при потреблении письменного текста!

Вот что пишет, суммируя откровения немецкой киномысли, внимательный Михаил Ямпольский:

«Ранняя кинофеноменология позволяет нам с известным основанием предполагать существование двух областей смысла: одна из них действительно лежит в области языка. Она функционирует там, где разворачиваются некие „предложения“ (не столько в лингвистическом, сколько в логическом понимании этого слова).

Эти „предложения“ складываются из предикативных, причинно-следственных цепочек, которые прочитываются зрителем в фильме. Эти „предложения“ могут быть вычленены в сфере наррации (X был убит У, потому что У предал X и т. д.), но и в сфере пространственной конструкции эпизодов (сохранение направления движения позволяет нам предположить, что X прошел из коридора в комнату). Языковые коды обслуживают именно уровень этих „предложений“ и формируют представления о неких причинах и следствиях, взаимодействующих в фильме. Вопрос о том, где находятся причины, следствия которых мы обнаруживаем в фильме, гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Очевидно, что они находятся *вне фильма*. Их можно отнести к сфере кодов (языка). Во всяком случае, они существуют вне фильма как некой феноменальной данности. Если прибегнуть к фантастической пространственной метафоре, то можно сказать, что они существуют „за фильмом“» (Ямпольский и М. Видимый мир. М., 1993, стр. 197 — 198).

Именно протагонист фильма X отвечает за формирование «предложений». Он соединяет «поверхностные», беспричинные события в повествовательную цепочку. Точнее, руководствуясь «монтажными кодами», эти предложения формирует тело зрителя, которое изоморфно телу протагониста. Именно в теле зрителя находятся «причины», на которые намекает Ямпольский.

Дешифруя «случайный набор картинок», зритель словно бы пишет и сшивает «предложения» *телом* протагониста. Но, повторюсь, для этого пресловутое *тело* должно быть вне подозрений. Этому *телу* может «сниться» кто угодно. Само это *тело* — никому.

(3) Кино обречено на работу с «внутренним миром» человека, где значимы категории «достоверности», «правды и лжи», «веры — неверия». В кино внутренний мир овеществляется, претворяясь в комбинацию человеческих тел, в заурядный бихевиоризм. Лишь *точка зрения* протагониста позволяет выяснить, что произошло на самом деле. «Шибко грамотный», сориентированный литературой человек допускает существование *нескольких* «первых лиц», а потому ведется на любые сюжетные провокации. Что называется, «верю каждому зверю». Но тогда изошренные конструкции, вроде «Паука» (о котором я писал в предыдущем обзоре) или отчетной картины Линча, вообще невозможно понять!

Кроненберг и Линч одновременно предлагают несколько версий истории, несколько точек зрения, значит, несколько *тел*, претендующих на первенство. Версии наслаиваются, вступая в противоречие одна с другой. Классные постановщики (они же, как правило, драматурги!), конечно, подсказывают, кто из героев — глав-

ный и кому следует верить. Но наши безупречные интеллектуалы даже не понимают, о чем речь, как это смотреть. Не заметив подсказок, наплевав на принцип реальности и ее неотменимый здравый смысл, рассуждают о «сновидческой поэтике» и непознаваемости бытия. Объясняют свои некомпетентность и невнимательность — капризами свободных западных художников, якобы не обременяющих себя художественными конвенциями и обязательствами перед зрителем.

Случай Линча — край, разврат и могила. Поднял архивные тексты: Линч не заслужил ни одного внятного слова. За десятилетие! Бессмысленные ахи-вздохи, заклинания вроде «Не надо в этом разбираться, давайте этим наслаждаться!». Да чем наслаждаться? Бессмыслицей, которую *вы сами же* и вчитали в безукоризненно рациональное кино?!

Отсмотрел «Маллхоланд драйв» в третий раз, проверил двухчасовой фильм на разрыв художественной ткани: ни одного иррационального эпизода. Не «тотальное сновидение», а жесткая, социально обусловленная история! Кстати, точный социальный контекст вменяемая Франция ценит *отдельно*. Не в последнюю очередь за этот контекст картину и вознесли до небес. Что правильно.

Опросил десятки людей: кто у Линча главная героиня, брюнетка или блондинка? Отвечают: «Обе». Возражаю: так не бывает. По крайней мере у западных режиссеров подобного уровня. «Почему не бывает? Здесь — две. А может, три или четыре! Ведь дамы выступают под разными именами». Пораскинув мозгами: «А разве это важно? Героини периодически меняются местами, это же игра прихотливого ума. Точнее, так: снятся друг другу!» Саркастично уточняю: как у Чжуан Цзы? Все информанты, грамотные постсоветские люди, радостно хватаются за авторитетный текст: «Именно как у него». Издеваюсь: редкий расейский критик от- казал себе в удовольствии «объяснить» фильм Линча через *неразрешимый* китайский сюжет. «Ну наконец-то у нас появились нормальные критики».

Интересуюсь, о чем тогда кино и что, собственно, произошло. Снисходительное: «Издеваешься? Обычный Линч. Ничего разумного не произошло. Не знаешь Линча?!» Теперь знаю: махровый реалист. «Полный бред, фантазии, сны. А в целом я разочарован(а)». Зато я, к своему удивлению, очарован. Простая, линейная, трезвая, глубокая история. Рассказана, да, нелинейным языком. Но это не формализм, а *необходимая* художественная сложность.

Поздравляю очередного собеседника с убедительной победой над здравым смыслом. Удовлетворенно, но неслышно матерюсь. Приятное: этому маразму существует внятное объяснение, у этой болезни есть социально-психологическое обоснование. Свое место в большой Истории.

(4) А пока три новые, *крайне* интересные российские картины: «Прогулка», «Трио» и «Бумер»¹. Многократно рифмуются, в комплекте с Линчем многое объясняют.

Все три — безостановочное движение. Попытка освоить российское пространство. «Прогулка» ограничилась улицами цивилизованного Петербурга. «Трио» и «Бумер» предлагают путешествие по нашим провинциальным дорогам, иначе — по Великой Степи. Или, как сострил Победоносцев, по Ледяной пустыне, где бродит дикий человек с топором. Но куда важнее иная рифма: все три картины предлагают коллективного героя.

«Прогулка» поставлена Алексеем Учителем по сценарию Дуни Смирновой. Играют актеры Театра-студии Петра Фоменко и Евгений Гришковец. Сразу отмечу, что Гришковец выглядит инородным телом. В контексте образцово выученных «фоменок» его, прости господи, актерская манера, его местечковый примитивизм, мягко говоря, раздражают. Возможно, Учитель хотел таким образом дистанцировать деревянного «нового русского» (как раз Гришковец) от «славной живой питерской молодежи». Возможно, но меня тошнило.

А вот за первые три четверти Учителя следует похвалить. Двое парней и одна девушка, флиртуя, передвигаются по юбилейному Петербургу, который авторы

¹ О фильме «Бумер» см. также в «Кинообзоре» Натальи Сиривли («Новый мир», 2004, № 1). (Примеч. ред.)

умудрились превратить в грандиозную декорацию. До тех пор, пока Алексей Учитель верит в органику молодых актеров, вписанных в кадр выдающегося оператора Юрия Клименко, кино, безусловно, *осуществляется*. Нескончаемый треп выполняет служебную функцию: сюжет, как положено в кино, реализован на антропологическом уровне. Один парень — рохля, вечный второй номер. Его друг — сильный и волевой, конечно, лидер. Наконец, героиня, предьявляющая такую женскую статью, которая должна сразу же сломить сопротивление и первого, и второго.

«Грудь Ирины Пеговой» — отдельная, вполне содержательная категория картины. Стоит ли уточнять, что в моих словах ни грамма иронии! С первой же минуты, на протяжении часа с лишним, непрерывно и *крупно* зрителю предьявляют ту самую биологию, о которой говорил выше. Не грим, не бутафорию, а убедительную телесность, остроумно подчеркнутую свитером. Именно на этом, антропологическом, уровне преодолена условность, даже театральность истории. Герои имеют право нести любую чепуху потому, что по-настоящему работают *тела* актеров, наблюдаемые с нужного расстояния и в нужном ракурсе.

Тем временем Петербург предьявляет себя в качестве «вообще Города», а Город вечно разыгрывает драму встречи с Другим, попросту это главный городской сюжет. Цивилизуя обитателей, Город свою драму маскирует. Общеупотребимая внешность («Так теперь носят!»), вежливость и хорошие манеры («Будьте добры!»), полиция («Буду стрелять!») — все это социальные одежды, пеленающие человеческую природу. Фильм «Прогулка» предьявляет досоциальное: встреча мужчины и женщины, борьба самцов за продолжение рода, выбор самкой наилучшего производителя. Нравится это нам, гуманистам, или нет, подобные стратегии поведения отработывает *всякий человек*, кроме монахов и святых. И кино *обязано* этим заниматься. Город тем временем мерцает у героев за спиной, напоминая, что такая откровенность разрешена только на полтора часа. Только в зрительном зале, на разоблачительном сеансе.

К великому сожалению, Учитель не удержался и за пятнадцать минут до конца песню безнадежно испортил. Не без помощи своего постоянного драматурга. Внезапно язык тел сменяется «хитроумным сюжетом». Оказывается, у нее, капризной, есть новый русский любовник, которому она взялась доказать, что может, не присаживаясь, гулять несколько часов. А зачем? Затем, что хочет пошататься по Тибету, а «новый русский» полагает: девчонка не выдержит, ибо привыкла лениться по ресторанам. Двое случайных парней нужны были в качестве свидетелей ее неутомимости...

Господи, как я ругался! Нет, конечно, знал, что авторы не сумеют достойно разрулить сюжет, но чтобы такой книжный бред! Неужели этот бред способен отменить впечатляющую биологию Пеговой и ее партнеров?! Вы знаете, да! Героиня переделалась, потускнела, превратилась в набитую дуру. Смотреть на нее стало противно: куда что девалось? А попросту картонный сюжет навалился всей тяжестью своих мертвых слов на хрупкое человеческое тело и переломил телу хребет. Едва Ирина Пегова окончательно выделилась из трио и стала главной героиней, олицетворяющей вполне живой и актуальный сюжет «женской победы», ее нагрузили тупой гуманистической *идеологией*.

Под занавес нам объясняют, что даже в мире буржуазного чистогана «Просто Любовь» жива: какая-то парочка целуется на фоне бездушных бутиков и новорусских разборок. Вот эта «Просто Любовь» и есть новый герой картины. Такова литературная стратегия, в кино «Просто Любви» не бывает! В кино есть отношения одного тела к другому, их встреча, их борьба.

В книге, да, пишется по-простому: «Наташа (не) полюбила Петрушу и от него понесла (еле унесла ноги)». Но на телесном уровне реальный человеческий контакт — *проблема*, ибо тело конечно, ибо оно — сосуд страданий, ибо человек — рана природы. Проблема, сопряженная с потом, кровью, слизью, томлением, тоской, учащенным дыханием, прикосновением и, не исключено, болью.

Как это может быть?! Почему взрослые люди с женами, флиртом, семьями, детьми, отрицая реальный опыт, завершают все абстрактным заклинанием?! А много читали книжек. В этом смысле между Дуней Смирновой и Эдуардом Лимоновым — никакой разницы. И та и другой — *идеологи*, жертвы позднесоветской

эпохи Большого Досуга. Что-то вроде Большого Взрыва, только пострашнее. Их неизменный протагонист — «книжная идея». Наверяд ли оригинальная.

Потому — что книжная, потому — что мертвая.

(5) В авторитетном журнале читаю интервью крупного историка, посвященное вызовам XXI века и глобализации. Любопытно, неангажированно, трогает. И вдруг: «Как сказал Юрий Трифонов...» Дальше — необязательная банальность, простите, фенечка.

Недоумеваю: зачем? Разве известный советский писатель всерьез занимался проблемой глобализации? Разве его реплика хоть что-нибудь уточняет в построениях историка? Ни в коем случае. Эта значимая проговорка, рефлекс сигнализирует о далеком прошлом, когда все были поровну сыты, количество досуга в разы превышало количество дохода и все «приличные советские люди» без устали читали хорошую литературу. Так, кроме прочего, они противостояли советской же власти.

Цитата из Трифонова маркирует историка как человека определенного времени и среды. Цитата — его бессознательный привет позднесоветской интеллигенции (а она теперь в большо-ой силе): «Я — свой, я — ваш». Короче, возьметесь за руки, друзья! Кстати, подобным примерам нет числа: читали многие и много. До сих пор благодарны книге и, чего греха таить, советской власти. За досуг и неограниченные социальные возможности. А думают, что ненавидят.

Сейчас я укажу на феномен, определяющий нашу культурную ситуацию. Люди моего поколения и моего социального происхождения подобного опыта не имели. Едва закончилась юность и началась сознательная жизнь, нас стали прессовать с такой ужасающей силой, что встал вопрос о биологическом выживании (думаю, все-таки *геноцид*). Вопрос звучал: как сохранить *тело* в более-менее сносном состоянии хотя бы на 10 — 15 лет, не больше. Наш досуг был иным, безнадежным и депрессивным, тупиком, а не развлечением.

Важно понимать: моя озабоченность телесным обусловлена социально. Парадокс, но озабоченность сексуальная вторична: для того, чтобы участвовать в брачных играх, нужно как минимум волочить ноги. Ироничные литературные дамы недооценивают уровень катастрофы.

Читатель уже понял, почему филологическая стратегия доминирует? Потому же, почему полезны публичные клятвы «трифоновым» и «ахматовой». Клятвы такого рода маркируют вас в качестве носителя символической власти. Вроде как «бумер», то бишь «БМВ», маркирует крутых братков. Если ты — «читатель», значит, у тебя был неограниченный досуг. Давно или, что еще более престижно, недавно. Представляете, что такое недепрессивный досуг в 90-е? Это круто, это блесит.

Вот почему всех производителей публичной речи, от политиков до художников, вполне устраивает «тотальная филология», то есть филология за рамками академической науки, филология, объясняющая все и вся в подлунном мире. Эти люди напоминают мне персонажа Зоценки, неуверенного в себе плебея, озабоченного лишь тем, чтобы быть грамотнее других. Поэтому наше кино, его производители и толкователи — на обочине мирового процесса. Поэтому они не находят в кадре *тело*. Не понимают, что Линч реалист. Издеваются над Ириной Пеговой.

(6) Кстати, сон. Демонстрация протеста, миллионы людей на улицах, революция, плакаты и транспаранты.

«Нет!»

«Ваше место в лучших университетах Европы и США!»

«Россия без филологов!»

(7) Тоже сон, но безрадостный, кошмар. Бегаю по коридорам «Мосфильма» и даже по кремлевским. Как сумасшедший ору: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся».

«О чем? — говорят. — Не понимаем. Какой-то дурак».

«Сами дураки!» Просыпаюсь. Наверное, аллегория.

(8) «Бумер» (режиссер П. Буслов) и «Трио» (режиссер А. Прошкин) — образцово-показательная пара. В обоих случаях по Великой Степи идут караваны машин: грузовые фургоны, модные западные авто. За рулем наши мужчины — милиция или бандиты, не разберешь! Собственно, только об этом и речь: если нормального мужчину поставить в неудобное положение, мужчина нервничает, становится немножко зверем. Герою «Трио», менту, так и говорят: «У тебя же бандитская рожа. Стал бы бандитом, если бы не ментом!» Герой не слишком сопротивляется: черт его знает, может, и так.

В «Бумере» менты, бандиты и трудяги дальнобойщики взаимозаменяемы и, конечно, неразделимы. Трудяги нанимают одних бандитов против других: классическое Средневековье, «Семь самураев» Куросавы. Потом подлые трудяги расправляются со своими бандитами, которые не лучше других. Милиция думает, что обманула бандюков, а нет, в результате именно бандюки обманули милицию. *Выдающееся достижение* «Бумера» в том, что он показывает (именно показывает!) коллективное тело нынешних русских мужчин. Тяжелое, с мутными глазами, лениво ворочающее конечностями. Уже никаких классификаций, никаких социальных страт не признающее, истребляющее себя самого, пожирающее собственных детей.

Ходят разговоры, что монтировал фильм Сергей Сельянов (он же один из продюсеров). Возможно. По совести, это его тема, его линия. Фильм, ставший чемпионом проката, пугает вечно обеспокоенную своей благополучной судьбой интеллигенцию, которая зачем-то пишет его через запятую с «Бригадой». Но глянцева, телевизионная «Бригада» с вечно комикующим Безруковым фальшива и ничтожна, зато противостоящий ей «Бумер» — в некотором роде великое кино. Трэш, одинаково не стесняющийся грязного среднерусского пейзажа и ядовито крашенного бетонного забора. Грамотно предъявляющий одно выразительное мужское лицо за другим.

Если в «Прогулке» Ирина Пегова без труда захватывает инициативу, манифестируя «женскую победу», то здесь ни у кого из мужчин не достает сил стать героем: пока что мужская победа невозможна. Даже заваривший кашу, вышедший сухим из воды трус и предатель вынужден бросить сверкающий «Бумер» в замерзшем русском болоте, одеться «под народ» и слиться с толпой.

Я за любые чудеса цивилизации. Пускай блестящие лимузины бороздят наши дороги и нашу грязь. Пускай будет капитализм. Но только не такую ценой. Какою? Смотрите отличное народное кино «Бумер». Впрочем, в долгосрочной перспективе я в наших мужчинах не сомневаюсь: все сделают правильно. Точнее, так: после всего, что сделали с ними (с нами), никакие ответные меры не будут избыточными.

Что касается «Трио», то к этому фильму по сценарию Александра Миндадзе я вернусь, едва в прокат выйдет еще одна его работа, «Космос как предчувствие», которую завершает все тот же Алексей Учитель. Сейчас отмечу, как тонко работает Миндадзе с категорией пост(советского) коллективного тела, драматургически решая ту же содержательную задачу, которую своими, режиссерскими средствами решил Петр Буслов.

Трое его героев, ментов, гоняются за убийцами дальнобойщиков по нашим степным дорогам. Два мужика и одна дама, сложные взаимоотношения, треугольник. Никак не могут расцепиться. Он любит ее, она любит третьего, у которого жена, но все это выясняется в лучших традициях Миндадзе, постепенно!

Всего одна финальная реплика. Она кладет голову на плечо любимому, который одновременно старший группы. Он: «Чего ты хочешь?» В смысле индивидуального тела. В смысле: «Что ли *хочешь*?» Она: «Жить!» То есть в смысле коллективистской советской риторики. В смысле утопии. В смысле: «Вообще жить!»

Браво, Миндадзе! Без малого гениально! Прошкин делает эту сцену неточно, да и всю картину в целом излишне забывает, в меру сил психологизирует. А не надо бы, это не психологическая история.

В исходном материале заложено вот что: невозможность нашего нынешнего человека превратиться в самодеятельного героя. Эти трое — единое тело, гидра о трех головах. Едва одна голова размечталась об эмансипации, акцентировав индивидуальную телесность: «Хочешь?», как вторая выдает правдинскую передовицу:

«Эх, хорошо в стране советской жить!» И все это, эпохальное, — в рамках заурядного бытового диалога! Вот это уровень. Вот это писатель.

И еще одно замечание — о поколенческой разнице. Смотрите, Миндадзе и Прошкин рассказывают немудреную историю с позиции «ментов», которым придают выразительную любящую женщину. *Ровно ту же самую* историю сценарист Денис Родимин и режиссер Петр Буслов рассказывают с противостоящей позиции, позиции четырех криминальных парней из «БМВ», у которых с женщинами в лучшем случае мимолетная связь, у которых впереди — поражение и смерть. Впрочем, в исходном тексте Миндадзе тоже погибли все трое. Прошкин двоих пощадил. Неубедительно, закадровым голосом.

Родимин и Буслов — совсем молодые, моложе меня, в районе тридцати. Смотрите, они же успешные, практикующие кинематографисты, но идентифицируются с коллективным телом проигравших русских мужиков и, конкретнее, с криминалом.

Подумайте обо всем этом. Помедитируйте на досуге.

(9) Специально для этого кинообозрения я подобрал в сборнике анекдотов один короткий шведский, вдобавок недурно переведенный.

— Когда я машу рукой, это значит, что вы, Карлсон, должны подойти ко мне!

— Понятно, господин директор. А когда я качаю головой, это значит, что я не подойду.

Здесь хорошо все, вплоть до запятой, *до секунды*. Гениальна хитроумная пауза протагониста, его сбивающее с толку «понятно, господин директор», после чего следует разящий ответный удар. Гениальна организация всего временного отрезка, дезориентирующего поначалу, а в конце возвращающего *достоинство* и персонажу, и нам, «зрителям».

Кино сжигает наше внутреннее время подобно этому анекдоту. Кино берет в оборот наше биологическое и наше социальное тело, подобно тому как делает это отличный шведский анекдот.

Быть может, качественный сборник анекдотов (бывают и некачественные!) и внимательное отношение к собственному телу — все, что нужно хорошему кинематографисту.

А плохие пускай учатся на романах. Плохих не жалко.

(10) А вот кассету «Маллхоланд драйв» придется отыскать самостоятельно. Всякий уважающий себя синефил обязан двукратно посмотреть эту картину и сделать то, на что закономерно не способна наша пишущая братия, чтобы не сказать орда, — повзрослеть. Очнуться ото сна. Крепко стать на ноги. Пораскинуть мозгами. Разобраться в реальных процессах и подвергнуть остракизму фантомы. Далее несколько методических указаний: как смотреть Линча. И зачем.

Структурно картина похожа на все того же «Паука». Три четверти фильма — предсмертный фантазм *блондинки по имени Дайана*. Последняя четверть — ее реальные воспоминания, выполненные в режиме традиционного «объективного повествования».

В самом начале, до титров, — два *ключа*, которых не замечают только наши слепые: у вменяемого постановщика случайных кадров не бывает. Во-первых, экзотический эстрадный танец. Во-вторых, лицо блондинки в обрамлении улыбочных старичка и старушки. Все ответы — здесь.

Итак, героиня — именно блондинка, ибо ее лицо настойчиво предъявляют и предлагают запомнить. Но еще раньше предлагают запомнить танец, он помогает опознать в качестве достоверной реплику героини ближе к финалу: «Я из Глубокой реки, из Онтарио, из маленького городишка. Я выиграла конкурс танца „Даттербак“. Это открывает путь к актерской карьере. Когда моя тетя умерла, она оставила мне немного денег. Она жила здесь, в Лос-Анджелесе». Только в этом месте мы понимаем, какой версии происходящего следует придерживаться.

Однако дальше героиня врет. Ей, бедной провинциальной девчонке, приходится врать, чтобы повысить социальный статус и на равных войти в сообщество знатных голливудских людей. Поэтому на вопрос о тете: «Она работала здесь?», то бишь в Голливуде, героиня вынужденно отвечает: «Да!» Откуда знаем, что врет?

Просту *видим*: глазки вначале бегают, а потом, на реплике «да», опускаются. Ровно таким же *достаточным* образом Линч обозначает вранье других персонажей.

Но тогда фантазм, который занимает три четверти картины, легко опознать в качестве той же самой, но *развернутой* лжи. Итак, для начала провинциалка Дайана наделяла свой мысленный образ первым попавшимся во вчерашней реальности именем («Бетти», — прочла на груди официантки). Жизнерадостная Бетти точно так же приезжает покорять Лос-Анджелес. Но живет не на задворках, как реальная Дайана, а в шикарном особняке родной тети, конечно, голливудской звезды. Стремительно покоряет продюсеров. Привлекает восхищенные взоры легендарных постановщиков... Фантазм дурочки, в чьей маленькой головке поселилась тысяча мелких бесов, то бишь образов и сюжетов индустрии развлечений.

Дальше дурочка воображает романтическую лесбийскую связь. Будто бы начинается аварией на Маллхоланд драйв. Прекрасная подраненная брюнетка доползает до тетушкиного особняка, где Бетти окружает ее заботой. Трепетные девушки влюбляются, ласкают друг друга чресла и грудь...

Все это, конечно, блеф, а на деле было вот что. Отравленная буржуазными стереотипами, ослепленная идеей быстрого успеха, провинциалка *Дайана* приезжает в Лос-Анджелес. За спиной — региональный танцевальный конкурс, в кошельке — мизерное теткино наследство, в голове — розовый туман.

Получает какие-то второстепенные роли, на съемочной площадке знакомится со звездой по имени Камилла Роудс, жгучей бисексуальной брюнеткой. Камилла играет одну главную роль за другой, потому что спит с каждым из своих режиссеров. Как в анекдоте: «В новой пьесе вы играете роль невинной девушки. Есть ли у вас какой-нибудь опыт в этом отношении?»

Наша провинциалка так еще не умеет: искренне влюбившись в Камиллу, страшно ревнует и к новому режиссеру, который собирается стать брюнеткиным мужем, и к другой блондинке, очередной любовнице Камиллы. Камилла идет на социальный верх, ей надоела brutальная провинциальная девка (зато в своем фантазме Дайана белая, пушистая, зайчик!). Камилла объясняет Дайане о разрыве отношений. Дайана пытается мастурбировать, а потом, неудовлетворенная, заказывает брюнетку Камиллу профессиональному киллеру. Киллер успешно справляется с задачей.

Дайану разыскивает полиция. Одинокая, меняющая плохую квартиру на худшую, героиня стреляет себе в висок. Два часа картины — одна секунда в ее мозгу, как у Амброза Бирса в «Случае на мосту через Совиный ручей».

Старичок со старушкой, преследующие героиню в финале, обозначают обывателя, потребителя зрелищ. В фантазме старушка говорила Бетти: «Мы будем ждать, когда ты, милочка, появишься на экране!» Это — заказ коллективного бессознательного, толпы гнусных потребителей. Но милочка не пробилась, не оправдала ожиданий, и за это мелкие бесы (буквально — мелкие, вездесущие, залазят в дверную щель!), старичок со старушкой, преследуют ее, душат, толкают на самоубийство.

И еще. В *реальности* никакой аварии не было! Авария — это *метафора*, обозначающая *жизненную катастрофу*, крах коллективных ожиданий провинциальных девочек вроде Дайаны. Девочки, радостно оседлавшие лимузины и готовые «стать звездой», гибнут на «дороге жизни». Дайана — одна из многих.

Важен длинноволосый парень по имени Эд, чей внешний облик отсылает к иконографии Мефистофеля, Демона. Кто это? В *реальности* Эд — парень из актерского агентства, которое ставит искательниц счастья на учет! Знающий правду жизни Эд смеется над «вчерашней аварией», что обозначает его полное презрение к провинциальным девкам, обреченным в Голливуде на жизненную катастрофу. Героиня закономерно его ненавидит, поэтому в фантазме все тот же киллер выполняет ее заветное желание и убивает циника. При этом киллер забирает с собой «Черную книгу Эда», «Мировую историю в телефонных номерах», которая содержит координаты всех *соблазненных и погубленных*.

В целом *великая* картина Линча исчерпывающе описывает общество потребления и сопутствующие ему языческие химеры, которые провоцируют неискушенного обывателя на фантазмы, сон разума и духовную смерть.

(11) Два года назад *исключительно* на основании анализа ужасной картины Дениса Евстигнеева «Займемся любовью» я предсказал олигархические и клановые разборки в правящей элите. За что, кстати же, удостоился назидательных либеральных окриков. Сбылось до смешного. Мораль: кино — это страшная сила, инструмент социального передела.

Теперь же, насмотревшись хорошего и разного, я делаю качественно иной, в целом оптимистический вывод: лед тронулся. Скоро у нас будут интересные времена. А были — неинтересные.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ДМИТРИЯ БЫКОВА

БЕЛЫЙ ЯЩЕР С БЕЛОГО БЕРЕГА

Михаил Щербаков. «Если». Песни 2001 — 2002. Запись Игоря Грызлова¹.

Когда «Огонек» — после перемены менеджмента, собственника и редактора — съехал из Газетного на Красноказарменную, в чем так соблазнительно было усмотреть символ эпохи, сотрудники, понятное дело, роптали. Ликовал я один, поскольку путь на работу пролег теперь от метро «Авиамоторная» мимо ДК МЭИ, по местам, навсегда для меня счастливым. Этот кусок улицы с чудовищным красноказарменным названием выпадает из Москвы и связан с каким-то иным, сказочным пространством — потому что с восьмьдесят девятого по девяносто, кажется, третий здесь давал концерты Щербаков, иногда по три вечера кряду, по абонементу; здесь я его впервые услышал живьем. Циклы из двух-трех концертов случались, как правило, весной — или это сейчас так помнится? — и оттого ощущение огромного пустого простора городской окраины было особенно острым. Толстой писал о пустыне отрочества, имея в виду одиночество и безотрадность, — но в пустыне есть свое очарование: безлюдье, бесконечность, живое присутствие Бога; такой пустыней романтического отрочества мне всегда представлялся пейзаж песен Щербакова, о чем бы они ни были написаны. Да они, собственно, и всегда были только об этом.

И потому, шествуя по московской слякоти на не больно-то любимую работу мимо школы с визжащей малышкой (идиллия врет, все судьбы уже предрешены, роли поделены, изгой назначены), мимо самого МЭИ с такой же визжащей малышкой чуть постарше, мимо киосков, которых тогда не было, с газетами, которых лучше бы не было вовсе, — я хоть на десять минут, да перескакиваю в то время, тоже не особенно радостное, но еще не столь затвердевшее, сулившее веер вероятностей. Неисчерпаемое богатство будущего как-то связывалось с щедростью песенного щербаковского дара, ничем не ограниченной свободой его возможностей. Не важно, что сам автор никаких иллюзий не питал, что первый концерт восьмьдесят девятого, на который я и попал сразу после армии, уже открывался песней куда как мрачной — «С какого конца ни начни, к началу уж точно не выйдем, бессмертен лишь всадник в ночи, и то потому, что невидим... Мария, кораблик, душа, ничто ничему не подвластно, сто лет, отступаясь, греша, я помнил тебя — и напрасно. Покуда в дальнейшую мглу душа улетает жар-птицей, на диком раешном балу останешься ты танцовщицей». Щербаков никогда не страдал избыточным оптимизмом и, на что-то понадеявшись, сам себя тут же и осуждал («Вот поднимается ветер», 1988). Тут не в содержании дело, — содержания очень часто нету вообще никакого, это высокое искусство — произносить столько слов, не говоря ничего... или, точнее, обнажая то, что за словами. Не сказать даже, чтобы щербаков-

¹ Редакция журнала «Новый мир» выдвигала Михаила Щербакова на соискание Государственной премии имени Булата Окуджавы.

ские песни внушали надежду и желание жить, — они просто безмерно раздвигали горизонт и учили радоваться пустыне, песчаной ли, морской ли; конечно, с политикой все это никак не связано, но с ощущением свободы в ее наиболее привлекательном обличье — пожалуй. Все эти красноказарменные наблюдения я недавно попытался изложить Щербакову лично — он, по обыкновению, усмехнулся и буркнул: «Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую мою». Ну не сказать чтобы вовсе погибшую, — однако спутником и символом моей молодости навсегда останется он, и думаю, что лучшего спутника подыскать трудно.

Вообще с Щербаковым или о Щербакове говорить бессмысленно — этим и объясняется, вероятно, сравнительно малый объем написанного о нем при огромном объеме написанного им за двадцать пять лет сочинительства. Какой смысл беседовать с пейзажем или анализировать облака? Новый альбом «Если», выпущенный в преддверии сорокалетия автора, в этом смысле мало отличается от прежних — и вообще периоды у Щербакова найти и разграничить трудно; все черты, наметившиеся уже в первых песнях, попросту проступают ярче. Другой эволюции нет. Лев Лосев заметил как-то, что Щербаков считался бы одним из самых больших русских поэтов современности, если бы не писал музыки; возможно, это и так — при его-то виртуозности и изобретательности, но без музыки не было бы его зыбкой, колеблющейся просодии, да и сами стихи Щербакова скорее музыка, чем поэзия — именно в том смысле, о котором постоянно напоминал Толстой: музыка тревожит и будоражит, поскольку ничего не говорит. То, что иногда кажется в Щербакове холодностью или амбивалентностью, на самом деле полное и строго продуманное отсутствие прямого лирического высказывания, без которого русская поэзия себя никогда не мыслила. Даже Бродский, сколько бы он ни повторял любимого тезиса о том, что голос поэта должен быть ровным, а не форсированным, в свои ровные пейзажные перечни умудрялся вносить столько ярости и отчаяния, бьющегося об эту плоскость, как волна о скалу, что ни о каком авторском самоустранении в его случае говорить не приходится: описывая «мир без себя», он каждую секунду пламенно негодует. Щербаков — совсем иной случай: он всячески пытается не то чтобы вычесть себя из мира, но избавиться от всего «человеческого, слишком человеческого», и эта тема из относительно ранних его песен перетекла в новые почти без изменений: «Боже, слыша мои заклинанья, видя воздетые руки — знай: это все, что угодно, но не я!» «Я» — совсем иное, нелюдское, скорее из мира дочеловеческих чудовищ, гигантских рептилий, динозавров, каракатиц, подводных монстров, мутантов — «сердце справа, зеленая кровь, голова на винтах...». «Уж лучше сам, развернувши кольца, прошусь и в логово уползу...» Таких чудовищ в песнях Щербакова множество — «десять крокодилов, двадцать гарпий, тридцать змей», и если он с кем-то себя идентифицирует, то уж никак не с людьми, а именно с этими древними безымянными существами, как вежиновский «Белый ящер»:

Пока я был никто, не обитал нигде,
примерно лет от двух до трех,
я наслаждался тем, что никакой вражде
не захватить меня врасплох.
Именовался я не вожакom вояк,
не завсегдатаем таверн.
Я тезкой был тому, кого в подводный мрак
отправил странствовать Жюль Верн.
Была надежна ночь (пока я слыл ничем),
как дверь, закрытая на ключ.
И только лунный шар, как водолазный шлем,
незряче паялился из туч.

Это из «Немо» — лучшей, вероятно, песни нового альбома, не особенно мелодичной и не самой благозвучной, озвученной гулом и плеском, — и как мучительно из этого дородового, дочеловеческого и неуязвимого мира выпрастываться в земной, бессмысленный, где вечно приходится, по слову Эмили Дикинсон, «кем-то быть»:

А предстояло мне не по лазури плыть
на зов луны, волны, струны,
но рыть болотный торф и чужеземцем слыть
на языке любой страны.

Понятное дело — нелюдь везде чужеземец; отсюда и повторяющееся «Прощай, чужестранец!» в «Тирренском море» и «Не объявляй помолвки с иноверцем» из сравнительно раннего сочинения; «неземной» в стихах Щербакова — почти всегда буквальная констатация, а вовсе не расхожий троп.

Вдали от райских рощ, где дышат лавр и мирт,
считать отечество тюрьмой
и бормотать в сердцах, «какой невкусный спирт»,
лечась от холода зимой.
И повергаться ниц, теряя нюх и слух,
когда случится вдруг узреть,
как стая синих птиц клюет зеленых мух
(лечась от холода, заметь).

Лучшей и более отталкивающей метафоры, чем эти синие птицы, клюющие зеленых мух, для земного бытования романтиков не придумаешь. Щербаков — самый крайний и последовательный романтик, поскольку его отвращение к миру тотально, свободолюбцы в его мире давно неотличимы от рабов, единственным средством для исправления реальности остаются «Мои ракеты» из песни девяносто пятого года — то есть радикальное уничтожение этой реальности «как класса». «Если» — еще один шаг на пути избавления от всего человеческого, вот уж и любовь только в тягость, никаких тебе иллюзий:

Чуть бы пораньше, лет так на шесть
или хотя бы на пять лет, —
мне б ничем восторг и тяжесть
этой любви. А нынче нет.
Ночь не молчит, урчит, бормочет,
много сулит того-сего,
но ничего душа не хочет
там, где не может ничего.

Демоны страсти вероломной,
цельтесь, пожалуй, поточней.
Пусто в душе моей огромной,
пасмурно в ней, просторно в ней.
Север зовет ее в скитанья
к снежной зиме, к сырой весне...
Спи без меня, страна Испания!
Будем считать, что я здесь не
был.

Или, как еще лаконичней сформулировано в следующей песне альбома: «Пойду в монахи постригуся. Не то влюблюся в этот ад».

Возвращение к дословесному раю, в котором нет грубых и простых человеческих смыслов, а лишь невербализуемые восторг и тоска при виде Божьих чудес и тайн, — сквозная щербаковская тема, главная его нога; побег от любых симпатий и привязанностей — странное, но весьма характерное для нынешнего рубежа веков развитие блоковского мотива. Достаточно сопоставить сравнительно новый «Белый берег» из альбома «Если» с «Соловьиным садом», где «заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна». В мире Блока это рокотание моря — тот самый «жизни гул упорный» итальянских стихов, напоминание о том, что в романтических снах не укроешься; в мире Щербакова, поэта, успевшего навидаться и послушаться этой самой реальности в куда более грубом виде по самое не могу, гул моря — как раз напоминание о мире реальности подлинной, куда только и стоит бежать от простой, скучной лжи любых человеческих отношений и политических иллюзий. Блоковского героя отрывает от возлюбленной тайная тревога, зов пресловутой «действительности», — герой Щербакова уже знает, насколько эта действительность недействительна, и бежит любых цепей, любых обязательств:

Пришлось очнуться мне и прочь отплыть в челне.
Я плыл и жизнь другую обдумывал вчерне.
Свежо дышал зенит. И дочиста отмыт
Был берег тот, где ныне я начисто забыт.

Гораздо убедительней для шербаковского героя реальность собственного детства и отрочества, к которым он в песнях обращается все чаще; и не только потому, что в это время еще свежа пренатальная память о счастливом мире без слов, мире туманных образов, безымянности и связанной с нею неуязвимости, — но и потому, что в детстве ярче были, по блоковскому же определению, «молнии искусства». Вся «Травиата» с нового диска — об этом; и здесь мы находим лучшее из шербаковских определений музыки: «Нечто важно и непреложно грядет из тьмы, еле звуча пока, когти пробуя осторожно, как сонный зверь, спущенный с поводка». Вся «содержательная» часть искусства, все, что выразимо словом, — автору не нужно: «Чей был выигрыш? Кто противник? Вспять оглянешься — пепел сплошь. Страхам школьным цена полтинник, а уж сегодняшним — вовсе грош». Есть только «зверь летучий в дымах и саже, небыль-музыка, мир иной»; и чем меньше в ней смысла, тем лучше. В шербаковских песнях, скажу еще раз, смысла — в традиционном значении — и вовсе немного, и человеческих эмоций почти нет; впрочем, тут есть и еще одно объяснение — ожог; нервозность и впечатлительность на грани человеческих возможностей. Как и Блок — да, собственно, как и все радикальные романтики, ненавидящие быт и живущие в предчувствии возмездия, — Шербаков живет в предчувствии «Последней Гибели», но избегает говорить о ней напрямую, всегда — в обход, предельно зашифрованно и, уж конечно, не по эзопско-конспирологическим соображениям. С предыдущего диска «Deja» наименее понятной и, пожалуй, незаслуженно малоизвестной осталась превосходная песня «Не бывает»; более адекватную картинку двухтысячного года мало кто нарисовал:

Не вполне поворотлив собой утерявший стрелцкую прыть
Зверобой с рассеченной губой, обещавший меня пережить.
Девяносто навряд ли ему, но не меньше восьмидесяти,
И грозитя, по-видимому, он скорее для видимости.
А сам не сумеет. Сумеет не сам.
Мне он не опасен. Опасен не он.

Содержался там и прогноз на ближайшее будущее — пожалуй, слишком беспощадный в отношении лирического героя: «И как только всеобщее „за“ превратится в зловещее „чу“, я отважно закрою глаза и со всей прямоюю смолчу». Если этот герой и молчит — то не из трусости, естественно:

Лишь бы не нынче о дыбе с кнутом,
Лишь бы о главном ни звука.
Музыка кончится, настанет разлука,
Хватимся — пусто кругом.

Это уже из «Застольной» 2001 года, с последней пластинки. В подсознании шербаковского протагониста, сколь бы он ни стремился помнить только свое дочеловеческое прошлое, живет и вся пыточная история человечества, да и собственно шербаковская биография в этом смысле не слишком радостна: он успел застать гниенье и распад империи, и иллюзии переломных времен, и крах всех иллюзий, и радикальную примитивизацию мира вокруг. «Пусто кругом» — но это совсем не та райская, божественная пустыня, в которой пребывал герой «Менуэта» или «Восточных песен». Это седая пыль, туман, обломки, руины, пепелища — мир будущего. Неумолимость этого будущего — тема еще одной чрезвычайно удачной песни из нового шербаковского альбома, концертного хита «Москва — Сухуми». Рефрен «Я еду к морю, мне девятнадцать лет» тут принципиально важен, поскольку девятнадцать лет нашему герою было в восемьдесят втором, — все, чье тинейджерство пришлось на эти времена, помнят счастливое и трагическое — но скорее все же счастливое — ощущение великих перемен, скорого краха и обновления (с крахом получилось, с обновлением не очень), — и в этом шербаковском сочинении, в жестком его ритме, во взрывах ударных, как раз и проступает то, что обычно остается за словами: сосущее чувство неотвратимости, странное сочетание свободы и роковой предопределенности. «А нынче ждут меня лимоны с абрикосами, прибор неслышанный и новый горизонт вдальеке. Локомотив гремит железными колесами, как будто говорит со мной на новом языке. Вагон потрепанный, лежанки с пере-

косами, днем кое-как еще, а ночью — ни воды, ни огня. Локомотив гремит железными колесами, и море надвигается из мрака на меня». Из мрака надвигается свобода, счастье, пушкинская романтическая ночь, пахнущая лимоном и лавром, — но поверх всех радостных ожиданий гремят железные колеса, закон неизбежности, неумолимый новый язык; и когда море надвинулось — стало ясно, что *того* моря нет и не было.

Многим — в том числе и автору этих строк — случилось не то чтобы упрекать Щербакова в многословии, но констатировать некую словесную избыточность, пристрастие к длинным, громоздким конструкциям, десятки строк в буквальном смысле ни о чем; все это связано с тем, что слово у Щербакова превратилось в строительный материал, оно ничего не хочет сообщить — из него строят «пески, деревья, горы, города, леса, водопады». Изгибчатый, плавный ритм щербаковского стиха похож на рельеф холмистой местности; слово утрачивает смысл, чтобы вернуть себе полноценный звук. Щербаков — большой поэт эпохи большой бессловесности, компроматации всех смыслов, когда права и убедительна оказывается только эстетика, когда важнее человеческого страха и человеческих же надежд (и даже человеческого сентиментального сострадания) оказываются именно ужас и восторг перед лицом великого и безжалостного неодоушевленного мира. Только это величие привлекает Щербакова, только тут его герой содрогается, плачет, трепещет — не важно, «Океан» ли перед ним или «Тирренское море». И когда жалкие человеческие усилия, ничтожные победы увенчиваются закономерным и равнодушным забвением или эффектным крахом, — этот герой откровенно злорадствует:

Прекрасна жизнь! Затеялив хруст ее шестерен.
 Прищур востер. Полки внушительны.
 Во фронт равняйся! Поблажек никаких никому.
 Чем гуще шквал, тем слаше штурм.
 Но гаснет вечер. И на штурмующих,
 Как снег судеб, нисходит белая-белая-белая-белая ночь.
 Отбой.
 Гудбай.

Веселенький марш «Советский цирк умеет делать чудеса» и своевременная цитата из финальной темы «Восьми с половиной» (к Нино Рота у Щербакова вообще слабость) издевательски завершает эту чрезвычайно оптимистическую балладу.

Разумеется, у такой радикально-романтической позиции, уничтожающей все, что не есть Бог, — а Бог дышит только в музыке да в небесных красках, — есть свои издержки: ни на концерте Щербакова, ни при многократном (сразу привыкаешь и подсаживаешься) прослушивании его последних дисков слушатель не испытывает того умиления, той шкочущей теплоты, которая гарантирована ему на обычном бардовском вечере. Барды часто отзываются о нем в духе «зато мы неумелые, но добрые». Но в эпоху кризиса смыслов большое искусство редко апеллирует к человеческому. Это досадно, нет слов, но неизбежно, поскольку слов в буквальном смысле нет, как о том и пелось в давнем «Подростке»: «Ты прав. Слов нет. Ты прав». Зато есть ужас и восторг — при виде бесстрашного эквилибриста, разгуливающего над бездной, как по асфальту, сколько бы он ни жаловался, что «налетели черные, выбили балансир». Если говорить об издержках более серьезных, придется заговорить о щербаковской аудитории, за которую, впрочем, автор отвечает лишь в очень малой степени (никогда не соглашусь, что не отвечает вовсе). Но ведь и Бродский, серьезно говоря, не виноват в том, что у него такие противные эпигоны. У Щербакова настоящих эпигонов нет — слишком сложно то, что он делает, и чтобы ему подражать, надо как следует владеть стихом и гитарой. Иное дело, что щербаковскую неуязвимость, бегство от «человеческого» легко принять за высокомерие, за непробиваемую броню, за которой так любят скрывать свою настоящую, безрадостную пустоту неоквазипостструктуралисты, имя им легион. Всякие умные слова им тоже очень нравятся (на сайте, посвященном творчеству Щербакова — www.blackalpinist.com/sherbakov, — есть целый раздел «Словарь заморских слов»); Щербаков всегда употребляет их иронически, а те, кто о нем пишут, любят произносить всерьез. Людям высокомерным и уязвленным нравится в песнях Щербакова именно кажущаяся защищенность, они охотно разделяют его презре-

ние к быту — но не способны разделить его отчаяние; с наслаждением подражают его иронии — но превращают ее в дешевый снобизм, потому что не понимают шербаковского восторга и благодарности — или, иными словами, его религиозности: не новозаветной и не ветхозаветной, а какой-то дозаветной, грозно-младенческой, из самых первых дней творения, когда еще свет только отделялся от тьмы и плавали в тумане расплывчатые сущности. Такая память дана не всем, и тем, кому она не дана, остается учиться у Щербакова самому легкому — презрению. Увы, без таланта оно мало чего стоит.

Я не специалист, к сожалению, в музыке; терминология музыкальных критиков мне недоступна. Для меня «Если» — явление все-таки литературное, хотя оно и остается замечательным примером того, как слово перестает описывать мир и становится его частью. Вместе с тем я не могу не оценить изобретательности и блеска шербаковских аранжировок, которые вот уже многие годы осуществляются автором вместе с Михаилом Стародубцевым, профессиональным музыкантом-мультиинструменталистом. Начиная с сюрреалистического, веселого и кошмарного альбома «Ложный шаг» (1998), Щербаков все чаще предпочитает звучание мажорное, сладкое, почти попсовое временами, — и в сочетании с достаточно драматической интонацией его песен это создает эффект забавный и полезный, вроде улыбки Чеширского кота над царством сплошной бессмыслицы; отсюда же и жизнерадостная улыбочка, застывающая на лице исполнителя во время пения. Все это вместе делает слушание Щербакова занятием чрезвычайно веселым — и, пожалуй, целительным.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*Элегическое, отчасти ностальгическое и предельно субъективное —
о смене эпох в русском Интернете*

Сначала я думал, что просто устал писать обзоры. Трудно вдруг стало находить темы. При том, что сюжетов хоть отбавляй. Но сюжетам этим как будто не хватало собственной энергетики — ну еще один новый сайт, еще одна виртуальная библиотека, еще один интернет-журнал — и что?

С некоторых пор появилось вполне отчетливое ощущение как бы ослабления литературно-интернетовской витальности. Словно интернетовский народ сам слегка подустал.

Я решил проверить это ощущение. Прошелся по разным сайтам. Да нет, вроде живы. Не завяли. «Тенёта» <<http://teneta.rinet.ru/>> даже конкурсы проводят, — весной этого года одних рассказов было выставлено чуть ли не две сотни. Постоянные обновления — в «Сетевой словесности» <<http://www.litera.ru/slova/>>. И в «Вавилоне» <<http://www.vavilon.ru/>>. «Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru/>> превращается в целую интернет-империю. Новые позиции появились в списке «Рейтинга литературных сайтов России» <<http://rating.rinet.ru/>>. «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/>> модернизируется. И так далее. Ну а параллельно открываются все новые и новые сайты — библиотечные, персональные, мемориальные, сайты новейшей литературы.

Все как бы на месте. Но что-то мешает. Что-то действительно произошло за эти два-три года. Что?

Я попробовал разобраться в этом ощущении, проанализировав степень пригодности или непригодности самого инструментария веб-обозревателя (своего и моих коллег). Вывод, к которому привел меня этот эксперимент, оказался неожиданным. И, повторю, — предельно субъективным: литературный Интернет в последние два-три года не просто изменился, а изменился кардинально.

Городок, коим был наш Интернет, в котором мы жили и обустроивались, превратился, точнее, влился в гигантский мегаполис, где можно жить активной жизнью, но притом так и не узнать всех районов этого мегаполиса.

Что это значит для обозревателя?

Представим, что телеобозреватель Ирина Петровская, имеющая дело с пятью или десятью каналами, на которых сосредоточена тележизнь, вдруг обнаружила бы перед собой не пять или десять, а пятьдесят или сто полноценно работающих каналов. Это означало бы, что нынешние ее функции мгновенно меняются, если не обесмысливаются вообще. Во-первых, просто физически невозможно уследить за всем, ну а во-вторых, у нее как телеобозревателя исчезает аудитория. Аудитория ее разбредается по своим каналам — и той площадки, с которой бы просматривалось все и вся и на которой обозреватель мог бы общаться с аудиторией, больше нет. Вот ситуация, похожая на ту, в которой оказался я.

Задача обозревателя — описание интернетовского ландшафта, с выделением самого интересного в нем. Но вот как раз общий план становится все менее доступным. Говорить же об отдельных явлениях сегодняшнего литературного Интернета, не имея в виду общей его картины, бессмысленно.

Более того, бессмысленными сегодня становятся сами попытки говорить о литературном Интернете как некоем литературном явлении. Похоже, что такого больше нет.

Пять лет назад, а может, еще и три года назад можно было — пусть и с оговорками — рассматривать интернетовское литературное сообщество как некую субкультуру.

Это были времена, когда литературный Интернет состоял из полутора — двух десятков крупных сайтов, претендовавших на лидерство. И был круг авторов, которые воспринимались именно как «интернетовские». И были там свои лидеры и аутсайдеры, свои литературные противостояния и союзы. Было около десятка более или менее постоянных интернет-обозревателей, претендовавших на представление жизни литературного Интернета. Тогда можно было говорить о некоем литературном поколении, становление которого во второй половине 90-х проходило как раз в литературном Интернете. Те же, скажем, Линор Горалик, или Ольга Зондберг, или Сергей Соколовский, или Станислав Львовский, или Макс Фрай, или Сергей Солоух. В стилистике интернетовских литераторов, даже таких разных, как, допустим, Вячеслав Курицын, Станислав Львовский, Роман Лейбов, можно было обнаружить родственные черты. Ну, скажем, своеобразное сочетание собранности и вроде бы предельной раскованности, атмосферы интернетовского между собой чика, иронического, как бы необязательного трепя, но с ориентацией чуть ли не на философскую максиму; устная речь современного интеллектуала в кругу своих оттачивалась как особая литературная форма.

А за стилистикой этой просматривалась короткая, но предельно насыщенная история русского литературного Интернета. Начинали его (как я понимаю) молодые интеллигентные программисты, еще латиницей вбивавшие тексты братьев Стругацких, Высоцкого, Цветаевой, Пелевина, — это была *их литература*. И почти сразу же началось заселение Интернета литераторами нового — не только литературно одаренного, но технически продвинутого — поколения. Опробуя новое пространство, заводя виртуальные знакомства, образуя поначалу молодежные интернет-тусовки и выстраивая там свои собственные иерархии, они-то и затевали русский литературный Интернет. Это был романтический период отцов основателей: Антон Носик, Евгений Горный, Роман Лейбов, Леонид Делицын, Дмитрий Манин, Александр Гагин, Максим Немцов, Андрей Левкин, Максим Мошков, Сергей Кузнецов, Александр Левин, Макс Фрай, Дмитрий Кузьмин и другие.

Периодом расцвета, на мой взгляд, были 2000 — 2001 годы, когда структурированием литературного Интернета уже занимались профессионалы на «Тенетах» и «АнтиТенетах» <<http://anti.teneta.ru/>>, в «Лито им. Стерна» <<http://www.lito.spb.ru/works.html>>, «Вавилоне», в «ЕЖЕ-движении» <<http://ezhe.ru/>> и на других сайтах; когда один из самых талантливых стилистов и редакторов (автор и ведущий лучшего артпроекта 90-х — полосы «Искусство» газеты «Сегодня», представлявшей полноценное, самостоятельное издание) Борис Кузьминский собрал в «Круге чтения» «Русского Журнала» все самое живое и энергичное в литературном Интернете, таким образом обозначив для широкой публики сложившиеся к тому времени интернет-стилистики как некий литературный феномен.

Русский литературный Интернет, так сказать, встал на ноги.

И тут же, в конце 90-х, обозначились те процессы, которые привели его к нынешней ситуации.

Ничего принципиально нового не появлялось, просто движение, заданное отцами основателями, продолжившись, обрело уже собственную логику. Литературные сайты множились почти в геометрической прогрессии. Скажем, рядом с первой интернетовской библиотекой Пескина <<http://public-library.narod.ru/>> очень скоро интернетовские пользователи поставили в свое «Избранное» адрес библиотеки Максима Мошкова <<http://www.lib.ru>>, потом добавили адрес библиотеки Института философии РАН <<http://philosophy.ru/library/library>>, потом — исторической библиотеки с сайта «История России» <<http://tuad.nsk.ru/~history/>> и т. д. Росло количество литературных интернет-журналов, персональных сайтов, коллективных «региональных» (ставлю это слово в кавычки, потому как в Интернете понятия центра и периферии отсутствует по определению): питерских, екатеринбургских, одесских, нижегородских, прибалтийских и т. д. И вот наступил момент, когда появление очередных, даже очень амбициозно поданных интернетовских проектов ничего нового, по сути, к сложившейся картине уже не прибавляло. Скажем, появление достаточно интересно и энергично развивающегося сайта «Топос» <<http://www.topos.ru/>>, собравшего вокруг себя много одаренных, ярких даже интернетовских литераторов, качественного приращения русскому литературному Интернету дать уже не могло.

Качественные приращения пошли по другим направлениям.

Очень скоро на двух ведущих сайтах обозначилось, вначале как параллельное, издательское направление. Начали выходить в специально созданном для этого издательстве «Геликон-Плюс» книги авторов «Лито им. Стерна», а в «АРГО-РИСК» и «Колонна» — книги авторов «Вавилона». Затем к этому подключились крупные издательства — одной из первых ласточек было здесь издание в 1999 году питерской «Азбукой» тиражом 18 000 экземпляров «Идеального романа» Макса Фрая, писавшегося в Интернете. Сегодня же перечисление книг и журнальных публикаций, первоисточником которых была интернетовская публикация, заняло бы у меня весь оставшийся для обзора объем. Похоже, что талантливый или просто интересный текст, собравший достаточно широкую читательскую аудиторию в Интернете, отныне будет обречен на бумажное издание. Не раз и не два я как обозреватель оказывался в двусмысленном положении: описав новое литературное произведение как интернетовское, я после выхода (через четыре месяца) нашего журнала вынужден был выслушивать упреки интересующихся, почему ссылка дана только на Интернет, ведь этот текст уже напечатан.

Другими словами, литературный Интернет освоил и активно выполняет сегодня функции литературного агентства.

Соответственно этому меняется и литературное поведение интернетовских авторов. Если раньше была даже некоторая бравада: я живу в Интернете, там мое место, там моя реализация, там моя аудитория, то сегодня, например, как сотрудник литературного журнала я регулярно получаю электронные письма от молодых литераторов с просьбой рассмотреть на предмет публикации их сочинения и с указанием интернетовского адреса этих сочинений. То есть нынешние авторы начинают рассматривать свои интернет-публикации как некую предварительную процедуру, как инкубационный период «бумажной публикации».

Сотрудничество писателей и издателей с Интернетом очень быстро нашло еще одну форму работы — использование Интернета для раскрутки выходящих книг. Одним из первых был Пелевин с «Generation 'P'», предваривший выход книги публикацией глав из нее в Интернете. Сегодня редкое из крупных издательств не обзавелось еще сайтом в Интернете для представления своих авторов.

Ну а с другой стороны, своей жизнью зажили в Интернете толстые литературные журналы — в «Журнальном зале „РЖ”» <<http://magazines.russ.ru/>>, в «Русском переплете» или на персональных сайтах, как у журналов «Новое литературное обозрение» <<http://nlo.magazine.ru/shop/>> или «День и ночь» <<http://www.din.krasline.ru/>>. Границы между интернетовской литературой и бумажной исчезают. Вчерашние эксклюзивно-интернетовские писатели и поэты уже не являются всей интернетовской литературой. Интернетовскими, по сути, авторами стали и Маканин, и Пеле-

вин, и Солженицын, и Астафьев, и Олег Павлов — в одном только «Журнальном зале» представлены тексты более чем двух тысяч «бумажных» писателей.

(Лично для меня русский литературный Интернет закончился после того, как издательство «Новое литературное обозрение» в новой своей серии «Soft Wave» выпустило книги прозы Станислава Львовского, Ольги Зондберг, Дениса Осокина, до этого существовавшей в моем сознании как сугубо интернетовское явление. Сегодня я все чаще ловлю себя на том, что не помню уже, где я впервые прочитал тот или иной текст — в Интернете или на бумаге.)

И еще один параллельный процесс, идущий уже внутри литературного Интернета и связанный с эстетическими ориентациями: в романтический «пионерский» период интернет-литературы авторы ее в большинстве своем претендовали на эстетическое и интеллектуальное лидерство — в тогдашних их декларациях очень часто присутствовал мотив противостояния интернет-литературы литературе бумажной. Сетевые авторы позиционировали себя в качестве представителей *альтернативной* литературы. И дело не в том, насколько их художественная практика соответствовала их декларациям, — здесь важна сама ориентация на эстетический прорыв.

Одновременно в Интернете стали множиться сайты домодельной фантастики, эротической литературы, криминальных, авантюрных, любовных и прочих сочинений. Рубрикация новых интернетовских библиотек («Мелодрама», «Боевик», «Фэнтези» и т. д.) ориентируется уже на тот культурный уровень широкого читателя, который не делал различий между литературной обработкой телесериала «Рабыня Изаура» и «Анной Карениной», — и то и другое подается как мелодрамы.

Знаковой для этих процессов стала (для меня, естественно) фантастическая популярность среди пользователей сайта Алексея Экслера <<http://www.exler.ru/>>, с его бесконечно длившимся, ежедневно писавшимся чуть ли не набело в Интернете романом «Дневник жены программиста». Откровенно посредственная, ни на что, кроме развлекательности, не претендующая, в стилистике эпигонов «молодежной прозы» 60-х годов написанная, инфантильно-юморная литературная «мыльная опера» вдруг стала восприниматься чуть ли не репрезентативным для русского литературного Интернета явлением — сужу по количеству интервью, взятых у Экслера нашими ведущими газетами.

Иными словами, в литературном Интернете появился и начал пробивать свое многоводное русло поток принципиально другой по установкам литературы — литературы, обслуживающей читателя. И культурное пространство Интернета начало перестраиваться по принципам современного книжного супермаркета, не делающего различий между Платоном и Блаватской, Мандельштамом и Асадовым. И то и то — товар.

Аудитория (а она была, это точно, — она заходила в Сеть и искала литературные тексты, и Интернет предлагал тогда не Экслера, а прозу и поэзию с «Тенёт», «Вавилона», «Лавки языков» <http://vladvostok.com/Speaking_In_Tongues/> и т. п.), рассредоточилась по разным сайтам, исходя из собственных предпочтений. Литераторы первой литературной интернет-волны начали терять своего читателя.

Суть происходящего, точнее, уже происшедшего с нашим Интернетом в том, что основными своими функциями он выбрал функции некой культурной инфраструктуры при современной русской литературе. Не более того. Но и — не менее.

Соответственно нынешняя ситуация в литературном Интернете требует уже других навыков поведения в этом пространстве. И, возможно, других принципов работы для веб-обозревателя. Каких? Еще не знаю. Вероятность появления замечательного текста в Интернете, который через полгода не будет книгой или журнальной публикацией, становится все меньшей и меньшей. Так зачем отсылать читателя к Интернету, если он очень скоро получит возможность полноценного — не с экрана, а с книжных страниц — чтения этого произведения? И произведение это, строго говоря, уже не будет интернетовским событием, а просто — литературным. Ну а рецензировать то, что висит в Интернете, но не имеет никаких шансов на публикацию бумажную, вообще бессмысленно.

Когда-то (впрочем, не так уж и давно) отношение широкой читательской аудитории, не слишком представляющей себе специфику литературного Интерне-

та, к новому информационному пространству как к некоему одному огромному изданию под названием «Интернет» вызывало иронические усмешки интернетовской публики. Но, как показывает их реакция на происшедшее с нашим Интернетом в последние два-три года, подобное отношение было в какой-то степени свойственно им самим. Как уже было сказано, многие из интернет-деятелей — сознательно или бессознательно — позиционировали себя в качестве граждан некоей суверенной литературной республики, существующей параллельно и чуть ли не альтернативно всей остальной, «бумажной», литературе. И в определенный период развития нашего Интернета они имели на это право.

Но с самого начала отцы основатели знали, или по крайней мере чувствовали, что строят Вавилонскую башню. Что в перспективе главной проблемой Интернета станет проблема ориентации в нем, проблема структурирования его пространства. В том числе и эстетического. Программным слоганом «АнтиТенёт», например, с самого начала было: «Структурируем литературное пространство». Работа эта началась уже на относительно ранних этапах развития нашего Интернета — все эти литературные конкурсы, работа сайтов «Тенёта» и «АнтиТенёта», появление «ЕЖЕ-движения» и т. п. Веб-обозреватели, Курицын, скажем, или Фрай, старались не пропустить ничего интересного. Однако пространство литературного Интернета расплозлось неудержимо, теряя не только свои очертания, но первоначальный смысл своего существования. И обозреватели один за другим капитулировали. Год назад Курицын прекратил свою обозревательскую работу, Фрай, насколько я понимаю, сдался еще раньше. Стены русского литературного Интернет-дома растаяли.

В Интернет заходят сегодня, чтобы прочитать газету, которую не успели купить утром в метро, прочитать отзывы интернетовских критиков на только вышедший роман культового писателя, полистать свежий номер толстого журнала или, на худой конец, узнать счет, с каким закончилась вчера игра, которую не дала досмотреть жена.

Интернета как особого мира не стало.

И знаковой кажется мне ситуация с феноменом «LiveJournal» («Живого Журнала») <<http://www.livejournal.com/>>, в частности, стремительное разрастание на этом международном сайте русского его отсека.

«ЖЖ» («Живой Журнал») — это такой суперсайт, состоящий из персональных страниц, для публичного ведения владельцем каждой из них собственного дневника. Оказавшись на такой странице, вы получаете возможность читать дневник ее хозяйки, а на параллельных страницах — знакомиться с высказываниями его виртуальных друзей по поводу отдельных пассажей в дневнике. В свою очередь, со страниц, на которых идет общение автора с друзьями, вы, щелкнув мышкой по значку-символу друга, окажетесь уже на персональной странице последнего и, почитав его дневник, можете познакомиться на параллельных страницах уже с его друзьями, а если кто-то из них вас заинтересует, можете заглянуть и на его страницы, затем познакомиться с его кругом общения и т. д. Если делать это достаточно долго, вполне можно снова оказаться на исходной странице.

«ЖЖ» — это что-то вроде полузакрытого клуба. Он доступен — для чтения — каждому. Правда, для этого нужно знать хотя бы один адрес. Структура этого сайта не предоставляет его посетителю возможности обычного литературного сайта, где, щелкнув на кнопку «Авторы», вы получаете список всех авторов. Такой страницы в «ЖЖ» нет, да и быть не может. В этом журнале уже более полумиллиона персональных страниц. Ну а если хотите, то, проделав несложную процедуру регистрации, вы можете завести собственную страницу, обзавестись своими друзьями и зажить еще одной — виртуальной — жизнью в «Живом Журнале», выбрав себе сетевое имя или оставив собственное. Активно используются оба варианта. Есть персонажи сугубо сетевые, никто не знает, кто они. Ну а есть, скажем, юзер Paslen с внешностью, стилистикой, кругом друзей **Дмитрия Бавильского** <<http://www.livejournal.com/users/paslen/>>.

И вот неожиданно оказалось, что именно собственная страница в «ЖЖ» — это и есть сегодня самое-самое для наших интернет-литераторов: самое сокровенное и самое приватное. Тот же Бавильский, активно пишущий для «Топоса» как автор и там же реализующий своей проект «Библиотека эгоиста», тем не менее достаточно актив-

но ведет собственную страницу в «ЖЖ». Или Роман Лейбов, давний автор и редактор «Русского Журнала», автор и редактор могучего сайта «Рутения», главным своим местом в Интернете считает, похоже, страницу в «ЖЖ» <http://www.livejournal.com/users/R_L/>. Сегодня легче сказать, у кого из известных наших интернет-деятелей нет своей страницы в «ЖЖ», нежели перечислить тех, кто ею обзавелся.

«ЖЖ» возник в нашей жизни сравнительно недавно и мгновенно стал как бы новым домом русских интернетовских литераторов. Причин для этого, думаю, много — остроумная, необыкновенно удобная конструкция сайта, возможность легко завести персональную страницу в Интернете, оптимальное сочетание приватности и публичности. Но я бы предложил для объяснения феномена «ЖЖ» еще одну причину, возможно, и не вполне осознанную многочисленными русскими юзерами «ЖЖ». Мне кажется, что в какой-то момент они вдруг обнаружили русский литературный Интернет чем-то вроде стремительно расширяющейся Вселенной, где тебя уже не видно и не слышно, где тепло совместного пространства для дружб — а также для полемики, для борьбы за читателя и проч. — испарилось в новом информационном космосе. Ну в самом деле, зачем, скажем, «Вавилону» спорить, допустим, с «Русским переплетом» или «Переплету» собачиться с «Топосом», — вряд ли читатель «Вавилона» осведомлен о том, что делается на страницах «Переплета», и наоборот. Русского литературного Интернета как единого пространства больше нет. И стремительное разрастание русского сектора в «ЖЖ» может рассматриваться еще и как бессознательная попытка наших интернет-деятелей воссоздать ощущение единого интернетовского пространства, как нежелание отказываться от привычных навыков поведения в интернетовском поле.

Порыв понятный, но, на мой взгляд, тоже обреченный. И в самом «ЖЖ» неизбежно начнется (и идет, насколько я понимаю, полным ходом) разбредание народа по отдельным тусовкам, все менее и менее пересекающимся между собой. И там люди уже скоро потеряют друг друга из виду. И, перескакивая через несколько логических ходов, которые, надеюсь, читатель в состоянии сделать сам, предположу, что в ближайшем будущем лидирующая роль в структурировании современного литературного (и шире — культурного) пространства останется по-прежнему у бумажных изданий — уж какие они есть: у полос культуры и искусства ведущих газет и у литературных журналов.

Приложение

В качестве такового хочу предложить адрес замечательного каталога интернетовских материалов, посвященных истории литературного Интернета, и перечень сайтов, сыгравших значительную роль в становлении и развитии русского Интернета. Каталог составлен Романом Лейбовым и обнародован им на своей странице в «ЖЖ» <http://www.ruthenia.ru/r_l/history.html>.

Вот некоторые позиции из этого каталога:

«Russian Internet, R_L Основные источники:

Летопись Горного <http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ru_let/index.html>

Книга рекордов (Арт. Лебедев) <<http://www.tema.ru/rrr/first/>>

История Интернета в России <<http://www.nethistory.ru/>>

Физиономии русского Интернета <<http://www.ezhe.ru/fri/>>

1992: пренатальный период

Внуки Дажьдбога <<http://metalab.unc.edu/sergei/Grandsons.html>>

СовинформБюро <<http://www.siber.com/sib/>>

Библиотека Пескина <<http://www.online.ru/sp/eel/russian/>>

1993 — 1994: накопление материала, первая виртуальная кровь

Домен. RU

Либертариум <archive.org, 99) (<http://www.libertarium.ru/>>

Библиотека Мошкова <<http://www.lib.ru>>

Окно в Россию <<http://www.wtr.ru/>>

Журнал «Тятя, тятя...» <<http://www.mark-itt.ru/FWO>>

WebList.Ru <<http://weblist.ru>>

1995: графомания, интерактивность, попытки русификации, первые порталы, первые журналы и опыты образовательной Сети

Сад расходящихся хокку <<http://www.litera.ru/slova/hokku>>

Из песни... не выкинешь <<http://ygreg.msk.ru/cgi/kl/main.cgi>>

Инфоарт <<http://web.archive.org/web/19970502202857/http://www1.infoart.ru/mainmenu.htm>>

1996: выход в люди

НКВД (Р. Воронежский, 1997) <<http://www.zhurnal.ru/rv/nkvd/index.htm>>

Тенёта <<http://www.teneta.ru/>>

Кулички <[archive.org, 98](http://web.archive.org/web/19980420150734/http://kulichki.rambler.ru/)> <<http://web.archive.org/web/19980420150734/http://kulichki.rambler.ru/>>

Zhurnal.Ru — [archive.org, 97](http://web.archive.org/web/19970330113839/http://www.zhurnal.ru/) <<http://www.zhurnal.ru/>> <<http://web.archive.org/web/19970330113839/http://www.zhurnal.ru/>>

Журнальный зал <<http://magazines.russ.ru/>>

1997: бум-бум!

Яndex <[archive.org, 1998](http://web.archive.org/web/19981206071517/http://yandex.ru/index.html)> <<http://web.archive.org/web/19981206071517/http://yandex.ru/index.html>>

Обозреватели:

РЖ <[archive.org, 1998](http://web.archive.org/web/19980623064015/http://www.russ.ru/)> <<http://web.archive.org/web/19980623064015/http://www.russ.ru/>>

ЕЖЕ <<http://www.ezhe.ru/manifest.html>>».

Тем же, кто не намерен специально заниматься историей русского Интернета, но хотел бы заглянуть в нее, рекомендую компактную, но достаточно информативную «Летопись русского Интернета: 1990 — 1999», составленную Евгением Горным <http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ru_let/index.html>.



И Е К Р О Л О Г

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО

28 ноября 2003 года скончалась Татьяна Васильевна Чередниченко. Добавить, как это принято: «после тяжелой продолжительной болезни» — значит не сказать ничего. Борясь последние годы с неизлечимым недугом, претворяя жестокие страдания в духовный опыт, находя в своем состоянии даже интеллектуальный импульс, не порывая, несмотря ни на что, с умственным творчеством и общественными заботами, она прибавила черты особой душевной высоты к своему известному многим образу — блистательно талантливого музыковеда, совершенно оригинального историка и философа искусства, остроумнейшего аналитика массовой культуры, педагога и просветителя.

Невозможно перечислить, сколько всего было сделано и создано за не слишком долгую жизнь этой прекрасной внешне и внутренне, обаятельной в светском и дружеском общении, исполненной положительной активности женщиной. Она обладала уникальным даром музыкальной экзегезы, редчайшим умением говорить о музыке на «общекультурном» языке. Помимо специальных исследований в музыковедении она написала книги, способные приобщить к пониманию музыки, движения ее в веках и последних десятилетиях людей, желающих, но не знающих, как подступиться к грандиозному лабиринту музыкальных звучаний. Книги эти — двухтомник «Музыка в истории культуры» (1994) и «Музыкальный запас. 70-е» (2002) — останутся образцами того, как просветительскую задачу удается сочетать с эвристической свежестью, как музыкальные смыслы можно передавать словом — не нудно-академическим, а образно-воодушевленным, не снисходительно-упрощенным, а углубляющимся в предмет. И еще: Татьяне Чередниченко, знатоку русской оперы, мы обязаны реконструкцией либретто «Жизни за царя» Глинки и «Князя Игоря» Бородина; она — уже в качестве зоркого феноменолога — выстроила и вела телевизионный цикл «Лексикон истории культуры», расшевелив и сделав своими экранными собеседниками многих интересных людей; она возглавляла Благотворительный фонд Г. В. Свиридова, была генеральным директором Благотворительного Резервного фонда, координатором литературной премии им. Ю. Казакова, — и этим далеко не исчерпывалось ее участие в судьбах тех, кто нуждался в поддержке; она жила интересами страны и шла на острые публицистические споры, стоившие ей большого нервного напряжения. Трудно припомнить, сколько всего она осуществила, в скольком поспела, — никогда не будучи уверена в себе, с трогательностью дебютантки ловя отклики одобрения и понимания.

В «Новом мире» Татьяна Васильевна — для многих из нас Таня — появилась в 1992 году с превосходным текстом о легкой музыке и сразу стала любимым автором и просто любимым человеком в журнале, вскоре — членом редакционного совета, лауреатом журнальной премии. За те десять с лишним лет, что она печаталась — спасибо ей! — с неизменной регулярностью и частотой на наших страницах, она успела заманить читателей в своего рода музыковедческий семинарий. Чередниченко — такова черта крупно мыслящих людей — была совершенно лишена эстетического снобизма. С одинаковой поглощенностью и энтузиазмом она писала о классических сочинениях первого ряда, о музыкальном авангарде и поставангарде XX века и об увеселительной музыке стародавних времен. Ее статьи «Русская музыка и геополитика» и «Медленное в русской музыке» — быть может, лучшее из того, что написано в 90-е годы о так называемом национальном менталитете. Но и музыкально-ритмический разбор какой-нибудь попсовой песенки или аутопсия рекламного слогана выводили ее на нелицеприятные обобщения о «временах и нравах».

У нее был подлинный философский умственный склад — то есть такой, когда любое жизненное или художественное впечатление становится мостком к постижению природы вещей. Азартно увлекавшаяся современными типами рассуждения, модными методами философского и культурологического анализа, она вместе

с тем всегда жестко удерживала мысль на глубоком, неотменимом существе событий, происходящих в обществе и в культуре. Даже свой опыт пациента она бесстрашно препарировала и превратила в социально-антропологический очерк «Онкология как модель», разбередивший общие для многих болевые точки. А когда из-за обессиливающей болезни поле впечатлений резко сузилось, она воспользовалась теми, что доходили из «ящика», и по телемотивам саундтрека и «картинки» успела написать четыре блестящих эссе для цикла «Мелочи культуры», так и не оконченного; на вещь, задуманную следующей, — о физиономии приглашаемой в ток-шоу массовки — уже не хватило сил. Пятый номер минувшего года — последний, где она присутствует в качестве автора.

...А вообще Таня была радостным человеком. Она любила писать о праздниках и праздничности — иногда приподнято, иногда с иронией, но всегда весело. Она сама была носителем праздничного тона. Очень больно вычеркивать из наших ежесемейных анонсов ее фамилию, так их украшавшую. Больно знать, что в телефонной трубке никогда уже не раздастся ее приветственно-четкий голос, самой интонацией обещающий, что вас одарят, а не обременят разговором, а под конец вселявший надежду на лучший исход, даже когда никакой надежды быть не могло.

Остается помнить, перечитывать, собирать разрозненное и, слушая Глинку, Калининкова или Свиридова, а кому дано — Штокхаузена, вспоминать, как она здорово нам их объясняла.

Новомиргы.

Позволю себе поделиться одним личным воспоминанием. Где-то в середине семидесятых годов, когда Татьяне Чередниченко было немногим более двадцати лет, но она успела уже заявить о себе как о весьма значительной и яркой личности, на одной шумной вечеринке при немалом скоплении народа я назвал ее своей занозой — и это было почти что объяснением в любви. Она как заноза вошла в мое сознание, и с тех самых пор при всех расчетах своих композиторских стратегий я так или иначе должен был учитывать ее позицию. Это не значит, что мы водили тесное знакомство. Мы могли не видеться годами, но мы действовали в одном пространстве и постоянно ощущали присутствие друг друга. Со временем я заметил, что далеко не одинок и что «пронзенных» личностью Татьяны Чередниченко становится все больше. Это не значит, что «пронзенность» всегда носила восторженный характер, — в целом ряде случаев она вызывала и негативные реакции. Но подобные реакции неизбежны, если речь идет о радикальном прорыве, а Татьяна Чередниченко именно и осуществила такой прорыв в области музыкознания. Она разбила узкоцеховые рамки присяжных музыковедов и обрела ослепительную возможность совершенно по-новому думать и писать о музыке. Во времена фундаментальных сдвигов и подвижек в самом основании культуры она была одной из немногих, кто смог не только интуитивно ощутить эти сдвиги, но принять в них сознательное, волевое участие. У Кафки есть притча под названием «Ночью». В этой притче говорится о ночном страже, который бодрствует, когда все спят: «А ты бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы увидеть другого, размахиваешь горячей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен». Я всегда вспоминаю эти слова, когда думаю о Татьяне Чередниченко. Она безусловно относится к немногочисленному племени ночных стражей, что подают друг другу неведомые световые сигналы во мраке всепоглощающей ночи. И я верю в то, что время — если оно еще у нас есть — покажет нам это.

Композитор Владимир МАРТЫНОВ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Равиль Бухараев. Дневники существований. Рассказы, эссе, воспоминания. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр „Блиц“», 2003, 608 стр., 1000 экз.

Эссеистская проза известного поэта и прозаика, материалом для которой стали впечатления автора о жизни в Европе, впечатления от поездок по России, Индии, Америке. Лирико-философская тональность первой части — «Дневники существований» естественно переходит в повествование второй ее части — «Дорога Бог знает куда» — к размышлениям о содержании нашего религиозного чувства, об иудаизме, о христианстве и особо — об исламе в современном мире.

Псой Короленко. Шлягер века. Послесловие И. Кукулина. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 300 стр.

Тексты песен Псоя Короленко (к книге прилагается сидиром с записью песен в авторском исполнении), а также собрание его эссеистики, посвященной стихотворцам и исполнителям в России и за рубежом (Марк Фрейдкин, Алик Копыт, Шиш Брянский, Алла Пугачева, Йукси Йукконен, Ив Монтан, Ганс Зиверс и другие).

Леонид Латынин. Русская правда. Томск-М., «Водолей Publishers», 2003, 558 стр., 500 экз.

Две антиутопии — «Гример и муза» и «Русская правда».

Оскар Лутс. Осень. Новые истории про Тоотса. Перевод с эстонского Норы Яворской. Таллинн, «VE», 2003, 324 стр.

Впервые на русском языке книга классика эстонской литературы Оскара Лутса (1887 — 1953), написанная им в 1938 году и изданная на родине в 1988-м. «Осень» продолжает написанную до Первой мировой войны книгу «Весна» («Картинки из школьной жизни») с тем же героем — Тоотсом, где изображаются реалии жизни в независимой Эстонии 30-х годов.

Чеслав Милош. Это. Перевод с польского и вступительная статья А. Я. Ройтмана. М., О.Г.И., 2003, 204 стр., 1000 экз.

Двуязычное издание стихов нобелевского лауреата 1980 года.

Поэзия французского сюрреализма. Антология. Составление и комментарии М. Яснова. СПб., «Амфора», 2003, 502 стр.

Андре Бретон, Поль Элюар, Луи Арагон, Филип Супо, Жак Превьер, Антонен Арто, Раймон Кено, Рене Дюмаль — стихи и эстетические манифесты.

Пролог. Молодая литература России. Выпуск второй. М., «Вагриус», 2003, 340 стр., 3000 экз.

Вышедший с предисловиями Сергея Филатова и Кирилла Ковальджи второй сборник прозы, поэзии, критики и публицистики молодых писателей содержит произведения Ольги Белоусовой, Евы Датновой, Ильи Кочергина, Романа Сенчина, Марины Андреевой, Игоря Белова, Дарьи Кулеш, Евгения Новицкого, Сергея Шаргунова и других. Работа над сборником велась в рамках программ «Молодые писатели России» и «Интернет-журнал молодых писателей России „Пролог“» <<http://www.ijp.ru>>.

«Отличительная черта „Пролога“ от уже существующих сетевых литературных журналов — поиск талантливых авторов на всей территории России.

Мы выпускаем также печатную версию „Пролога“ — общероссийский альманах молодых писателей „Пролог“, в котором собраны лучшие произведения всех жанров, размещенные на нашем сайте.

К целям „Пролога“, помимо основной — знакомство широкой аудитории с новинками молодой литературы, относятся следующие:

молодые литераторы провинции и столицы должны иметь одинаковые стартовые условия для выхода к читателю;

журнал консолидирует развивающиеся творческие силы страны;

„Пролог“ дает выход на сайт только талантливым произведениям, без ссылок на ученичество или возраст автора, придерживаясь известной поэтической формулы: „Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами“ <<http://www.ijp.ru/show/about.php>>.

Валех Салехоглы. Человек с рассеченной губой. Баку, «Гамма сервис», 2003, 114 стр., 500 экз.

Книга стихов молодого, но уже получившего известность на родине азербайджанского поэта, пишущего по-русски. Татьяна Бек в своем эмоциональном предисловии упоминает о «сложно переплетенных поэтических корнях лирики Салехоглы, о „диалоге“ азербайджанской и русской констант внутри его најживейшей души, об отголоске мировой поэзии (от Низами до Блока, от Уитмена до Хикмета), фольклорных и авангардных линиях в едином творческом пространстве»; «Лирический герой Валеха (собственно говоря, его сокровенное эго) — безусловный романтик со стихийным вызовом, что само по себе в контексте преобладающего ныне культурного стѣба и обросшего штампами приземленно-коллективного иронизма являет собой высокую дерзость».

Клод Симон. Приглашение. Перевод с французского Е. Ляминой. Послесловие С. Зенкина. М., О.Г.И., 2003, 136 стр., 3000 экз.

Книга известного французского писателя, нобелевского лауреата (1985), работающего в технике «нового романа», описывает впечатления от поездки на Иссык-Кульский форум 1986 года, подтолкнувшие автора к созданию своего образа СССР в последние годы его существования.

Роман Солнцев. Страна Адрай. История одной семьи. Красноярск, «Гротеск», 2003, 652 стр.

Семейная сага, писавшаяся известным сибирским писателем полтора десятилетия (1987 — 2002) и изображающая героев романа со времен Гражданской войны до наших дней.



Борис Аверин. Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской биографической традиции. СПб., «Амфора», 2003, 399 стр., 1000 экз.

«Если рассматривать творчество Набокова как единый текст, в котором сплавлены жизнь и воображение, экзистенциальное и творческое начало, то окажется, что наибольшую, наивысшую степень своего единства он проявляет как раз в теме воспоминания, которому с равной степенью упоения и напряжения предаются и автор, и его герои, причем многие из них не только вспоминают свое прошлое, но и создают (как их автор) воспоминание-текст» (из «Введения»). Исследователь рассматривает различные традиции автобиографической прозы в русской литературе: традицию Аксакова — Герцена — Короленко (ориентация на «человека исторического»), традицию «концептуальных» воспоминаний («Детство. Отрочество. Юность» Льва Толстого) и традицию Набокова — «личной обочины общей истории», — традицию, которой чужды концептуализм, рационализм, «объективизм». Аверин исследует биографические романы Набокова в контексте творческого наследия П. Флоренского, И. Бунина, А. Белого, Вяч. Иванова и Л. Шестова.

Мария Виролайнен. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., «Амфора», 2003, 503 стр., 1000 экз.

Книга подводит итог почти двадцатилетней работы известного литературоведа над центральной для нее темой исследований. «Каждый текст о чем-то молчит, и зона его молчания суть та область, которая взывает к условиям герменевтическим. Ибо герменевтика — это про-речение несказанного, и тем она отличается от многих других областей филологии, направленных на истолкование сказанного» (от автора). Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате. Составители Я. И. Гройсман, Г. П. Корнилова. Нижний Новгород, «ДЕКОМ», 2003, 288 стр., 5000 экз.

О Булате Шалвовиче Окуджаве (1924 — 1997) вспоминают Исаак Шварц, Евгений Евтушенко, Галина Корнилова, Юлий Ким, Станислав Рассадин, Наум Коржавин, Фазиль Искандер, Евгений Рейн, Анатолий Гладилин, Лазарь Лазарев и другие. Книга начинается «Хроникой жизни и творчества», составленной М. Р. Гизатулиным и В. Ш. Юровским.

Георгий Гачев. Национальные образы мира. Соседи России. Польша, Литва, Эстония. М., «Прогресс-Традиция», 2003, 384 стр., 1000 экз.

Новая книга Гачева о западных соседях России, продолжающая его работы, написанные в жанре «экзистенциальной культурологии» («Рассуждения об объективных предметах включены в контекст жизни автора. Отсюда — стиль дневника, исповедальность. Мышление Отвлеченное чередуется с Привлеченным, где осуществляется Сократово „познай себя“»).

Виктор Головин. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 288 стр.

«Мир художника» в данном случае — «это некий микромир» вокруг художника, прежде всего включающий в себя непосредственные контакты с окружающими людьми — заказчиками, покровителями, коллегами, сотрудниками, учениками, а также исторически сложившиеся условия жизни не столько бытовой, сколько профессиональной и социальной» (из «Введения»). Книга вышла в новой серии «НЛО» — «Очерки визуальности», задуманной «как серия „умных книг“ на темы изобразительного искусства, каждая из которых предлагает новый концептуальный взгляд на известные обстоятельства».

Вильгельм Гумбольдт. О пределах государственной деятельности. Челябинск, «Социум» — М., «Три квадрата», 2003, 200 стр., 1000 экз.

Классическая для политической философии либерализма работа немецкого философа, описывающая устройство государства, которое ограничивается в своей деятельности только задачами поддержания закона и порядка в противовес прусскому «просвещенному деспотизму» с его заботами о «положительном благе граждан». Предыдущее издание было осуществлено в Санкт-Петербурге в 1907 году.

Египетская Книга мертвых. Папирус Ани Британского музея. Перевод, введение и комментарии Э. А. Уоллеса Баджа. Перевод с английского С. В. Архиповой. М., «Алетейя», 2003, 416 стр., 2000 экз.

Новый перевод труда знаменитого египтолога, представляющего самую полную версию Книги мертвых.

Галина Ельшевская. Короткая книга о Константине Сомове. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 176 стр.

Очерк жизни и творчества известного мирискусника; в отличие от прежних исследований, наряду с «русским» рассматривается и «парижский» период творчества художника. Книга вышла в новой серии «НЛО» «Очерки визуальности».

Алексей Зверев. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920 — 1940. М., «Молодая гвардия», 2003, 371 стр.

Последняя книга литературоведа Алексея Матвеевича Зверева (1939 — 2003).

Наталья Иванова. Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр „Блиц“», 2003, 560 стр., 3000 экз.

Книга известного критика — попытка по-новому взглянуть на сложившуюся в критике ситуацию. «Совсем недавно, исторически давно, несколько лет тому назад, в прошлом веке литературная полемика расцвела и процветала — полемизировали не столько личности, сколько направления <...>».

А что потом?

Потом начался путь каждого в одиночку. Наступило время не направлений (их сменили, хотя и не заменили, тусовками), а время личных, индивидуальных проектов (и усилий). Возросла конкуренция — между персонажами, даже членами одной группы. <...> Индивидуальный проект — всегда индивидуальный риск. На ответственности самого автора. Раньше, когда речь шла о направлениях, то неуспех одного из участников компенсировался успехом другого, а репутационный доход и литературный капитал принадлежали всему направлению. Сейчас — не так. <...> Литературная ситуация сегодня как никогда осколочна и персонифицирована. Поэтому никак нельзя говорить о смерти литературы, о ее сумерках, закате или рассвете. Все эти стадии проходят сейчас — одновременно».

В разделе «Линии» рассматриваются основные тенденции современной литературы и литературной жизни; раздел «Хроники» посвящен основным литературным событиям с 1986 по 2000 год.; в разделе «Персонажи» — литературно-критические эссе об «индивидуальных проектах» Виктора Астафьева, Фридриха Горенштейна, Юрия Давыдова, Игоря Ефимова, Светланы Кековой, Эдуарда Лимонова, Феликса Светова и других; в «Спорах» — полемики вокруг Солженицына, Бродского, Ахматовой.

Ольга Ильина-Лаиль. Восточная нить. Перевод с французского Т. Чесноковой. СПб., «Издательство журнала „Звезда“», 2003, 288 стр., 1000 экз.

Воспоминания сестры Натальи Ильиной о жизни русской и отчасти международной эмиграции в Харбине.

Ш. Казиев, И. Карпеев. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. М., «Молодая гвардия», 2003, 452 стр.

«Кавказская энциклопедия — горы, земли, народы, языки, религии, роды и племена. Свобода и рабство, семья и кровная месть, адат и шариат, одежда и пища, тосты и

гадания, горский этикет и народная медицина, торговля и жилища, песни и танцы, сказки и легенды, анекдоты и пословицы...» («Книжное обозрение»).

Артур Кёстлер. Альбер Камю. Размышления о смертной казни. Перевод с французского А. И. Любжина, П. И. Проничева. М., «Праксис», 2003, 272 стр., 3000 экз.

Издание на русском языке книги, впервые вышедшей в 1957 году и включавшей «Размышление о виселице» Артура Кёстлера и «Размышление о гильотине» Альбера Камю с последующими дополнениями к ним статьи Жан Блок Мишеля «Смертная казнь во Франции», писем Альбера Камю и статистической справки «Смертная казнь в мире».

«Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына. Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст. Сборник научных трудов. Под редакцией А. В. Урманова. Благовещенск, Издательство БГПУ, 2003, 163 стр.

Статьи Майкла А. Николсона, А. В. Урманова, С. И. Красовской, Н. М. Щедриной, А. А. Забияко, Н. В. Киреевой, Д. Д. Земсковой, анализирующие пространственно-временную и повествовательную организацию рассказа Солженицына, роль художественных деталей, символики, а также различных форм выражения авторской позиции.

Опыт конкорданса к роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» с приложением текста романа. Составитель Д. А. Гайдуков. М., «ЛэксЭст», 2003, 592 стр., 300 экз.

Первый русский конкорданс к «Евгению Онегину». Содержит все словоформы, встречающиеся в восьми главах романа, «Отрывках из путешествия Онегина» (за исключением прозаической преамбулы к ним) и Главе десятой. А также содержит:

обратный список словоформ (по алфавиту не начальных, а конечных букв), позволяющий «отыскивать словоформы, обладающие определенными грамматическими характеристиками. С его помощью можно также охарактеризовать потенциальный запас рифм, находившихся в распоряжении поэта при создании романа»;

пунктуационный конкорданс (поиск по тексту строк с восклицательным знаком, вопросительным, многоточием);

поглавная карта романа (таблица, отражающая структуру всего произведения: наличие и количество эпиграфов, число строф в каждой главе с обозначением выпущенных строф).

Русский имажинизм. История, теория, практика. М., «Линор», 2003, 520 стр.

Сборник статей; «Новое о легендарном литературном направлении конца 1910-х — первой половины 1920-х годов — Есенин и Мариенгоф, Шершеневич и Кусиков, забытые имажинисты Грузинов, Эрлих и Ройзман. Проблемы поэтики, публикации неизвестных текстов. Последователи и эпигоны имажинизма» («Книжное обозрение»).

М. И. Стеблин-Каменский. Труды по филологии. СПб., Филологический факультет СПбГУ, 2003, 928 стр., 1000 экз.

Самое полное собрание работ знаменитого филолога и лингвиста, в частности специалиста по скандинавским литературам Михаила Ивановича Стеблин-Каменского (1903 — 1981).

Леонид Столович. Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии. Таллинн, 2003, 288 стр., 700 экз.

Автобиографическая проза философа, специалиста по эстетике и истории философии, профессора Тартуского университета, а также — поэта. Повествование построено как воспоминание о стихах в своей жизни, о поэтических увлечениях и поэтических компаниях; обильно цитируются собственные стихи и стихи друзей: Льва Когана, Владимира Микушевича, Глеба Семенова, Давида Самойлова, Игоря Губермана и других. И, естественно, в книге философа — воспоминания о философах, с которыми сводила судьба, в частности об А. Ф. Лосеве, Ю. М. Лотмане, Михаиле Лифшице.

Шолохов и русское зарубежье. Составление, вступительная статья, примечания В. В. Васильева. М., «Алгоритм», 2003, 448 стр., 3000 экз.

Русская эмигрантская пресса о Шолохове: отзывы от Г. Адамовича до А. Солженицына. Составитель Владимир Васильев во вступительной статье защищает шолоховскую версию авторства «Тихого Дона».

А. В. Урманов. Творчество Александра Солженицына. Учебное пособие. М., «Флинта», «Наука», 2003, 384 стр., 2000 экз.

Стремясь охватить основные проблемы поэтики и идейно-художественного содержания творчества Солженицына, автор, следуя за школьной и вузовской программой, разделил свою работу на пять глав: «„Один день Ивана Денисовича“ как зеркало эпохи

ГУЛАГа», «Христианская концепция бытия в рассказе „Матрёнин двор”», «Роман „В круге первом” и проблема творческого метода» (названия первых двух подглавок: «„Архаист” или „новатор”», «Макрообраз „космической гармонии” как структурная основа художественной концепции бытия А. Солженицына»), «„Душа и колючая проволока”»: Тема растления, покаяния и духовного возрождения человека в книге „Архипелаг ГУЛАГ”», «Художественное исследование катастрофы 1917 года в исторической эпопее „Красное Колесо»».

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«ARTхроника», «Вестник Европы», «Время искать», «Время новостей», «Вышгород», «Газета», «Газета.Ru», «ГражданинЪ», «День литературы», «Завтра», «Зеркало», «Знание — сила», «Известия», «ИноСМИ.Ru», «Итоги», «Критическая масса», «Лебедь», «Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новое время», «Посев», «Родная газета», «Русский Журнал», «Седмица», «Союз Писателей», «Томский вестник», «Топос», «Третье дыхание», «Toronto Slavic Quarterly», «Урал», «Фома»

Геннадий Айги. «Поэт от других собак ничем не отличается, но он — говорящая собака». О художниках, писателях, террористах, рифмах, словах, телевизоре, авангарде, постмодернизме и прочей «зауми». Беседу вел Вячеслав Сергеев. — «Новое время», 2003, № 40, 5 октября <<http://www.newtimes.ru>>.

«Я хочу сказать об этом термине — „русский авангард”, — что это довольно поздний термин. Даже Роман Якобсон еще не использовал его. И кстати, если говорить о моем отношении, то я это слово и не люблю».

«Гению Маяковского удалось сделать из Москвы великое урбанистическое произведение. И Малевичу. Москва как город до них „урбанистически” не существовал в литературе».

См. другой вариант этой беседы, а также стихи Геннадия Айги: «Новое литературное обозрение», № 62 <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

Владимир Алейников. Белая ворона. — «Литературная Россия», 2003, № 45, 7 ноября <<http://www.litrossia.ru>>.

Стихи Лимонова *для детей* в многотиражке Главмосавтотранса «За доблестный труд». А также — Дмитрий Савицкий и джаз. *Белая ворона* — это сам Алейников, автор мемуара.

См. также: **Владимир Алейников**, «Нет ни участия, ни вести благой» — «Литературная Россия», 2003, № 19-20, 16 мая; «Самиздат моей эпохи» — «Литературная Россия», 2003, № 34, 22 августа.

Алексей Андреев. Научно-фантастический пиар. — «Знание — сила», 2003 № 10 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

В 70-е годы бдительный фантаст Филип Дик писал письма в ФБР типа: «<...> все они без исключения представляют собой звенья цепи передачи распоряжений от Станислава Лема из Кракова».

Здесь же: **Владимир Гаков**, «Свобода от обязанности думать».

Здесь же: **Ольга Балла**, «Все мы в Матрице».

Здесь же: **Леонид Ашкинази**, **Алла Кузнецова**, «Вчера на планете Барраяр».

Здесь же: **Алла Кузнецова**, «Фантастика и фэны»; «Теперь этот текст [„Мастера и Маргариты”] включен в школьную программу <...> и это — вот наш прогноз — уничтожит сообщество фэнов Булгакова».

См. также — о сообществах фэнов: **Линор Горалик**, «Как размножаются Малфои. Жанр „фэнфик”: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом» — «Новый мир», 2003, № 12.

Белла Ахмадулина. Эти люди сами не понимают, что говорят! — «Известия», 2003, № 204, 5 ноября <<http://www.izvestia.ru>>.

«Они считают, что он [Бродский] не был патриотом? А патриотом чего, какой страны он должен был быть?! Он — великий поэт. И этим все сказано. Потому что великий поэт не может быть патриотом той или иной страны».

Они — это те, кто возражает против установки мемориальной доски в Балтийске на фасаде гостиницы «Золотой якорь». Бродский заезжал в Балтийск в 1963 году (см. его стихотворение «В ганзейской гостинице „Якорь...“»).

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Взбунтовавшийся пасынок русской литературы» — «Литературная Россия», 2003, № 43, 44, 45, 46 <<http://www.litrossia.ru>>; *очень подробно о том, что Бродский — патриот.*

Виктор Балан. Шолохов и другие. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 345, 19 октября <<http://www.lebed.com>>.

Опять — Федор Крюков. Но — иначе.

Татьяна Бек. Бессмертье перспективы. Отсветы и отзвуки поэзии Заболоцкого в современной поэзии. — «Литература», 2003, № 40, 23 — 31 октября <<http://www.1september.ru>>.

«На первый вопрос моей анкеты: „Как лично на вас повлияла (если повлияла) поэтика Заболоцкого?“ — лишь трое [из тридцати восьми опрошенных] ответили категоричным „нет“».

См. также: **Татьяна Бек**, «Николай Заболоцкий: далее везде» — «Знамя», 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Сэмюэл Беккет. Первая любовь. Перевод Петра Молчанова. — «Союз Писателей», Харьков, 2002, № 1 (4) <<http://sp-issues.narod.ru>>.

Рассказ 1946 года — русский перевод «английского варианта».

Даниэль-Дилан Бёмер («*Spiegel*», Германия). «Быть писателем в России всегда было опасно». Интервью Владимира Сорокина. Перевод Владимира Синецы. — «ИноСМИ.Ru», 2003, 13 октября <<http://www.inosmi.ru>>.

Говорит **Владимир Сорокин**: «<...> то, что мы сегодня наблюдаем, это только первый снежок наступающей долгой зимы».

Евгений Берштейн. Эпопея городской сексуальности. — «Критическая масса», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/km>>.

«<...>, „Секс и большой город“ насыщен отсылками к американским культурным, бытовым и социальным реалиям: представьте себе, скажем, Зошенко, по-английски и в штате Орегон — немногим понятнее марсианина с его инопланетными заботами. Чтобы чуть-чуть прояснить ситуацию для российского зрителя, я коснусь нескольких — далеко не всех — *специфически американских* контекстов „Секса и большого города“».

См. также: **Елена Стафьева**, «„Секс в большом городе“. Или невыносимая легкость бытия» — «*GlobalRus.ru*», 2003, 11 июля <<http://www.globalrus.ru>>.

См. также: **Линор Горалик**, «*Sex and the Woman*» — «Грани.Ру», 2003, 12 февраля <<http://grani.ru>>.

Владимир Бондаренко. Предчувствие инквизиции. — «Завтра», 2003, № 46, 11 ноября <<http://www.zavtra.ru>>.

«По-моему, более „реваншистского“ и антидемократического текста [чем новомирский рассказ Маканина „Могли ли демократы написать гимн...“] не придумаешь. Конечно, хитрый старичок Маканин прикрывает свою позицию якобы разыгравшейся похотливостью то ли автора, то ли его героя. Мол, седина в бороду — бес в ребро. <...> Владимир Маканин, яркая звезда этого самого либерализма, топчет ногами, как сдохшую пададь, все свои былые демократические идеалы».

Владимир Бондаренко. Долюшка женская. О новой повести Валентина Распутина [«Дочь Ивана, мать Ивана»]. — «День литературы», 2003, № 10, октябрь.

«Иные скажут: Валентин Распутин защищает и облагораживает беспредел. Приветствует расправу без суда и следствия. <...> Стучались уже всюду. Достучались до полного вымирания. И уже не пламенный Проханов, не революционный Лимонов, а рассудительный Валентин Распутин говорит также рассудительно и неспешно: друзья мои, выхода нет, зло должно быть наказуемо. Это и есть нынешняя самая высшая православная правда».

Александр Бренер, Барбара Шурц. Апокалипсис вчера, сегодня, завтра. — «Критическая масса», 2003, № 3.

«Теперь понимаете, как должна выглядеть социокультурная оценка киберпанка с точки зрения эмансипаторского активизма?»

Эрик Булатов. «Меня интересует только пространство». — «Русский Журнал», 2003, 16 октября <<http://www.russ.ru/culture/vystavka>>.

«Социальная жизнь очень важна. Я думаю, художник может работать только с чем-то очень конкретным, реальным, мгновенным, со своим пространством и своим временем. <...> А просто так за вечное не ухватишься».

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию... — «НГ Ex libris», 2003, № 37, 16 октября <<http://exlibris.ng.ru>>.

Два варианта речи тов. Сталина на приеме в Кремле работников Высшей школы 17 мая 1938 года (стенографическая запись и опубликованный в печати текст) — из сборника «Застольные речи Сталина. Документы и материалы», подготовленного ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН В. А. Невежиным.

Алексей Верницкий. Танкетки на поэтическом бездорожье. — «Русский Журнал», 2003, 20 октября <<http://www.russ.ru/netcult>>.

«Танкетка — это текст, состоящий из двух строк, которые в сумме насчитывают шесть слогов. Слоги расположены по строкам либо так: два в первой и четыре во второй, либо так: три в первой и три во второй. В танкетке запрещены знаки препинания (за исключением дефисов и апострофов внутри слов). В танкетке должно быть не больше пяти слов».

См. также: **Алексей Верницкий**, «Танкетки: новый двигатель русской поэзии?» — «Русский Журнал», 2003, 29 июня <<http://www.russ.ru/netcult>>.

См. в «Сетевой Словесности» постоянный раздел «Две строки / Шесть слогов»: <<http://www.litera.ru/slova/26>>.

Одна из танкеток, сочиненных составителем «Периодики», попала — под псевдонимом — в раздел лучших танкеток сентября (2003).

«Высокое назначение искусства — поднимать человека...» Публикацию подготовили Е. Н. Чавчавадзе, О. Н. Шотова (Дирекция президентских программ Российского фонда культуры). — «Москва», 2003, № 10 <<http://www.moskvam.ru>>.

К 130-летию со дня рождения И. С. Шмелева — его письмо к Раисе Гавриловне Земмеринг от 19 декабря 1933 года. «Но почему Вы — меня это удивило: пишете по новой орфографии. Я не старовер, но тут... в новой орфографии я не нахожу удовлетворения всем звукам и оттенкам родного языка. Я не мог бы писать». Письмо печатается по *новой орфографии*, что естественно, но не неизбежно.

См. также письма Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных к Ивану Сергеевичу и Ольге Александровне Шмелевым, подготовленные и прокомментированные С. Н. Морозовым для журнала «Москва» (2001, № 3).

Александр Генис (Нью-Йорк). Игра в бисер. — «Новая газета», 2003, № 82, 3 ноября <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Встреча с читателями [в Сербии] началась с вопросов. Первым встал диссидент с бородой и ясным взглядом.

— Есть ли Бог? — спросил он.

Я оглянулся, надеясь, что за спиной стоит тот, к кому обращаются, но сзади была только стенка с реалистическим портретом окурка.

— Видите ли, — начал мямлить я.

— Нет, не видим, — твердо сказал спрашивающий. — А вы?

— Почему — я?

— Вам, русским, виднее».

Михаил Гефтер. Не в меня стреляли, но в меня попали. — «Новое время», 2003, № 39, 28 сентября.

Записи 1994 года из архива М. Я. Гефтера о событиях 3 — 4 октября 1993 года. А также заявление от 3 ноября 1993 года о выходе из Президентского совета.

Гольдштейн и Гнедич о Шаламове. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, 2003, № 21-22 <<http://members.tripod.com/~barashw/zerkalo>>.

«<...> шаламовский лагерь даже не смерть, наипаче не одна из объективно непреложных, пусть и ужасных, систем существования на свете, открывающая, стоит с ней сродниться, лазейки в некоторую жизнь, как обстоит в остальной русской лагерной прозе, но страдальческий путь к смерти, непрерывность мучений, только гибелью и оборванными. Но если это сплошное страдание, а лагерный опыт целиком отрицательный и, как то из массива шаламовского со всей горечью рвется, не имеет даже негативной цены, приписываемой экспериментам с худым финалом, если он, этот опыт, — поздно сглаживать, скажем уж прямо — никаким смыслом не обладает, то наворачивается силлогизм. Смысла нет и в страдании, ладно бы в лагерном только, нет, в любом».

сколько-нибудь чистом, в любом сколько-нибудь ярком, и поскольку оно не товар, чтобы его взвешивать, доискиваясь, которое тяжелее и подлиннее — дороже (я мысль Варлама Тихоновича распространяю до крайностей, в ней же самой и лежащих), стало быть, всякое страдание отрицательно и бессмысленно, а это подрывной, опустошительный тезис, жить с ним нельзя, он и не предназначен» (Александр Гольдштейн).

«Меня поражает не Солженицын, осудивший Шаламова за безбожие, а гуманизм лучшего европейского склада, вкладывающий в уста Примо Леви его обескураживающее суждение о героях „Колымских рассказов“ как жертвах, бесполезных для развития общества и не способных служить светлым образцом поведения человека в будущих прекрасных мирах. <...> как будто сталинский и гитлеровский режимы не есть равноценные Декларации прав человека выражение гуманности в исконном значении слова, иначе говоря, природы человека, требующей и сколачивающей для себе подобных бараки Колымы и Освенцима. <...> Не Шаламов занимается вытеснением, а Запад подминает тот факт, что Колыма и Освенцим — продукты не тектонических сил или вируса, а самого человека, и вопиюще являют ему его собственную природу в том, в чем она аутентично представлена» (Дмитрий Гнедич).

См. также: А. Солженицын, «С Варламом Шаламовым» — «Новый мир», 1999, № 4.

Борис Гройс. Город в эпоху его туристической воспроизводимости. Авторизованный перевод с немецкого Серафимы Шамхаловой. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2003, № 4 (30) <<http://magazines.russ.ru/nz>>, <<http://www.nz-online.ru>>.

«<...> как путешественники мы сегодня наблюдаем не столько сильно различающиеся локальные контексты, сколько других путешественников в контексте глобального, постоянного путешествия, которое становится идентичным жизни в мегаполисе. Современная городская архитектура также начинает путешествовать быстрее, чем ее зрители. Она почти всегда — или по меньшей мере чаще всего — уже находится там, куда турист еще только должен приехать».

Владимир Губайловский. Визуальная рифма. — «Русский Журнал», 2003, 20 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Книга Владимира Гандельсмана названа „Новые рифмы“ [СПб., „Пушкинский фонд“, 2003]. Несмотря на кажущуюся бледность и филологичность, это название требует к себе серьезного отношения и интерпретации. Первое, что приходит в голову: какие такие новые рифмы? Нет никаких новых рифм: все уже было, износилось, стерлось до неразличимости. <...> Но Владимир Гандельсман, к моему собственному удивлению, убедил меня своей книгой, что не все так просто, как казалось, что у русской рифмы есть неиспользованный ресурс: это — давно и хорошо известная в английской поэзии визуальная рифма.

...с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо.

Гандельсман рифмует: *зимЫ* — *невыразимо*, *побелку* — *белкУ*. Если читать эти стихи вслух, они звучат как слегка ритмизованный верлибр — на рифму нет и малого намека. Но мы привыкли читать стихи с листа, их проговаривая. И наступает неожиданное рассогласование: глаз видит одно — слух различает другое. Глаза видят *ЗИМЫ* — *невыразимо*, а слух напряженно вслушивается, но созвучия, которое явно должно быть, не находит. Это резче, чем консонанс. <...> Во-первых, чтобы поставить подобный эксперимент над русским стихом и сделать это убедительно — то есть так, чтобы получившиеся тексты были подлинными стихами, — для этого нужно перестроить — или по-иному соткать — всю стиховую материю. Может быть, Гандельсману помогла его жизнь в городе Нью-Йорке, но ему удалось настроиться на эту новую для русской поэзии волну. Во-вторых, чтобы такое звучание стало возможным, русская рифма должна ощущаться как непрменный и естественный атрибут стиха. Если бы это было не так, эксперимент Гандельсмана просто не имел бы смысла: ему не с чем было бы работать».

См. также: «Русское ухо, русский внутренний строй весь стоит на рифме и ритме. Это состояние русской цивилизации. Оно в рифму и в ритм. Кто-то из русских философов заметил, что рифма и ритм являются спасением и для человека, который пишет, и для человека, который читает, потому что это освобождение от невроза, от неупорядоченных цивилизацией страстей», — говорит Елена Фанайлова в беседе с Лиливой Гушиной («Новая газета», 2003, № 78, 20 октября <<http://www.novayagazeta.ru>>).

См. также беседу Владимира Гандельсмана с Майей Кучерской «Прошу тишины» («Русский Журнал», 2003, 22 августа <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также: Олег Вулф, «Русский поэт в североамериканском контексте птиц» — «Лебедь», Бостон, 2003, № 334, 27 июля <<http://www.lebed.com>>.

См.: <http://www.vavilon.ru/texts/prim/gandelman4.html>

См. также статью Владимира Губайловского «Неизбежность поэзии» в настоящем номере «Нового мира».

Ирина Дедюхова. Прогулки с Вергилием. Заметки о сетевой «голубой» прозе. — «Русский Журнал», 2003, 20 октября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Тут самое место решить, что же отнести к собственно *голубой* прозе? Непременное наличие *момента соращения*. Если его нет, то это всего лишь проза — можно снять бронжилеты и противогазы».

Для эпатажного Виктора Ерофеева главная книга — Библия! Беседу вел Аршак Тер-Маркарьян. — «Литературная Россия», 2003, № 46, 14 ноября.

Говорит **Виктор Ерофеев**: «Думаю, что передача [„Апокриф“], которую я веду, хоть немножко помогает людям быть просветленными и готовыми даже покаяться».

Даниил Дондурей. Интерпретируя реальность. О негативной власти интеллигенции. — «Независимая газета», 2003, № 234, 30 октября <<http://www.ng.ru>>.

О том, что сама *тема* пересмотра итогов приватизации (будто бы) была внедрена в общественное сознание теми, кто так или иначе, прямо или косвенно занимается интерпретацией реальности. А также о том, что — *благодаря рынку* — Москва стала величайшей театральной столицей.

Юрий Дружников. Человек, который перестал смеяться. Повесть об историческом казусе. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 4 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>.

Томас Мор и его тоталитарная утопия (=антиутопия).

Борис Дубин. Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и издательское дело в России в изменившемся социальном пространстве. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 4 (30).

«<...> понятия „литература“ и „публика“ приобрели в постсоветской России множественное число <...>. Данный факт, воплощенный в социальных формах и культурных практиках, стал решающим. Независимо от первоначальной перестроечной эйфории по поводу того, что „начальство ушло“ (по выражению Василия Розанова), он был в конце концов осознан интеллигенцией как угроза „настоящей“ литературе и культуре».

Борис Егоров. Далекое-близкое детство. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 3, 4.

Воспоминания известного петербургского профессора Б. Ф. Егорова. В частности — «Еда и питье (1920 — 1930 годы)».

Никита Елисеев. Желание взлететь. — «Русский Журнал», 2003, 7 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Прежде всего и поверх всего — раздражение. Вячеслав Рыбаков своей антиутопией [„На будущий год в Москве“] словно бы нарываясь на то, чтобы вызвать у меня и таких, как я, — демократов и космополитов — стойкую неприязнь и отторжение. <...> Ах эта дьявольская трудность писать рецензию на книгу, которая тебе пондра эстетически и психологически и совсем не пондра идеологически».

См. также: **Вячеслав Рыбаков**, «Если выпало в империи родиться...» — «День литературы», 2003, № 11, ноябрь <<http://www.zavtra.ru>>.

Сергей Есин. Хургада. — «День литературы», 2003, № 11, ноябрь.

«Отдых деловой женщины» и «Новые кроссовки» — рассказы из цикла «Сказки новой русской Шахерезады».

Светлана Зайцева. Баба Аня. Повесть. — «Третье дыхание». Литературный альманах. Составитель Аркадий Каныкин. Выпуск XXXVII. М., «Интер-Весы», 2003. Долгая добрая жизнь.

Александр Зиновьев. «Идеальных обществ не бывает, за идеалы борются. Если же идеалы реализуются, то рождаются всякие мерзости». Беседовала Елена Липатова. — «Литературная газета», 2003, № 44, 29 октября — 4 ноября <<http://www.lgz.ru>>.

«<...> будущее всего человечества (нашей страны в первую очередь) решающим образом зависит от того, удастся ли преодолеть глубочайший идеологический кризис, в котором оно оказалось в результате краха марксизма как идеологии эпохального и глобального масштаба. А преодолеть его можно лишь на пути выработки новой идеологии, превосходящей по интеллектуальному уровню марксизм и более адекватной современной социальной реальности».

Игорь Золотуский. Знак беды. Три встречи с Василем Быковым. — «Литература», 2003, № 41, 1 — 7 ноября.

«Он был *писатель печальный*».

Александр Зорин. «...великой и благой нам помощи». Вспоминая Бориса Крячко. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 4.

В частности — цитирует много писем хорошего русского прозаика Б. Ю. Крячко (1930 — 1998), жившего в Эстонии. Литературное наследие Бориса Крячко весьма обширно — см. многочисленные публикации в журнале «Вышгород». Архив писателя хранится у его вдовы Ингрид Майдре в Пярну, у его сына А. Б. Крячко в Москве и в РГАЛИ (отдельный фонд).

Здесь же — стихотворение **Владимира Крячко** «Осень», посвященное отцу.

См. также очерк из пярнуского архива **Бориса Крячко** «Окрестности, где R = ∞»: «Вышгород», Таллинн, 2003, № 5.

Андрей Zubov. Вспомнить и оценить. О причинах низкой способности к легальной организации и низкой саморегуляции в постсоветском обществе. — «ГражданинЪ». Периодический политический журнал. Возобновленное издание. Издавался с 1872 по 1914 год. 2003, № 4, июль — август <<http://www.grazhdanin.com>>.

Опять о реституции собственности. Удивляется, что у нас этот вопрос вообще не ставился.

Наталья Иванова. Наша родина — СССР. Телевидение реанимирует мечту о великой советской империи. — «Московские новости», 2003, № 43 <<http://www.mn.ru>>.

«Только что прошел юбилей замечательной Инны Чуриковой. Все фильмы с ее участием были показаны, и хорошо, что показаны. Но кто-нибудь задал ей вопрос — что, от участницы гражданской Теткиной через советского мэра до расстрелянной императрицы — длинная духовная дистанция? И какие внутренние конфликты на такой дистанции подстерегают? Или все равно, кого играть, — конъюнктура меняется, а ведь все это „наша история“? Нет, не спросили Чурикову. Зато показали, как она шляпки примеряет».

Испытание «проклятым вопросом». Беседу вела Ольга Вельдина. — «Литературная газета», 2003, № 44, 29 октября — 4 ноября.

Говорит **Игорь Шафаревич**: «Великие композиторы XX века — Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов. На Западе не было в тот же самый период композиторов такого уровня. У нас есть такого масштаба писатели, которых на Западе, по-моему, нет. Вот, к примеру, Хемингуэй, которым так у нас увлекались в моей молодости. Хороший писатель, но такое ощущение, что ему как будто писать особенно не о чем. Только один раз, участвуя в гражданской войне в Испании, он столкнулся с настоящей общенародной трагедией и написал действительно глубокую книгу. В России же драму истории и драму человека „ухо“ искусства и литературы слышит. Нет на Западе писателей, эквивалентных Солженицыну, Астафьеву, Белову, Распутину. Поэтому у меня такое впечатление, что к России известный диагноз Шпенглера („Закат Европы“) не имеет прямого отношения. Впрочем, это зависит от того, отождествит ли она себя с этой „закатывающейся“ Европой или нет».

Уильям Батлер Йейтс. Голгофа. Перевод Станислава Минакова. — «Союз Писателей», Харьков, 2002, № 1 (4).

Пьеса 1921 года. *Действующие лица*: Три музыканта (их лица загримированы под маски), Христос (в маске), Лазарь (в маске), Иуда (в маске), Три Римских Легионера (их лица скрыты под масками или загримированы как маски).

Юрий Каграманов. Америка приглашает к диалогу. — «Посев», 2003, № 10 <<http://posev.ru>>.

«Надо заново создавать образ Америки, который более или менее соответствовал бы оригиналу и, между прочим, позволял бы сохранять по отношению к нему определенную дистанцию».

Вера Калмыкова. Валерий Брюсов: в предчувствии науки XX (XXI?) века. — «Toronto Slavic Quarterly». *University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2003, № 5 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq.html>>.

«Напомним, что Валерий Брюсов был чуть ли не единственным, кто спорил с В. И. Лениным по поводу статьи „Партийная организация и партийная литература“, в которой концептуализировалась печально известная ныне „теория отражения“. Как ни дико прозвучит, но нет ли смысла подумать о влиянии ленинской теории — разумеется, в облагороженном виде, да и не только и не столько ее одной, — на концепции Московско-Тартуской семиотической школы, разрабатывающие идею „вторичного моделирования“ в искусстве <...>».

Владимир Кантор. Петр Великий и второе норманнское влияние. — «Вестник Европы», 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>.

«Эпоха Петра Великого как эпоха второго норманнского (варяжского) влияния».

Ирина Качур. Свобода и мораль в контекстах иудаизма и европейской философии. — «Время искать». Журнал общественно-политической мысли, истории и культуры. Главный редактор Марк Амусин. Иерусалим, 2003, № 8.

«<...> в статье принципиально не содержится никакие оценочные суждения по поводу представленных здесь идеологий. Предполагается, что каждая идеология может подходить для людей определенного типа».

Аркадий Киреев. Был ли Аркадий Стругацкий «агентом влияния» КГБ? — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 347, 1 ноября <<http://www.lebed.com>>.

«<...> идея вечной необходимости спецслужб, более того — всенародной, даже всечеловеческой, благотворности их деятельности, оказывается как минимум той „жертвой вечерней“, ради которой КГБ хранил, лелеял и берег писателя АБС — весьма полезно и особо ценного „агента влияния“ на умы и души „советских людей“...»

Всё — на домыслах, предположениях.

См. также: **Николай Александров,** «Ничего не объяснять. „Комментарии к пройденному“ Бориса Стругацкого» — «Газета», 2003, 5 ноября <<http://www.gzt.ru>>.

Сергей Кирилов. О необходимости контрреволюции. — «ГражданинЪ», 2003, № 4, июль — август.

«Трагедия между тем заключается как раз в том, что никакие „буржуи“, вообще никакие новые люди к власти в России не пришли (тогда как приход любых иных, чем советско-коммунистическая номенклатура, людей, пусть сколь угодно малосимпатичных, был бы как раз благом)».

Константин Ключкин, Саня Лачан. Прорыв «Сопрано». — «Критическая масса», 2003, № 3.

«[Сериал] „Сопрано“ — это двигатель реструктуризации телевизионной среды, прорыв в языке массовой культуры и, наконец, радикальная художественная новация в жанре драматического телесериала. <...> Функция теленасилия и телесека двояка. В первую очередь нарратив, построенный на определении болезни с последующими оздоровлением или маргинализацией больного, определяет границы того, что есть нормальный член общества. Проинформированный телезритель начинает контролировать самого себя, освобождая государство и прочие властные инстанции от необходимости контролировать граждан <...>. Оздоровленный телезритель говорит на языке теплых человеческих чувств, твердых моральных устоев, демократических ценностей и политической корректности. Этому языку учат в школах и вузах, его знание необходимо для успеха в обществе. Характерно, что именно речевое насилие — самая регламентированная область телепродукции. <...> Особенно ярко художественный прорыв „Сопрано“ заметен в языке. Ксенофобия, расизм, жено- и мужененавистничество, гомофобия, бытовая обесценность органично и ярко вплетаются в речь персонажей. Языки фольклора, улицы, приватной сферы, национальных и социальных групп, лежавшие за пределами регламентированного общенационального дискурса, неожиданно оказываются в его центре, на одном из самых популярных каналов. Уникальное достижение „Сопрано“ заключается в том, что ему удалось художественно мотивировать сочетание одиозных стихий таким образом, что американский зритель смог до приятной боли в душе ощутить, что насилие и секс не есть одинокий удел маргинала, что из их комбинации соткана ткань повседневности. Включая „Сопрано“, телезритель возвращается к ощущению, что бесконечная и бесперспективная борьба со стихиями, буруевающими его жизнь, — это нормально».

Петр Краснов. Пой, скворушка, пой. Повесть. — «Москва», 2003, № 10.

«Стильным встретила изба, холодно-прогорклым теперь духом, который ни с чем и никогда не спутаешь и не забудешь, — прошлым, какому не вернуться».

Этот номер «Москвы» — оренбургский.

Андрей Краснящих. Имя Джойса в романе Умберто Эко «Имя Розы». — «Союз Писателей», Харьков, пятый номер (2003 г.).

«Джойс не был знаком с концепцией Бахтина, потому что читать еще не написанные книги умеют только герои Борхеса».

«Вряд ли Михаил Михайлович [Бахтин] считал Джойса выродком <...>».

«<...> из Болоньи в Дублин Эко шел не через Саранск, а по-человечески и всему, чему надо в плане карнавала и карнавализации, научился напрямую у Джойса».

См. также: **Умберто Эко,** «Поэтики Джойса» (СПб., «Симпозиум», 2003).

Станислав Красовицкий. «Неинтересные стихи — это дефект, который ничем не исправишь». Беседу вела Лилия Вьюгина. — «Зеркало», Тель-Авив, 2003, № 21-22.

«Бродский талантливый поэт, но, с моей субъективной точки зрения, поэт малых форм. Он не стал бы столь знаменит, если бы остался в малых формах — „На Васильевский остров я вернусь умирать...” и так далее. А он захотел развернуться в эпос. Мне кажется, что это просто не его стихия и поэтически он много потерял».

См. также: **А. Солженицын**, «Иосиф Бродский — избранные стихи» — «Новый мир», 1999, № 12.

Юрий Кублановский. «По России катится желтое колесо». Лауреат премии Солженицына приехал в Томск пощупать «фундамент» русской поэзии XXI века. Беседа вела Татьяна Веснина. — «Томский вестник», Томск, 2003, № 214, 30 сентября.

«У меня сейчас [в отделе поэзии «Нового мира»] на рассмотрении лежит около двух тысяч рукописей. Этот поток, конечно, захлестывает. Но я стараюсь в каждом номере давать хотя бы одного автора из провинции. „Новый мир”, может быть, не в той степени, как при прежнем редакторе Сергее Залыгине, сохраняет почвенническую тенденцию. В отличие от других столичных журналов, мы не продвигаем постмодернизм».

См. также: **Сергей Залыгин**, «Заметки, не нуждающиеся в сюжете» — «Октябрь», 2003, № 9, 10, 11 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

Дмитрий Кузьмин. «Вавилон» будет торжественно закрыт в феврале 2004 года. Беседа вела Линор Горалик. — «Русский Журнал», 2003, 18 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Проект „Вавилон” возник на стыке 80-х и 90-х годов как проект поколенческий. Его потенциальными участниками были молодые авторы, начинавшие свою деятельность в определенной культурной ситуации. <...> Союз молодых литераторов „Вавилон” будет торжественно закрыт в феврале 2004 года в ознаменование пятнадцатилетия его деятельности. К этому моменту в нашей серии „Библиотека молодой литературы” выйдут последние книги нескольких важных и ярких авторов нашего поколения — Яны Токаревой, Галины Зелениной, Полины Андрукович — тех, чьи книги пока не вышли в других издательствах. Серию мы закроем, и тем самым лейбл будет исчерпан, поскольку его держатели уже не столько молодые литераторы, сколько зрелые, вполне состоявшиеся. Это не должно повлиять ни на интернет-проект „Вавилон: современная русская литература”, поскольку он не поколенческий проект, ни на клуб „Авторник” с его еженедельными литературными вечерами. <...> Мы будем обдумывать новый проект, не поколенческий, но транслирующий те же базовые ценности. (Местоимение „мы” требует отдельных раздумий. „Мы” отчасти все те же — Кузьмин, Кукулин, Давыдов, Львовский и, возможно, еще какие-то новые „мы”.) Как это может и должно выглядеть, пока ясно не до конца. Мы вообще всегда к этому стремились — к трансляции ценностей. Я полагаю, что для поколения „Вавилона” поколенческая структуризация больше не нужна».

См. также: **Дмитрий Кузьмин**, «Как построили башню» — «Новое литературное обозрение», 2001, № 48 <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

Валентин Курбатов. Мой выбор. — «Завтра», 2003, № 45, 5 ноября.

«При всем внешнем торжестве, Церковь не смеет напомнить, что христианское государство — это государство бедных, которые не ставят потребительскую основу во главу угла, иначе все взрывается и рано или поздно погибает. <...> На нашем государственном знамени написана капиталистическая идея, а на религиозном — бедная, и эти два знамени пытаются нести вместе два человека, возглавляющих государство с духовной и светской стороны. А знамена-то отворачиваются друг от друга, пока то и другое древко не переломится».

Евгений Лобков. Маяковский. Политическая биография. Глава из книги. — «Зеркало», Тель-Авив, 2003, № 21-22.

1930 год. «В. Силлов — первый левовец, более того — первый СОВЕТСКИЙ литератор, расстрелянный Лубянской. <...> Убежден в ложности „версий” об убийстве Маяковского. После суда над Силловым и Маяковского, и остальных левов можно арестовывать на законном основании».

См. также: **Михаил Клебанов**, «Журнал „Зеркало” как трельяж русско-еврейского консерватизма. Слово о тель-авивском журнале по случаю очередного выпуска» — «Топос», 2003, 27 октября <<http://www.topos.ru>>.

Марк Лурье. Не обвинять и не каяться, а понимать. — «Время искать», Иерусалим, 2003, № 8.

«В самом деле, будучи крайне чувствительными и щепетильными к своей боли и своим историко-психологическим комплексам, мы отличаемся редкостной бестакт-

ностью и размахистостью в суждениях о народах мира, а о русских — в первую очередь. <...> Огорчемся, господа евреи, от книги Солженицына („Двести лет вместе”) и попробуем оборотиться на себя. <...> Прежде всего — мы хотим быть неподсудны, что бы ни делали представители коллектива. <...> В то же время другие народы находятся перед нами в коллективном и неизбывном долгу. Это — проявление более общей нашей тенденции самовыписывания индульгенции (как бы ни ярились против христианской концепции индульгенций многие из наших крайних патриотов).

См. также: **Абрам Торпусман**, «Вместе ли?» — «Время искать», Иерусалим, 2001, № 5.

См. также: **Александр Эгерман**, «Обернись в слезах» — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 6.

См. также: **Дмитрий Сливняк**, «Наши позорные предки» — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7.

Массовая культура: за и против. Беседу записали Василий Ковалев и Наталья Маженштейн. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Говорит **Александр Мелихов**: «<...> культура изменила своему вечному делу — противостоять реальности, утешать, очаровывать, вдохновлять, внушать, что даже смерть, даже поражение могут быть прекрасны (тогда как в реальности — ни в болезни, ни в поражении ничего прекрасного нет, а ведь человек, даже самый успешный, обречен на поражение: каждого ждет смерть, никто не выполняет и десятой доли того, что задумал...). В такой ситуации массовая культура подобна партизанскому движению, которое поднялось на защиту своей вечной миссии, когда культурная верхушка сдалась неприятелю».

В беседе также участвуют: **Денис Датешидзе**, **Василий Ковалев**, **Алексей Машевский**, **Александр Фролов**, **Елена Чижова**.

Ирина Медведева, **Татьяна Шишова**. Диктатура безумия. — «Седмица. Православные новости за неделю». Электронная версия еженедельного приложения «Новости Православного Интернета» к газете «Одигитрия» (Винницкая и Могилев-Подольская епархия Украинской Православной Церкви). 2003, № 121, 24 ноября <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>.

«По мнению [американского] автора [Э. Фуллера Торри], на такое положение дел [с психиатрией] во многом повлияла нашумевшая книга Кена Кизи „Пролетая над гнездом кукушки”, вышедшая в свет в 1962 г. <...> С подачи Кизи люди начали путать причину и следствие: госпитализация стала считаться одной из серьезных причин психических заболеваний. И соответственно в качестве лечения предлагалось просто выпустить больных на свободу. <...> Фуллер считает, что Кен Кизи добросовестно заблуждался, хотел хорошего и просто чего-то недодумал. Но скорее тут заблуждается Фуллер, а Кизи был весьма искушенным человеком и добросовестно выполнял заказ. В 60-е гг. он играл одну из важных ролей в создании так называемой молодежной контркультуры, крупнейшего глобалистского проекта по внедрению идеологии неоязычества».

Биргит Менцель. Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий телескоп. Перевод с немецкого Серафимы Шамхаловой. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 4 (30).

«Сегодня существует лишь несколько (! — *А. В.*) высококвалифицированных, филологически компетентных и блестяще пишущих молодых (! — *А. В.*) русских критиков. Социализированные в „свободных” нишах интеллектуального пространства, они готовы ответить на вызов новой, иной литературы». К этому — сноска 21: «К ним относятся, например, Андрей Немзер, Александр Агеев, Сергей Костырко и Александр Архангельский».

Следует также отметить, что премия «Национальный бестселлер» не является государственной (как написано в сноске 15).

Екатерина Мень. Еще раз об умной толпе. — «Критическая масса», 2003, № 3.

«Новое поветрие, „дурацкая” форма коммуникации идет по миру, вспыхивая то в Риме, то в Амстердаме, то в Берлине идиотскими, с точки зрения обывателя, синхронными действиями сотен незнакомых друг другу людей. <...> Идеологи флэш-моба, правда, предпочитают называть такое сборище *smartmob*, то есть „умная толпа”».

Валерий Мерлин. Эпителий Родины, или Тактильный объект идеологии. — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 5 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>.

«Ухо человека и ушко женщины устроены одинаково <...>».

Юрий Минералов. Владимир Маяковский: лирика и жизнь. — «Литературная Россия», 2003, № 44, 31 октября.

О том, что Маяковский не писал о сексе. Только — о любви.

Юрий Миронов. Экстремист. — «Левая Россия». Политический еженедельник. [*Left.ru* издается на общественных началах группой социалистической интеллигенции.] 2003, № 20 (96), 7 ноября <<http://www.left.ru>>.

«Утверждение, что Лев Николаевич Толстой был коммунистом, наверное, покажется странным многим читателям...»

«Мы в одной лодке, за бортом — космическая бесконечность». Записали Станислав Тарасов и Виктор Варлен. — «Родная газета». Для тех, кто верит в Россию. 2003, № 28, 4 — 13 ноября <<http://www.rodgaz.ru>>.

Говорит **Чингиз Айтматов:** «В последнее время стараюсь своим читателям заранее ничего не обещать. Есть замысел написать о том, как влияет на человека процесс глобализации. Названия пока нет».

Станислав Небольсин. Дети, родители, праотцы. — «Литературная Россия», 2003, № 46, 14 ноября.

«И все же воздух, воздух! Ведь воздух-то еще не продан».

Аркадий Недель. «Терминатор-3»: Красотка уничтожает мир. — «Критическая масса», 2003, № 3.

«В мировой прокат вышел один из самых дорогих фильмов в истории кино, к тому же на библейскую тему. <...> В плане нарратива фильм очень напоминает сюжеты „видений“, имевших широкое хождение в позднем европейском средневековье».

Андрей Немзер. Займемся икотой. Шестьдесят пять лет назад родился Венедикт Ерофеев. — «Время новостей», 2003, № 200, 24 октября <<http://www.vremya.ru>>.

«Всякая попытка осмысленного разговора о Венедикте Ерофееве обречена на провал. Либо ученая тоска ползет, либо пошлость».

Андрей Немзер. Тога Цезаря. Десять лет назад умер Юрий Михайлович Лотман. — «Время новостей», 2003, № 202, 28 октября.

«В пору всеобщего одичания элементарная вежливость (научная корректность) становится гражданским жестом, обретает этическое значение, и Лотман с обворожительным артистизмом исполнял роль „настоящего профессора“ — в быту, на университетской кафедре, в публичных выступлениях, в ученых трудах, писанных неподражаемым слогом. Но это не было только игрой — ампула выбиралось сознательно и организовывало жизнь».

Любовь Нерушева. «Я ем пепел, как хлеб...» Карл Маркс, ветхозаветный пророк. — «Союз Писателей», Харьков, пятый номер (2003 г.).

«Через его [Марксово] учение, посредством его учения отчуждение пытается мыслить само себя». Автор — на фотографии она в интересной шляпке — преподает философию в Виннице.

См. также: **Доналд Сэссун** (*Donald Sassoon*), «Интервью с Карлом Марксом» (перевод Татьяны Даниловой) — «Русский Журнал», 2003, 2 ноября <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>; впервые опубликовано в журнале «*Prospect Magazine*» <<http://www.prospect-magazine.co.uk>>.

Павел Нуйкин. Василий Селюнин. — «ГражданинЪ», 2003, № 4, июль — август.

«<...> мне и в самом страшном кошмаре не могло привидеться, что этот всеобщий заговор молчания об одном из самых замечательных наших современников продлится уже почти десять лет». Это — о В. И. Селюнине (1927 — 1994), экономисте, публицисте, авторе «Нового мира».

См. также: **Василий Селюнин**, «Истоки» — «Новый мир», 1988, № 5.

Егор Отрощенко. Женщина и море. — «Литература», 2003, № 41, 1 — 7 ноября.

«Образ женщины в лирических стихотворениях Лермонтова часто объединяется поэтом с водной стихией <...>».

Вера Павлова. Труды и сны. (Сурдоперевод-2). — «НГ Ex libris», 2003, № 37, 16 октября.

«Баба Роза, наконец расслышав и поняв, маме: „Если Вере дали такую премию [Аполлона Григорьева], каким же низким должен быть уровень нашей поэзии!“»

Здесь же — ее беседа с Игорем Шевелевым: «Когда читаешь иностранцам на непонятном им языке, то сам акт выступления становится абсолютно адекватен себе. Когда я читаю за границей, у меня даже спина после выступления не болит».

Здесь же — ее новые стихотворения.

Марина Палей. Выход. — «Вестник Европы», 2003, № 9.

«Желание вырваться за пределы программы — вписано в ту же программу, что цейтнотом преступления и наказания понял еще Эдип. И, даже несмотря на эту стопроцент-

ную заданность, честнее назвать безвариантность положения, только борьба по преодолению границ, только — в большинстве случаев обреченная на поражение — непре-
станная битва за установление границ собственных — лишь это определяет личность».

Владимир Паперный. Вера и правда: Андре Жид и Лион Фейхтвангер в Москве. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 4 (30).

«Жид приезжал в Москву в 1936 году. Фейхтвангер — в 1937-м. Оба представляли собой меньшинства: один — французский гомосексуалист, другой — немецкий еврей. <...> До поездки оба были настроены просоветски. По возвращении взгляды Жида поменялись радикально. Взгляды Фейхтвангера остались неизменными практически до его смерти в 1958 году».

Святой Патрик. Исповедь. Перевод Константина Беляева. — «Союз Писателей», Харьков, 2002, № 1 (4).

«Я, Патрик, грешник — простой селянин, наимичтожнейший из верующих, презренный для многих...» (ок. 450 н. э.). Справка: «Патрик (*Patricius*; собств. Саккет, *Succat* и/или Котридж, *Cothridge*; ок. 389 — ок. 461) — „Апостол Ирландии“, христианский монах, епископ, святой покровитель Ирландии и ирландцев».

Вадим Перельмутер. Слитно или раздельно? — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2003, № 5 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/tsq.html>>.

«„Пророк“ написан в Москве, в день приезда, верней, „доставки“ из Михайловского на свидание с царем. Он еще — *эхо ссылки*, дописывание, отписывание, прощание с ней — и со всем циклом „Подражания Корану“ (замечу попутно, что цикл этот, насколько мне известно, до сих пор толком не прочитан *слитно с эпизодом* — „Пророком“, который бросает *обратный свет* на остальные девять стихотворений, проясняя некоторые их *темноты* и... переключки с циклом „библейским“»).

Иван Плотников. О команде убийц царской семьи и ее национальном составе. — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Как видим, расстрел царской семьи был произведен группой, состоявшей почти полностью из русских, с участием одного еврея (Я. М. Юровского) и, вероятно, одного латыша — Я. М. Цельмса».

Григорий Померанц. Поверх различий. — «Вестник Европы», 2003, № 9.

«Так же долго — от скачка к скачку — преодолевалась моя религиозная немужественность».

Потребность в колоколах стала индивидуальной. Беседу вела Екатерина Васенина. — «Новая газета», 2003, № 80, 27 октября.

Говорит **Андрей Вознесенский:** «Я сделал, по-моему, симпатичный проект храма-спирали. <...> Я думаю, что в XX веке в России было так много горя потому, что не было построено ни одного нового, современного храма. Только восстанавливали старые, продолжали поклоняться нарышкинскому барокко, например, и потому Бог нас не слышал». Здесь же — новые стихи архитектора.

Поэзия как средство от невроза. Беседу вела Лилия Гушина. — «Новая газета», 2003, № 78, 20 октября.

Говорит **Елена Фанайлова:** «Ощущение такое, что отношения русского поэта и русского общества — это отношения супругов после развода. Они на много лет расстались, и теперь появляется кто-то третий — и пытается помирить, устраивая свидание в кафе, чтобы отношения восстановились».

Роман Прасолов. Гений и злодейство. — «Москва», 2003, № 10.

Текст «Моцарта и Сальери» как «уникальная логическая система».

Алексей Решетов. Ждановские поля. Наброски к повести. — «Урал», 2003, № 10.

«„Ждановские поля“ — название авторское, но само предлагаемое произведение собрано по разрозненным черновикам [60-х годов] уже после кончины Алексея Леонидовича его супругой — Тamarой Павловной Катаевой. <...> „Ждановские поля“ являются прямым хронологическим продолжением его повести о дальневосточном военном сиротском детстве „Зернышки спелых яблок“, изданной отдельной книжкой в Перми в 1963-м» (из предисловия Андрея Комлева).

См. также стихи **Алексея Решетова:** «Новый мир», 2003, № 11.

Нина Садур. «Я — самый маленький человек в своем дворе». Беседу вела Евгения Ульченко. — «Новое время», 2003, № 42, 19 октября.

«<...> мне кажется, мы — умирающая страна».

«Я бы женскую прозу оценила как некое сведение счетов с мужчинами и вымещение комплексов».

«Они [писатели] не хотят со мной дружить».

Бенедикт Сарнов. Смерть и бессмертие Осипа Мандельштама. — «Литература», 2003, № 42, 43.

Спор — с Бродским, Кушнером, Гаспаровым — о мандельштамовской оде Сталину (1937).

Максим Свириденков (Смоленск). Гарри Поттер не погибнет от чеченской пули. Размышления о бестселлерах. — «Литературная Россия», 2003, № 47, 21 ноября.

«<...> в двух словах о книгах Джоан Роулинг про Гарри Поттера не скажешь. Сравнивая их с повестью Приставкина „Ночевала тучка золотая“ (! — А. В.), попытаюсь объективно рассказать о недостатках и достоинствах нашумевшей сказки».

Священник Вадим Семчук. Матрица после революции: православный взгляд. — «Седмица. Православные новости за неделю», 2003, № 121, 24 ноября <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>.

«„Матрица: революция“, впрочем, как и предшествовавшая ей „Матрица: перезагрузка“ — грустный пример того, как хрупка бывает хорошая идея перед лицом коммерции и опошления. <...> Я не могу воспринять три части „Матрицы“ как единую по замыслу трилогию. Слишком большой разрыв в идеях. Порой создается впечатление, что Вачовски сами себя пародируют. Радостно, что им удалось создать замечательный по своей глубине фильм „Матрица“, грустно, что продолжение фильма не удалось». Автор статьи — священник Украинской Православной Церкви, руководитель Православного центра просветительства и христианской педагогики г. Нововолынска (Волынской обл.).

См. также: **Священник Вадим Семчук,** «Фильм „Матрица“: православный взгляд» — «Седмица. Православные новости за неделю», 2003, № 89; «Фильм „Матрица“: миссионерский взгляд» — «Седмица», 2003, № 91 <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>.

См. также: **Сергей Лукьяненко,** «Матрица, ноябрьский путч» — «Газета.Ру», 2003, 12 ноября <<http://www.gazeta.ru>>; «Бедные мы. Бедное кино. Бедная Матрица».

См. также: **Антон Мочалин,** «Человек и Система: размышления перед третьей „Матрицей“» — «Русский Журнал», 2003, 4 ноября <<http://www.russ.ru/culture/cinema>>.

См. также: **Андрей Смирнов,** «„Матрица: революция“ — не состоялась» — «Завтра», 2003, № 47, 18 ноября <<http://www.zavtra.ru>>.

Роман Сенчин. Два варианта возможного завтра. — «Литературная Россия», 2003, № 42, 17 октября.

«В последнее время <...> синтез жанров сатирической фантастической антиутопии (или утопии) с долей философичности довольно-таки продуктивен». В связи с «Маскавской Меккой» Андрея Волоса. См. также отклик на этот роман в «Книжной полке Евгения Ермолина» («Новый мир», 2003, № 10).

См. также беседу **Романа Сенчина** с Сергеем Шаргуновым «Даже Пугачева о самой себе поет» («НГ Ex libris», 2003, № 42, 20 ноября <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также: **Роман Сенчин,** «Новые реалисты. Третья группа» — «Литературная Россия», 2003, № 41, 10 октября; о *Маргарите Шараповой, Илье Кочергине, Сергее Шаргунове, Аркадии Бабченко и других*.

См. также: **Сергей Беляков,** «Дракон в лабиринте: к тупику нового реализма» — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 10 <<http://magazines.russ.ru/ural>>; о *Романе Сенчине, Сергее Шаргунове, Аркадии Бабченко и других* — но иначе.

См. также: **Валерия Пустовая,** «Зверская красота положительного» — «Русский Журнал», 2003, 24 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>; о *Сергее Шаргунове*.

См. также: **Максим Свириденков,** «На пепелище Рима. Невыносимая реальность бытия. (О прозе тех, кого называют „новыми реалистами“)» — «Литературная Россия», 2003, № 46, 14 ноября; *читая Сенчина, думает о Камю*.

Алексей Смирнов. Заветы Даниила Андреева. — «Зеркало», Тель-Авив, 2003, № 21-22.

«<...> когда в начале войны мой отец, как внук царского генерала, и моя мать, как дочь атамана и генерала, с тревогой говорили о германской угрозе, то [Даниил] Андреев их „успокоил“: „Глеб, не расстраивайся, если придут в Москву немцы, то это не так уж и важно. Приходили они в революцию в Киев — ну и что? Россия все равно останется“. Он, как и многие тогда, не понимал разницы между кайзеровским рейхсвером и гитлеровским вермахтом».

«Для уравнивания Бога и дьявола в своей душе Андреев, наверное, и заключил союз с Аллой Александровной, несомненно, во многом представительницей сил ада, которые группировались при ней всегда и при помощи которых она и создала посмертный храм-памятник Даниилу Андрееву, сделав его модным бульварным писателем».

Глеб Смирнов. Ленин как дадаист. — «ARTхроника». Главный редактор Николай Молок. 2003, № 3-4 <<http://www.artchronika.ru>>.

Русский политэмигрант в цюрихском кабаре «Вольтер», 1916 год. Из дадаистского логова — в революционную Россию. «Поговорим о Ленине как о практикующем дадаисте». Фрагменты книги «Ход конем» — в авторском переводе с итальянского.

Александр Солженицын. Потемщики света не ищут. — «Литературная газета», 2003, № 43, 22 — 28 октября.

«Вспыхнувшая вдруг необузданная клевета, запущенная во всеприемлющий Интернет, оттуда подхваченная зарубежными русскоязычными газетами, сегодня перекинутая и в Россию, — а с другой стороны, оставшиеся уже недолгие сроки моей жизни — заставляют меня ответить. <...> Из-за внезапной рьяности новых обличителей, при полной, однако, тождественности нынешней клеветы и гебистской, — приходится и мне вернуться к самым истокам той, прежней».

См. также: **Андрей Немзер**, «Черные дни» — «Время новостей», 2003, № 203, 29 октября; «<...> если в России некому защитить честь Солженицына (после публикации „Потемщиков“ — та же тишина да кухонные пересуды), а Владимова провожает и поминает горстка людей (в основном преклонных лет), значит, действительно пришли черные дни. И не только для литературского сообщества».

См. также: **Андрей Немзер**, «Накануне. Завершена публикация „очерков изгнания“ Александра Солженицына» — «Время новостей», 2003, № 218, 21 ноября <<http://www.vremya.ru>>.

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Солженицын против Марка Дейча» — «Завтра», 2003, № 47, 18 ноября; «Солженицын как русское явление» — «День литературы», 2003, № 11, ноябрь <<http://www.zavtra.ru>>.

См. также: **Лен Фонталин**, «Нужны ли России евреи? Заметки по поводу второго тома книги А. И. Солженицына „Двести лет вместе“» — «Дружба народов», 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>; «Похвалы, которыми Солженицын награждает евреев, несомненно, преувеличены».

Супермаркет культуры. Франкфуртская книжная ярмарка-2003 глазами руководителей издательства «Ad Marginem». Беседу вели Владимир Винников и Андрей Смирнов. — «Завтра», 2003, № 46, 11 ноября.

«И когда напившийся баварского пива Миша Котомин в ответ на жалобы нашего любимого автора Михаила Елизарова, что он не может писать в год по роману, отвечает: „Ну, тогда нам придется синтезировать другого писателя“, — это всего лишь слабый отблеск ужасов, действительно происходящих в книгоиздательском деле» (**Александр Иванов**).

«Все настолько плохо, что хорошо» (**Михаил Котомин**).

Оксана Тимофеева. Логотип на невозможном. — «Критическая масса», 2003, № 3.

«Реклама представляет интерес [для философа] прежде всего потому, что является едва ли не основным имманентным планом современной культуры».

Марина Уварова. Человек деградирующий. — «Итоги», 2003, № 44 <<http://www.itogi.ru>>.

Российский палеонтолог **Александр Беляев** считает, что обезьяна произошла от человека: «Изначально было разумное человекообразное существо, которое постепенно трансформировалось в человекообразную обезьяну. В результате чего — пока большой вопрос. Но предки человека всегда были прямоходящими, они никогда не ходили на четвереньках, как утверждают дарвинисты. <...> человек существовал на Земле задолго до появления первых приматов». Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом археологии каменного века Института археологии РАН и убежденный сторонник дарвиновской теории **Хизри Амирханов** это категорически отрицает.

Ускользящий Битов. Роман-пунктир. Андрей Битов отвечает на вопросы Дмитрия Бавильского. — «Топос», 2003, 7 и 10 ноября <<http://www.topos.ru>>.

«Текст растет каждый час, но я беру и не пишу».

«**Физики без священников — современные папуасы**». Беседа с сотрудниками Российского федерального ядерного центра, г. Саров. — «Фома». Православный журнал для сомневающихся. Одобрен Издательским Советом Московского Патриархата. 2003, № 2 (16) <<http://www.fomacenter.ru>>.

Говорит **Дмитрий Сладков**, помощник директора ВНИИЭФ по связям с общественностью: «А ведь Церковь так и не сказала: ядерное оружие — хорошо это или плохо. Церковь всего лишь призвала к сдержанности и ответственности. <...>. <...> если не начать собирать их [науки и технологии] под церковный омофор, если Церковь не по-

пробует их творчески переработать, заново усвоить и в меру этого усвоения оправдать и благословить, тогда это означает, что эти науки и технологии останутся под властью князя мира сего».

Этот номер «Фомы» посвящен столетию канонизации преподобного Серафима Саровского.

Игорь Шевелев. Ностальгия по Саше Соколову. — «НГ Ex libris», 2003, № 42, 20 ноября.

«В советское время, когда всего мало, проза Саши Соколова была на вес золота. <...> Саша Соколов прекрасно сыграл свою роль. Он стал мифом. Исчез. <...> Саша Соколов исполнил роль великого стилиста, сохранил честь русской литературы. Он бы так и остался русским стилистом, но случилась перестройка, гласность, свобода слова, тиражи. <...> Но проза его не стала хуже».

См. также: «Судьба Сашиних книг очень странная — о них никто не пишет. <...> Но все повторяют одно и то же: Саша — лучший из пишущих по-русски за последние 50 лет. Все правильно, никакого противоречия нет. Просто русский язык Соколова и русский язык всех остальных — это два разных наречия, две разные литературы», — пишет здесь же **Данил Евстигнеев** («Те, кто вышел из Нимфеи»).

Здесь же: **Лев Пирогов**, «Горшок с цветами. Победившему учителю — от побежденных учеников».

К 60-летию прозаика, живущего в Канаде.

Ян Шенкман. Инстинкт бунтовщика. К Лимонову накопились вопросы. — «НГ Ex libris», 2003, № 39, 30 октября.

«<...> Эдуард Вениаминович, существует ли положение вещей, которое вас устраивало бы? <...> А может, вас не устраивает сам способ существования белковых тел?» Вопросы — в связи с публицистическими книгами Э. Лимонова «Русское психо» и «Контрольный выстрел» (обе — М., «Ультра. Культура», 2003).

Карл Шлегель. Москва и Берлин в XX столетии: два города — две судьбы. Авторизованный перевод с немецкого Кирилла Левинсона. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 4 (30).

«Назад в ту довоенную эпоху пути нет, и романтизировать Берлин как место встречи Германии с Россией в течение первой половины XX века нет причин».

См. также: **Марк Печерский**, «Прогулки по Берлину» — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 4 <<http://if.russ.ru>>.

См. также: **Татьяна Щербина**, «Берлин и Психея» — «Вестник Европы», 2001, № 1 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>.

См. также: **Александр Бикбов**, «Москва/Париж: пространственные структуры и телесные схемы» — «Логос», 2002, № 3-4 <<http://www.logos.ru>>; *весь этот номер «Логоса» посвящен Городу.*

Владимир Шумихин. <Рецензия на роман Сергея Болмата «В воздухе»>. — «Критическая масса», 2003, № 3.

«Наткнувшись в „Озоновском“ релизе на упоминание веса „ВВ“, я было подумал об опечатке или подтасовке фактов: в книге 431 страница. Этот странный факт выбил меня из колеи, и, оторвавшись от рецензии, я попросил взвесить книгу в ближайшем магазине на электронных весах: домашний безмен ее не брал. „Озон“ не соврал: ровно 430 грамм. „Все правильно, — сказала продавщица. — Страница — грамм“. — „А переплет?“ — урезонил я работника прилавка. Пришлось сбегать домой и за первым романом Болмата. Оказалось: „Сами по себе“ (254 стр.) весит ровно 250 грамм. Тенденция оценивать современную прозу в категориях нетто и брутто представляется чрезвычайно актуальной и продуктивной. В художественном же отношении фунт „ВВ“ не перевешивает „четвертинки“ „СПС“, но и не уступает ей».

Михаил Эпштейн. Варваризация и латинизация. Для некоторых новых русских слов больше подходят нерусские буквы. — «НГ Ex libris», 2003, № 37, 16 октября.

«<...> алфавит — это не униформа языка, а способ наиболее осмысленного и наглядного представления конкретных слов... Так что дело не столько в алфавите, сколько в лексическом составе того языка, для которого выбирается алфавит. Русскому языку нужно расти из своих собственных корней, чтобы оправдать кириллицу, заслужить ее как самый ясный и достойный способ представления своей лексики».

См. также: «<...> я не просто еврей, которому суждено было родиться в России, а еврей, добровольно живущий в диаспоре, в рассеянии, где бы я ни находился — в России или в Америке, так сказать, выбравший диаспору. Наконец, я не просто американец, а американец в первом поколении, собственного почина и призыва, сам пересекающий Атлантику, чтобы обосноваться в Новом Свете. <...> Я русский литератор и аме-

риканский профессор. По образованию филолог, по начальной профессии — литературовед и критик, по дальнейшему профессиональному самоопределению — культуролог, философ, славист, по интересу и влечению — лингвист. По моему опыту, чем больше идентичностей, тем полнее реализуется волновая, протеическая функция „я” — и тем меньше дискомфорта», — говорит Михаил Эпштейн в беседе с Денисом Иоффе («Картофель поэтологических гносеологий» — «Топос», 2003, 8 октября <<http://www.topos.ru>>).

См. также: Михаил Эпштейн, «Проективный словарь философии. Новые понятия и термины» — «Топос», 2003, 15 октября; 4 и 20 ноября <<http://www.topos.ru>>.

См. также: «<...> интервью философа Михаила Эпштейна. Он сейчас в Америке живет. Я с ним в свое время спорил. Давно. Не важно. Вроде приличный человек... Я был поражен: он, в сущности, в восторге от этого случая (11 сентября. — А. В.). Его интервью называется „Страх — высшая ступень цивилизации”. Он говорит, что эта высшая ступень, он ее называет хорроризм (от латинского *horror* — „страх”, „ужас”), уже наступила. Он приводит там эту дикую выходку Штокхаузена, который дней через пять после 11 сентября, выступая в Гамбурге, сказал, что 11 сентября — высшее художественное совершенство в истории человечества!.. Вот что страшно, потому что это вроде приличные люди, не маньяки и не религиозные фанатики», — говорит Геннадий Айги в беседе с Вячеславом Сергеевым («Новое время», 2003, № 40, 5 октября <<http://www.newtimes.ru>>).

Александр Этерман. Тезисы о природе человеческой морали. — «Время искать», Иерусалим, 2003, № 8.

Сначала попугал немного: «автор этих строк едва ли умрет своей смертью»; но потом — ничего *такого* не сказал.

Это критика. Выпуск 16. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2003, 16 октября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Мне действительно кажется важным сегодня как можно чаще вспоминать о писателях 60 — 80-х», — говорит критик Леонид Бахнов.

Это критика. Выпуск 18. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2003, 20 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>.

Говорит главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов: «В новой же генерации я не вижу авторов, которые по масштабу, по серьезности подхода, да просто по уровню были бы сопоставимы, например, с Ренатой Гальцевой или Ириной Роднянской. И это тем более прискорбно, что, по моему убеждению, именно этот род [религиозно-философской] критики сегодня особенно актуален».

Составитель Андрей Василевский.

«Арион», «Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Октябрь»

К. Азадовский. Переписка из двух углов Империи. — «Вопросы литературы», 2003, № 5, сентябрь — октябрь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

Давний обмен письмами Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева стал для автора статьи поводом к пространному размышлению об эволюции мироощущения последнего. Заключив, что «замечательный русский писатель Виктор Астафьев тяжело, и, как выяснится, неизлечимо страдал ксенофобией», Азадовский пишет: «Судить его — невозможно. Он был воистину народным писателем, снискавшим себе любовь миллионов. В своих лучших произведениях он возвышается над мирским и мелким, растворяя временное в вечном, точно так же как общечеловеческое превалирует — в общем контексте астафьевского творчества — над национальным. Астафьев был противоречивой натурой, способной на крайности. Ему недоставало культуры и мощной интеллектуальной энергии, но он обладал необычайным даром чувствования. В мире, который он вменял в себя, находилось место и глубокой мысли, и дремучей косности. Он стремился к Тишине, но вовлекался в суету и разногласия современных событий. Он был честен и бескорыстен. <...> Искал свой идеал то в прошлом, то в будущем. <...> Не потому ли, что сам глубоко страдал от разлада, старый, изувеченный на войне человек, с оголенным кровоточащим сердцем, измученный и оскорбленный уродствами русской жизни, заложник собственных страстей и пристрастий, уязвленный, непримиримый, истерзанный? Есть что-то толстовское в астафьевской натуре, глубоко противоречивой,

бунтующей и в то же время — клокочущей, нераздельно единой. Истовый, бескомпромиссный, упрямый, он не признал своих заблуждений и ушел, не покаявшись, но оставил нам свои книги, в которых мечется и надрывно стонет его русская большая душа».

Алексей Алевтин. Поэзия как поэзия. — «Арион». Журнал поэзии. 2003, № 3 <<http://www.arion.ru>>.

«Увы, мир не безупречен. И эта безупречность его — тоже предмет поэзии. Вопрос лишь в том, воспринимает ли она дисгармонию как отклонение от некоей гармонии высшего порядка, угадываемой в общем замысле или заложенной в человеке, — или все столь омерзительно, что достойно лишь горестной фиксации, а по возможности изничтожения... Второе вряд ли может быть художественной задачей. Поэтому я не верю в поэтические „гроздь гнева“. Одно из известных, и, на мой взгляд, верных определений поэзии: светская молитва. Как в свое время чудесно сформулировал Сергей Гандлевский, „бесхитростная благодарность миру за то, что он создан“. И негоже на манер пушкинского Евгения грозит кулаком творению: „Ужо тебе!..“»

«Один из потенциальных меценатов на упрек в том, что он не хочет помогать современной поэзии, заметил: „А вы ее почитайте...“ Ему не откажешь в доле правды».

«После того как бороться стало (по крайности временно) особенно не с кем, напор дешевой отрицательной энергии уже целиком переместился едва ли не на бытие как таковое. Такое впечатление, что добрая половина пишущихся теперь стихов выходит из-под пера обиженного судьбой Смердякова. <...> Возможно, кого-то чужая тоска и правда утешит, но мне она кажется скорее эксплуатацией темы вроде бесконечной чернухи по телевизору».

Алексей Алевтин. Поэт и муза. Стихи. — «Знамя», 2003, № 10 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Скорее маленькая поэма-кунсткамера, собравшая, волей автора, на большой смотр именно — муз: от Бурлюка до Аполлона Григорьева. Есть и безлично-бесполье вдохновители.

Есть и такие: «<...> вертлявый муз (так! — П. К.) Кузмина с напомаженным коком и в наглаженных белых брюках <...>». Все это чуть-чуть напомнило мне раннего Вознесенского.

Маттиас Брокманн. [Остановка времени. Герр Люк и мадемуазель Марианна. Верхолаз. Камни на Шведской улице. У озера.] Рассказы. Перевод с немецкого А. Славинской. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

Современный немецкий писатель шестидесяти лет. Больше сказать о нем нечего, кроме одного: талантливо. «У озера» — рекомендую читать по радио. Мужчина, женщина, озеро, дерево, карп, цапля, трава. Все друг друга видят, слышат, все друг о друге думают, все друг от друга зависят. Все на что-то надеются.

Уильям Вордсворд. Мальчик-идиот. Баллада. С английского. Перевод Игоря Меламеда. — «Дружба народов», 2003, № 10 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>.

Принципиально новый перевод, досконально учитывающий все особенности подлинника эпохи европейского романтизма, выполнен Меламедом по первой, ранней, редакции баллады — для готовящегося ныне полного издания «Лирических баллад» Вордсворда и Кольриджа 1798 года на русском языке.

Григорий Дашевский. Стихи. — «Знамя», 2003, № 10.

Только это не *стихи*, а *стих*. Один-единственный, хороший, *нездешний*. Почему один-то? Такого я еще не видел.

Б. Евсеев. Закон сохранения веса. — «Вопросы литературы», 2003, № 5 (сентябрь — октябрь).

«Истина мгновения, которая так часто от нас ускользает и которую так любил хватывать на лету Владимир Корнилов, вдруг вообще перевернулась вниз головой: не искусство вечно, а вечна, конечно же, жизнь! А искусство в эту жизнь по звеньям, по кусочкам, от мастера к мастеру, почти тайно, почти неосознанно лишь передается».

Наверное, там, в вечной жизни, закон сохранения веса действительно существует. И все, кому было „недомерено“ здесь, получают свое *там*. Будут оценены по их достоинству, то есть по высшей категории, и стихи Корнилова. Оценена будет и его несравнимо честная, очень горькая, недобравшая похвал и славы жизнь. Жизнь в глубине своей абсолютно завершенная и логичная, потому что именно бесстрашие корниловского стиха породило бесстрашие корниловской жизни. Не наоборот».

Игорь Ефимов. Шаг вправо, шаг влево. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 9.

Мемуар о молодом Иосифе Бродском. История о том, как отпущенный из ссылки на 10 дней Бродский рвался из Ленинграда в Москву, дабы разобраться со своей сложной «личной жизнью». О топтунах, слежке и отрыве от нее. О спасительном обмане

Бродского — автором повествования. Он сказал Бродскому по телефону, что в аэропорту дежурят кагэбэшники, в чем не был вполне уверен. Ефимов прекрасно понимал, что местным властям очень хотелось поймать поэта на нарушении режима ссылки. В те же дни Бродского освободили досрочно.

«До сих пор надеюсь, что они там были (шпики в аэропорту. — П. К.), и, значит, я не соврал Бродскому. Но если соврал — это было первый и последний раз. Лучше уж соврать, чем дать им снова упрятать его за решетку. Казнил бы себя потом всю жизнь».

Елена Иваницкая, Надежда Иваницкая. *Masslit*. — «Дружба народов», 2003, № 10.

Как говорится, первая премия в номинации «Санитар леса». Дамы отважно покопались в этом современном пласте «народной литературы», выявили особенности и тенденции, провели водоразделы, привели примеры. Оказалось, что масслит — это ниже всех занимательных жанров. Это вообще нечто.

«Нет уж, ничего хорошего в масслите нет. Плохо, совсем плохо и еще хуже».

Единственная придирка. Упомянув сочинение, подписанное псевдонимом Леонид Пантелеев («Криминальное чтиво по-русски»), авторы гnevаются: «И не совестно же перед памятью Леонида Пантелеева». Понимая, кого они имели в виду, сообщают, что литературное имя ленинградского писателя Алексея Ивановича Пантелеева было — «Л. Пантелеев». «Л» и точка. Он очень обижался, когда заглавную букву растягивали в некое имя. Помню, эта огнюдь не малозначительная для литератора неточность прокралась даже в некролог.

Из писем Г. В. Глѣкина к А. А. Ахматовой. Публикация, вступительная заметка и комментарии Н. Гончаровой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 9.

Глѣкин общался и дружил со многими замечательными людьми: учеными, прозаиками, поэтами. Однако прежде всего это был *умный* читатель, который на протяжении последних семи лет жизни Ахматовой изредка виделся с ней, писал ей письма и думал о ее поэзии. Встречи с ней он считал главным событием своей жизни. Подробные письма Глѣкина в интонации своей — восторженно-бережные, такие, наверное, о которых мог бы мечтать любой поэт. Ахматовой было с ним интересно, очевидно, он и был тем, о ком она сказала: «...а каждый читатель как тайна, / Как в землю закопанный клад...» Эти строки справедливо вынесены в эпиграф к публикации.

Александр Кабаков. Все поправимо. Хроники частной жизни. — «Знамя», 2003, № 10.

Шестидесятые годы. Сочный и мучительный роман о раздрызганной судьбе удачливого фарцовщика, его слепой матери, несчастной жене и несчастной любовнице. О неглупом человеке, добровольно выбравшем *скольжение*, сознающем это и не хотящем (не могушем) что-то переменить и остановиться. Здесь же родная ГБ и бегство от нее в армию. Жалко всех. Его, правда, в последнюю очередь. Все-таки 36,9° — очень плохая температура.

У Кабакова — отличная память. Так подробно пишут, кажется, только Евгений Попов и Аксенов.

Марио Карамитти. Моды и перспективы. Сегодняшняя русская литература в Италии и из Италии. Ведущий рубрики Владислав Отрошенко. — «Октябрь», 2003, № 10 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

Новая рубрика. Славист писал свой очерк по-русски. Метко и беспощадно. Не знаешь, плакать или смеяться.

Александр Климов-Южин. Стихи. — «Арион», 2003, № 3.

По-моему, прелестная, живописная поэзия. И хотя ее музыка иногда захватывающе реминисцентна (обойдемся без имен), читать Климова-Южина как-то очень *вкусно*. Хорошо, что подборки этого давно пишущего автора стали наконец появляться на журнальных страницах. Вот из открывающего стихотворения:

Когда надвигается гроза
И осмрительные лилии закрываются, как продмаги,
Когда зарницы спят глаза,
Высвечивая мельчайшие капли влаги:
Ветер останавливается, не в силах выбрать, куда пойти,
Поплавок замирает в отсутствии клева.
Подминая тростник на своем пути,
В воду медленно входит по грудь корова

Александр Кушнер. Стихи. — «Арион», 2003, № 3.

.....
 Настоящее горе слов
 не имеет.
 Недаром так стыдно своих стихов.

И прозвание поэта всегда было стыдно мне.
 И писал всего лучше я о тополях в окне.

.....
 («Сосед»)

Александр Левин. Прохладки с крылышками. Стихи. — «Знамя», 2003, № 10.

Как я услышал диск «Французский кролик», так и полюбил Левина. По-своему хорош он и здесь. Одного я не знаю: так ли уж необходимы в этом милом постобэриутском стихотворном балагане евангельские реалии? Недавно Светлана Кекова напомнила мне — в разговоре — о знаменитой «Элегии» Введенского (кстати, ее первая публикация в России была как раз в «Новом мире»). Там заложено (как выяснилось, пророческое) осознание стихотворцем некоторой... как бы помягче сказать? — непродуктивности подобных *раскладов*.

Инна Лиснянская. Опыт неведенья. Стихи. — «Арион», 2003, № 3.

И судьба, как страна, перекроена и перешита.
 На суровом веку
 Я стишок, как мешок, набиваю ошметками быта
 И в уме волоку
 В те края, где встает на дыбы апшеронский безумец,
 И вращает валун,
 И вонзает в звезду золотую Нептунов трезубец,
 Как в белугу гарпун.
 И мне кажется, что подо мною качается суша,
 Как рыбачий баркас,
 Что закинута сеть и идет по земле волокуша
 В неположенный час,
 Что как белые волны взлетают на суше белуги...
 Там, в предместье Баку,
 Мне еще неизвестно, к какой неотвязной разлуке
 Я судьбу волоку.

Гурген Маари. Два рассказа. Перевод с армянского Нелли Мкртчян и Георгия Курбатьяна. — «Дружба народов», 2003, № 10.

К столетию прозаика и поэта, отсидевшего в лагерях и ссылках 17 лет. Оба рассказа-притчи — и «Армянская бригада», и «Араке́л из Муша и другие» — на лагерную тему, оба отмечены какою-то странной музыкой.

«Прозу Маари отличает ироническая интонация, — пишет во вступлении к публикации Г. Курбатьян, — без которой он, казалось, и слова не мог вымолвить. А повествовал он о вещах трагических — о резне, беженстве, неравной отчаянной борьбе обреченных. И самые серьезные, самые патетические либо лирические пассажи непременно сдобрены у него насмешкой — когда доброй, порой лукавой, а подчас издевательской».

Л. Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932 — 1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие. — «Вопросы литературы», 2003, № 4, 5.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно речь Сталина стала конспектом всемирно известных докладов Жданова о журналах. Жданов лишь озвучил и творчески развил сталинские тезисы.

Были в речи и неизвестные исследователям мотивы. Отметим один из них. По существовавшей в партийной практике традиции Сталин в качестве верховного вождя мог говорить на темы, на которые не позволялось рассуждать вслух даже его ближайшим соратникам. Во-первых, тем самым его обращения становились более содержательными и интересными. Во-вторых, верховный жрец оставлял за собой право указать наличие иных, скрытых причин для своего выступления. В-третьих, вождь как персонафицированный сгусток коллективного бессознательного мог снять общее напряжение, выговорив одну из шекотливых тем. Даже если это происходило в узком кругу чиновников. Ведь в таком засекреченном и зашифрованном общении, как сталинская Россия, существовали санкционированные механизмы для передачи сталинских страстей, фобий и вкусов инженерам человеческих душ, а затем следовала их прививка массовому сознанию. Это проиллюстрировал Константин Симонов в мемуарах „Глаза-

ми человека моего поколения”. <...> Надо учитывать основополагающий негласный принцип партийной риторики советско-византийского образца: шифровка. Устно и письменно зашифровывалось все и вся. В одной из инструкций кровавого 1937 года, исходящей из Политбюро, было четко сказано: „перешифровать зашифрованное”. Логично, что часто идеологические по форме и содержанию скандалы своей первопричиной имели весьма далекие сюжеты.

Зошенко и Ахматова оказывались зашифрованными громоотводами для бюрократическо-идеологической кампании (в этой ситуации в такой же роли могли оказаться Платонов и Пастернак). Приглашенная идеологическая номенклатура усвоила сталинский урок мгновенно. Это выразится в подборе новых редколлегий — очередной раз в российской истории все многообразие жизни сводилось к примитивным кадровым вопросам».

Евгений Попов. Три вождя. *BREZNEV'S WAKE*, или Еще не вечер. — «Октябрь», 2003, № 10.

Брежнев, Хрущев, Сталин. Воспоминательное.

«Еще начальник советских чекистов Лаврентий Павлович Берия по радио тогда выступал, и я запомнил начало его скорбной, но энергичной речи, обращенной к соотечественникам: „Дорогие мои, не плачьте”».

Дмитрий Пригов. Где мы живем и где не живем. — «Октябрь», 2003, № 10.

Судя по отсутствию отчества, читатель будет иметь дело с *культурологической* Д. А. П. ипостасью автора и приличествующим сей ипостаси дискурсу.

Пожалуйста: «При движении власти к доминанту, размытой зоне интеллектуальной деятельности и почти отсутствующем гражданском обществе остро встает проблема формирования профессионально-корпоративной солидарности и этики. Но большинство деятелей культуры все-таки нынче озбочено в основном либо государственной целесообразностью и лояльностью своих поступков, либо экономическим преуспеванием (под видом соответствия читательским ожиданиям и чаяниям), либо захватом власти и влияния в сфере культуры, *что неплохо и даже важно* (курсив мой. — П. К.), но при наличии серьезного культурно-критического анализа деятелей культуры и соответственного определения общественной и социокультурной позиции». И ведь не надо едаст ему это эсперанто, он его, кажется, очень любит, вот штука какая.

Александр Ревич. Потом был свет и солнце за окном... Стихи и переводы. — «Дружба народов», 2003, № 10.

В 1958 году Ревич (вместе с Самойловым и Голембой) был первым, кто перевел крупнейшего польского поэта XX века — Галчиньского. Здесь — переводы стихов, которых до Ревича никто не переводил. «Воробьиная пасха» и «Соколиная охота» — думая, шедевры.

Генрих Сапгир. Из книги «Проверка реальности (лирика)» (1998 — 99 гг.). Вступительное слово Алексея Аলেখина. Публикация Людмилы Сапгир-Родовской. — «Арион», 2003, № 3.

Из вступления: «Множество поклонников ценили его именно за прием — почти всегда радикальный и яркий. В иных стихах этот прием и правда присутствует чуть ли не в чистом виде: эмоциональный, увлекающийся художник, с пристрастием и вкусом к языковой игре, Сапгир, бывало, и заигрывался, и заговаривался — тоже не без артистизма. Но неизменно возвращался из атмосферных языковых полетов на твердую почву чувства, образа и смысла. В его стихах под яркими, порой даже и анилиновыми одежками слов всегда просвечивала натура: что и отличает подлинную поэзию от шукарства».

И — самое маленькое стихотворение, закрывающее подборку:

Бледнеет мир С незримых гор
 Меня Пронизывает Светом
 Который Свет И тот Сапгир
 Со мной Беседует Об этом.

Карен Степанян. Письма о крестном пути России. Глазами армянина. — «Знамя», 2003, № 10.

Публикуется под рубрикой «Книга как повод».

Об изданной год назад переписке В. Астафьева и В. Курбатова. «Еще до того, как открыл эту книгу, предполагал, что там будет много важного для меня, — а потому собирался обязательно написать о ней. Но по мере чтения чувствовал, как трудно будет это сделать. А дочитав, впервые — прожив большую часть жизни в русской культуре и привыкши уже рассуждать и оценивать все изнутри нее — понял, что есть вещи, есть сферы, рассуждая о которых и тем более оценивая их надо помнить, что прожил здесь несколько десятков лет, а не несколько веков. Думаю, не все русские люди могли бы

сказать о себе, что они прожили здесь эти века (стоит ли объяснять, что я не территориальное, а духовное местопребывание имею в виду), но Астафьев с Курбатовым безусловно могли бы (если забыть о том, что настоящий русский человек никогда не то что говорить, даже думать не будет о себе столь высокопарно). А здесь еще — переписка, то есть (изначально) внутреннее духовное общение русских людей между собой. А значит, писать об этом я могу только *со стороны*, иначе — совесть не позволит».

См. также: **Дмитрий Шеваров**. Неостывшие письма. — «Новый мир», 2003, № 6.

Александр Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. — «Знамя», 2003, № 10.

«29.VIII.68. Пахра

Страшная десятидневка.

Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом. —

Записывать — все без меня записано.

Встал в 4, в 5 слушал радио — в первый раз попробовал этот час. Слушал до 6, курил, плакал, прихлебывая чай. Потом еще задремал до 8. Сейчас 9.30. Еду в Москву мыться и, собрав все силы, оформлять отпуск».

«16. XII. 68

<...> Можно подумать, что если бы я не пил, то сделал бы еще больше и лучше во много раз, но я знаю, что это не так, и тут уже ничего не напишешь. Сложился такой ужасный ритм приливов и отливов, когда вслед за беспамятством, бездельем и пустоутробием „вождения медведя” и вслед за мучительным „переходным периодом” наступал всегда большой душевный подъем, упоение трезвостью, ясностью, возродившейся силой. Только с годами „переход” становился все труднее и труднее. Ни одной строки я не написал во хмелю, читать (печатные книги) случалось (иногда и рукописи, но не править!)...»

Начало см.: «Знамя», 2000, № 6, 7, 9, 11, 12; 2001, № 12; 2002, № 2, 4, 5, 9, 10; 2003, № 8, 9.

Леонид Филиппов. Джоан Роулинг как зеркало мировой революции. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 10.

Кажется, после двухлетней давности публикации в «Новом мире» это второй анализ книг о Гарри Поттере в толстом литературном журнале. Существенная разница в том, что у нас разбиралось начало саги о мальчике-маге; книг, о которых идет речь в тексте Филиппова, еще не было в природе. Новомирский разбор был скорее приветственно-представительским (хотя включал и мнения скептиков), разбор Филиппова — подробно-диагностический, с новыми аргументами и примерами. Взять хотя бы появление новых символических образов в книгах Роулинг («отражения депрессии» писательницы) — дементоров, существ, способных высосать из человека душу. Это, по мнению Филиппова, «знак того, что Джоан Роулинг окончательно *перестала* слышать голос коллективного бессознательного, будь то традиционные мифологические сюжеты или сказки новых времен. Теперь она дает волю *своим собственным* комплексам и фобиям».

Доказательный ряд автора статьи — честно говоря, убийствен. И по части подмеченного изменения нравственной позиции родительницы Поттера, и по части трансформации формальных литературных приемов. Самое неприятное: на мельницу сатанистов, судя по всему, полилась-таки долгожданная жидкость.

«Автор обещает все бóльшие ужасы. Признавая тем самым, что повесть о борьбе Добра и Зла переродилась в историю воспитания в герое умения драться. В том числе драться оружием врага. „Если не возьмете, я вас прокляну. За последнее время я научился многому”. Нет больше воплощенного Добра. Нет соответственно и абсолютного Зла. Есть зло относительное — его, Гарри, *личные враги*. Вот с ними и надо биться. *Насмерть. Принц умер. Да здравствует Терминатор*. Что ж, такова, видимо, плата за нежелание вовремя остановиться...»

Григорий Фукс. Двое в барабане. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 9.

Живущий в Лос-Анджелесе 67-летний прозаик и сценарист написал интереснейшее сочинение о Фадееве и Сталине. Это, конечно, во многом «чтение в сердцах». Но, подобно опыту Ольги Трифоновой, написавшей пронзительную книгу о Надежде Аллилуевой, — опыт, на мой взгляд, удавшийся. Чувствуется, что автор собирал материал для повести более чем тщательно: переработано множество документов и свидетельств. В повести есть свои «бродячие» символы (например, Мечик из «Разгрома»). Вещь написана в несколько старомодной, «сценарной» манере, сугубо лирические пассажи сменяются строго документальными вставками. Между тем повесть хорошо читается благодаря заложеному в нее возрастающему по ходу повествования психологическому напряжению.

Марина Цветкова. Английские лики Марины Цветаевой. — «Вопросы литературы», 2003, № 5, сентябрь — октябрь.

«Подход к переводу с русского на английский в течение XX столетия прошел в Великобритании три стадии. Первая была связана с притоком эмигрантов из России — носителей языка, которые были хорошо образованы, неплохо, хотя и не в совершенстве, владели английским языком и не были поэтами. Примерно в середине века их сменили англичане, выучившие русский язык в военных учебных заведениях. Многие из них прекрасно владели русским, преподавали его в ведущих университетах страны. Однако они, как и переводчики первой половины века, поэтами не были. В последние десятилетия ситуация вновь изменилась. Теперь в книгах переводов обычно значатся два имени: переводчика-лингвиста, обеспечивающего детальный подстрочный перевод, и поэта, задача которого — обратить подстрочник в произведение искусства».

Одно из достоинств исследования — обилие сравнительных примеров. Впечатляет то, что остается — в данном случае — от поэзии Цветаевой после опробования различных переводческих подходов и тактик к русским стихотворным текстам. «Будущее, по всей видимости, окажется за переводами, которые хотя бы отчасти могли дать представление о том, как звучала бы Цветаева, пиши она по-английски».

Людмила Черная. Главная книга. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 10.

Воспоминания одного из авторов легендарной книги «Преступник № 1» (1982) — первой и единственной советской монографии об Адольфе Гитлере. О ее многолетнем *непрохождении* по причине явных аналогий (примечателен эпизод с гибнущим «Новым миром») и затем — о неожиданном выходе из печати в АПН, сопровождавшемся серией странно-чудесных событий. Постперестроечные приключения с переизданием этой книги тоже стоят мессы: отрывок из монографии однажды был приложен к русскому изданию «Майн кампф».

А. А. Чупров и большевистская революция. Вступительная статья и публикация

А. Л. Дмитриева и А. А. Семенова. — «Вопросы истории», 2003, № 10.

Здесь публикуется замечательная статья «Разложение большевизма» выдающегося статистика и экономиста, члена-корреспондента Российской АН Александра Александровича Чупрова (1874 — 1926; Женева), найденная в парижской Национальной библиотеке историком математики О. Б. Шейниным. В эмиграции Чупров был практически с 1917 года, несмотря на то что успел побывать заведующим статистическим бюро Центросоюза в Швеции.

Его эмигрантские публикации общественных событий почти не касались; найденный текст — исключение. В нем подробно, с обильными цитатами из резолюций, писем, постановлений и советских статей, анализируются изменения советской политики в 1917 — 1919 годах.

«Будучи последовательным противником советского режима, — заканчивают свою вступительную статью публикаторы, — и, не в пример сменовеховцам, отлично сознавая бесчеловечную сущность большевистской диктатуры, Чупров, видимо, все глубже проникался в 1920-е годы мыслью о неоправданности ожидания ее скорого саморазложения. Отсюда осознание неправильности установки эмигрантских кругов на тотальный бойкот всех структур и учреждений Совдепии. Такая значительно опережавшая свое время жизненная позиция и предопределила, по всей видимости, трагедию последних лет жизни ученого».

И. Шайтанов. Дело № 59: НЛО против основ литературоведения. — «Вопросы литературы», 2003, № 5, сентябрь — октябрь.

Печатается под рубрикой «Полемика». Речь идет о «самом толстом номере журнала», поименованном «Другие истории литературы».

Очень гневно. Так получается, что и за этим текстом, и за всеми последующими статьями Шайтанова об «НЛО» навечно вывешен невидимый задник *«Разоблачал, разоблачаю и буду разоблачать»*. Интересующиеся знают: шибки уже были. И тем не менее, несмотря на обоюдно-очевидные перехлесты и все возрастающую сердитость И. Ш. (что, по-моему, снижает уровень «ума холодных наблюдений»), читать это интересно, и — страшно сказать! — многое кажется весьма убедительным.

К слову: тенденции развития и упрочения на современном литературном поле новой гуманитарной идеологии, интенсивно «размножающейся» многожанровыми публичными, книжными и журнальными проектами, наверное, все-таки однажды должен кто-то четко обозначить и проанализировать. Я говорю о талантливо самовоспроизводящемся культурном мировоззрении — все более и более отдающем духом кружково-непререкаемого и весьма *перспективного* интеллектуального сектантства (полусознательно загримированного под многотрудное подвижничество), любовно подпитываемого заграничными штампами, выращенными в разнофигурных пробирках кафедр славистики. Эту идеологию, меж-

ду прочим, искренне обслуживают (иногда не ведая того) многие высокоталантливые люди, уже оставившие значительный след в истории отечественной гуманитарной науки. У этой идеологии прочные и хорошо известные корни. И тем не менее... В общем, пока на «колючую проволоку» бросился Игорь Шайтанов.

Да, на борт «НЛО» его теперь никогда не возьмут, это точно.

«...А я бы дал НЛО Госпремию (уже дали. — П. К.). И уверен, что дадут. Это правильно. Госпремией всегда отмечали героев своего времени. Ее получали Метченко и Храпченко. Теперь новое время, и награждают „другие истории литературы“».

Девяностые годы в российской филологии прошли под знаком НЛО. Журнал и время совпали: в наличии больших возможностей и в неумении ими достойно воспользоваться, в неразборчивой „ликвидации лакун“ на основе „интернационализации“, в катастрофических перепадах вкуса и профессионализма, в шумном пиаре, далеко опережающем реальность, в театризации с канканом и прочими прелестями».

Как частный потребитель признаюсь: многие свершения, осененные вышеупомянутым трехбуквенным брендом, у вашего обозревателя ничего не вызывают, кроме чувства признательности (многие архивные публикации, многие статьи, некоторые книги — вроде той же переписки Корнея и Лидии Чуковских, изданной в прошлом году, упомяну и недавно затеянный детский издательский проект...). Иные — приводят в замешательство, граничащее с оцепенением, как, например, 62-й номер «НЛО», посвященный так называемой *современной поэзии*. Этот номер будет представлен в нашем следующем обзоре.

Ян Шенкман. Голос и почерк. — «Арион», 2003, № 3.

Об особенностях авторского чтения в основном на примере Иосифа Бродского. О различных «упорах» — на ритм или на смысл. Хорошо бы эта статья стала приглашением к разговору, который давно назрел.

«Против всякой логики он (Бродский. — П. К.) подчеркивает просодию, а не смысл. <...> Бродский не дает ключа к пониманию стихотворения, он просто озвучивает его. Обычно поэты выделяют удачные места. Бродский как бы говорит: вот текст, который содержит определенное количество информации. Эту информацию я бережно доношу до вас, а вы уж решайте, как ее понимать». Интересно Я. Ш. пишет об актерском чтении, в основе которого, по его мнению, «лежит желание проповедовать, желание показать слушателю, как должно быть „на самом деле“». Проповеднику важно, чтобы его правильно поняли. Не текст, а его самого». Пойдите, Ян, и скажите это же самое артисту Козакову. Впрочем, не советую: вы — один, а их нынче двое (сам Козаков и саксофонист Бутман). Они, думаю, уверены, что благородно «помогают» поэзии Бродского на пути к читателю. Чтобы вы текст правильно поняли. Знаете, как им хлопают?

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

15 лет назад — в № 2, 3, 4 за 1989 год напечатан роман Джорджа Оруэлла «1984» в переводе В. Голышева.

35 лет назад — в № 2 за 1969 год напечатана повесть Валентина Катаева «Кубик».

40 лет назад — в № 2 за 1964 год напечатана повесть Сергея Залыгина «На Иртыше».

SUMMARY



This issue publishes «Return to Kandagar», a tale by Oleg Yermakov, «Sincerely Yours, Shurik», a new novel by Lyudmila Ulitskaya (the ending), as well as three stories by Yevgeny Shklovsky. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Yury Ryashentsev, Olga Kuchkina, Anatoly Kobenkov and Aleksander Timofeyevsky.

The sectional offerings are as follows:

Philosophy. History. Politics: «„Westfalian” Russia: the Characteristics of the Russian Regionalism of XX-XXI», an article by Sergey Markedonov.

Comments: «Later Now Once Again», an article by Alla Latynina on the new novel by Viktor Pelevin.

The Writer's Diary: Aleksander Solzhenitsyn goes on with his literary collection this time publishing an article on Georgy Vladimov's novel «The General and His Army».

Literary Critique: «The Inevitability of Poetry», an article by Vladimir Gubaylovsky.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,
Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чердниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novyi-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”».

Сдано в набор 20.10.2003 г. Подписано к печати 29.12.2003 г. Формат бумаги 70x108¹/₈. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8800 экз. Зак. 3763. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова,
учрежденная журналом «Новый мир»
и Благотворительным Резервным фондом,
присуждается с 2000 года автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).

Жюри 2003 года отобрало из представленных
на конкурс произведений шесть кандидатов на премию:

ЮРИЙ ГОРЮХИН

«Канцелярский клей Августа Мёбиуса» — «Бельские просторы»,
Уфа, 2003, 11;

ВЛАДИМИР МАКАНИН

«Могли ли демократы написать гимн...» — «Новый мир»,
2003, № 10;

АФАНАСИЙ МАМЕДОВ

«Письмо от Ларисы В.» — «Дружба народов», 2003, № 9;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

«Утюжок и мороженое» — «Знамя», 2003, № 1;

ДМИТРИЙ ПРИТУЛА

«Счастливый день» — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 9;

СЕРГЕЙ СОЛОУХ

«Метаморфозы» — «Знамя», 2003, № 12.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.